

ЗНАМЯ

1943г.

N.N. 7-8.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

СЫН

Памяти младшего лейтенанта Владимира Павловича Антокольского, павшего смертью храбрых 6 июля 1943 года.

1

— Я не опоздал? Ты слышишь?
Сегодня рядом встанем в строй.
Сему ты идешь нам до пиццель,
Сему, как матери с сестрой?

— Ты рукой не в силах двинуть,
В не в силах с личка смахнуть,
Ты не в силах запрокинуть.
Бже всеми лопатами вздохнуть.

Сему в глазах твоих навеки
Мно оный, оный, оный пост?
Сему обугленные веки
Пробьют вникающей рассвет?

— Вот сквозь вьющуюся землю
Летит дом в прехвате и в тепле.
Мосты над кручами расселин.
Метал их строить. Вот они.

Грудишь ли ты, что в это утро
Я рядом с ней, плечо к плечу,
Мой лучшей, с самой заговорной
Я, кого назвать я не могу.

Слышишь, слышишь, слышишь
Заночку?

Это наши в западу попали.
Значит, наступление. Значит паде
Подыматься, встать с сырой земли.

Е тогда из дачи негладной,
Из дачной дачи фронтной
Отскачет сын мой негладный
С мертвым горничной готовый.

— Не зови меня, отж, не зови.
Не зови меня, о, не зови!
Мы идем пешеходной дорогой,
Мы летим в бумарах и в зорях.

Мы летим и бже дробимся в ту
Повне, павшие дробья.
Так оплотится наш строй дробей
Что назад вернутся нам дробей.

Я не знаю, будет ли счастлив
Знаю только, что не будет бол
Она мы — павшие в дробях,
Большая мы не возвращаемся с тобой.

Он был хорошим
сыном,
ушным, смельчаком.
Был умен по лощинам,
ушел упал ничком.

В рог охрипший дует.
Вдохнул в рот и вошел
в дырку. А как она дыкует
замершей, сжата людских обид.
Что было расстреляно? Как захотели
быть близкими? В такую из ночей
настигнул он в материнском теле —
от святой огонек, еще ничей?

Как он спит и тянется, и тянет
ушным вверх, ты же ему отдашь.
Близости, твой сын на ножки встанет,
будет свистульки, карандаш.
Было почти все еще его. Тогда-то
зажигает святой огонек.
Начало детства, праздничная дата,
ничком не приметательный денек.
В то утро нам в ту несчастный вечер
Роды времени и срок истинно-тепла.
И удохотное начало человечье
Равнялось в мире на света и тепла.

И разве это, разве тут начало?
Начала все как-то, зачем, что конца.
Жизнь о далеком будущем молчала,
Но была была и была.
Она была огромна и огромна
Всего того, когда мой мальчик рос, —
Жизнь облетела аэродромов, комнат,
Облетела быстрое и летних гроз.

И мальчик рос. Как выросли кудри
Бессонный жег. Румяный — щеки жег.
Он рос на жестах в спешной нуде
Бедный мой дружок.
Он рос как рыба, ее широкий
Боевой медь, боевую медь.
Он рос как рыба, ее широкий
Боевой медь, боевую медь.
Он рос как рыба, ее широкий
Боевой медь, боевую медь.
Он рос как рыба, ее широкий
Боевой медь, боевую медь.
Он рос как рыба, ее широкий
Боевой медь, боевую медь.

Он ждал труда, как воздуха и корма
Чертить, мять в пальцах, красить
что-нибудь.

Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний
путь.

Макеты спел, не играних в театре,
Модели ихун, не сплывших никуда.
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века, — так он ждал труд
И он любил следить, как выраста:
Дома на мирных улицах Москвы,
Как великаны из стекла и стали
Бумались в мирных бликах синевы.

Он столько шин стоял велосипедом
По всем Садовым, за Москва-рекой,
И столько пленки перепортил «Федос
Синяя всех и все, что под рукой,
И столько раз, ложась и встав с
постели,

Уверен был: нет, я не одинок.
Что он любил еще? Бродить без цели
С товарищами в выходной денек
Вплоть до зимы без шапки.

Неприлично?
Зато удобно, даже горячо.
Он в сутолоке праздничной, столичной
Как дома был. Что он любил еще?

Он жил в Крыму в то лето. В жары
поздней
Сверкала морской прилив во весь
раскат
Сверкала песок. Сверкала степь.

наполни
Весь мир звонками крохотных цикад
Он видел все до точки, не обидел
Мельчайших брызг морского серебра
И в первый раз он девочку увидел
Совсем другой и лучшей, чем вчера
И девочка внезапно убежала,
И звонкий смех еще звучал в ушах
Когда в тропе существовал он как
Внезапной тропы, даже задышав.
Но что же тропы? Что за тропы
Вну бродить между приморских с
Ведь ее не мальчик, но и не мужик
Грубия девочкам за косы таскал

Так что же это, что же это, что же
Такое, что щемит в его груди?
И сразу окрылен и уничтожен,
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда коснулся жизни.
Все кончено. То был последний раз.
Ты, море, всей гремящей солью брызги
И подтверди печальный мой рассказ.
Ты, высохший степной жовыль,

наполни

Весь мир звонками крохотных цикад.
Сегодня нет ни девочки, ни полдня,
Метет метель, метет во весь раскат.
Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма,
Метет метель, вонит в охрипший рог.
И только грозным заревом багряма
Святая даль прифронтовых дорог.

И только по щеке в дыму махорки
Ползет скуная, трудная слеза.
Да карточка в защитной гимнастерке
Глядит на мир, глядит во все глаза.
И только еженощно в разбомбленном,
Отрабленном старинном городке
Поет метель о мальчишке влюбленном,
О погребенном тут, недалеко.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил
Ночь или сутки. Кажется, что спал
На этой жесткой койке, похожей
На связку железнодорожных шпал.
В нескладных сапогах по коридору
Протокал утром. Жадно мыл лицо
Под этим крапом. Посмеялся взору
Бакому-нибудь. Вышел на крыльцо.
И перед ним открылся разоренный
Старинный этот русский городок
В развалинах. Так ясно озаренный
Изольским солнцем.

И уже гудок

Вдаль заплакал железнодорожный,
И младший лейтенант вздохнул слезка.
Москва в тумане, в прелесть тревожной.
Была так невозможно далека.

И начал гудок, совсем осипший
Неравной схватку с песней ветровой.
Езд шел все шибче, шибче, шибче
Ткрыткой первой фронтвой.

Все кончено. С тех пор прошло
полгода.

За окнами — безлюдье, стужа, мгла.
Я до зари не сплю. Меня невзгода
В гостиницу вот эту загнала.
В гостинице живут недолго — сутки,
Встанут чуть свет, спешат на фронт,
Москву.

Метет метель, мешается в рассудке,
А все метет.

И где-нибудь во рву

Вдруг выбьется из сил метель-старуха,
Прильнет к земле и слушает дрожь.
Там, может быть, ее детеныш рухнул
Под елкой молодой, у блиндажа.

3

Я слышал взрывы тыщетонной мощи,
Распад живого, смерти торжество.
Вот где рассказ начнется. Скажем
проще:

Вот западня для сына моего.

Ее напел в пироксилине химик,
А металлург в обойму загвоздил.
Ее хранили пачками сухими.
Но злость не знала никаких удил.
Она звенела в сейфах у банков,
Ползла хитро и скалилась мертво,
Змеялась, под землей траншеи вырыв.
Вот западня для сына моего.

И в том году спокойном, двадцать
третьем,

Когда мой мальчик только родился,
Уже присматривалась к нашим детям
Германия, ощеренная вся.

Я видел город тот аляповатый,
В зеленых вспрысках мертвенных
реклам.

Он был набит тицеславием, как ватой,
И смешан с маргарином потолкам.
В том городе дрались и целовались,
Рожали или гибли ни за что,
И пели: Дейтиланд, Дейтиланд юбер
аллес.

Все было этим лаком залито.
Как жизнь черна, обутлена. Как густо
Залепаны разгулом облака.
Как вздорозали пиво и капуста,

Табак и соль. Нехватит и мелка,
Чтоб написать растущих цен колонки.

Меж тем убийцы наших сыновей
Спят сладко, запеленуты в пеленки,—
Спят и не знают участи своей.

И ты, наш давний недруг, кем бы ни
был,

Берлинец с твердым гетевским лицом,
На женщины жаден, падох на

сверхприбыль,
Ты в том году стал, наконец, отцом.

Да. Твой наследник будет чистой
крови,

Румян, голубоглаз и белобрыс,
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью,—
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.

Он юность проведет в домах публичных,
Пройдет насквозь Европу, как чума.

Но перечень его деяний личных
Не нужен. Он — Германия сама.

Она сама открыто и толково

Его с рождения вертнула во тьму.
Такого сына ждешь ты? — Да. Такого.

Ему ты отдал сердце? — Да. Ему.

Вот он в снегу, твой Фрицхен,—
отработан

Как рванный танк. Попробуй, оторви

Его от снега. Закричи «ферботен»

И впейся в рот в застывшей крови.

Хотел ли ты для сына ранней смерти?

Хотел или нет — ответом не помочь.

Не я принес дурную весть в конверте,

Но я виной, что ты не спишь всю

ночь.

Что там стучит в висках твоих
склерозных?

Чья тень в оконный ломится квадрат?

Она пришла из млы ночей морозных.

Тепь эта я. Ну как, берлинец, рад?

Твой час пришел.

Вставай, старик!

Нера нам.

Пройдем по странам, где гулял твой
сын.

Нам будет жизнь его киноэкраном,

А смерть — лучом прожектора косым.

Над нами небо — как разданный
свиток

Все в письменах миллионетных зв

Под нами вопышки лающих зениток

Дым разоренных человеческих гнезд.

Снега, снега. Завалы снега. Взгорья

Чащобы в снежных шапках до бров

Холодный дым кочевья. Запах горя

Все неоглядней горе, все мертвей.

Все путанней нехоженые тропы,

Все сумрачней снега, все лиловей.

Передний край. Восточный фронт

Европы

Вот место встречи наших сыновей.

По деревьям, на пустошах горячих,
Творятся ночью страшные дела.

Раскачиваются, скрипя на крючьях.

Повешенных замерзшие тела.

Расстреляны и до гола раздеты,

В обнимку с жизнью брошены во

Глядят ребята, женщины и деды

Стекланным отраженьем синевы.

Буда ни глянь — они стекланным

взгляд

Преследуют, сожженные до тла.

Буда ни сгинь — они, как совесть

рядо

Бесшумные, садятся у стола.

Кто их убил? Кто выклевал глаза

Кто, опалев от страшной наготы,

В крестьянском скарбе шарил, ка

хозяй

Кто? Твой наследник. Стало быть

Ты, воспитатель, сделал эту своло

И, прашуру пещерному подстать,

Ты из ребенка вытравил, как щ

Все, чем хотел и чем он мог бы

Ты вызвал в нем до возмужанья

пох

Ты до рождения злобу в нем раз

Видать, такая выдалась эпоха!

И вот хрипел казарменный рожок

И вот печатал шагом он гусины

По вырубленным рощам и садам.

А ты кичился безголовым сыно

Ты восхитался Каином, Адам.

Ты отнял у него миры Эйнштейна
И песни Гейне выграв в день весны,
Арестовал его ночные тайны
И обыскал мальчишеские сны.

Еще мой сын не мог прочесть, не
знал их,
Руссо и Маркса, еле к ним приник,—
А твой на площадях, в спортивных
залах
Костры сложил из тех бессмертных
книг.

Тот день, когда мой мальчик кончил
школу,

Был светел и по-юношески свеж.
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,
Шел с автоматом через наш рубеж.
Ту, перед которой сын мой с обожаньем
Не смел дышать, так он берег ее,—
Твой отпрыск с гиком, с жеребьячим
ржаньем
Взял и швырнул на землю, как тряпье.

Мы на поле с тобой остались чистом —
Как ни вывертывайся, как ни плачь!
Мой сын был комсомольцем, твой —
фашистом.
Мой мальчик — человек. А твой —
палач.

Во всех боях, в столбах огня сплошного
В рыданиях человечества всего,
Сто раз погибнув и родившись снова,
Мой сын зовет к ответу твоего.

4

Идут года, тридцать восьмой, девятый.
Зарублен рост на притолке дверной.
Воспоминанья в клочьях дымной ваты
Бегут, не слившись, где-то стороной,
Не точные.

Так как же мне взглядеться
В былое сквозь туманное стекло,
Чтобы его неконченное детство
В неначатую юность перешло?

Стамеска. Плени. Смятая коробка
С гвоздями всех калибров. Молоток.
Насос для шин велосипедных. Пробка

С дерегоровским проводом. Моток
Латунной проволоки. Альбом для
марок.

Сухой, разбитый краб. Карандаши.
Вот он назад вернувшийся подарок
Кусок его мальчишеской души,
Хотевшей жить. Ни много и ни мало,—
Жить, только жить. Учиться и расти.
И детство уходящее сжимало
Обломки рая в маленькой горсти.
Вот все, что детство на земле добыло.
А юность ничего не отняла
И, уходя на смертный бой, забыла
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик
С палитрой. Два нетронутых холста.
И тюбики, впервые настоящих,
Впервые взрослых красок. Пестрота
Беспечности. Все — начерно. Все —
напах.

Все — с ощущеньем, что наступит
день,

В июле, в январе или на пасхе,—
И сам осудишь эту дребедень.
И он растет, застенчивый и милый,
Нескладный, большерукий наш чудак.
Вчера его бездействие томило,
Сегодня он тоскует «просто так».

Холст грунтовать? Писать спенной,
охрой
И сурьком, чтобы в магне лучей
Возник рассвет, младенческий и
мокрый,

Тот первый на земле, еще ничей.
Или рвануть по клавишам, не зная
В глаза всех этих до-ре-ми-фа- соль,
Чтоб в терциях запрыгала сквозная
Смеющаяся штормовая соль.

Опять рисунки. В пробах и пробелах
Сквозит игра, ребячливость и лень.
Так, может быть, в порывах оробелых
О ствол рогами чешется олень.
И, натягая струны сухожилей,
Готов сломать ветвистую красу.
Но ведь оленю ревностно служили
Все мхи и травы в сказочном лесу.
И невидимка в лунном одеянии

Пригубил он такой живой воды,
Что разве лишь охотнице Диане
Удастся отыскать его следы.
А за моим мужалющим оленем
Уже неслись, трубя во все рога,
Уже пнались, на горе поколеньям,
Железные выжлятинки врага.

Идут года, тридцать восьмой, девятый
И пограничный год сороковой.
Идет зима, вся в хлопьях снежной
ваты.
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.
Три дня шатались об руку мы с ним.
Мой сын дышал во всю грудную
клетку.

Но был какой-то робостью томим.
В музее, жадно глядя на Гогена,
Он словно сжался, словно не хотел
Ожогов солнца в сварке автогенной
Всех этих смуглых обнаженных тел.

По все светлей навстречу нам вставала,
Разубранная, как для торжества,
Вся, от Брэмля до Земляного вала,
Оправленная в золото Москва.
Так призрачно задымлены бульвары.
Так бойко льется разбитная речь,
Так скромно за листвою проходят
пары,—
О, только б ранний праздник свой
сберечь
От глаз чужих.

Все, что добыто в
школе,
Что юношеской сделалось душой,—
Все на виду.

Не праздник это, что ли?
Так чокнемся, сынок!
Расти, большой!

На скатерти в грузинском ресторане
Пятно вина так ярко распылось.
Зачесанный назад с таким стараньем,
Упал на брови завиток волос.
Так, хохоча бесхитростно, так, важно

И все же снисходительно ворча,
Он, наконец, пригубил пламень влаж-
ный,
Впервой не захлебнувшись сторяча.

Пей. В молодости человек не жаждет.
Потом, над перевальной крутизной,
Поймешь ты, что в любой из вино-
градии
Надежен тыщелетний пьяный зной.
И где-нибудь, в тени чинар, в духане,
В шмелином звоне старческой зурны
Почувствуешь священное дыханье
Тысячелетий.

Как озарены
И камни, и фонтан у Моссовета,
И девочка, что на него глядит
Из-под ладони. Слишком много света
В глазах людей. Он окна золотит,
И зайчиками прыгает по стенам,
И пурпуром опнарил облака.
И если верить стонущим ангелам,
Работа света очень велика.

И запылали щеки. И глубоко
Мерцали пониманием глаза.
Не мальчика я вел, а полубога
В открытый насталь мир.

И вот гроза,
Слегка цыганским встряхивая бубном,
С охажкой молний свившихся в клубок,
Шла в облаках над городом стотрубным
Навстречу нам.

И это видел бог.
Он радовался ей. Ведь пеньем грома
Не прерван пир, а только начался.

О, только не спешить. Пеншом до дома
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва. Как много гроз шумело
Над славной головой твоей. Москва,
Что ж ты притихла? Что ж, белее
мела,

Не разделяешь с нами торжества?
Любимая. Дай руку нам обним.
Отец и сын — мы войны твои.
Благослови, Москва, нас перед боем.
Что там ни суждено, — благослови!
Спасибо этим памятникам мощным.

Огням театров, пурпуру знамен,
И сборищам спасенно полунощным,
Где каждый зван и каждый заменен
Могучим требнем нового прибора,—
Волна волну смывает, и опять
Сверкает жизнью лоно голубое.
Отбоя нет. Никто не смеет спать.
За наше счастье — сами мы в ответе.
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш араздник. На рас-
свете
В четыре тридцать началась война.

5

Мы не всегда, от памяти зависим.
Случайный, беглый след карандаша,
Случайная открытка в связке писем,—
И возникает юная душа.
Вот, вот она мелькнула, недотрога.
И усмехнулась. И ушла во тьму.
Единственная. Безраздельно строго,
Сполна принадлежащая ему.

Здесь почерк вырабатывался: точный,
Косой, немного женский, без прикрас.
Тогда он жил в республике восточной,
Без близких и вне дома в первый раз.
В тылу, в военной школе. И вначале
Были сдержан в письмах: «Я здоров,
учусь,
Доволен жизнью». — Письма умолчали
О трудностях, не выражали чувств.
Гораздо позже начал он делиться
Тоской и беспокойством: мать, сестра.

Не скоро в письмах появились лица
Товарищей. И грусть не так остра.
Он в письмах подавал, как бы на
блюде,

Как с пылу-жару, вывод многих дней:
«Здесь, папа, замечательные люди!»
И снова дружба. И опять о ней.
Навстречу людям. Всюду с ними в
ногу,

Навстречу людям — цель и торжество.
Так вырабатывался понемногу
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,
Опрятность школьной выучки храня,
Здесь вписан был закон артиллериста,
Святая математика огня,
Простая точность логики прицельной.
Вот чем дышал и жил он этот год,
Что выросло в нем искренно и целно,
В сознании долга, в нежелании льгот.
Ни разу не отвлекся. Что он видел,
Предвидел ли погибельный багрец,
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях; дворец
В венецианских арках. Тут же рядом,
Под кипарисом, пушка.

Но, постой.

В какой задумчивости, смутным взгля-
дом
Смотрел он на рисунок свой простой?

Какой итог, какой душевный опыт
Здесь выражен, какой мечты глоток?
Итог не подведен, глоток не допит.
Оборвалась и подпись:

В. Анток...

6

Ты, может быть, встречался с этим
рослым,
Веселым, смутным школьником Москвы,
Когда, райкомом комсомола послан
Копать противотанковые рвы,
Он уезжал.

Шли многие ребята,
Из Пресни, от Бородинских ворот,
Из центра, из Сокольников, с Арба-
та,—

Горластый, бойкий, боевой народ.
В теплушках пели, что спокойно може-
Любимый город спать,

что хороша

Страна родная,

что главы не сложит

Ермак на диком бреге Иртыша.

А может быть, встречался ты и раньше
С каким-нибудь из наших сыновей,—
На Черном море или на Ля-Манше,
На всей планете солнечной твоей.

В какой стране, под гул каких прелю-
дий,

На фабрике, на рынке или в порту
Тот смуглый школьник пробыл в
люди,

Рассчитывающий на доброту
Случайности.

И если, наблюдая,
Узнать его ты ближе захотел,
Ответила ли гордость молодая?
Иль в суете твоих вседневных дел
Ты позабыл, что этот смуглый, строй-
ный,

Одним из нас рожденный человек
Рос на планете, где бушуют войны,
И грубую встретит свой железный век.

Уже он был жандармом схвачен в
Праге,

Допрошен в Брюгге, в Бергене избит.
Уже три дня он прятался в овраге
От черной своры завтрашних обид.
Уже в предгрозы мощных забастовок
Взрослели эти кроткие глаза.
Уже свинцовым прифтом для листовок
Ему казалась каждая гроза.

Пойдем за ним, за юношей, ведомым
По черному асфальту на расстрел.
Останови его за крайним домом,
Пока он пустыря не рассмотрел.
А если и не сын родной, а ближний
В глазах шпионов гестаповских возник,
Запутай след его на свежей лыжне
И сам пройди невидимо сквозь них.
В их черном списке все подростки
мира,

Вся поросль человеческой весны.
От Пиреней до древнего Памира
Они в злобешних приисках точны.

Почувствуй же, каким преданьем
древним

Повеяло от смуглого чела.
Ведь молодость, так быстро догорев в
нем,
Наша клубится дымом начала.

Горячим пеплом всех сожженных
библей,

Всех польских гетто и концлагерей,
За всех, за всех, которые погибли,
Он, полугрусский и полужеврей.
Пробудился для войны от летаргии
Младенческой и ощутил одно:
— Все делать так, как делают другие.
Все остальное здесь припрятано.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на нарте,
Пока погоня дверь не сорвала.
По крайней мере затемни на карте
В районе Жиздры, западной Орла,
Ту крохотную точку, на которой
Ему навеки постлала постель.
Завесь окно своею снежной шторой,
Летяшая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь.
Безумная, бесшумная, пойми,—
Я с сыном никогда не отпущаюсь.
Так повелось от века меж людьми.
И вот опять он рядом, мой ребенок.
Так повелось от века, что еще
Ты не найдешь его меж погребенных.
Он только спит и дышит горячо.
Не разбуди до срока. Ты старуха.
А он дитя. Ты музыка,— а он,
К несчастью с детства не лишенный
слуха,
Он будущее чувствует сквозь сон.

7

Весь день он спал, не сняв сапог, в
шинели,
С открытым ртом,— усталый человек.
Виски немного впали. Посинели
Таинственные выпуклости век.
Я подходил па пыпочках, боялся
Дохнуть на сына. Вот он, наконец,
Из дальних стран вернулся во-своих,
Так рано оперившийся ятенец.
Он встал, надел ремень и портупею.
Слегка меня ударил по плечу.
Наверно, думал:
«Нет, еще успею.

Зачем тревожить? Лучше помолчу.
Последний ужин. Засиделся поздно.
Весь выпит чай, и высмеян весь смех.
И сын молчит, не узнав, неопознан,
И так безумно близок, — ближе всех!
Какая мысль гнетет его? Как скудно
Освещена под лампой часть лица.
Меняется лицо ежесекундно.
Он смотрит и не смотрит на отца.
И все в нем недолюбленное, недо-
любившее. В мозгу, как звон косы.
Как взмах косы:
— Я еду, еду, еду.

Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю.
Не знает сын, не разобрал отец,
Чья кровь стучит, своя или чужая. —
Все потерялось в стуке двух сердец.
Все дело в том, что...

Стоит. Но в чем
же дело?

Всю жизнь я восхищался им и ждал.
Чтоб в сторону мою хоть поглядел бы.
Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченную фразу:
— Не провожай. Так лучше. Я пойду
С товарищами. Я умею сразу
Переключаться в новую среду.
Так проще для меня. Да и тебе ведь
Не стоит волноваться.

Но без сил
Отец взмолился. Было восемь, девять.
И ровно в девять сына утрусил.

Пошли мы на вокзал — таким беспеч-
ным

И легким шагом, как всегда вдвоем.
Лежал табак в мешке его заплечном,
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.
Ни дать, ни взять — шел ученик из
класса

В экскурсию под выходной денек.
Мой лейтенант и вправду мог по-
клясться,
Что в поезде не будет одиночек.
Уже в метро попутчиков он встретил.
И лейтенанты вышли внятным.

Я был шестым. Бренчал ненастный
ветер.

Зениты били. Где-то грянул гром.
Как будто дождь накрапывал. А может,
Дождь начался совсем в другую ночь.
Да что тут. Был ли, нет ли — не
поможет
Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были рядом. Близко. Сжали руки.
Сильней. Больней. На столько долгих
дней.

На столько долгих месяцев разлуки.
Но разве мы подумали о ней?
А тут же, с матерями и без близких,
С букетиками маленьких гвоздик,
Выпускники из школ артиллерийских
С Москвой прощались.

Мрак уже воздвиг
Железный грубый занавес у входа
В ночной вокзал.

Кричали рупора.
Пошла посадка.

Сколько до отхода?
Час? Полчаса?

Ну а теперь пора.
Гражданских на вокзал не пустят.
Ну, так
Обнимаемся под небом, под дождем.
Постой. Прощай.

Постой хоть пять
минуток.
Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провожая,
Чья кровь, как молот, ухает в виски
Чья кровь стучит, своя или чужая.
Ну, а теперь еще раз, по-мужски.

И робко, виновато улыбаясь.
Он очень долго руку жмет мою,
И очень нежно, ниже нагибаясь,
Простое что-то шепчет про семью,
Мать и сестру.

А рядом за порогом
Ночной вокзал в сиянии синих ламп.
А где-то там, по фронтальным дорогам,
Вдоль речек, по некошеным полям,
По взорванным голодным пепелищам.

От пункта Эн на запад напрямик
Несется время. Мы его не ищем.
Оно само найдет нас в нужный миг.
Несется время, синее, сквозное,
Несет в охапках солнце и грозу,
Вверх синет тучами от зноя,
И толбует реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим
Становится, и легким, и сквозным,—
Тот, кто недавно мне казался сыном.

А там теснятся сверстники за ним.
На загоревших юношеских лицах
Играет в беглых бликах синева.
И кубари приняты на петлицах.
И между ними, видимый едва,
Единственный мой сын, Володя, Вова,
Пришедший восемнадцать лет назад
На праздник мироздания живого,
Спешит на фронт, спешит в железный
ад.

Он хочет что-то досказать и машет
Фуражкой.

Но теснит его толпа.
А ночь летит и синей лампой пляшет
В глазах отца.

Но и она слепа.

8

Что слезы. Дождь над выжженной пу-
стыней.

Был дождь. Благоединье пронеслось.
Сын завещал мне не жалеть о сыне.
Он был солдат. Ему не надо слез.

Солдат? Неправда. Так мы не поможем
Понять страну, стершуюся сплошь.
Кем был мой сын? Он был Созданием
Божьим.
Созданием Божьим? Нет. И это ложь.

Далеко мой путь сквозь стены и по
тучам.

Единственный мой достоверный путь.
Тал мой ребенок обликлет летучим,
И нем каждый миг стирает что-нибудь.

Он может и распылится в горькой
влаге,
В соленой, сразу брызнувшей росе.
А он в бою и не хлебнул из фляги,
Шел к смерти, не сгибаясь, но шоссе.

Пыль срезетала на зубах. Комарик
Прильнул к сухому, жаркому виску.
Был яркий день, как в раннем детстве,
Ярок,

Букушка пела мирное «ку-ку».
Что вспомнил он? Мелодию какую?
Лицо какое? В чьем письме строку?
Пока, о долголетьи кукуя,
Твердила птица мирное «ку-ку».

Но как он удивился этой липкой,
Хлестнувшей горлом, глуже-молодой.
С какой навек растерянной улыбкой
Вдруг очутился где-то под водой.
Потом, когда он, выплывшись всем
телом,

Спокойно спал, как дома, на боку,
Еще в лесном раю осиротелом
Звенело запоздалое «ку-ку».
Жизнь уходила У-ХО-ДИ-ЛА. Будто
Она в гостях ненадолго была,
И спохватилась, что свеча задута,
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,
Что ночью добираться далеко ей.
Одной, вдоль изб обутленных и труб.
И тихо жизнь оставила в покое
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенья!

Что ты тянешь
И путаешься. Ты-то не мертво.
Смотри во все глаза, пока не станешь
Предсмертной мукой сына моего.

Услышь, в каком отчаянии, как хрипло
Он закричал, цепляясь за траву.
Как в меркнущем мозгу внезапно вы-
плыл

Обломок мысли:

— Все так и живу!

Как медленно, как тяжело, как нагло
В траве поплз тот самый яркий след,

Как с гибнущим осталась с глазу на
глаз

9

Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображение.

Помни,

Что для тебя иной дороги нет.

Чем ты упрямей, тем они огромней,—
Оборванные восемнадцать лет.

Ну, так дойди до белого каленья,
Испепелись и пепел свой развей,
Стань кровью молодого поколения,
Любовью всех отцов и сыновей.
Так не стыжай и вырвись вся наружу,
С обдранною кожей, вся как есть,
Вся боль моя, вся жизнь моя — в
оружью!

Все видеть. Все сказать. Все перенести.

Он выпел из окопа. Запах поля
Дохнул в лицо предвестьем доброты.
В то же мгновение разрывная пуля,
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел
Сухих травинки, согнутых огнем.
И солнышко в последний раз увидел,
И пожалел, и позабыл о нем.

И вспомнил он, и вспомнил он, и
вспомнил
Все, что забыл, с начала до конца.
И понял он, как будет не легко мне,
И пожалел и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты,
О милости несбыточной моля.
И рухнул, в три погибели согнутый.
И расступилась мать сыра-земля.

И он прильнул к земле усталым телом.
И жадно, разучаясь понимать,
Шепнул земле, но не губами — целым
Существованьем кончившимся:
— Мать.

Ты будешь долго рыться в черном
пепле,

Не день, не год, — а годы и века,
Пока глаза сухие не ослепли,
Пока окостеневшая рука
Не вывела строки своей последней, —
Смотри в его любимые черты.
Не сын тебе, а ты ему наследник.
Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур.
В окнах

Ни лампы, ни котилки. Но и мгла,
От стольких слез и стольких стуж про-
дрогнув,

Тебе своим вниманьем помогла:
Что помнится ей? Рельсы, рельсы,
рельсы.

Столбы, опять летящие столбы.
Дрожащие под ветром погорельцы.
Шрапнельный визг. Железный гул
судьбы.

Враг опозорил землю Украины,
Сжег Новгород, приполз под Ленинград.
Холмы, леса, и реки, и равнины
О мщении друг с другом говорят.

О мщении? Да, о мщении. Так и надо
Чтоб сердце сына смерть переросло.
Пускай оно ворвется в канонаду, —
Есть у сердец такое ремесло.
И если в тучах небо фронтовое,
И если над землей летит весна,
То на земле вас вечно будет двое, —
Сын и отец, не знающие сна.

Нет права у тебя ни на какую
Особую отдельную тоску.
Пускай, последним козырем рискуя,
Она в упор приставлена к виску.

Не обольщайся. Разве это выход?
Всей юностью оборванной своей

Не ищет сын поблажек или выгоду
И в бой зовёт миллионы сыновей.
И в том бою, в строю неистребимом,
Любимые чужие сыновья
Идут на смену сыновьям любимым
Во имя правды, большей, чем твоя.

10

Прощай, мое солнце. Прощай, моя со-
весть.

Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Прощай. И на этом кончается повесть
О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаешься. Один. Отреплен-
ный

От света и воздуха. В муке последней.

Никем не рассказанный. Не воскрешен-
ный.

На веки веков восемнадцатилетний.
О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетия и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Ничакого не сбудется чуда.

А сны только снятся нам, снятся и
тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребен-
ных.

На этом кончается повесть о сыне.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

ПУШКИН

Роман

Часть третья

ЮНОСТЬ

1

Когда дядька Фома сказал ему, что его ожидают господин Карамзин и прочие, сердце у него забилось, и он сорвался с лестницы так стремительно, что дядька сказал, оторопев: «Господи Сусё».

Он никак не мог привыкнуть к быстрым переменам в лице и к движениям господина Пушкина, номера четырнадцатого.

Его ждали в библиотеке. Родителей пускали просто в общую залу.

Уже с месяц Карамзин жил в Петербурге, и все было полно слухами о нем: он приехал хлопотать об издании своей истории перед царем. Толстая Бакунина передавала, что царь его принял с распростертыми объятиями и все решено; впрочем, в другой раз сказала сыну и его товарищам, что пока ничего не решено и даже ничего не известно. Вообще более о Карамзине она не пожелала говорить.

Только накануне приехал Куницын и рассказывал об успехе Карамзина: все на руках носят, и двор принужден был согласиться на издание. Говорили о каком-то празднестве, данном в честь его. А теперь он вдруг оказался в Царском селе, в лицее.

Он был не один: заложиў руки за спину, стоял посреди галлерей дядюшка Василий Львович и еще третий — мешковатый, со вздернутыми плечами и в очках, — Александр, его видел в первый раз и сразу догадался: Вяземский. Василий Львович обнял его, как всегда делал это при других: не глядя на него и косясь в сторону друзей.

Вяземский наблюдал исподлобья и переглянулся с Александром.

— Ваше превосходительство, — сказал он Василию Львовичу напоминая, — староста арзамасский!

Дядя медлил.

— Вот! — сказал ему Вяземский.

— Помню, ваше превосходительство, — ответил дядя молодцом. Рыжеватые мягкие волосы у Вяземского были всклокочены, и задорный чубком стоял на затылке. Он был похож на петуха, готового в любую минуту броситься в бой.

И они засмеялись, а Карамзин покачал головой.

Дядю никто никогда не называл превосходительством, да он им и не был, а Вяземский и подавно. Это дурачество было ново и ни на что не похоже. Это были арзамасские шалости. У Александра дух перехватило.

Это было ново для него.

Дядя вынул из кармашка лоскуток, откашлялся и одернул жилет, как всегда делывал перед чтением экспромта.

Нет, это вовсе не были стихи. Дядя, сбиваясь на каждом слове, усердно читал не то церковно-славянскую грамоту, не то какое-то кляузное отношение приказного:

— «Месяца Лютого, Сечня в день двенадесятый — лето второе от Липецкого потопа, в доме Старушки бысть ординарный «Арзамас». Присутствовали их превосходительства: Громобой, Светлана и Вот. Ополченные красным колпаком и гусиным пером против «Беседы» безумства... — ну, дальше о Шаховском, — ты сам прочтешь, — признали арзамасцем Сверчка. Его превосходительство Чу...»

Словом, ты — арзамасец, — сказал дядя кратко. — Это о тебе, мой друг, сказано — Сверчок. А их превосходительства — это такой титул: их превосходительства, тещи «Арзамаса».

«Арзамас» шумел. Шаховской вздумал было в комедии вывести жалкого вздыхателя, Фиалкина, и осмелел стихи Жуковского. Комедия — «Липецкие воды» — была весела и имела шумный успех, но все друзья вкуса ополчились против Шаховского. Эпиграммы посыпались на него дождем. Его иначе не называли, как Шутовским, а комедию его — Липецким потоком. Писались церковно-славянским штилем длинные и бессмысленные акафисты в честь безумной «Беседы», — этих косноязычных дьячков, у которых оказался столь сильный и колкий союзник, как Шаховской. Дядя Василий Львович разъезжал по обеим столицам неистовствуя.

Постепенно самое пересмешичество понравилось; всем нравился этот как бы тайный сговор против «Беседы».

Как-то Блудов, случайно проезжая через город Арзамас и скучая в стапционном домике, вздумал изобразить в штиле «Беседы» и Шаховского и все происшествие. «Видение в некоей ограде» — называлось его замысловатое произведение. Так все, воевавшие против Шаховского и «Беседы», стали арзамасцами, неизвестными жителями Арзамаса; учредилось общество, назвавшееся «Арзамасом», и эмблемой его явился арзамасский гусь. Арзамас славился своими жирными гусями.

Сам Жуковский принимал во всем самое деятельное участие. Они начали собираться то в квартирах друг у друга, то в самых неподходящих местах, — сиденье в колясках и партерах по-двое и по-трое также именовалось собранием. Они важничали и корчили из себя старых вельмож, совсем как в «Беседе». Они то и дело говорили друг другу: «Ваше превосходительство». А по вечерам заседали в красных колпаках. — «Беседа» звала их якобинцами за каждый перевод с французского. Писались длиннейшие и презабавные протоколы. Завелся, как всегда, секретарь — не кто иной, как сам Жуковский. Протоколы писались штилем дьячков. Самые месяцы были переименованы по-славянски. Календарь изменился. Январь был теперь у них Просинец,

евраль — Лютый и Сечень, март — Вересень, апрель — Березозол. Собственные имена и фамилии показались им скучны. Они взяли баллады Жуковского и стали переименовывать себя по его героям и по всему, что придется: ейн, черный вран, дымная печурка, о которых говорилось в стихах, — не пригodiлось. Теперь они прозвали его Сверчком, и он был истым арзамасцем.

Карамзин внимательно смотрел на Александра Пушкина — отныне Сверча. Он уважал и ценил этот возраст, когда радость так переполняет все существо, что губы прыгают перед тем, как засмеяться. Улыбка его была, прочем, грустная.

Вяземский, подняв палец, как уездный секретарь, читающий статью закона, привел текст:

С треском пыхнул огонек.
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

Слово «пыхнул» он произнес с особым выражением, по-арзамасски.

— У нас, друг мой, у всех теперь такие имена, — сказал Василий Львович торопливо. — Вот Вяземского зовут Асмодеем, Батюшкова — Ахиллом, — то больше по росту; ты ведь с ним виделся — он маленький... Меня тоже розвали: Вот.

Александр переспросил. Дядюшкино имя было ни на что не похоже.

— Вот, — повторил дядя неохотно, — вот и все.

— Не вот и все, а Вот, — поправил Вяземский.

— Я и говорю: Вот, — сказала дядя с неудовольствием.

Конечно, все было смешно: и Ахилл, и Сверчок, но Вот было совершенно ни с чем несообразно.

— Там есть у Жуковского такие стихи, друг мой, — пояснил дядя, внезапно омрачаясь: — Вот красавица одна... вот легохонько замком кто-то стучит и прочее. В конце концов, не все ли равно? Вот так Вот.

Он был явно недоволен своим именем.

— Дашков — Чу, а я Вот, — сказал он потом повеселев.

— А Тургенев — «Две Огромные Руки», вот как.

Дядя слишком был занят своим именем.

Вяземский сказал Александру, уже не шутя:

— «Беседа» одна конюшня, а если члены ее выходят за конюшню, так дугом или четверкой заложены вместе. Почему же только дуракам можно быть вместе? Вот и мы заляжем по братски — душа в душу и рука в руку. Когда вы кончаете линей? Мы собираемся по четвергам.

Потом он спросил его серьезно, и хохолок встал на затылке, читал ли он новую балладу Жуковского и критику на него Блудова. Критика очень замечательна.

Карамзин спросил Александра, не сыро ли в Царском Селе, особенно в Битайской Деревне, потому что он собирается сюда всю семью на лето. Это была еще новость, он только вчера окончательно подумал, и теперь по пути в Москву они остановились осмотреть его домик.

Заглянул в двери бешеный Ломоносов, и дядя, вспомнив золотые дни, когда в каком-то вдохновении писал «Опасного соседа», а Ломоносов и Пуш-

кин были невольными свидетелями этого, представил его Карамзину и Вяземскому.

Карамзин и его попросил быть у него гостем.

По дороге встретил их запыхавшийся директор. Он отирал фуляром пот с лица и объяснил, что примчался сюда так скоро, как мог. О, если бы юпошеские ноги! Веселость его была чрезмерна. И все тотчас переменялось, — Вяземский посмотрел исподлобья на Александра, увидел потерянный взгляд и раздутые ноздри. Директор был рыхлый, бледный, широкозастыдый, с остзейскими голубыми глазами, которые он беспрестанно закатывал. Небесная доброта изображалась на его лице, а угодливость и развязность — во всех движениях. Он был в восторге от таких гостей и прочее.

Шутки сразу прекратились. «Арзамаса» и следа не было. И Карамзин заторопился. Он попросил директора отпустить с ними Пушкина и Ломоносова — осмотреть Китайскую Деревню. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея.

Они подошли к этим домикам, таким холодным, таким необитаемым, точно в них никогда и нельзя было представить ничего живого. Со странным чувством смотрел историк на Китайскую Деревню, в которой был обречен жить этим летом. Он постригся в историк, — сказал о нем Петруша Вяземский, но иноки не жилали в таких нарядных, таких холодных беседах. Василий Львович недоумевал:

— Тут, друзья мои, до кухни, ежели ее устроить вон в той палатке, далеко: все простынет.

Он называл эти домики по-военному — палатками.

Странная фигура вдруг вытянулась перед ними: страшной толщины старый генерал, запыхавшись, стоял у входа в Китайскую Деревню, как бы преграждая путь. Александр узнал его: комендант Царского Села Захаржевский явился приветствовать гостей. Впрочем, приветствия не было.

Генерал, представившись, пролепетал, что Китайская Деревня не в порядке, и он просит отложить осмотр.

Он был бледен, и глаза его сверкали, словно у него отнимали эти дома и словно они принадлежали ему.

— Прикажите открыть двери, — спокойно сказал Карамзин, тоже бледнея. — Мы подождем здесь.

Генерал, потоптавшись, отдал приказание хриплым и сдвоенным голосом полководца, принужденного отступить, — открыть двери.

Он удалился.

Запысневелые стены представились им. Василий Львович сказал, впрочем, что здесь летом будет хорошо. Александр посмотрел на Карамзина, потом на Вяземского. Все было понятно: дворцовая челядь, ненавидящая чужих и свято оберегавшая все углы Царского Села от вторжения лицейских, встревожилась при появлении великого человека. Он закусил губу, раздвинул ноздри и тихо фыркнул. Вяземский исподлобья, поверх очков, посмотрел на него.

— Пыхнул жалобно сверчок, — сказал Карамзин, оглядел их и улыбнулся.

Герой-комендант отступил перед его войском.

Потом Пушкин с Вяземским по-братски, по-лицейски взялись за руки и пошли осматривать все углы новых владений. Василий Львович увязался за

ними и делал хозяйственные замечания, весьма дельные. Он нашел подходящее место для погребца.

— В жару, друзья мои, вино любит скисать. Это нужно понимать.

Карамзин никогда не пил вина.

Все же Вяземский успел сказать Александру, что идет настоящая война: «Беседа» сильна, Шишков обо всех делах академии входит к Аракчееву, что Николай Михайловича враги чуть не съели в Петербурге, даром что все люди со вкусом носили его на руках; что комедия Шутовскова имеет сильный успех и что над Жуковским смеются. Ну, да не на таковых напали. Вкус, ум, «Арзамас»!

Он пропел ему нечто вроде торжественной арзамасской песни: Венчанье Шутовскова.

2

Он только и жил теперь этими краткими встречами, посещениями.

Прошлым летом забрел в лицей и спросил Пушкина отставной поручик Батюшков, и этой встречи Александр еще не позабыл. Отставной поручик был мал ростом — «махонький», как сказал Фома. Тихим голосом он сказал Александру, что зашел поблагодарить его за послание. На нем была бедная одежда: серая военная куртка, картуз. Он грустно и рассеянно смотрел темными глазами на Александра и ничем не напоминал ленивца, мудреца, любовника, которым был в стихах, больше всего понравившихся. Пушкин напечатал послание именно этому ленивцу:

Философ резвый и пинт
Парнасский счастливый ленивец . . .

Поэт теперь все реже появлялся в журналах. Александр в послании писал ему об этом

Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?

Теперь он жалел об этом. Задумчивый, рассеянный, Батюшков, казалось, застрял здесь, в Царском Селе, и было непонятно, как он доберется до ю. Стихи о московском пожаре припомнились Пушкину.

Лишь углей прах и камней горы,
Лишь нищих бледные поля
Везде мои встречали взоры.

Тихим голосом он сказал о дворцовом строении и пороках в размере дощатого флигеля. Потом сразу спросил Александра: зачем он назвал его послание российским Парни?

И когда-то писал обо всем этом, но больше никогда не станет.

«Воспоминания в Царском Селе», которые Александр читал на экзамене едк Державинным, было, по его мнению, лучшим его стихотворением. Почему не попробует он написать поэму обо всех этих важных делах, о подвигах Довольно ведь написано посланий.

Нет, он не был похож ни на эпикурейца, ни на мечтателя.

Александр ответил ему, слегка уязвленный, что он пишет поэму, а только шуточную, сказочную: в самом боитливом топе — о Бове. Бова э герой, а в сказке действуют еще хитрый король и даже тень его слабоуного отца.

Батюшков тихо сказал, что и сам думал о такой сказке, и вдруг попросил Александра.

— Отдайте мне Бову.

Он улыбнулся и сразу стал похож на свои старые стихи, о лени, о роскошных мудрецах. Потом он пригнулся, пожал ему руку и ушел не оглядываясь, маленький, сухонький, прямой.

Александр долго потом бродил по лицейским коридорам, переходам и находил себе места. Потом он тряхнул головой и опомнился.

Когда Дельвиг спросил его, о чем говорил с ним Батюшков, Пушкин ему не захотел рассказывать. А Дельвиг спросил потом еще как-то, понравилось ли послание. Но Пушкин ответил:

— Будь каждый при своем.

Он не хотел больше думать об этом.

Вечером он стал читать все, что написал за год. Многие строки показались ему вдруг лишними, и он их зачеркнул.

Потом Жуковский подарил ему книгу своих стихов. Жуковский был высок ростом, длинные волосы падали на лоб, он был сметлив и говорил. Батюшков, казалось, не замечал людей, а только здания и размеры их. Жуковский тотчас сказал как-то о директоре, что он похож на кота. И в этом деле он был похож на кота — плавного, сытого и поэтому доброго.

Теперь Карамзин, Вяземский и дядя Василий Львович по пути в Москву остановились у него. Карамзин собирался на лето в Царское Село — уже к ним дошли слухи, что великий историк будет царским советником. Вот и легко и просто шло просвещение, чего оно достигло!

Арзамасец-дядя был теперь, видимо, на вершине славы — он был самым старым арзамасцем, все должны были помнить его бои с «Беседой», с оверженными вкусом халдеями. Александр был в уноении, провожая их Китайскую Деревню, в которой предложили жить летом Карамзину. Правильные самые домики — старая и незаконченная дворцовая затея — были сырые более похожи на необитаемые беседки, чем на человеческое жилье. Карамзин хмурился, осматривал их. Потолки были низкие, домики тесные; он выбрал один, попросторнее — для семьи своей, другой, соединенный крытым переходом, для кабинета, третий для кухни и людей. Александру показалось, что он вздохнул. Он удивился бы, если бы ему сказали, что он всем им нужен даже, чем они ему.

Карамзин был в тревоге и грусти. Он приехал в Петербург из Москвы, которая отстроилась с такою быстротою, что чужой глаз мог и не приметить следов великого пожара Москвы, где все почитали его. Труды двенадцати лет его жизни, большие и важные, подходили к концу. История Государства Российского была почти вся написана — восемь томов. Нужно было их печатать, а для этого — разрешение государя и деньги. Он написал предисловие, красноречивое и сколько мог пламенное. Он со страхом собирался в Петербург: Екатерина Павловна — свыше естества обожаемая монархом сестра — на письмо не ответила. Вдруг — ничего не решится? Он приготовился

скрепя сердце, к случайностям, к терпению унижения. Действительность превзошла его ожидания. Шесть недель протомился он в Петербурге, — страстную пятидесятницу, — и монарх ничем не обнаружил желания принять его. Петербургские рассеянности его истомили, он исхудал. Только арзамасцы, молодые, умные, были приятны при встречах. Негодование их на недостойную игру с великим мужем, которую кто-то уподобил игре кошки с мышью, он принимал с грустным удовлетворением. Между тем пришлось ему поклоняться. Был он — смешно сказать — в гостях у самых больших своих литературных неприятелей, — хмурых старцев «Беседы», и не получил одобрения. Ездил бить челом к гофмейстеру и обер-гофмейстеру, просил о приеме, — ответ был холоден.

Наконец согласен был уже ехать на поклон к Аракчееву, государеву другу и фавориту, но не мог себя осилить и воздержался. Друг Аракчеева, генерал, сказал, что государь, услышав о шестидесяти тысячах, которые будет стоить издание Истории, сказал якобы: какой вздор! дам ли я такую сумму. Обедал, наконец, с личностью презренной — секретарем Пукаловым, жена которого была в наложницах у Аракчеева. Наконец, скрепя сердце и только что не стеля, поехал на поклон к Аракчееву, — и вскоре был принят царем. Хотел прочесть предисловие, два раза начинал, не мог. Отпущено шестьдесят тысяч на печатание Истории и дано позволение жить, — если он хочет, — в Царском Селе.

Разбитый, униженный, чувствуя себя уничтоженным, приехал он в Царское Село, — и зашел с Василием Львовичем в лицей, чтобы вспомнить молодость. Он любовался Александром. Семнадцать лет! Как в эти годы все нежно и незрело — о, как в эти годы не умеют кланяться, гнуть спину! Какие сны, стихи, будущее!

И еще более был он нужен дяде, Василию Львовичу, который отныне был «Вот».

Дядюшка Василий Львович менее всех был весел. Он любил меру во всем. Между тем самое имя его как арзамасца было, что ни говори, неприлично. Ехал он к Александру с противоречивыми чувствами. В коляске он долго хвастал им перед друзьями.

— Последние его эпиграммы по соли решительно лучше многого другого, — сказал он Вяземскому, измученному и насмешкам, — что не следовало забывать ни на минуту: Пушкины всегда писали эпиграммы. Подрастал его племянник — во всем учение и последователь. Неприятно было дяде одно: Александр был как бы принят уже в «Арзамас» и наречен более или менее прилично — Сверчком, без всяких обрядов. Между тем эти обряды принятия дядя Василий Львович не мог вспомнить без сожаления. Было это в доме Уварова. Сначала все шло остроумно и скорее всего напоминало театр: Его облачили в какой-то хитон с ракушками, на голову напялили широкополую шляпу, дали в руки посох. Он был пилигрим. Василий Львович хорошо понимал уместность этого наряда. «Пилигрим!» «Рассвет полночи!» «Мистика!» — Это была пародия. Ему завязали глаза, это еще куда ни шло. Потом его повели куда-то в подвал. Это ему не понравилось. Дальше хуже. Его упрятали под шубы, уверяя, что это — «расхищенные шубы» Шаховского и какое-то «шубное прение». Он чуть не задохся. При этом — какие-то церковные возгласы:

— Потерпи, потерпи, Василий Львович!

Он всегда был готов терпеть, если видел в этом смысл. Здесь же он не видел смысла. Впрочем, это все и должно было изобразить бессмыслицу «Беседы». Потом его заставили стрелять в какое-то чучело, а чучело неожиданно и само в него выстрелило. Некоторые говорили ему потом, что это хлопнушка. Но он упал — конечно, от неожиданности, а не от страха. Потом его купали в какой-то лохани, что вовсе не смешно, а опасно для здоровья, и провозгласили от имени «Беседы», что «Арзамас» есть вертеп, пристань разбойников и чудовищ, с чем Василий Львович почти был готов согласиться.

Потом, как бы в награду, его избрали старостой. Но до избрания Сверчка — Александра, староста, Вот, или, вообще говоря, дядя, думал по крайней мере, что все подвергаются этим утомительным обрядностям. Так вот же Сверчка избрали заглазно. Вот тебе и обряды!

Да, это было хоть и почетно, но как-то слишком молодо, не по летам и отзывалось шутовством.

И дядя в глубине души торжествовал, видя, как Карамзин, который, конечно, ничего не знал об его принятии, — а может быть, и знал, — смотрит на Александра благосклонно и с каким-то интересом. В мальчике будет толк; и как из его «Опасного соседа» и всех его боев с халдеями, что ни говори, появился на свет этот иногда чрезмерно шумный «Арзамас», так и мальчик есть плод его воспитания. Вот что не мешает не забывать.

3

К нему ездили гости, у него побывали Батюшков, Вяземский, а комната была все та: № 14 — бюро, железная кровать, решетка над дверью. Он назвал ее в стихах кельею, себя — пустынноиком, а в другом стихотворении — инвалидом; графин с холодной водою он назвал глиняным кувшином. Теперь он был юноша-мудрец, писал о лени, о смерти, которая во всем была похожа на лень, о деве в легком, прозрачном покрывале. Он знал окно напротив, где являлась раньше торопливая тень — Наташа, лучше, чем свое собственное. Он написал стихи и об этом окне. Окно разлучало унылых любовников или, напротив, тайно открывалось стыдливою рукою, — месяц был виден из этого окна. Он глаза проглядел, смотря в свое окно: напротив был флигель, где жили старые ведьмы, а девы в покрывале не было: Наташу давно куда-то согнали. Друзья напишут на его гробе:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона».

Он грыз перья, зачеркивал, бродил по лицу, вскакивал иногда по ночам с постели, чтобы записать стих — о лени.

Каждое утро, подбирая оглодки гусиных перьев, Фома удивлялся:

— Опять гуси прилетели.

Мудрец жил, наслаждался и умирал; с одинаковой легкостью, почти безразличием он играл на простой свирели или певнице, по поводу которой поднялся у Александра с Бюхлей спор: что такое певница? Поспорив, они с удивлением заметили, что никто из них хорошеняго не мог себе

представить, какой вид имеет цевница. Кюхля наотрез отказался считать ее простой пастушеской дудкой.

Мудрец любил: его любовь и томление кончались смертью, легкой и ничем не отличающейся от сна.

Когда он встретил в зале приехавшую к брату, молоденькую, очень застенчивую, очень стройную Бакунину, он понял, что влюблен.

Это было вовсе не похоже на то, что он испытывал, гоняясь за горничной Наташей, или смотря на оперу, в которой пела надтреснутым голосом другая Наталья (которую он никогда не называл Наташей). Это была очень сильная любовь, но только издали. Горничную Наташу он так и называл в стихах: Наташа, а Наталью — Натальей. Бакунину же он назвал Эвелиной, как прекрасную любовницу Шарри звали Элеонорой. Эвелине можно было писать только элегии.

Потребность видеть ее стала у него привычкой, — хоть не ее, хоть край платья, которое мелькнуло из-за деревьев. Раз он увидел ее в черном платье, она шла мимо лица, с кем-то разговаривая. Он был счастлив три минуты, — пока она не завернула за угол. Черное платье очень шло ей. Ночью он долго не ложился, глядя на деревья, из-за которых она показалась. Он написал стихи о смерти, которая присела у его порога, — в черном платье. Он прочел их и сам испугался этой тоски, — он знал, что это воображаемая тоска и воображаемая смерть, — от этого стихи были еще печальнее. Он удивился бы, если бы обнаружил, что хочет ее только видеть, а не говорить с нею. Что бы он сказал ей? И чем дальше шло время, тем встреча становилась все более невозможной и даже ненужной. Он по ночам томился и вздыхал.

Однажды, вздохнув, он остановился.

За стеной он услышал точно такой же вздох. Пущин не спал.

Александр заговорил с ним. Жанно неохотно признался, что вот уже две недели как влюблен и это мешает ему спать. Через две минуты Александр узнал с удивлением, что он влюблен в ту же Эвелину, то есть Екатерину, в Бакунину.

Странное дело, он не рассердился и не подумал ревновать. С любопытством он слушал Жанно, который жаловался на то, что Бакунина редко показывается. Назавтра Пущин, весь красный, сунул ему листок и потребовал прочесть. Александр прочел листок. Это было послание, довольно легкое по стишу. В послании говорилось о том, что стихи впервые написаны по приказу, — приказу прекрасной. Стихи были, конечно, не Кюхли: Кюхля писал только о дружбе и об осенней буре; и не Дельвига, который теперь называл себя в стихах стариком, старцем, Нестором. Пущин настаивал на том, что это был Илличевский, длинный, как верста. Пущина огорчали первые строки: написано по приказу, — значит, они встречались?

Александр с удовольствием на него поглядел. Все трое любили одну и при этом одновременно. Это было удивительно. Илличевскому он ничего не сказал, но когда тот унылой тенью бродил по коридору, он подолгу следил за ним.

Потом они однажды столкнулись все трое, лбом ко лбу: Пущин, Илличевский и он. Илличевский остолбенел и долго смотрел на них, разиня рот, пока не убедился, что открыт.

Потом он огорчился тем, что Пушкин и Пущин так громко и долго смеются.

Александр попрежнему был счастлив, когда видел Бакунину, он подстерегал ее, но ночные вздохи стали все реже. Он спал теперь спокойно, ровно, не просыпаясь до утра. Однажды ему стало вдруг по-настоящему грустно; он так и не увиделся с нею; он больше не хотел и почти боялся встретиться с ней; может быть, он не любил ее и раньше. Он отложил стихи к ней и по старался как можно реже о ней вспоминать.

4

Он знал, что его стихи лучше дядюшкиных: Василию Львовичу такие стихи решительно не давались; от смерти, которая присела у порога, не отказался бы и сам Батюшков. Воображаемый глиняный кувшин с прозрачною водою — графин — стоял на простом столе-конторке, окно, дева; такова была любовь и смерть молодого мудреца, затворника, ленивца: сны, мечтания. Теперь он не был более инвалид с балалайкой или монах. Он был мудрец.

Все старшие хотели такой жизни. Этот мудрец и ленивец очень нравился Горчакову. Горчаков прилежно, высунув кончик розового язычка, переписывал теперь все его стихи. Глаза его слегка туманились; казалось, Горчакову льстят эти стихи. Этот мудрец, любимый Аполлоном, казался ему в меру весел, в меру холоден, ветрен, ни дать ни взять сам Горчаков. Александр не любил, когда Горчаков переписывал его стихи похваливая.

Новый директор однажды протянул ему листок со стихами, который случайно ему попался: это были его стихи.

Директор одобрил эти стихи. Он улыбнулся ему, как сообщник, с видом слегка мечтательным, немного грустным, его бледно голубые глаза стали томны, широкий рот осклабился.

Директор долго ждал этого случая и очень недурно прочел четверостишие, потом другое. Он запомнил: стихи лицейского поэта.

Пушкин вдруг скрипнул зубами, повернулся и зашагал от него. Директор посмотрел ему вслед; широкий рот сомкнулся, блаженные глаза остановились. Он заложил руку за спину и медленно проследовал к себе в кабинет.

Нет, он не был мудрец, ленивец.

После отъезда Карамзина, дяди, Вяземского, он бродил целый вечер с раздутыми ноздрями, со странной решительностью в самозабвении, и Данзас с карандашом в руке, сдержав дыхание, приглядывался к нему и быстро рисовал, но так и не мог совладать и бросил начатый рисунок. Подошел Миша Яковлев, и он объяснил ему: он хотел нарисовать Пушкина обезьяною, сочиняющей стихи, — и не вышло: получился Вольтер, не было никакого сходства. Но так как Пушкин — помесь обезьяны с тигром, то он хотел потом нарисовать его в виде тигра, готовящегося к прыжку; сходство было, все шло хорошо, но, к сожалению, получился настоящий тигр.

Александр в самом деле как бы готовился к прыжку; со странной рас-

сеянностью, внезапным и коротким смехом, с отсутствующими глазами. «Арзамас» ждал его. Он с жадностью угадывал тот миг, когда дядя — староста «Арзамаса» — предоставит ему слово. Он не знал еще, что скажет, но предчувствовал все, что ему ответят.

В эту ночь он просыпался с бьющимся сердцем — он чувствовал себя обреченным; Карамзин и Вяземский чего-то ждали от него. Кругом была война, война против в к у с а, против поэзии, против ума, против Карамзина и Жуковского. Какие-то старики с варварским языком, с повадками сказочных дедов, приказные, дьячки копшились в «Беседе» и строили козни.

Он никого из них не знал. самого страшного из этого собора, Шаховского, который осмелел в пьесе Жуковского, «Беседа» венчала лавровым венком. Дашков написал кантату «Венчанье Шутовскова». Вяземский прислал ему кантату. Александр всю ее списал. Этот Шутовской был немного другого склада, чем его товарищи по «Беседе», — тоже на букву Ш. — Шипиков и Шихматов. Он был остер, и Вяземский сказал, что ненавистная пьеса, в которой был осмелен Жуковский, была смешна и имела громкий успех у райка. Тем хуже для него! Его обвинили в том, что он — причина смерти благородного Озерова, он не принял его шнису, зарезал ее, будучи директором театра, и Озеров в безумии умер. Это было преступлением, требовавшим мести. Враги смеялись над элегиями Жуковского, над тонкостью Карамзина, над легкостью дяди Василия Львовича. Бородачи смеялись над здравым смыслом. Он не читал, да и не собирался читать их допотопные поэмы, их раскольниковы агафисты, их визгливые стихи, которые они называли одами. Он был потомственный враг дьячков, варваров, церковной славянины. Война! Безвозможно было держать его — со страстями, с сердцем — взаперти и не позволять участвовать даже в невинном удовольствии высмеивать эту «Беседу» губителей русского слова! (Любителей давно прозвали губителями.) И покойную академию, в орденах, звездах и латах!

Война!

Здесь, в Царском Селе, он не мог участвовать на заседаниях «Арзамаса», кушать достославного арзамасского гуся. Но зато однажды он видел наклонную тень простого генерала, невзрачно одетого, уныло шедшего вдоль дворца, вместе с тучным комендантом.

У генерала был мясистый нос, отвислые, разинутые губы штабного писаря; он остановился и гнусавым голосом дьячка что-то сказал коменданту. И по тому, как вытянулся и затрепетал тучный комендант, он понял: Аракчеев. Тусклыми глазами осмотрев все кругом, заложив руку за спину, не заметив, казалось, ни статуй, ни колонн, ни всего этого места с его старою славою, генерал, выпрямив грудь, проследовал во дворец.

В руках у Александра было перо, он, грызя его, писал стихи о прекрасной любовнице, которой не знал. И он посмотрел кругом: гнусавый генерал, комендант наполнили страшными буднями этот сад, кругом не было ни женщин, ни стихов. Он спрятал листок со стихами в карман.

Война!

Он, раздув ноздри, писал теперь о «Беседе» губителей русского слова, о варварах, о гнусавых дьячках, о визге ржавых варяжских стихов. Он не знал никого из них, не видел ни седого деда Шипикова, ни монаха Шихматова, но ему казалось, что он их знал, видел.

Это они тайком слонялись мимо лицея. Он не разбирал теперь имен,— все старое мешало жить. Сумароков, которого Шишков произвел в гении, был карлик и завистник. Шутовской был злодей.

Галич неожиданно помог ему. Толстый, благосклонный, апостол пегги или, попросту, лени, Галич был далек от предрассудков. Он прочел им лекцию о сатире.

Сатира делилась на сатиру личную (пасквиль), частную и общую. Пасквиль обнаруживал заразительный образ мыслей и поступков отдельного лица и жертвовал спорною его честью общему благу, карая только таких безумцев и порочных, коих пагубное влияние на общественную нравственность никакими другими средствами отвращено быть не могло... Сатира личная была своевольна, она обращалась без разбору и к дурачкам, и к странностям, и к порокам, не исключая физических, и любила оригиналы отечественные и современные.

С застывшей улыбкою, не дыша, не записывая, слушал Александр толстого мудреца.

Нет, поэзия была не только в этой жалобе, в этой музыке, которая называлась элегией, не в этой любви к деве, которую он назвал Эвелиной, она была не только в той безымянной сатире, которая осмеивала монахов и седых игумений—рядом со дворцом,—она была в сатире, общей, частной и личной. Он жаждал встречи с врагами. Недаром дядю принимали в яковинском колпаке. Война!

Пушкин, Пушкин, Ломоносов получили приглашение на бал к Бакуниным.

Весь день Пушкин был в волнении: это был первый его выход в свет. Эвелина ждала его. Впрочем, он не знал, как встретится с Екатериной Бакуниной.

Ломоносов попросил дядьку Фому начистить мелом пуговицы на мундире и любовался: они теперь блестяли. Жанно, попробовав растянуть панталоны, из которых вырос, отказался от своего намерения.

Они отправились на бал. Пушкин был сумрачен и неловок. Он слишком много написал стихов Бакуниной, чтоб радоваться этой встрече или чего-нибудь ждать.

Но окна у Бакуниных были освещены, женские тени мелькали, он вдруг задохнулся, засмеялся, взял за руку Жанно и сказал, что сегодня будет танцевать.

Жанно, второй влюбленный, тоже собирался.

Сотни свечей горели, на хорах музыканты настраивали скрипки.

Бледная, с покатыми плечами, с неровным румянцем, Бакунина встретила их с улыбкой, которой он боялся. Может быть, она и не была так прекрасна. Она была похожа на свою мать, что он впервые заметил. Мать была окружена молоденькими бледными людьми, странно похожими друг на друга. Это все были дамские угодники, которых Пушкин не терпел. Старая Бакунина их пригревала. Двое гусар в свисающих с плеч ментиках подошли к ним: Соломирский, Чаадаев. Оба были знаменитые щеголи, слава, об их щегольстве и соперничестве занимала всех царскосельских обывателей. Они любили появляться на балах вместе, почти не разговаривая друг с другом, почти не глядя друг на друга, провожаемые широко раскрытыми женскими глазами. Всегда шевелились, красавицы переговаривались.

Подруги Эвелины чему-то засмеялись, и оба гусара, как по команде, двинулись к ним.

Танцы начались. Бакунина открыла бал с Соломирским.

Там, где был Чаадаев, там был прежде всего он, и только потом — другие. Бакунина это хорошо знала. А теперь еще стали поговаривать о близком назначении его.

Чаадаев стал танцевать мазурку.

И как всегда, женщины подивились, — он не был красив, не был пылок, как приличествовало танцу. Он танцевал без молодечества, топая. Эвелина сказала вдруг, что Чаадаев похож на статую. И все согласились.

Танцевал он ни скоро, ни медленно, и когда улыбался, его улыбка была медленной наградой всех женщин. И они улыбались. Пушкин смотрел на него, как зачарованный.

Возвращались вдвоем. Чаадаев шел, осторожно ставя ноги и ни разу не задев веток, ни разу не размахнув рукой. Стройней его не было, чище его мундира не было. Подходя к казармам, Пушкин почувствовал, что все это было чаадаевской мудростью. Не было рабства случайности.

5

Пушкин был самый трудный и непонятный для директора пример молодого человека, который во всем стремится против своей собственной пользы.

Получив это странное и противоречивое заведение в руки, директор постарался прежде всего уяснить его цели и ввести всех в рамки. Он приготовился к укрошению, но только одним средством: добродушием.

Директор Егор Антонович Энгельгардт стремился во всем к правильности. Воспитанный в большом, но скромном лифляндском городе, он с самого начала, брошенный на государственную службу, поставил себе за правило не доискиваться ясного смысла событий, но к каждому шагу своему и других относиться с аккуратностью. Император Павел, во всем внезапный, сделал его секретарем Мальтийского ордена. Не очень понимая, зачем императору этот орден, Егор Антонович начал с того, что на зубок выучил все его статьи, и мог любой параграф ответить без запинки. Это произвело на императора сильное действие. Александр Павлович, наследник, не твердо знал параграфы; Энгельгардт добровольно, тихом, стал его репетитором и, случалось, выручал. Так открылись ему самые глубокие цели педагогики: научить человека избегать неприятностей, приучить его к порядку.

В 1812 году он стал директором Педагогического института. Он был образован, добродушен, толерантен. Он читал избранные места из лучших философов, как древних, так и новых, и всегда извлекал крупицу пользы из самых непонятных или даже ненужных. Он был не прочь почитать и извлечь нечто даже и из вольнодумных философов, которые теперь опять входили в моду. Егор Антонович привык к изменению общественной атмосферы и привык уловлять новую моду. Философическое и нравственное мечтательное вольнодумство он вполне допускал.

Несмотря на эту его образованность, его любил граф Аракчеев. Привыкнув не пренебрегать никакими случайностями, Егор Антонович приобрел себе дачу в Царском Селе, вдали от дворца. Встречи с императором, незначи-

тельные, редкие, но тем более приятные, вскоре снова обратили на него внимание.

Однажды Егор Антонович был вызван к графу Аракчееву, и ему было объявлено о том, что он — директор лицея. Аракчеев привык приводить в порядок все грехи молодости императора. В кабинете же Аракчеева Егором Антоновичем была составлена записка о лицее. Лицей был в совершенном беспорядке, воспитанники разнуздались. Самое заведение было сомнительно. Записка была умна и полна достоинства: он требовал освобождения директора от всякой мелочной зависимости, полагающей беспрестанные преграды его действию, потому что «директор должен быть в заведении как отец семейства и подобно ему управлять».

Это было как раз то, что нужно.

Аракчеев даже повторил:

— Отец, отец семейства.

И Егор Антонович, склонив голову, тихо согласился со своей собственной мыслью:

— Семейства.

Медленно, исподволь директор начал осматриваться, находить доступ к сердцам. Понимая, что только младшие, будущие курсы будут, так сказать, детьми его сердца, он по отношению к старшему курсу твердо понял одно: им осталось пробить в лицее всего полтора года и всякое, даже незначительное улучшение будет благом.

Он постепенно изучил их вкусы, наклонности, малые слабости. Большие слабости были проступками, с которыми надо было неуклонно бороться; а на проступки большие приходилось так или иначе закрывать глаза. Его поразило одно обстоятельство: при честолюбии воспитанников, иногда скрытом, иногда же пламенном и явном, которое всемерно поощрялось первым директором Малиновским и его приятелем Куняцыным, при их несомненной уверенности, что они призваны к высоким делам, совершенно было неизвестно, какая карьера их ожидает, и даже вообще, чем они займутся по окончании лицея.

Прежде всего он занялся тем, что начал изглаживать это пламенное и во многом вредное направление первого директора и постарался, чтобы самого директора позабыли. Затем он стал переводить беспредметное и потому опасное направление умов на более ежедневное, скромное честолюбие. Он часто беседовал с Корфом и хвалил его понятливость. Не служение отечеству, а карьера — вот что единственно могло составить счастье молодых людей. Горчаков, Ломоносов, Корсаков по своему обхождению, вежливости, наклонностям, были способны к дипломатической службе. Он вспомнил, как в молодости начинал карьеру дипломатическим курьером, и присел вместе с ними за клейку дипломатических конвертов. Клейка эта была делом вовсе не таким простым, ибо конверт для дипломатических бумаг должно было делать без ножниц. Он задавал им писать депеши, держать журнал, заставлял понимать, что такое различная форма пакетов. Ему было приятно вспомнить, а им приятно узнать, прежде чем вступить в должность, все эти мелочи.

Сидя с молодежью, он вспоминал с добродушием все случаи и анекдоты о королях, о дипломатах. Он был на Аахенском конгрессе и видел всех ко-

ролей. Горчаков жадно его слушал. Так он стал их готовить к ловкости и житейской опытности на этом скользком и блестящем поприще.

Другие были еще проще: это были Вальховский, Матюшкин. Эти только по недоразумению попали в статское заведение, а не в военное. Строя и военных тонкостей Энгельгардт боялся по ранним воспоминаниям и не желал их вводить в лицей. Тогда бы во все стал вмешиваться Аракчеев. Нет, дело было много тоньше. Военных подготовить легко, но министров — трудно.

Он вовсе не отказался от начертаний Сперанского, о которых слышал, но все хотел ввести в русло скромное и практическое. Короче — он желал счастья воспитанникам. Луч же этого счастья озарил бы и его, директора-отца.

Третьи были всего труднее и опаснее: Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер — поэты. Кюхельбекер был до крайности прост и, несмотря на безумства, добр и отходчив. Но Дельвиг — холодный насмешник.

Пушкин же...

У Егора Антоновича были свои особые виды на то, как может быть устроено счастье этого воспитанника сразу и, видимо, без трудов добившегося одобрения Державина на экзамене, пользовавшегося, без особых на то прав, расположением Карамзина и прочих. До времени же он должен был ввести его в границы.

Во-первых, Егор Антонович признавал, и очень, поэзию, но признавал ее как средство к образованию, как развлечение, как то, что правится женщинам, наконец, как приятное меланхолическое занятие. Но он не признавал ее как страсть. Эти оглодки гусиных перьев, этот быстрый, острый и невидящий взор Пушкина, грызущее перо, эта дикая улыбка — все это было страсть. Он попробовал было задеть струны его чувствительности, но однажды в зале он услышал грубый смех Пушкина над одной невинной и печальной тирадой старого стихотворца — и содрогнулся. Он понял: Пушкин был горд и бессердечен. Он не был добродушен. Ранние знакомства, поощрения, визиты всех этих писателей в лицей и тому подобное его надули и развратили гордостию. Между тем, по правде говоря, и стихи его были холодны, а стихи должны прежде всего быть теплы.

В глубине души Егор Антонович не хотел признаться: он бы с восторгом сблизился с Карамзиным; Карамзин же посетил Пушкина. Но когда Егор Антонович начинал говорить с Пушкиным о его стихах, он путался этого молчания, холода, невнимания к похвалам, даже какого-то нежелания их, которые он получал в ответ на комплименты. Егор Антонович не был ни ловеласом, ни ханжой. Он вовсе не считал религию единственным времяпрепровождением.

Но какие-либо насмешки над всем, принадлежащим церкви, он считал черным и чем-то преступным, пахнувшим судом и следствием. Вспоминая свои ранние труды по Мальтийскому ордену, он вполне понимал, какое значение для карьеры, для прочного и приличного пути в жизни имела и религия со всеми ее частностями. Но до него дошел слух о каких-то стипендиях Пушкина, едва ли не преступных, о монахе, монахинях и прочем. Он не был ханжой и не желал этого знать. Оставался один только путь к сердцу этого молодого человека — женщины.

Егор Антонович был умудрен опытом и отлично знал, какой вес имеют

в важных делах, как выдвигают иногда на первое место одна улыбка женщины, одно оброненное ею слово. Он и сам был вовсе не стар — человек приятного, среднего возраста — сорока лет. Он и сам еще танцевал не без ловкости. Трудно было, правда, представить себе, каким он был в двадцать лет, но зато невозможно, каким он будет в — шестьдесят. Он был всецело за то, чтобы воспитанники обтесались, несколько умягчились в женском обществе. Он отлично понимал, откуда у Пушкина этот холодок к нему, эта врезанность и дерзость. Все это — была гусарская казарма, в которую он бегал. Прекратить эти посещения директор, однако, не мог. И он решил ввести вечера у себя и приглашать на них, с одной стороны, знакомых и близких его семейству дам, а с другой, — липейских воспитанников. Быть может, это приблизит, приручит и Пушкина. Ему случалось видеть, как и не такие головорезы становились в обществе дам скромниками, мягкими, как воск.

В своем доме директор решительно изгладил все следы старого хозяина. Всюду были цветы, художник расписал стены цветами. Вечер бы удался, если бы не Пушкин.

Во время танцев он был невозможен. Прежде всего, он дурно танцевал; это бы ничего — кроме Горчакова, все они дурно танцевали, и это вызывало только смех. Но в семью Егора Антоновича приехала его дальняя родственница, Мария Смит. Судьба этой молодой дамы была трогательна: она была вдова. И вот Пушкин стал усиленно показывать, что тронут, — хорошо бы, если бы участью молодой вдовы, — нет ее шрелестями.

Он прижимался и задыхался во время танцев. Егор Антонович с изумлением заметил, что молодая дама, родственница его жены, весьма воспитанная особа, урожденная Шарон-Лероз, вдова, тоже не осталась безразличной к вниманию повесы: лицо ее пылало. Слабым взмахом руки директор прекратил музыку. Еще одно начинание по отношению к Пушкину дало вовсе не тот эффект, на который он рассчитывал. Более того: эффект был скандален. Резвый, почти светский круг молодых дам и юношей в директорском доме был низведен этим юнцом до степени какого-то шустер-клуба. Директор завидовал: он слышал уже о бале у Бакуниных и втайне уже перед своим вечером огорчался. Все же в глубине души он надеялся блеснуть — в конце концов, чем Мария хуже Бакуниной! Она будет у него скромною царицей бала! Так думал он перед своим вечером. И вот как все это обернулось. Директор опасался еще худшего: юнец и Мария куда-то исчезли, и он сам принужден был искать их в своем саду. Он их нашел, Пушкин более не будет приглашаться, но кто поручится, что негодник не назначил свидание где-нибудь тут же, неподалеку, — завтра или через неделю?

Егор Антонович недаром был обеспокоен. Где был Пушкин там были страсти. Он ненавидел страсти. Корф, который обещал быть разумным, кажется, понимал, что такое разумная карьера, был отличен доверием Егора Антоновича. И он после одного разговора с директором, записал: «Пушкин бездушен. Вместо души есть у него две страсти: стихи и женщины».

Мария, столь уместное и даже нужное для воспитания женское существо, при Пушкине преображалась. Она более не нуждалась в утешениях.

Добро же! Следя хозяйственным нравственным оком, он вскоре оказался принужденным указать молодой вдове двери. Она более не обращала внимания на сделанную так тщательно из картона самим директором надпись и рамочку.

О, эта уютная скорбь! Рамочка! Нет, молодая вдова обезумела. Она предалась на волю случая. В одну ночь она узнала все, о чем и не подозревала. Это был дьявол, учивший ее небывалому.

Егор Антонович, чуть не наткнувшийся на страсти, тотчас положил предел пребыванию в директорском доме молодой вдовы. Он был оскорблен. Рамочка, над которой он с такой трогательностью трудился, была в тот же день приспособлена директором для пакета письма и замечаний по службе. В алфавит лицейский он внес запись о Пушкине, как о бездушном и беспамятном.

6

Двадцать четвертого мая приехали Карамзины. Приехали навсегда. Историкограф покинул любимую Москву по одному любезному, шаткому слову царя, которого он дождался всю жизнь. Он был историкограф, будущий советник царя, но дом ему отвели неудобный и сырой. Китайская Деревня, деревенька па китайский вкус — с островерхими окнами, с замысловатыми изображениями на красках и стенах домиков, неподалеку от Малого Каприза, за рвом, была недокончена. Четыре домика были убраны фаянсовыми печами и ламинами, стены выложены фаянсовыми плитками, а остальные недостроены, забыты, и в них гнездились летучие мыши.

Домики были малы, потому что предназначались для приезжих холостых придворных кавалеров. Миловидные садики окружали китайские хижины. В одной из них Карамзин устроил свой кабинет, в другой поселилась жена с детьми, в третьей была кухня и жили слуги. С тайной горечью смотрел писатель на свои красивые домики. Он боялся себе сознаться в том, что домики — игрушечные, что они педобны, и что, если ими приятно любоваться, то жить в них трудно. Он об этом никому не говорил. Тургенев, который их для него готовил и хлопотал, обиделся бы. Катерине Андреевне же всегда он показывал полное довольство. Труды всей его жизни были вознаграждены. Он был советник царя. И однако же, если бы не посетил Аракчеева, так бы и не был принят — всю жизнь. Посетив же его — был принят назавтра. Впрочем, царь полюбил теперь гулять мимо его домика и однажды поднес жене его букет цветов, им самим нарванных. Тайная горечь и тут не оставила Карамзина. Он был историкограф, советник царя, посещал его. И однако же, ни разу — ни разу — не побеседовал. Он побледнел, увидев, с каким выражением на обольстительном белом лице царь подносил цветы его жене. Его жена была прекрасна. Но нужно было издать Историю Государства Российского и мудро, как он всегда делал в своей жизни, он решил покориться и ждать.

О утра, в своем отдельном домике, он просматривал рукописи, исписанные почерком крупным и ясным, и который раз исправлял погрешности. В три часа он надевал черный аглицкий дорожный костюм, и ему подавали

серого аргамака. Он ехал верхом, а слуга шествовал впереди. По дороге он указывал слуге гриб, и слуга срывал его.

Это была прогулка.

Император пока не попадался,—быть может, не попадется до конца,—и Карамзин был этому почти рад.

Обед и вечерний чай.

Как была теперь, после окончания трудов, незанята, свободна его жизнь. как его ласкали при дворе, как мало думал о нем государь, оставшийся для него загадкой.

Искусственность теперешней его квартиры, искусственность самого подожжения его он переносил, как древний стоик, улыбаясь. Вот почему, когда он слышал быстрые, широкие шаги Пушкина, и не подозревавшего о его настоящей жизни, он сразу захлопывал журнал, который перелистывал. Вот почему он прощал ему и тот взгляд, которым тот встречал Катерину Андреевну,—взгляд немой и умоляющий, значение которого стареющий историограф прекрасно понимал.

7

Впервые Пушкин видел это прекрасное спокойствие, это внимание серых глаз. Ломоносов, который вместе с ним пришел, не узнавал его. Он привык к молчаливости Пушкина, он знал, что Пушкин дичок, и приготовился блеснуть — рядом с сумрачным поэтом, с дичком. Ломоносов был остроумен, и это было петрудно.

Но Пушкин не давал ему раскрыть рта. Он преобразился.

Он словно впервые почувствовал себя собою, впервые нашел себя. Через три минуты он добился своего: он услышал звонкий смех Катерины Андреевны и увидел удивление на лице Карамзина. Этого смеха Карамзин не слышал уже давно.

Назавтра он в неурочное время, наскоро пообедав, убежал к Карамзинным. Был час, когда историограф отправлялся гулять. Она вышивала в своем домике на пальцах и удивилась, испугалась, увидя его.—Здесь все ходят мимо этой уединенной хижины и чуть не заглядывают в окна,—объяснила она недовольно.

Потом она заставила его разматывать шелк, и он, стоя на коленях, с необыкновенным прилежанием следил за длинными пальцами, ловко и спокойно бравшими шелк с его пальцев. Потом она прогнала его, сказав, что его будут искать и посадят на хлеб и на воду. Он не должен убегать от своего директора. Пушкин ушел в отчаянии: она его считала школяром и более никем.

Он забыл самую дорогу к гусарам, к которым он так было привык, которые так к нему привыкли: участь его была решена. Теперь каждый день он будет ходить в Китайскую Деревню.

А молодая вдова? Лиля?

Но это не имело никакого отношения к Китайской Деревне. Было бы преступно даже думать о ней здесь. В присутствии хозяйки он не думал решительно ни о ком более. А она считала его школяром и больше никем.

Он был школяром и притом, по мнению директора, способным на все. Каждый вечер директор теперь осторожно поглядывал с балкона. Дважды замечал он Пушкина, поспешно уходящего. Будь это другой, он окликнул бы его, и начался бы разговор, более или менее задушевный. Прекратить поздние прогулки старших Егор Антонович не мог, предоставив себе не допускать их в будущем у младших. Он хмурился: замечено было, что Пушкин уходил в тусарские казармы. Можно легко себе представить плоды его воспитания там, рядом с конюшнями! Теперь — директор развзнал — эти похождения решительно кончились: он ходил каждый вечер к Карамзиным. Это было совсем другое дело. Все же директор машинально оборачивался — поглядеть, здесь ли молодая вдова. И часто, к своему неудовольствию, обнаруживал ее отсутствие. Тогда он начинал свою уединенную прогулку по царскосельским садам, втайне боясь наткнуться на что-то вовсе неожиданное; он не доверял молодой вдове: она только в день своего приезда, и то более из приличия, поплакала; она была молода, смешлива.

Молодая вдова скучала, — Егор Антонович не мог развлечь ее. Этот школяр был дурен собою, но она отличила его в первый же вечер, — может быть, именно потому, что она скучала. Поэтому и дыханье ее было прерывисто, румянец слишком жив во время танца, что тотчас было замечено директором и поставлено в счет Пушкину.

Бакунина была Эвелиной. Ее он сразу же назвал Лилой. Самое имя звучало, как поцелуй.

Директор был прав, когда боялся наткнуться в саду на что-то непревиденное, — быть может, поцелуй. У них были условленные свиданья. Она была беспомощна, покорна и жадна, виноватые поцелуи слишком долги. Он впервые узнал власть над женщиной, она предавалась ему безусловно. Да, он был школяром; был может, то, что она была молодою вдовой, всего более ему нравилось. Тень ревнивица-мужа, которая являлась из холодной замогильной стороны, чтоб отомстить любовникам, мерещилась ему во время этих свиданий. Впрочем, не только покойный муж мерещился ему, но и другая тень: директор, который обладал верным чутьем, погуливал теперь по царскосельским садам, подстерегая любовников.

9

Впрочем, у Энгельгардта была и другая цель, другая надежда: встретить императора. Случайная встреча, небрежный кивок головы — и благоденствие его и лица было бы обеспечено на долгие годы. Прогуливаясь, директор часто думал о будущем. Он хотел счастья своим воспитанникам, счастья, которое так легко, вечером, могло перенестись из дворца в липей, к воспитанникам и к нему — их отцу. Успехи директора, которые для посторонних лиц казались легкими, стоили ему больших трудов.

Дружба и вместе надежда на будущность его детей, его питомцев росла. С ним были дружны теперь не только «дипломаты», которые были легки и в танцах, и в мыслях, — Горчаков, Ломоносов, Корсаков, — он подружился с Пушиным, завоевал его приязнь справедливостью, с которой разобрал ссору Малиновского и Бюхли, и благожелательностью.

Только спартанец Вальховский, клевет первого директора, без улыбки, хотя и вежливо, встречал его ласкательство. Вальховский был слишком преувеличенно, добродетелен и честен. Не нужно увлекаться, ах, молодой человек!

И — крайности сходятся: его не любили самый добродетельный — Вальховский и самый порочный — Пушкин.

Он уже определил будущность обоих: Вальховский, со своей прямолинейной и страстной добродетелью, пойдет, конечно, по военной части, — статская служба для него слишком извилиста. И бог с ним! Думать более о нем пока не нужно, и на счастье, которое бы могло его озарить, рассчитывать нельзя. Но Пушкин — дело другое.

Директор сумрачно ненавидел его за заносчивость и бессердечие и ничего для него не хотел в будущем, — но он — его воспитатель. Как могли из лицейских выйти счастливые дипломаты — так, почему не могли выйти и счастливые поэты. Дворец был близок, этого не надо было забывать. Ловя в саду пылку — увы! может быть, слишком! — молодую вдову, директор и боялся, и желал близости дворца.

10

Теперь каждое утро Пушкин просыпался с этою новою целью: он должен был быть уверен, что вечером будет сидеть за круглым столом, видеть ее, слышать ее нескорую русскую речь, так непохожую на картавую, гортанную французскую речь его матери, на лепет всех других женщин, которых он видел до сих пор. Все было спокойно и предсказано в этом доме, за этим столом, в ее присутствии. Скупые и тихие вопросы Карамзина, этого великого человека с горькой складкой у рта, тишина этой китайской хранины, в которой их поселили, редкие шалости детей, кривбегавших сюда из своего домика, — и она, все она, ее серые умные глаза. Он не мог представить, чем была бы эта комната без нее. Эти две недели он забыл дорогу к гусарам — лицейское время коротко! Хотя это и было трудно, и она ему это запретила, он приходил в неурочное время, потому что не любил видеть супругов вместе. Китайская Деревня была в двух шагах от лицей. Однажды он пришел, когда ее не было дома. Лето было дождливое, пасмурное. Он нашел Карамзина одного. Кутаясь в плед, сидел он у камина, который для него растопили слуга. Он не был советником царя, а просто старым литератором, который был один среди своего холодного, красивого домика-кабинета.

Он и сам был холоден, или остыл. Ничто не возмущало, не должно было возмущать здесь мира: Вяземский говорил о нем, что он «постригся в истории», — о да, это был великий постриг. И как пришла бы по его советам к вождьленному покою вся страна, вся беспокойная история, в порядке, единственно возможном, хотя может и не столь утешительном, — так явно приходила к миру и вся его жизнь. Да, спокойствие всего в России было основано на мудрой системе права крепости над поселянами. Спорить против этого естественного закона, на котором все держалось, было неумно и бесполезно. Спокойствие его жизни было основано на примирении со всем существующим — пусть иногда и неприятным.

И, несмотря на укомы самолюбия, на некоторую пустоту, которую он вокруг себя иногда чувствовал, — он полагался на это.

С опозданием приходило его счастье. Царь вдруг разрешил печатанье истории. Как раньше он принял его тотчас после визита к Аракчееву, — так и теперь это было назавтра после того, как царь нарвал цветы для Катерины Андреевны. Сомнение томило его. Пусть! Но теперь началось самое горшее: его почему-то будут печатать в военной типографии. Начальник этой типографии, более приличной для приказов, чем для Истории Государства Российского, — генерал Захаржевский. И сегодня он получил от него обратно весь свой труд с требованием представить в цензуру. Но какая же цензура нужна для государственного историографа! Он подлежит цензуре царя — и более ничей. Этот пылкий генерал, завидующий его положению в Царском Селе, кажется, заблуждается в степени своей власти. А быть может, и не заблуждается? Молчание! Он вдруг почувствовал сильное желание пожаловаться Пушкину, этому Сверчку, и еле сдержался. Он знал, например, что и этот мальчик, который такими странными взглядами следует за женщинами, придет страстные стихи, которому не сидится на месте в его лице, — тоже скоро остепенится. Как была резка и необдуманна во всем деятельность Сперанского, основывавшего всюду эти учебные заведения без системы, без планов! Какие семена для будущего!

И однакоже единственные люди, с кем теперь можно было отдохнуть в этом успокоившемся, полном придворных забот мире, были арзамасцы, да еще эти лицейские, с их пылом, вздором, торопливостью, вечным смыслом и спорами. И, попросив Пушкина прочесть ему что-либо новое, он стал его слушать. Пушкин достал листок, вдруг вспыхнул и снова спрятал в карман. Карамзин, пожав плечами, тихим голосом попросил его читать. Он знал, что его тихим просьбам не отказывают. В замешательстве Пушкин стал читать, и постепенно голос его окреп.

Потом, слушая чтение лицейского поэта Сверчка, Карамзин вдруг понял, что Пушкин пес сюда, к нему в дом, это стихотворение, чтобы прочесть его Катерине Андреевне.

Медлительно влекутся дни мои . . .
. . . Пускай умру, но пусть умру, любя!

Как он прочел последнюю строку!

Кому он писал это?

Стихи были, впрочем, прекрасные. И, улыбнувшись, ничего не сказав поэту, только кивнув головой, Карамзин отпустил его дружески.

Да! Он боялся сознаться себе, что в Царском Селе он был один, как перст, не будь здесь этих юнцов. Он кончил на-днях предисловие к своему заветному труду и некому было его прочесть. Тургенев был в хлопотах, давно не показываясь. И вот однажды, когда у него сидели дипломат Ломоносов и поэт Пушкин, он улучил миг тишины, лист с предисловием оказался близко, и он прочел им — первым — свое предисловие, свое «верую». И с первой своей фразы, читая, он увидел, что нужны поправки, чего раньше не замечал. «Библия для христиан то же, что для народа история», — он стал читать и остановился, посмотрел на слушателей. О, умные глаза юнцов! Все слова, имеющие смысл высокий и туманный, здесь, в Царском Селе, приобретали свой истинный смысл. «Библия», «христиане»... Помилуй бог! Да ведь это то же, что сказал бы Голицын, который, верно, теперь сидит здесь

неподалеку, во дворце, и, может быть, толкует и о библии, и о христиане И он, не чинясь, тут же, при молодых, исправил: «История есть священни книга народов».

Он читал и поглядывал на Пушкина. «Мы все граждане — в Европе и Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любит его, ибо любит себя. Пусть греки, римляне пленяют вообще: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужды по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям. Но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое сильнее бьется за Пожарского, и жели за Фемистокла или Циципона».

«...Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество...»

Пушкин сидел тихо, и только глаза его, как бывало у матери его, «пу красной креолки», которую уже не раз вспомнил историограф, загорались гасли, говорили. Тишина была такая, точно они не дышали. Да, это был слушатель истинный, для которого он сидел в этой пыльной клетке, красивой китайской хижине. И когда он, кончив, захотел припомнить еще раз первую страницу, Пушкин быстро прочел ему, по памяти. И в первый раз за это время, когда приходилось униженно ждать высочайшего приема, пришлось скрывать от жены тоску, пустоту, старость, приходилось улыбаться стареющий писатель почувствовал счастье.

Он встал и, пройдя мимо Пушкина, коснулся руки его. За дверью отер слезы.

Он прочел этому юному забредшему к нему поэту лист, лежавший у него на коленях, для сличения с примечаниями — о златом беспечном времени пирах Владимира, которого народ прозвал Солнцем, — как Владимир приказал сварить триста варь меду и восемь дней праздновал с боярами в Замке, и как они упились крепким медом. «С того времени, — прочел он Пушкину, — сей князь всякую неделю угощал в гриднице бояр, гридничников, десятских и людей именитых или нарочитых».

Пушкин рассеянно скользил взглядом по комнате, и вдруг оказал что он ищет карандаш и бумагу. Увидя их на столе, он тотчас ими занялся, стал грызть карандаш (дурная привычка!), отрывисто спросил, что такое гридница, что такое гридня, и, получив ответ, что гридница — род дворовой прихорей, а гридня — княжеский меченосец, записал и стал покусывать губы (хорошо же его воспитал Сергей Львович!). Карамзин забавлялся, впрочем, после этих вопросов внес объяснение в текст, ибо не все может спросить, читая книгу.

— Вот бы и написали поэмку в старом роде, шутиливую, простенькую, изящную.

Но Пушкин смотрел мимо него и на совет Карамзина сморщился. Удивительна была своеправность Пушкина — точный Сергей Львович. Может быть, слово поэмка не понравилось ему? Но он и сам писал поэмки — «Муромца», например, — и не думал считать этого недостойным. Шутливая пристойность, изящество — вот что требуется от этого рода поэзии, — и вовсе не безделица. С убегающими глазами, Пушкин более его не слушал, грыз карандаш, так что в конце концов Карамзин тихо протянул руку и взял у него карандаш. Нет, он, кажется, не обиделся, а просто мысленно блуждала. Наконец с ним можно было поговорить. Нет, это не Сергей.

вич,—это блуждание мыслей было иногда и у его матери, «прекрасной креолки»; он и лицом напоминал ее. И он попросил поэта прочесть ему что-нибудь новое, новенькое. Пушкин достал листок.

11

В этот год их больше объединяли прогулки, чем уроки. Никто не требовал тишины; дисциплина была забыта безвозвратно, и профессора заботились только об экзаменах, которые грозили в будущем как лиценстам, так, равно, и им. За черным столом сидел теперь только иногда Мясоедов, который был не только безграмотен, но и груб. Куницын притих, сторбился. Он стал строг, равнодушно спрашивал у Корфа лекции по тетрадке и поправлял его, если тот что-либо пропускал. Пушкина он никогда не спрашивал по тетрадке, и Пушкин почти никогда не записывал. Но он слушал — его одного из всех профессоров; казалось, он и этот профессор совершенно понимали друг друга. Корф тихо сжимал кулаки из-за этого пристрастия.

Только однажды он загорелся, как бывало, когда он объяснял им, что такое общественный договор.

— Тираны отменяют его, — сказал он, — а как верховная власть принадлежит народу, — договор расторгается с обеих сторон бесспоротно.

Он вдруг замолчал, щеки его порозовели. Кюхля скрипел пером, записывая, и чернильные брызги летели во все стороны.

И, успокоившись, Куницын тихо попросил записать, что это все относится к племенам давно минувшим.

Кюхля положил перо.

Теперь прогулки их были ограничены; двор был в Царском Селе. Нельзя было шуметь, а идти нужно было чинно, строем: император любил чинный строй даже у статских и выходил из себя, если замечал непорядочно шагающих.

Раз и навсегда молчаливо сговорясь, Пушкин, Дельвиг и Кюхля отсутствовали на прогулке; рука об руку они шли позади всех и спорили о Горации, Руссо, о Парни, деде Шишкове, Шихматове и Шиллере, о женской неверности.

Теперь, когда они уже печатались, они читали только новые книги, — даже Кюхле мать выписала из Москвы старомодный журнал «Амфион», заплатив за него пятнадцать рублей и отказавшись от одной поездки в лицей. Ломоносов завел даже свой особый книжный шкаф, у него было двести — триста книг. Будри привозил в лицей Кюхле книги — «Векфильдского священника», над которым Кюхля обливался слезами, Грессе, которого у него сразу же зачитал Пушкин. Кюхля был ярый спорщик, Дельвиг почти всегда был с ним несогласен, Пушкин наслаждался спорами. Каждый оставался при своем. Крайности мнений были удивительные. Так однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским фатом, педантом, вроде Кошанского, и все трое, пораженные, остановились. Другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собою Гомера по-гречески и пытался его заучивно читать, назвал Гомера болтуном, и они вместе с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхли.

Теперь, когда Пушкин был арзамасцем, он нетерпеливо слушал кюхлины похвалы Шихматову-Рифматову и его песнопению о Петре.

Как-то Горчаков, который любил стихи легкие и отовсюду их перенисывал, показал ему стишки из времен французской революции, где три фамилии осмеивались на все лады.

Через час Пушкин прочел Бюхле стихотворение, где осмеивались в том же порядке три князя на букву Ш.

Шишков, Шихматов, Шаховской.

Шихматов, Шаховской, Шишков.

Самые имена членов «Беседы» были созданы для эпиграмм и ложились в стих. Бюхля добивался, кто написал эти стихи, и нашел их, как все, впрочем, эпиграммы, незаслуживающими названия стихов.

Теперь, после лекции Куницына о племенах давно минувших, они долго молчали. Они привыкли к истории на прогулках. Чесменская ростральная колонна в озере, Кагульский обелиск имели для каждого из них свое, особое значение. Это и была, всего вернее, античная древность Дельвига, которую он любил в своих стихах. Проходя мимо холодного Кагульского чугуна, он всегда прикладывал к нему руку и всегда удивлялся холоду под рукою.

Кесарь вернулся после победы над Наполеоном в этот дворец. Все ждали от него чуда. Теперь то он, то императрица приезжали каждую неделю и оставались дня на три-четыре! Просто у него был досуг между двумя очередными конгрессами Европы! В лице привыкли к особой, шаткой и торопливой, походке придворных дам, всегда торопившихся куда-то, мимо всех и всего.

Потом они несколько раз видели его, пухлого, белокурого, идущего грудью вперед небольшими мерными шагами по аллее. Они знали, что он идет в Баболово, что там во дворце опять назначено у него свидание с молодой дочкой коменданта. Горчаков, захлебываясь, рассказывал об этом. Он знал откуда-то решительно все о кесаре: когда он встает, когда молится, с кем обедает, много ли, мало ли говорит с дежурным офицером. Он считал это новостями политическими и сообщал их только избранным. Он знал все новые формы для полков, придуманные кесарем вместе с Аракчеевым.

Дворец был молчалив, как всегда, сторы почти во всех окнах приспущены. Кто обитал там? Полубог, победитель Наполеона? Полунощный кесарь? Или друг Аракчеева с пухлыми баками? Часовые у главной лестницы стояли, как статуи, как монументы.

Вскоре стало известно, что они в лице не задержатся: граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск тремя месяцами. — В июне 1817 года «чтоб нашего духу здесь не было», — сказал по-своему, по-казацки, Малиновский. Они стали гадать, кто их выживает. Горчаков неожиданно предположил, что это директор.

— Почтенный и любезный директор старается нас поскорее выжить, — сказал он, — так как он не может приписать себе чести нашего выпуска, если он будет удачен.

Это было встречено, однако, негодованием со стороны Матюшкина; Пушкин, который верил директору, тоже возражал, и вдруг коротко сказал:

— Царь выживает.

На робкий вопрос — почему? — Жавно ответил значительно:

— Очень шумим. И глазами.

Она была женой знаменитого писателя. Жизнь ее была вполне спокойна, за исключением неудобств, связанных с некоторою полунридворною шаткостью их теперешнего положения. Зимой она будет появляться при дворе. Вскоре напечатают знаменитые многолетние труды ее мужа. Первая корректура уже скоро должна прибыть, муж ждет ее не дожидется, и она, как во всем и всегда, с тою внимательностью, заботой, которая, — она знала это, — всего более в ней правилась, — будет ему помогать править. Теперь они каждый день будут встречаться за этим столиком, за этой работой, будут готовить листы в типографию, сверять с примечаниями, — у нее в китайской хижине, среди цветов. Цветов было много, слишком много, — их присылали каждый день из дворца. Она прекрасно знала, почему пришло долгожданное разрешение печатать Историю ее мужа. Он, кажется, это не вполне понимал. Что ж, придется с тем умением, которое она знала у себя, знала в своей походке, глазах, голосе, быть — в который раз! — неприкосновенной. Здесь не было весело, в Царском Селе. Но вечерами приходили лицейские, — она любила их смех и споры. Пушкин, дичок, вертлявый, быстрый, так смирил при ее приближении, глаза его так гасли, что каждый раз нужно было его ободрить — улыбкой, словом. Боже, какие забавные фарсы об этой «Беседе» — смешных неприятелях ее мужа — сыпались у него с губ, когда она на него смотрела! Ему было семнадцать лет, — иногда страшно было подумать, как все они молоды. А ей — тридцать шесть.

Она была спокойна и счастлива.

И вот она была несчастна.

Никто не знал, чего ей стоило самое спокойствие. Уже несколько раз, чего давно не бывало, она теряла над собою власть, ссорилась с бедной падчерицей, плакала, кусала платочек, с утра стеснилась уйти из этой оранжереи, теплицы, в которой жила, уйти от мудрого, знаменитого мужа, детей, быть одной. Вся жизнь ее представлялась ей иногда неудавшейся. Она росла у тетки Оболенской, старой деви. По праздникам ее возили в большой дом, к Вяземским, и она целовала жилистую руку старого князя, которая гладила ее по голове. Она знала, что это ее отец, и смутно догадывалась о каком-то непоправимом несчастье. Ее фамилия была вовсе не Вяземская, а Колыванова, и она не была княжной. Она долго спрашивала, какая это фамилия. Тетка объяснила ей, что это по городу Ревелю, где она родилась, — Ревель звался по-русски Колыванью, отсюда она и Колыванова. Однажды на тулянии тетка показала ей бледную красавицу и сказала, что это ее мать. На том знакомство с матерью кончилось. Она была безродная, — она слышала, как гувернантка тихом о ней сказала, что она натуральная дочь, незаконная дочь. Вот когда она научилась кусать платочек. Ей было двадцать два года, когда она полюбила бедного армейского поручика, тоже с невзрачной фамилией — Струков. Но она его так полюбила, что ее скоро выдали замуж. Старый князь дал ей пышное большое приданое, она была богатая невеста.

Выдали ее замуж хорошо, за человека умного, тонкого и известного, друга ее отца. Он был вдовец и старше ее на четырнадцать лет.

Она вдруг успокоилась, стала верною женою знаменитого мужа, добродетельной матерью его детей, доброю мачехой его дочери.

Нет, она не была доброй мачехою. Как она росла без матери и без отца, и ее место было занято другими, ее братьями и сестрами,—вот хотя бы рыжеватым, умным и смешливым Петром Вяземским,—так и теперь она нашла, что место занято. Оно было занято первою женою, Лизанькой, которая так и осталась в доме,—ее портрет висел над постелью падчерицы Сонюшки, и Катерина Андреевна знала особый вздох своего мужа: это он вздыхал о ней. Она была спокойна и еще прекрасна. Впрочем, она хоть и была стройна, но начинала тяжелесть. Плавная походка, внимательные ясные серые глаза, высокая грудь и эта начинающаяся тяжесть... Морщин еще не было. Жизнь ее проходила хорошо. Она читала каждый день с мужем газеты. Однажды она прочла о сумасшедшей храбрости поручика Струкова, который отбивался в крепости от сильного отряда горцев сам-друг и был тяжело ранен. В газете была статья об отдаленных героях, как этот армейский поручик, произведенный в полковники. Она прочла мужу все иностранные известия и после этого заболела.

Петр Вяземский боялся Катерины Андреевны, как огня. Близким своим друзьям он тихо говорил, что у нее характер ужасный. Она начала замечать, что посторонние жалеют ее падчерицу. И в самом деле, теширки Катерины Андреевны были ужасны, она это знала. Она тоже жалела Соню, и делала ее жизнь невозможной.

Жизнь Катерины Андреевны была полна: у нее была падчерица, семилетняя дочь, двое сыновей. Она читала с утра корректуры с мужем. Все же она вздыхала полною грудью, ровно и емко, когда он уезжал гулять на своем сером иноходце. Она вовсе не сердилась на Пушкина за то, что он напугал ее. Он был дичок, юнец, с отрывистым смехом и таким взглядом коричневых недовольных глаз, что она начинала смеяться, чтобы не рассердиться.

Все же ей был летен этот взгляд,—для этого отчаянного юнца словно не существовало ее тридцати шести лет. Этот взгляд был гораздо ей милее, чем белесоватый томный взгляд, которым всегда на нее смотрел император. Первым ее движением при этом императорском взгляде было тотчас отсюда уехать, но муж, но его труды, но издание, но дети... Она осталась, решив не сдаваться.

Когда нужно было представиться императрице и ей уже привезли платье из Петербурга, она вдруг занемогла и проплакала всю ночь. Назавтра же император прислал справиться о здоровье. Принесли цветы. И когда ее с мужем позвали на придворный бал, император, к великому смущению двора, встал, поцеловал ей руку и пригласил сесть на свое место. Ей, натуральной дочери Вяземского. Она знала, что о ней шепчут и как ее ненавидят. Комендант Царского Села Захаржевский бледнел от ненависти, когда встречал ее. А он заведывал военной типографией, в которой будет печататься труд ее мужа. Она решила не сдаваться.

И странное дело—она почувствовала: у нее был союзник. О, конечно, не муж! Он и не подозревал и был не в состоянии себе даже представить эти опасности. Он, который так много писал обо всех царях и властелинах, о темных деяниях истории, ее жертвах, который недавно кончил главу об Иоанне Грозном,—он томился тем, что царь его не приглашает. И она догадывалась: он не понимает царя. Она же, как женщина, тотчас его поняла: поняла лукавство и жестокость, женские слабости и мужской гнев.

Однажды они завтракали. Ее муж накануне узнал, что предстоит свидание с императором во дворце. Теперь слуга доложил, что пришли от императора. Карамзин был уже в ленте, вдруг лента отстегнулась. Он стал ее поправлять у зеркала. Пушкин был тут же. И то, как взглянул ее муж косо на школяра, поразило Катерину Андреевну. Это была знакомая ей тонкая усмешка, усмешка литератора над всеми этими лентами, анненскими кавалерами, представлениями и прочее. Пушкин ответил ему быстрым взглядом, и оба рассмеялись. Она покраснела от радости: ей почему-то очень понравилось, что ее муж — знаменитый человек, историограф — переглядывается с этим школяром, как равный с равным.

Впрочем, камерлакей пришел не просить историографа, а принес из дворца корзину цветов жене его. Карамзин сухо велел благодарить и более ни о чем не разговаривал. Быть может, это и не было оскорблением, но все же почти назначенный визит был отменен.

Пушкин внезапно побледнел и, ничего не сказав, быстро простясь, убежал. После его ухода Карамзин скучно так посмотрел вслед ему и покачал головой.

Катерина Андреевна велела поставить цветы подальше от дверей, — в комнате им было душно, — и стала кусать платочек.

13

В лицее завелись тайны. Теперь Пушкин явно скрывал что-то от Пушкина, а Жанно был проницателем. Наконец все выяснилось. Жанно узнал, что у Александра тайные свиданья. С некоторых пор он не узнавал Пушкина. Общая любовь к Бакуниной мало изменила их всех — Пушкин был весел, смеялся фарсам Миши Яковлева, хладнокровным проделкам Данзаса, и только когда начинались грызня перьев, неподвижный взгляд, уединения — начинались стихи, Жанно оставлял его в покое. Он привык к этому. Теперь другое: Пушкин стал рассеян, неузнаваем. И когда Жанно однажды увидел его близ сада, с молодою вдовою, он обрадовался; причина всего была найдена: Пушкин был снова влюблен. Его немного удивило, что Пушкин вовсе не скрывал этого, — как гусар, охотно говорил об этой любви, об этой молодой вдове.

Молодая вдова не могла быть, кажется, причиной долгой печали и того, что характер его друга стал, по словам директора, невозможным. Жанно должен был с этим согласиться.

Раньше, когда он часто бывал у гусаров, он был веселее. Теперь он ходил только к Карамзинным и все забросил.

Зато и Пушкин теперь тайлся от друга. И Александр замечал несколько раз, что почти одновременно, как по команде, скрывались из лицея: Жанно, Вальховский, Кюхля. Однажды ушел и Дельвиг. Любопытство мучило его: у них были, может быть, общие тайны, в которые его не посвящали?

Скоро, впрочем, он узнал об этом от Кюхли. Кюхля был стоек, но долго таиться не мог. Оказалось: как Александр бывал у гусаров, так они познакомились с гвардейцами, — в Царском Селе жили молодые гвардейцы. Они стали понимать, сказал Кюхля, что без знаний человек подобен скоту. Они живут здесь артелью, и главный у них — Бурцов. Кюхля сказал напрямки,

что считает его мудрецом. Бурцова Александр вспомнил: он однажды видел его, когда был у гусаров. Бурцов был суховат, вежлив, говорил почти только с Чаадаевым и быстро удалился, когда начались гусарские песни. Он был штабной. Гусары не любили штабных. Когда он ушел, кто-то сказал о нем: сухарь.

Клюхля под строгим секретом рассказал, что Бурцов — друг Куницына, и Куницын читает ему за чаем лекции обо всех политических событиях и об Адаме Смите. Александр был удивлен, что гвардеец сделался почти либеральным. Это было ново.

Клюхля сказал ему, понизив голос, что ни у кого из них сомнений более не остается: Аракчеев и Голицын нарушили общественный договор; общественному договору изменили; рабство не отменено до сих пор и это после побед двенадцатого года. Ждут год, ждут другой — а теперь, если к концу года не отменят, — значит, произошел какой-то обман.

Впрочем, человечество непрерывно совершенствуется. Все свидетельствует об этом. Однако со своей стороны аристократия всюду похищает власть в своих видах, — отсюда зло, и это совершенно несомненно доказано Бурцовым. Вальховский тоже может подтвердить. Не надо падать духом и быть равнодушным; пока это главное: человек в противном случае поглощается толпою, — то есть придворными. Светские успехи — отравы. Клюхля еще много говорил.

Как он сказал пока!

Александр молчал. Так вот оно!

Его друзья были более посвящены во все, чем он. Он потерял столько времени! Он крепился и боялся, что слезы у него брызнут. Каково! Они таились от него, как от недоросля, или как от дитяти, или как от пропащего, отчаянного шалуна. Так вот, не даром же у арзамасцев красный колпак! Не даром дядю принимали в красном колпаке! Это колпак якобинский. Оставалось немного времени года торчать в этом лице, — и он в первый же день напялит красный колпак.

Он — арзамасец! И потом у него есть Чаадаев, у которого в одном мизинце больше знаний, чем у всех его друзей, умников, педантов. Но Дельвиг, Дельвиг каков! Таятся от него! Он плакал, сам себе в этом не сознаваясь. Сегодня же вечером он будет у гусаров, — пора условиться с Чаадаевым, который хочет с ним говорить наедине. Он подозревал: молчание дворца — измена! Протулки кесаря — измена! Не общественному договору, который был заключен слишком давно и, впрочем, неизвестно кем, а тому молчаливому договору, что был в двенадцатом году. Он бросил, ни слова не говоря, Клюхлю и пошел к выходу. Через полчаса директор Энгельгардт удалится к себе, а вечером Пушкин пойдет к гусарам. Ждать вечера слишком долго. Сколько времени потеряно! Он завтра же, сегодня же объяснится с Чаадаевым. А почему бы не сейчас?

И так он наткнулся на директора.

Директор шел за ним.

На лице его была блаженная улыбка и голова закинута. Он был доволен. Тихим голосом, подняв брови, он сказал Александру, чтобы тот бросил все занятия и лекции на сегодня (как будто он ими был занят!) и шел тотчас к Карамзиным: приехал Нелединский-Мелецкий и хочет с ним говорить по особому делу, не терпящему никаких отлагательств.

В китайском домике был парадный стол. На почетном месте сидел гость, и Александра усадили рядом. Гость был приятен. Малого роста, коренастый, с бирюзовыми глазками, с белой косичкой, заплетенной лентой, старичок. Босы все обрезали шестнадцать лет назад. Мягким, певучим голосом, слегка дребезжащим, старый куртизан приветствовал молодого человека. Живот его в белом плотном камзоле колыбался от удовольствия: он ел. Ел и спорил с Катериною Андреевною, которая развеселилась: старый Пеледишский был ее дальний родственник по отцу. Он не чуждался ее в молодости, знаменитый вздыхатель.

— Ангел хозяйюшка, — говорил куртизан, — как прекрасны эти персики в своем собственном соку. И заметьте, сок их как дым, как туман, тогда как грушевый сок ясен, как солнце.

Карамзин улыбался, как, верно, улыбался лет тридцать назад, при старших.

— Молодой человек, — сказал Александру куртизан, — учитесь здесь, в этом доме, наслаждению плодами. Не везде вкус, не везде понимание. Обедали мы вчера у генерала. Мне подадут в глиняном горшочке мою любимую гречневую кашу. Признаюсь, я был растроган. Подают и щучью, — я преклоняюсь. Рубцы, гуся с груздями — шреблагодарствую. Но затем... Затем... ах! соленую грушу, соленую дыню, соленый персик! Не святотатство ли это против природы? Унижать эти плоды до разряда огурца или капусты!

Бирюзовые глазки его светились, белый атласный живот подрагивал.

Старичок был обжора.

После обеда Катерина Андреевна оставила их одних, не желая мешать. Сели на диван. Юрий Александрович не спешил, однако, приступить к делу. Бирюзовыми глазками смотрел он на Пушкина, успел уже оценить некоторую сумрачность и пугливую юного, рекомендованного ему Карамзиным, поэта и решил, что нужно польстить и дать емудохнуть воздухом Павловского. Он был главный затейщик, главный придворный поэт старого двора.

Они были без дам, и он тотчас об этом сказал.

— Говорят нам, что на прошлой неделе, — стал он рассказывать, обращаясь к обоям, — появился штукарь с лошадыю, которая все понимает. На все вопросы отвечает разными знаками. Сказано императрице. Решили дать приватный спектакль. Введен в гостиную штукарь с лошадыю, начинается представление. Лошадь точно ли умна или штукарь плут, — но все идет превосходно. Посреди представления актриса вдруг вспоминает о природе. Воображает ли? Мальчишка бежит за шляпой, чтоб подставить, а тем временем хозяин, штукарь, нисколько не теряя головы, подскочил и кулаком все начал влихивать назад. Мальчишка носится с шляпой кругом, а хозяин, штукарь, заробел, раскланивается, и задом к выходу, к выходу. Все дамы в хохот, а мне срам. Катенька Пеллидова направила лорнет туды, сюды, ничего не видит. И пристает ко мне: «Юшинька, отчего смеются, что это такое? Я отвечаю: «Природа, матыныка, ничего более».

И он блаженно улыбнулся сочными губами. Карамзин, несколько опешив, пораженный простодушием куртизана, от души, наконец, смеялся.

Этот Шолье старого века, поэт, песенник, балагур незаметно сжимал у него с плеч за тяжестью тяжесть.

Александр впервые слышал старый век.

— А теперь, друг мой,—обратился старик к Александру, так же доверчиво,—я подышу немного в саду перед сном. Не хотите ли меня проводить?

И в саду, опираясь на посошок, он присел на скамью и совсем другим голосом, глядя прямо в глаза Александру, говоря медленно, тихо, без улыбки, не ожидая возражений, сказал ему следующее:

— Здесь, без сомнения, слышали, что шестого июня в Павловске праздник. Во дворце зажгут шесть тысяч восковых свечей, будет пятьсот женщин, маскарад, сцены, которые уже сочиняет Батюшков. Будут оба двора, император, две императрицы. Праздник дается в честь принца Оранского, мужа великой княгини. Они уезжают. Праздник поручено готовить ему. Вокруг всего дворца будут костры, пляски, песни поселян. Во время ужина хор будет петь куплеты, и слова заказаны ему же, Мелецкому. Принц любезен, скромен, умен и чувствителен. Он у Веллингтона дрался, был Наполеона, равен. Для принца стихи писать не стыдно. Он, Мелецкий, с удовольствием написал бы их и почел за честь, но молодой поэт видит: он одрях, нет огня, страсти, молодости.

Нахохлившись, как старый воробей, сидел старичок, и косичка его дрогнула. Карамзин указал на него, на Пушкина. Он, Мелецкий, и сам видит птицу по полету. Ему нужны стихи о принце. Но принц может быть лишь предлогом. Он дрался за лилии Бурбона — и нужно говорить о мире, о вновь воздвигшемся было и вновь упавшем навек Наполеоне.

— Если б жив был Гаврило Романович, он бы меня за это распцеловал,—сказал старичок.

Все — и быстрота перехода от какого-то дворцового случая к важному делу, и этот старый, важный, внезапный тон, и имя Державина — было как бы старым дворцовым рассказом, который Александр слышал уже когда-то в Москве, от дяди.

— Ручательство Николая Михайловича и мой старый глаз обмануть не могут,—сказал старый куртизан.—Вы возьмете новое перо, лист бумаги,—и, пока я сосну, стихи будут готовы. Все важные дела делаются в час, не долее. Я уеду с ними,—так я говорил, так и будет, или я ничего не понимаю.

15

Пушкин не нашел ни Чаадаева, ни Раевского, один Каверин был дома. Каверин ему необыкновенно обрадовался.

— Я, милый мой, о тебе пари держал, и твоим явлением разорен. Я говорил, что ты бежал из лицея в Петербург и что тебя ловят по дорогам. Молоствов же говорил, что ты за кем-то водочишься и будто тебя видели в лесу, одичалого от любви. Теперь кажусь писать, чтоб рубили дубки, нужно платить пари Молостovu, а тебе скажу прислать ягод из роши. Сейчас придет Молоствов, он отсыпается с дежурства. Душа моя, посмотри на меня.

Он тихо свистнул.

— А ты и в самом деле нехорош. Вот я тебе завидую. Ты страдалец в

любви, ты одними глазами красавицу измучишь, ни одна не устоит. А я ставлю горчишники, пью уксус, страдаю, а румянец во всю щеку. Никто не верит. Ты меня застал дома случайно,— у меня сильнейший пароксизм лихорадки, а завтра я должен скакать на Выхре в Павловск. Командирован. Конюшня Левашова приветствует принца Оранского.

Левашова, полкового командира, никто не любил. Эскадрон стоял в Софии, на каменном запасном дворе, а в каменном доме, что возле конюшни, жил командир, дом этот гусары звали заодно конюшней, и все приказы исходили из конюшни.

Каверин был сердит на дворцовую суету, придворные карты, которыми их теперь дожимали, на угодичество командира, на принца Оранского — и, кажется, в самом деле был болен. Он пил стаканами холодное шампанское, говоря, что оно должно помочь — если не от лихорадки, то, по крайней мере, от французской болезни, назвал невесту принца Оранского, сестру кесаря, девою Орлеанскою и сказал на своей воображаемой латыни, что агринц, наконец, уезжает.

— *Deinde post currens* — то есть: индюк путешествует на почтовых, — объяснил он.

Латынь Каверина славилась по всему Петербургу. Он пугал ею караульных. *Deinde* значило по-латыни: затем, по-французски *deinde* значило: индюшка; *post* по-латыни значило: после, а по-французски: почта; только *currens* значило бегущий, а все вместе получалось: индюк путешествует на почтовых.

Он сидел, смотрел на Пушкина и все больше сердился.

— Хочешь, я помогу тебе выкрасть твою красавицу? Я затем рубился с Наполеоном, чтобы таскать рапорты конвою принца Оранского, камеристкам девы Орлеанской! Душа моя, ты не знаешь: как только получу деньги, расплачусь и иду в конюшню, пишу Левашову абшид. Где нам, дуракам, чай пить со сливками!

Он взял со стола какую-то бумагу, может быть приказ, и разжег свою пенковую трубку.

Александр сидел ни жив, ни мертв и кусал губы. Каверин назвал бы его стихом рапортом принцу Оранскому. Он почти ненавидел великого Карамзина, который с рук на руки передал его старому куртизану. Сердце его билось.

«Дитя, ты плачешь о девице,
Стыдись! — он закричал».

— Это я тебе сказал.

Каверин вызывал его на разговор.

Он удивительно угадывал его всегда по лицу.

— У тебя облака на лице. Хочешь, я изображу тебе гром и молнию?

И он изобразил гром и молнию: нос и рот пошли зигзагом. Он скосил глаза и засверкал ими.

Александр вдруг засмеялся.

— Очень похоже.

— Ну, наконец! — сказал Каверин.

— Прочти мне стихи, друг мой, — попросил он. — Только не элегию, я сегодня зол.

Каверин просил эпиграмму. Никто не умел так слушать эпиграммы, как он. Александр и писал их затем, чтобы ему прочесть. Он стал было отговариваться, Каверин пристал. Александр прочел какую вспомнил:

«Больны вы, дядюшка? Нет мочи,
Как беспокоюсь я! Три ночи,
Поверьте, глаз я не смыкал.—
Да, слышал, слышал: в банк играл».

Каверин зажмурил глаза, открыл белые зубы и схватился рукою за сердце. Так он посидел с минуту и только потом засмеялся.

— Да ты, друг мой, это обо мне,— сказал он тонким голосом.

Он обнял Александра.

— Умница моя, это мой с дядей будущий разговор. Ведь и впрямь, должно быть, болен дядя, откуда ты узнал?

Александр смотрел на него во все глаза.

Он ничего не знал о дяде Каверина. У Каверина была счастливая привычка: он тотчас все эпиграммы применял. И Александр, всегда чувствовал, когда читал их ему, что эпиграмма понятна, что ее и записывать не пужно, и что ее тотчас все узнают.

Он пожалел, что не написал эпиграммы о принце Оранском, и вздохнул.

— Красавица — твоя, помогу,— пообещал ему Каверин.

Вошли Молоствов, Сабуров, откуда-то с тулянья, в ментиках, доломанах, усердно звеня шпорами.

— Памфамир,— сказал Каверин Молостову,— ты выиграл: Пушкин не бежал, все правда. И скитался одичалый. От любви. Ставлю своего солового, отыграю Дубки.

Появились карты.

— Пушкин, тебе сегодня в карты должно везти. Садись рядом. Ты снимешь. Дубки наши. Да, слышал, слышал, в банк играл.

Сабуров, хладнокровный игрок, присматривался к счастью. Когда выигрывали, он ставил со стороны, примазывался.

Каверин этого терпеть не мог.

Каверин выиграл. Молоствов потемнел.

Сабуров поставил. Каверин через минуту все проиграл.

Началась игра. Молоствов, бледный, пасмурный, играл равнодушно, но отчаянно. Лицо его было помято, в оспинах, глаза тусклые, припухли.

Он был чем-то озлоблен, или испуган.

Каверин озлился.

— Памфамир, решаю судьбу твою,— сказал он,— ставлю солового, три тысячи в долг, и пушу с молотка всю твою новую сбрую. У тебя чепрак хороший. Игра кончается.

Молоствов был в новом ментике, новых чакчирах, весь с штолочки. Александр, раздув ноздри, следил за картами.

— Хлап!— сказал Каверин. Выпала червовая двойка.

Каверин проиграл и огорчился.

— Судьба твоя устроена,— сказал он Александру.— Красавица склонилась. Ты счастье карте принести более не можешь.

Посапывая, пил он холодное шампанское,— свое лекарство,— и не пья-

нел. Отдышавшись, он стал петь свою любимую, скучную песню, которую всегда пел, когда был в огорчении. Песня была жалобная:

Сижу в компании,
Никого не вижу,
Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу.

Александр уже перенял ее от Каверина. При всех неудачах Каверин пел ее.

— Нет, не деву рыжу,— сказал вдруг Молоствов.— Это ты выдумал. Только вижу одну рыжу. Это мы на кашу еще в корпусе пели. А рыжая дева сюда не идет.

Он был подозрителен. Его дразнили красоткою, действительно рыжею, которая ездила к нему из города, как говорили, на постой.

Каверин, по его мнению, метил на нее.

— Нет, деву рыжу. Ненавижу,— сказал Каверин и засмеялся.

— Скоро с вами прощусь,— сказал Молоствов. Все на него поглядела.

Молоствов, бледный, злой, говорил без улыбки и неохотно.

— Бегу.

— Куда? Подожди до дежурства,— сказал Сабуров.

Они шутили.

Каверин дымил трубкою.

Никто не смеялся.

Молоствов, понизив голос, хрипло сказал:

— Мне с вами не жить. Удаляюсь от приятных ваших мест. Перевожусь.

И, коротко взмахнув рукой, стал тихо рассказывать.

Гауптвахта, на которой он дежурил, выходила окном на царский кабинет. Обыкновенно был на окнах занавес, но теперь его подняли. Окно светилось. Молоствов видел, как ушел Голицын из кабинета. Царь сидел за столом и читал. Вдруг он подошел к окну и стал смотреть.

Молоствов сказал:

— Взгляд недвижный, и любезности или улыбки на лице не было,— как смыло. Стоит и смотрит, не взмигнет. Потом подошел к столу, оперся кулаком и спачала тихо, потом все громче и громче: «Благочестивейшего... Александра Павловича...» и все до конца, и — аминь. Тут я понял, что мне аминь. Думаю: нужно спать, крепко спать,— не ему, а мне. И стал спать. Ну, не спится. Пришел домой, и все не спится.

Все сидели молча.

— И вот теперь поеду, по дорогам, может засну. А дежурствам моим — аминь!

Каверин сказал, бледная:

— Это все Голицын. Это его песни.

Он посмотрел Пушкину в глаза, сжал руку и сказал:

— Ничего не вижу, ничего не слышу. Только вижу деву рыжу. И ту не-на-ви-жу,— сказал он раздельно и помолчал.— Я тебя провожу.

И проводил до самого лицея, напевая:

— Деву рыжу. Ненавижу.

Нет, Каверин был прав, напрасно он платил пари Молоствову, напрасно рубил дубки: царскосельский пустынный тоже не был рожден для того, чтобы писать рапорты принцу Оранскому; Пушкин не желал дворцовой мудрости. В ту же ночь он написал записку молодой вдове, и Фома, ставший во всем его потатчиком и клеветником, нашел случай незаметно ее доставить.

Назавтра, как стемнело, они встретились. У молодой вдовы было нежное имя — Мария. Она предавалась ему безусловно, дрожа от страха и радости. Он не хотел звать ее Марией и называл в глаза Лилой, Либой. Она и этому подчинилась. Из двоих любовников, она прежде всего была готова на безумства. Они вдвоем, не стоворясь, обманывали теперь директора, тень ревнивца, кого угодно.

Она узнала в этот месяц с этим мальчиком то, о чем и не подозревала, о чем только смутно догадывалась и что вслед за тетками привыкла называть адом и развратом. По утрам она смотрелась в зеркало с тайным страхом, ожидая, что все это уже видно.

Она не соглашалась на одно: впустить его к себе ночью. Комната ее была угловая, отделена от всех других комнат директорского дома и выходила в сад. Она содрогалась, она в самом деле дрожала перед этим безумством, которое передавалось ей. Нет, пусть лесок, пусть берег озера, пусть театр старинного театра, пусть все эти места, которые она помыкала в измятой одежде с приставшими листьями, при ежеминутной опасности быть здесь застигнутой, как девка сторожем. Но только не ее комната, не ее белое покрывало, над которым директор повесил на стенке портрет ее мужа.

Они условились, что он будет передавать ей записки через Фому. Записки должны быть кратки, никаких стихов — директор!

А она будет прятать свои, ответные, о времени и месте в директорском саду, в дупле старого дуба.

Он забывал о ней тотчас, когда они расставались.

Неделю он не был у Карамзиных.

И однажды ночью, проснувшись, понял, что не может более жить так и завтра же утром ускользнет во время прогулки или скроется с самого утра, чтобы увидеть косяк Катерины Андреевны окна, угол дома. Все, что он писал теперь, он писал в тайной надежде, что стихи как-нибудь попадут в ее руки. Иначе он не написал бы и не переписал бы ни одной строки. Он понял, наконец, что не может более и дня прожить без этой женщины, которая была старше него и могла быть его матерью, что он должен видеть ее во что бы то ни стало, а те мученья, о которых он писал в стихах к Бакуниной, были только догадкой о настоящих мучениях, которые вдруг пришли теперь и только начинались. Она была жена великого человека, мудреца и учителя, недостижима, неприкосновенна. Он вдруг возненавидел всякую мудрость и спокойствие. Самый звук ее имени не должен был быть никому известен. И он закусывал губу, когда говорил с Пушкиным о том, что был сейчас у Карамзина, Карамзиных, чтоб не сказать: Карамзиной.

Она одна его понимала.

Только у ее ног, неподалеку от цветов, которые прислал ей кесарь и

которые она безжалостно отодвинула к самой двери и не поливала, так что они засохли и оставалось их только выбросить,—только у ее ног он говорил, болтал, шутил. И она смеялась.

Кесарь уступал ей место, когда она входила в балльный зал, и — браво! — не имел никакого успеха.

А без нее он вдруг переставал отвечать на вопросы, не слышал Дельвига, Гюхли; он пугался участи, которая предстояла: молчать всю жизнь, до конца, никогда не назвать ее по имени. Никому, даже Пушкину. Бояться самого себя, чтобы никто не догадался.

Он чертил на песке вензель N. N. Это был теперь ее вензель. Он виделся с Лилой, пугал ее внезапностью, грубостью, ненасытностью, удушливым, торгашным смехом, тихим клеточком в такое время, когда никто не смеется. Жажда познаний увлекала его. И, возвращаясь ночью, он хотел увидеть усталый след на земле, чтоб его поцеловать, след той, которую отныне всю жизнь он должен будет звать N. N.

17

Кончалось время педомолвок, оскорбительного отсутствия приемов у императора, двусмысленных подношений цветов из царской теплицы. Вчера явился за ним камерлакей. Свидание состоялось, и хотя во время свидания ничего еще не было сказано, и самый разговор был со стороны царя-хозяина беспредметный, хотя и заботливый, — он был позван. Начиналось то, к чему он уже не стремился, но все готовился, каждый раз паталиваясь на равнодушие. Он призван быть советником царя. И в следующую же встречу он скажет просто: пора забыть молодость, не его, а государеву, пора править. Да, самовластие. Да, рабство. Ограда от конгрессов. И два государственных вопроса: о его дурных советниках и о гвардии. И хотя царь, с его улыбкой — у губ и у глаз — и с наморщенным белым лбом, сиповатым голосом сказал пезначущую любезность, — приглашение жить в Битайской Деревне объяснилось: он — советник царя; сомнений более не было.

Только наверстать пропущенное время, только... Он принял с удовольствием молодых людей. Один — танцор, другой... другой оторчал его. Бог с ними, с лицейскими юными повесами! Катерина Андреевна придает мальчику значение, которого у него нет, — смеется над ним и, вместе, любит всю эту фанфаронаду, зелено, незрело — и какая грусть, пустая, ни на чем не основанная, в стихах его, какая быстрота насмешек и приверженность к «Арзамасу». Арзамасцев, которые преклонялись перед ним, Николай Михайлович любил, это были единственные люди в Петербурге, стойвшие дружбы, но требовал одного — пристойности.

Брат Катерины Андреевны, милый Пьер Вяземский, — журналист природный. Но что за излишняя горячность. Он уже говорил с Блудовым о том, как все можно привести в вид приличный, без излишеств, и под конец заняться в «Арзамасе» тем, что нужно, — вкусом. Шутки милы, когда уместны и пристойны. Шутка с Василием Львовичем была мила, хоть и непристойна, но игра разрасталась все далее, и было неизвестно, чем это кончится. Это отзывалось гусарством, разгулом, а вовсе не защитой его или даже Жуковского. Молодость права, что шутит. Но можно бы соединить

приятное и смешное с важным. Блудов призывает к изданию журнала — мусть шуточного, но полного вкуса в шутках.

Чаадаев правился ему. Пусть слухи о нем противоречивы: Авдотья Голицына говорит о нем, как о танцоре удивительном, а Пушкин принимает таинственный вид и ничего не говорит. Они шумят — это молодость. Сегодня Пушкин попросил позволения прийти с Чаадаевым, и приглашение дано не без радости. Эта молодость нуждается в его уроках, но и он нуждается в этих молодых людях. Их разговоры не вовсе пусты, Чаадаева ценит Ва- сильчиков, и уже появились, мелькнули признаки его блистательной карье- ры.

О! Сколько он уже видел, сколько провожал этих блистательных карьер, так и не обывающихся, этих лавров, так и не ссыпающихся? Странно! Чаадаева уважают старики, жалеют за что-то женщины. Авдотья Голицына грустная, когда говорит о нем, и, перед тем, как говорить о математике, передала какую-то его фразу и посмотрела значительно. О! Математика и красота! А Чаадаев — гусар и мудрец! Чудеса, новое время. Гордыню моло- дых людей он осуждал: она ни на чем не была основана. Они, видимо, счи- тали себя судьями всех, — видимо, и его. Отчего поднята его правая бровь? Неужели от высокомерия? Авдотья сказала же о нем: мудрец. Он смотрит холодно, как власть имеющий.

Чаадаев смотрел, улыбаясь пухлыми закушенными губами и не улыбаясь высоко поднятыми глазами. Карамзин с неудовольствием заметил, что эти глаза все увидели: засохшие ветки царского букета, которые он постеснял- ся выбросить, корректуры на двух столиках — второй был Батеринны Ан- дреевны. Потом Чаадаев присмотрелся к китайскому дому, ничего не сказав, и Николай Михайлович вынужден был сказать о случайности своего поме- щения и как нехорошо оно, несмотря на то, что Петр Андреевич старался: шпекатурба лопається. Сегодня царь сделал выговор Захаржевскому. Это было совершенно точно. Но Чаадаев не удивился и ни о чем не спросил. Он за- говорил о Китайской Деревне в Царском Селе, и оказалось, что знает все о ее постройке. Его занимали самые простые дела, как они занимают де- щин. Вот почему Авдотья считала его, видно, мудрецом.

И в самом деле, говоря об этой ненужной постройке и небывалой дере- венке на китайский вкус, отданной Карамзиным (ибо ничего другого с Ки- тайской Деревней делать было нечего!), Чаадаев преобразился. Он сказал об единичности и отрывочности всех строений в Царском Селе, что все дома здесь недокончены и недолговечны; и таково их назначение. Выглянул в окно и поглядел на фреску: дракон, изображенный Камероном, мало напоми- нал Китай. Эти подражания Азии, взятые из Европы, были ему забавны.

И в самом деле, глядя на этого зятянутого, как рюмочка, гусара, с та- кой еще молодой шашкой вьющихся волос и задорным носиком, Карамзин почувствовал значение этого юноши: умен без неловкости, свободен и скуп в движениях и словах без развязности. Пушкин его обожает: смотрит на Карамзина, чуть ли не читая, какое впечатление произвел гусар. Смешно и молодо. Впечатления хорошие.

Карамзин ответил сухо, что более всего климат принудил его воспользо- ваться царским приглашением, — блестящая ошибка Петра: Петербург за- ставляет бежать в любое место, но жить далеко он не может, потому что

ждет корректирования типографского. Итак, лучше жить в селе, чем в подмосковной или на Волге. Он сказал о местах возле Симбирска: умеренный климат, благоухающий воздух, суда на Волге; человек, который там живет, долголетен. Иноземцы и туда бы доехали, а здесь, на Неве, можно было заложить купеческий город для ввоза и вывоза товаров. Более чем достаточно. Не было бы Петербурга, но зато не было бы слез и трупов.

Катерина Андреевна была занята и не вышла. Она могла бы выйти, но не захотела. Она хотела видеть и слышать их, когда ее не будет. И она задверью внимательно глядела и слушала. Пушкин, как всегда бывало, когда ее не было, несколько раз вертелся волчком и непроизвольно оглядывался, искал ее. Она улыбнулась. Ее мучило другое любопытство, — она привыкла к этому безвоздушному величию своего мужа. Конечно, он был мудр. Он был самый великий писатель из всех, кого она знала. Но ее пугала эта его неприступность, равнодушные и вежливые взгляды молчаливых камерлажеев, которые приносили ей цветы. И она жадно слушала поэтому эти разговоры.

У нее создалось впечатление, что Николай Михайлович знает все; они молоды и даже представить не могут, какие горы книг и рукописей в каждом его слове. Но ее пугал Чаадаев. Вот он сидит и спокойно задает вопросы. Кто дал ему право так спокойно, терпеливо — и так, впрочем, почтиительно — задавать вопросы, и кто заставляет ее знаменитого мужа так терпеливо на них отвечать?

Потом она всмотрелась.

Она знала славных франтов, она привыкла к щегольству гусаров, никто лучше не отдавал чести, чем Каверин, и она улыбалась этой бесстрашной и преданной вежливости, с которою он всегда широко и медленно касался кивера.

У Чаадаева было щегольство, которого она еще не знала. Прежде всего, что за совершенство — этот ментик, перчатки! И это вовсе не смешно.

У Каверина такой вид, точно он сейчас готов сорвать с себя и бросить к женским ногам из вежливости лядунку. Здесь, у Чаадаева, в этом совершенстве медленности, спокойствия, она угадывала строгую, беспощадную, медленную религию вежливости. Любопытно, что всем гусарам, когда они ходили по Царскому Селу, словно мешала одежда, — так все быстры и стремительны, а у него словно его одежда и все, что он говорит, и все, что старается делать, — одинаково важны. Этот тихий гусар — кто он таков? Пьер Вяземский рассказывал, что он был в карауле императора в самый день взятия Парижа, — оно и видно. Но вот, — это дальше говорил Пьер, — он был в огне под Кульмом и под Лейпцигом, — этого не видно. А что у Бородина простоял у полкового знамени еще подпоручиком весь день, — это и сейчас видно.

Встреча ее мужа и гусара, который пришел с Пушкиным, необыкновенно занимала Катерину Андреевну. Оглядев эти комнаты, которые с таким трудом привели в жилой вид Пьер и Тургенев, Чаадаев спросил Николая Михайловича, не сыро ли в стенах, так как стены дурно сложены.

Николай Михайлович о стенах ему сказать не мог, он их не замечал. Чаадаев сказал и о крыше, — она сложена была отвесно и дать тепла не могла. Николай Михайлович удивился, откуда он все это знает. Чаадаев

ответил, что запомнил это, когда стоял с полком в Силезии, и что вообще война приучила его к тому, как надо жить. Он смотрел там на лица простонародья и убедился, что и лица и дома простонародья имеют что-то общее — отсутствие равнодушия. Здесь же другое — равнодушие от рабства.

Как они оба тихи — Николай Михайлович и гусар.

Россия ждала своей истории — труда Николая Михайловича. Скоро ему описывать Петра и его время? Катерина Андреевна знала, что Петр может играть столь важной роли в «Истории» ее мужа, что эта История должна быть важным уроком, и поэтому самый великий — Иоанн III — будет и самым главным и самым обширным. Да, но гусар сказал об Европе Россия стала при нем Европою. Пушкин выпился в гусара глазами. Николай Михайлович был слишком словоохотлив. Конечно, он был прав: новые матишки, сказал он. Нельзя писать об истории, как о задаче геометрического

Однако пора ей показаться. Она вышла в сад, сорвала сирень, которую всему придавала вид Магательмы, и вернулась. Гусар говорил о рабстве говорил с тем властным видом, которого Катерина Андреевна не терпела. Рабство было везде, — самый хлеб, который они ели, был хлеб, выращенный рабами. Чаадаев говорил спокойно. А Николаю Михайловичу это пришлось. Он отвечал заметно небрежно. В самом деле, здесь преувеличения. Она смотрела в дверь, которая была незаметно для них открыта, — и поразила. Гусар был бледен, даже губы его побледнели. Он говорил о рабстве так, как другие гусары говорят только о людях, с которыми завтра будут драться дуэли. Губы были бледные, улыбки как не бывало. Что за страсти? Мог бы быть, войти и прервать их? Нет, гусар продолжал. Это была его неподвижная идея — рабство. В рабстве он видел причину того, что Россия не может быть выше всех стран Европы, а уничтожить рабство мешало, говорил он, самовластие. Есть только степени рабов — различие только коли самовластие. Россия вскоре после отмены всего этого должна стать мертвой страной. И начал доказывать это так, как будто это предстояло увидать скоро.

Это уж было слишком. Преувеличение, новое и модное, — сказал гусар Николай Михайлович со скукою в голосе.

В «степенях рабов» он ничего не видит, кроме смятения. Что разум под словом раб? Он говорил о хлебе, добываемом рабами. Но есть ли это рабство — самую природу поставленное правило, спорить с которым возможно, а говорить о нем — детскость. Все это давно давно доказано жизнью. Все установления этого рабства суть основы бытия, значит, неприкосновенны; смятчать его, делать утилым — вот остается.

Да, это рабство будет, а непокорных нужно смирять, как детей. Горько, что бесследно проходят все примеры древности и недавней истории. Франция щедро это доказала.

А самовластие — или, лучше, самодержавство — необходимо, и это тоже доказано временем, хотя можно, конечно, о многом ненужном, излишнем говорить. И он, Николай Михайлович, спорит до конца, — полезно это вредно самому бытию Истории, а стало — основе их жизни? И вдруг Николай Михайлович и коротко засмеялся своим странным лающим смехом и сразу же замолчал.

Это было, разумеется, от напряжения нервов. Тогда Николай Михайлович взял со стола листок с копией древнего наставления Владимира Мономаха детям и прочел параграф, относящийся к детям и женам: «И не уставай, бия младенца...» и прочее. Листок был только что прислан, и у Малиновского были важные разночтения. Он давал этим понять, что занят. Только ли?

Екатерина Андреевна поглядела в дверь. Чаадаев сидел с широкой улыбкою, Пушкин был весел. Лучше бы они обиделись, как дети. Чаадаев звякнул шпорами, и Пушкин со своим воспитателем, — как уже назвала про себя Екатерина Андреевна гусара, — наконец, удалились.

Николай Михайлович засмеялся тонко и коротко. Он был явно разочарован.

18

Ночью она долго не спала, прислушиваясь к притворному, беззвучному спу мужа. Она знала: он лежал неподвижно, как мертвый, припоминая каждое слово Чаадаева, и не спал. И через полчаса она услышала его тихий, подавленный вздох. Притворяясь, что спит, он не верил ее сну. Она улыбнулась и заснула.

Утром она проснулась рано.

Она посмотрела искоса на своего знаменитого мужа, на своего просветителя и друга и ужаснулась: неужто юнцы правы, и неужто уже двадцать лет она верила напрасно, прельщенная его мудростью? И если все это монашество, — зачем она рядом, здесь; зачем дышит, сдерживается, стареет и все хорюпа?

Она выскользнула из постели и посмотрела на себя. Она вспомнила взгляд Пушкина, своего смешного мальчишка. Он просто ребенок. Нет, не просто. Муж приучил ее к терпению, власти над собой, которую эти безумцы называли вчера заодно рабством, а Николай Михайлович так просто и смело принял их вызов: да, рабство. Впрочем, был вовсе не этот разговор, не о ней.

Ей было немного жаль мужа. Он вчера говорил с обычной, только ему присущей, мудростью. Но его речь опять не была принята. И всего удивительнее было его затруднение: он говорил, как с младшими, и с Чаадаевым и с Пушкиным; и давно следует перестать так говорить. Величие более не в моде. Его следует скрывать, и тогда его простят. Может быть, и впрямь здесь что-то смешное? Как все просто стало. Она задала Чаадаеву вопрос: что заставило его перевестись в Ахтырский полк? И Чаадаев ответил ей по-гусарски: у Ахтырского форма гораздо лучше. А с Николаем Михайловичем о каких только истинах не толковали. Николай Михайлович постарел. А ахтырская форма действительно лучше: выпушки, и потом не этот отвратительный селадоновый цвет, а синий. Он гусар — вот и все; и ответ его был гусарский. Он действительно прекрасно танцует мазурку, лучше всех. Раевскому далеко до него. А Пушкин вовсе не умеет танцевать: сопит и задыхается в вальсе. Он просто не может так близко быть от дамы. Надо его здесь подальше усаживать. О каких она смешных мелочах, гусарских, думает.

Она посмотрела на себя и беззвучно ступила голыми ногами на холодный пол, мимо ковра, к которому привыкла, на холодный пол, от чего предостерегал ее и столько лет отучал муж. Как до выхода за него, она почувствовала этот холод, который смолodu любила, от которого раз чуть не умерла.

Что с ней?

Она, босая, прошла по гостинной, где сидел Чаадаев, тоже смешной, — как она знала этих великих танцоров, которые всегда выступают, как в своей последней мазурке; он прославился здесь этой последней мазуркой. Девушка взглянула из двери на нее, испуганная, и спряталась. Она опять, видимо, теряла власть над собой. «Рабство», — вспомнила она Чаадаева. Бродит неодетая по утрам и пугает девушек. Какой вздор — она не молода! Все это одиночество, нужно позвать Авдотью Голицыну потогостить к ним. При Авдотье она не чувствовала ни робости, ни болезни каких-то мужских ошибок.

Авдотьиш певучий разговор имел такую власть, что, приди они, когда здесь была Авдотья, — они говорили бы другое, и не вышло бы неприятного разговора, не было бы гордости Чаадаева, сомнений Пушкина. Она отлично это поняла. Это был не только разговор о единовластии и рабстве, это был еще разговор об императоре, а мужа — и о ней. Странно, по это был разговор о ней. Николай Михайлович этого не понимал. А Авдотья понимала бы. Девушка принесла пуховую шаль и закутала ей ноги. Она ничего не сказала ей и улыбнулась. А муж все спал. И девушка подала ей письмо. Все разом пропало.

Письмо принес сторож. Девушка всегда обивалась, путала и не знала, откуда, кому, от кого, какой сторож. Катерина Андреевна взглянула на дру-
бый куверт без надписи — нет, не из дворца. И слава богу!

Потом велела дать нож и вскрыла письмо. Вскрыв, она посмотрела на девушку и вся покраснела: покраснело лицо, плечи, грудь. Она бросила письмо на стол и сказала девушке спокойно: не принимать ничего ни от кого без ссказа. Потом протянула письмо Николаю Михайловичу; он уже входил, спокойный, готовый для труда и прогулок. Он с изумлением посмотрел на нее и пробежал письмо. Он помедлил только мгновение и сразу же засмеялся своим сухим, поверхностным, не доходившим до груди смехом. Потом улыбнулся, недоумевая. В письме было торопливо написано только о часе и о месте: 6 часов у театра. Так пишут о свиданиях. Таково было это письмо, переданное ей девушкой. Они смеялись над этим глупым письмом, по ошибке переданным глупым сторожем глупой девушке, несколько дольше, чем нужно было.

Потом Николай Михайлович стал размышлять: чье это письмо? И вдруг неожиданно сказал: Пушкина. Потом он очень ясно и с веселостью, к нему вернувшейся, восстановил, как историк, все обстоятельства: мальчишка написал какой-то своей деде о свидании, а сторож не расслышал (или не знал) и передал не туда. Ей так часто приходилось слышать от мужа объяснения исторических недоразумений и удивляться простоте этих объяснений, что она тотчас поняла все. Он был прав. Все объяснилось. Она спокойно сказала: следует его проучить. И Николай Михайлович подтвердил: да, следует проучить мальчишку. И вздохнул. Он назвал его теперь мальчишкой, чего

раньше не было и что ее немного удивило. Они еще посмеялись и разошлись. Она забыла об этом письме, и о Пушкине, которого Николай Михайлович звал теперь мальчишкой. Но вечером вдруг удивилась: кому он писал, этот мальчишка? Она рассердилась сама на себя за это любопытство и тяжело задышала.

Она была оскорблена, и вдруг перестала верить в его будущее, в его стихи, верить его смущению. И ей было неприятно, что Николай Михайлович стал так часто звать его мальчишкой. Впрочем, ей было все равно.

А он?

Все как рукой сняло: и заботы о любимом и вечном труде, который окончен и напечатан, и будет жить, когда сам он давно истлеет; и та горькая правда о древней России и новой России, которая дотлевала без ответа где-то, не то здесь, неподалеку, во дворце, не то в Твери,—без ответа, которого он так и не дождался и без которого—он знал это—Россия спокойствия не найдет, не найдет и счастья. Так он жил здесь, в Царском Селе: ни древней, ни новой России. И последнее, что гнетло его и о чем он боялся и не желал думать: внезапная поздняя молодость жены, ее тревожное дыхание, все царскосельское их житье, без шуток и спокойствия, без старых друзей, которые одни существовали для него,—с этими непоседами лицейскими, милыми, но утомительными мальчишками. И, наконец, самое последнее: спор с Чаадаевым, даже не спор, а с его стороны спокойное вражеское молчание. Он привык к тому, что у него есть враги и есть друзья. Здесь было другое: его юные почитатели были горше всех врагов, горше Аракчеева, с природным, грубым умом коего он почти примирился, потому, что это было все же лучше, чем земная лесть якобинца-поповича. Боже! С кем ему приходилось ладить! Они же были друзья, но до того чужие, что его мучала самая мысль о том, куда они ведут Россию! Ведут ли? Мальчишка, Сергея Львовича сынок, вертопрах, поэт—и гусар-танцор. Ведут! Не слишком ли пышно? И вежливость государя с мальчишками сплошь притворная, которую нужно не только допускать, но и ценить, ничего не означает. Он знал это лучше, чем кто-либо другой. Кесарь слушал его когда-то так, как будто ему дела не было ни до древней России, ни до новой. Эти юнцы хуже,—как будто знали и ту и эту. А теперь вдруг все как рукой сняло.

Это была сушая мелочь, анекдот, о котором и говорить не стоило: мальчишка ошибся адресом и сунул какой-то *billet doux* Катерине Андреевне. Но эта мелочь его заняла. Все начинается с мелочей. Как вспыхнула Катерина Андреевна! Мальчишки, наконец, укажут его место, и это будет для него полезно. Одно смущало его: неустроенность собственного дома. Конечно, это не его поместье, не Макалелема с простодушной, одинокой жизнью севера, но все же следует добиться большего порядка и здесь: нужно было взять с собою и уметь выбрать не такую глупую девушку. Какими смешными мелочами приходится заниматься к концу жизни, дотлевающей, изредка только и напрасно вспыхивающей. Он сам знал: да, он был смешон намерен с этой речью перед юнцами, которые сидели здесь, в его кабинете, как судьи, перед ним. Он говорил так долго и горячо потому, что давно ни с кем не говорил, начиная с тех трех дней в Твери, после которых потерял все,—и не перед кем было. Все почитали и молчали.

Странно, но он говорил, как перед судьями,—тогда перед кесарем, а теперь — перед этими юнцами.

А он так ласкал его, быстрого, болтливого, почти дитю, что я впрямь чуть не доверился излишне.

Вот она, новая Россия!

То, что к юпку потеряла вдруг доверие Катерина Андреевна, было забавно и даже приятно.

А она не смеялась, не улыбалась. Она теперь ждала его, как ждала только однажды в жизни — безвестного поручика, о котором вдруг вспомнила в этом году, прочтя в газете о подвиге поручика Струкова. Но у нее не даром кончилась молодость или, как она дважды в это лето сказала себе, без голоса, одними губами, глядя на пустынную ночь: жизнь.

Она тотчас о поручике забыла,— сказала себе забыть. И действительно, исчезла самая мысль об этом несчастном происшествии ее молодости. И не было никакой связи между всем этим и смешным происшествием с мальчиком и его глупым письмом. И все-таки, тяжело дыша и зачесывая волосы, она вдруг вспомнила и это.

Пушкин пришел. Он сидел в их китайском зале, круглом и маленьком, чужом. Пусть посидит. Она стала спокойна и ровна. Она прислушивалась. Николай Михайлович тоже не торопился. Пушкин быстро ходил, останавливался, срывался. Наконец она услышала: муж вошел. Она не даст говорить ему одному с Пушкиным. Его холодное спокойствие все погубит. Карамзин протянул записку Пушкину.

Катерина Андреевна вошла в тот миг, когда Пушкин, побледнев, держал свою записку машинально; увидев ее, он еще больше побледнел. Он не смотрел на них. Николай Михайлович поддержал ее и под руку отвел к дивану. Как он вдруг смирился, как стал жалок. Он, как в первое мгновение, держал еще этот *billet doux* и даже не сунул в карман. Он был смешон. Она не знала этого. Николай Михайлович заговорил; без злобы, без холода, без тожкости. Он говорил с ним, как говорил бы его отец. Он смеялся. Во-первых, он взял на миг у него снова записку, прочел ее и стал подробно, как бы в недоумении, ее разбирать. Краткость записки удивительна. Она заставляет предположить, что это не впервой. Но если не впервой, как можно быть таким неосторожным, не ценить своей страсти. Что могут подумать ней, которой эта записка предназначалась, безымянная, стремительная. А быть может никому и не предназначалась, и все кипение страстей впустую, как пишутся многие стихи?

Пушкин слушал безучастно и вдруг машинально поднял на нее глаза.

Он до того потерялся, что не поздоровался.

Как умен, как мудр Николай Михайлович! Он просто поднял его насмех. Он сказал, что его заступничество Пушкин обязан тем, что сидит на диване, а не поставлен в угол, что, впрочем, заслужил в полной мере. И потом стал говорить все горячее. Он говорил с горечью о жалости, которую внушает ему Пушкин. Он припомнил даже, что здесь он интересен только Александру Ивановичу Тургеневу, да вот в этой хижине встречали его стихи с гостеприимством, как надежду на стихи, еще лучшие. Встречали, по впредь остерегутся. Он сказал, что самое смешное во всем этом смешном эпизоде это его годы.

Открыв рот, неподвижно смотрел в угол Александр. Тогда Николай Михайлович напомнил ему свой давешний разговор с Чаадаевым. Вот она, немецкая слобода, где юные пегиметры, молодые люди, начинают распутствовать, думая, что они в Европе. Лицей — это подлинно немецкая слобода Петра, где начинается российское распутство. Нет, прелестны изречения Владимира Мономаха: «Не уставай, бия младенца». Бедный священник, которого зовут здесь попом, не смеет преподавать и тень этих учений, — над ним смеются. Что делать со страстным селяноком в шестнадцать или семнадцать лет? С Ловласом, который забывает своих друзей и до сих пор держит в руках свой манускрипт, повидимому, столь для него дорогой?

Он и вправду до сих пор нелепо держал в пальцах эту записку, как будто онемел и не понимал, что это такое. Тут она засмеялась, — это действительно было смешно. Он опомнился, посмотрел на этот листок и скончался. Наконец он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением.

Но она смеялась все громче.

И тогда он понял, что его любовь, надежда, все его стихи, жизнь — все, что он о ней думал, будущее — все осмеяно, ничего нет, ничего не будет. Она смеялась над ним все громче. И совершенно неожиданно для самого себя, он заплакал, неудержимо, без слов, держа в руке сложенную записку. Так не плакал он и ребенком. Он плакал, и слезы не струились, не текли, а прыгали у него, и темнозеленая кожаная ручка дивана через минуту блестя, как отмытая дождем.

Николай Михайлович тихо удалился. Это было совсем не то, чего ожидал и желал. Пушкин поднялся, выпустил, наконец, из руки эту записку-комочек и убежал, не глядя, вперед, широкими, слепыми, легкими шагами, как убегают навсегда. Он не взглянул на нее. Она на него глядела, и если бы он увидел ее взгляд, он не плакал бы, как ребенок, и остался бы.

И в самом деле, не убежал же он навсегда.

19

Победа! Победа!

С утра скакали фельдъетеры. И конский топот, ровный, острый, скорый — не поспешный, а скорый, скорее всего. Государь приехал в Царское Село. Победа! Россия была счастливее всего в этот день. А счастливее всех — они, у самого царского дома. Все изменилось, все беды миновали. Только бы выдержат счастье. Вся Европа, онемев от счастья, еще не перевела дыхания. Победа! С утра Кюхля притащил свой словарь. С утра до ночи писал он теперь на первую букву, А, — Александр.

Сегодня ему повезло. Проезжая где-то неподалеку от Рождествена, император заметил крестьянина, пахавшего землю. Борова у старика споткнулась о корень древесный. Император слез, — нет, спрыгнул с коляски, — велел распрячь своих коней, и сам, — сам! — впрягся в мужицкую, — нет, крестьянскую — борону. И провел копы по всей полосе. Так, по крайней мере, говорили, и Кюхля записал это в подробности. Победа! Рабство должно было на этой неделе пасть. Осанпа! Император убедился, что народ, не жалевший себя, умиравший, но не сдававшийся, и теперь входивший в Париж, что народ достоин свободы. Сомнений не было. Да будет посрамлен всякий, кто посмеет сомневаться. Рабство падет по маню царя на будущей неделе.

Самый вид царя вдруг преобразился.

Пухлые бока замечали только зоицы! Он был строен. Славный артиллерист из простой дворянской семьи, Аракчеев по имени, столь славный победой восьмого года, стоял у трона, преданный без лести, друг и брат царю. Сомнений никаких! Нет рабства, падшего в один миг по магию царя, — известия еще не получены; но ведь во время войны (победоносной известия запаздывали. Новая жизнь началась! Дело должно решиться в этот год, быть может, в эту неделю. Сердце, будь часовым!

Он был велик и прекрасен в этот день!

Семнадцатилетнее сердце Пушкина точно, как часы.

Он знает доподлинно, кто велик и что велит счастье.

Рабство падет, потому что царь с редким вкусом и знанием дела любит простое и ясное в людях и делах.

Милые Вельо жили у самого лица. Когда они — еще при Малиновском — совершали лицейскую прогулку, старая мамзель Шредер, с красным носом и строгим видом, вела гулять обеих Вельо.

Были красавицы, и они видели их, но эти не были красавицами, а были много милее.

Старшая, София, поражала их своей походкой, которая запоминалась, младшая, Тереза, была легче пуха. Они были потодки, одного с лицейскими возраста. Отец их, португалец, был купец. А они обе жили в домике, который хорошо знали, у дяди своего, Теппера де Фергюссона.

Они любили этот домик, где жил этот европеец, дядя обеих милых Вельо. Он был музыкант, терпеливо учивший их музыке и игравший на клавишине собственные сочинения, довольно быстрые. В комнатках была легкая живописная внешность Теппера. Эти легкие античные красавицы, тонкие, как стрекозы, как птицы, напоминали одновременно и тонкую бородку Теппера де Фергюссона и осиные талии Софии и Терезы. Пушкин однажды увидел, как победитель мира увозил на легкой осиной колясочке Софию. Они знали, куда. В Баболовский дворец. Баболовский дворец, странно поместительный, четырехугольный, им так и запомнился. Здесь было простое, с ними знакомое счастье победителя.

Они готовы были хранить, опекать счастье великого, счастье прекрасно-го Александра. Его краса была в Баболовском. А к сестре ее, милой Терезе, ходил иногда Шлетнев.

Рабство, падшее по магию царя. Вольность. Счастье. Время стало быстрее.

Назавтра стали Пушкина поздравлять. Он удивился. Слышали, что он был у государя в Баболовском дворце. Улыбались.

Пушкин не был в Баболовском дворце. Государь не говорил с ним. Это была потребность поставить рядом с государем известное имя.

И так его слава росла. Уже выдумывали о нем небывалые подробности.

20

Это были эпиграммы — каторжные, злодейские.

Карамзин судорожно сжал их в руке. Он прочел первую. В ней было какое-то добродушие, хоть и ксиппо разбойничье. «И, бабушка, затеяла пус-

то — докончи лучше пам Илью-богатыря!» Что за начало мужичье: «И, бабушка...». Так действительно говорили старые бабы где-нибудь в Коломне, возвращаясь с базара. Новое светило новой насмешливой поэзии. Новый Вольтер! Второй он не перечитывал. Он узнал свой разговор с Чаадаевым, искаженный, изувеченный, безбожно перетолкованный. Сомнений быть не могло. И ему стало скучно. Спасаться от докучливых визитов, жить в этом уединенном — между врагами, и друзьями, — царском поместьи, — и быть преданным со стороны... мальчика, Василия Львовича племянника. Лицейского! Катерина Андреевна всех их избаловала. Она ведет себя — это странно сказать о ней — моложе своих лет.

И он почувствовал, что этих стихов не прочтет Катерине Андреевне. Он боялся не того, что она не разделит его гнева, — об этом не могло быть и речи, — он боялся того, что она испугается. Он уже заметил у нее такое выражение, — после этого его разговора с гусаром, — ее слишком нежный, слишком ласковый взгляд. И она взяла тогда его руку в свои — и вдруг поцеловала. Да, она уже поцеловала раз его руку — когда он подписал первую корректуру Истории Государства Российского. Но почему же теперь?

И он ничего не сказал ей.

А Пушкина он просто позвал, увидев из окна, — это было в среду вечером, — положил перед ним эти эниграммы и наслаждался тайно его видом. Как он побледнел! Вообще во всем этом было что-то детское, что его отчасти миряло со всем этим происшествием. Он приволокнулся, воображая себя, видимо, гусаром, за Катериной Андреевной, написал ей эпистолу, спутал с какою-то шалостью, о которой нужно бы просто сказать в лицее его директору — как воспитываются в этом творении Сперанского юнцы! — спутал, выслушал заслуженную отповедь, заплакал, как ребенок, — удивительно! Ручка дивана, что у окна, была словно омыта водою, — а потом захотел отомстить. И вот конец!

Теперь он не плакал, теперь он побледнел, словно побелел, и ни слова не сказал, как и тогда. Но Николай Михайлович уже без этой легкой и снисходительной усмешки, как в первый раз, а сухо и кратко сказал: больше не бывать здесь, пока он не одумается, пока не научится понимать отечественную историю — или, по крайней мере, не привыкнет хоть к расстоянию между собою и важнейшими событиями и предметами этой истории. А чтобы он стал привыкать к этому расстоянию, необходимому для него и истории, — пусть он на первых порах соблюдает расстояние хотя бы между собою и этим китайским домом...

21

Он уже неделю ее не видел. Нет, не неделю — восемь дней: он был у них в среду, потом в воскресенье забежал, видел, как она подала Николаю Михайловичу листы его Истории, пахнущие терпкой печатью — боже! Она держала корректуру Истории — что бы с ним ни было — эта История священна. Как бы он ее ни знал, не знал в ней смешных сторон. Да ведь и Барамзин их знает, шебосы! Дело не в этом, восемь дней он ее не видел. Он забыл, забыл навсегда, свои слезы. Иначе, если б не забыл, он жить бы не мог и не должен был. И теперь он привыкал властвовать собою — после этих по-

зорных слез,—он, не предаваясь им, искал утешения в неторопливом, скупом на слова, редком разговоре с Чаадаевым. После того разговора он как можно точнее записал отдельные слова этого разговора. Чаадаевские слова, которые были и его мнением: изящность, простота великого труда Карамзина. Изящность, простота, отсутствие пристрастия. Он стал записывать, рифмы сами приплыли без пристрастия. Карамзин сказал о необходимости самовластия, неизбежности. Да, и молчание о рабстве. Как же, что же осталось?

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастия
Необходимость самовластия
И прелести кнута.

Без мечтательности. Эпиграммы точны, вот в чем соль.

Уже неделю он ее не видел. Побывав у гусаров, встретив там Шишкова, он ночью проснулся и весь день говорил о точности, днем, вдруг, сам, со стороны посмотрел на свою судьбу — и удивился. Ужаснулся. С ужасом он подумал, что теперь должна была исчезнуть последняя правда — правда в разговоре с самим собой. Он должен был накрепко закрыть от всех — и от себя прежде всего — самое имя ее, самую возможность сказать о ней, назвать ее. Это его поразило. Он был приговорен. Не скажет и в стихах. Что же далее? Пройти эта любовь не может. Забыть ее невозможно. Сказать нельзя. Он начал уже лгать перед самим собою. И вдруг — руки его широко открывались. Об этом и подумать было страшно. Он и не думал. Только точность осталась. Он писал стихи, привычные. Быть может они бы понравились Батюшкову. Да, его похвалил бы Батюшков! Бог с ним совсем!

И он увидел однажды — на восьмой день — ясно: он несчастен, и счастье невозможно. Что было бы, если бы он написал об этом?

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса сознаться смеет.

В страсти. И ему стало легче. Таков он был. Вовсе это не была лицейская любовь. Страсть. И он не смел признаться в ней. Самому себе. Боялись лицейские упражнения, страхи, тайна. Страсть владела им. И был страх перед страстью.

Она теперь сама себя не понимала. Она была недовольна собою, недовольна божеством, которому сама принесла в жертву свою жизнь, свою молодость. Увы, где она, эта молодость? Она стара, и только внимательность, прилежное терпение ее великого мужа оставляют ей молодые часы. Старость ее молода. Все бы хорошо, да сегодня она вспомнила взгляд Авдотьи, простой, без выражения, по которому она сразу увидела, что Авдотья обратила на мальчика внимание. И она вспомнила, как Пушкин вдруг, быстро и потерянно на Авдотью поглядел, почти так же, как тогда, когда плакал. Ей просто жаль было его, как ребенка. Но мальчик удивительно горяч, без ума от внезапных, шальных страстей. И она почувствовала, что ни за что его Авдотье не отдаст. А поняв это, осердилась на себя. Пушкин вел себя вполне

просто и даже под конец не шутил, что часто выходило у него неловко, бурно. И она придралась к себе, заметила, что и этим недовольна.

Николай Михайлович ежедневно уезжал верхом по грибы. Она с почтением смотрела на его посадку в седле. Стоило только держаться в седле побрежнее — все бы сказали, что он скачет, как молодой, как Гвардеец. Куда там! Он проезжал как умный, великий человек, но отвык, и его прекрасная посадка была хороша, но чуть смешна. Без него она уходила иногда. Здесь дворец ограничивал собою все. Она уходила из китайской хижины, из живописного, хоть и скудного места, смотрела памятники.

Пушкин после своего беспричинного громкого плача, которым вдруг себя осыпал, не смел к ним показаться. Он бродил кругом, то здесь, то там. На седьмой день он стал задыхаться.

Между тем, шатаясь, пока Энгельгардт не показывался, занятый одною, только одною мыслью, он приучил себя с принужденным вниманием смотреть на царскосельские, или, как еще старики говорили, саркскосельские, памятники.

И однажды они встретились, столкнулись случайно, нечаянно. Он вдруг ее увидел. Она, привыкнув к корректурам мужа, увидела памятник, всем похожий на ее корректуры. Это был монумент Румянцеву Задунайскому. Черный лист с выпуклыми буквами был памятью славной битвы Кагульской. И в этом листе говорилось, как в точной исторической памяти, которых столько она прочла и правила в Истории Государства Российского. Она прочла все с начала до конца и оперлась о чугун. Было жарко, а здесь холод от чугуна. Она коснулась его, провела пальцем по какому-то имени. Пушкин увидел ее вдруг — и вдруг рванулся к ней, как конь, оттиснутый шпорой.

Она обрадовалась ему, немного сильнее, чем можно, чем сама ожидала.

Вдруг, задыхаясь, обняв ее стан, он стал опускаться и, упав, прижался губами к ее узкой стопе. Она закрыла глаза, кажется.

Он ничего не говорил, лежал у ее ног, и она не нашла, как и что сказать ему. Он обезумел. Поднявшись, задыхаясь, он от нее по отрывался. Он не обнял ее. Он пал к ее ногам, как подкошенный, как падают смертельно раненные.

Не раз и не два, днем и под вечер стал он приходить к Кагульскому чугуну. И прочел весь список Кагула — подробный список победных содеяний, весь список героев Кагула. Среди них было имя Аннибала Ивана Абрамовича, которому он обрадовался. Он прочел весь лист назавтра. В этот день он ни о чем не думал. А возвращаясь от Кагульского чугуна, вдруг засмеялся. Он не умер, не сошел с ума. Он просто засмеялся какому-то неожиданному счастью. Чугун Кагульский, ты священ! И, пришед домой, он всю ночь писал быстро.

Она ничего не сказала своему великому мужу — его покой был слишком дорог. А Пушкин — мальчик, безумный. Ей было жаль его.

И она постаралась поскорее забыть о себе у Кагульского чугуна. Она вдруг поняла, что поступила верно — который раз? — когда решила не отдавать его Авдотье. Как он на нее взглянул тогда... сразу покорился! Он югн бы. А давеча как упал к ее ногам! Точно раненный насмерть! Все же он не умер. И она засмеялась, как давно уже не смеялась. Покраснев и полюбопытвав в смехе губы.

Все же он не умер, и стихи его живы. Так живы, что когда давеча читали, она потупилась, точно прочли чье-то письмо к ней написанное. Не умер, живехонек!

Она покраснела от радости.

Никто не мог бы, никто не посмел бы сказать, что он пропустил Карамзина. Разве стихи его остались бы теми же, не сделались бы другими? Но ведь они каждый день делались другими.

Однажды Карамзин спросил его, как пишется, готова ли его поэмка?

Увеченный славой, первоклассный, уже ощущающий горечь на дне поэтической жизни, он спрашивал его просто о новой, только начавшейся поэме и явно интересовался ею, знал ее, потому что называл ее поэмкою.

Да, шаг за шагом, терпеливо, настойчиво шел он за Карамзиным и писал эту поэмку, умную, с этой легкой, мудрою усмешкою, вполне готовую к тому, чтоб сравниться с лучшими стихами, поэмами Карамзина. Он олицетворял эту тонкую усмешку в поэме в лице героини и назвал ее Зоей. Эта Зоя должна была быть совершенной умницей. Она вовсе не собиралась в ответ на благодарность героя погубить жизнь.

За спасибо в темну яму лечь.

Мудрость полурешений была в поэме лукавою и истинно милою.

Нет, он чутко внимал Карамзину и шел за ним. Он погнал рифмы из поэмы, чтобы в стихах была честность прозы. И доведя эту умную, эту умненькую сказку до поворота, не захотел ее читать и думать о ней.

Он вдруг научился пропускать. Рифма доказывала верность мысли. Кто писал без рифмы — писал боясь проверки. Рифма была некогда богиней. Ум? Не ум, а разум. Самое высшее доказательство истины, самый ясный разум — была любовь. Не любовь, а несчастье стерегло его. И все же. Все же да здравствуют музы, да здравствует разум! Уже пять дней и две ночи писал он новую поему. Рифма, любовь — и не половинная — разум. А история русская — ее творили Карамзины для него.

Рифма. И любовь, как рифма. Не половинная, не мысленная любовь. Не усмешка ума, муза и разум да здравствуют!

История русская, родина русская, стародавняя. Рифма была проверкою верности мыслей. Проверкою верности событий, верности событий истории русской, родины — была любовь. Да, он у Карамзиных учился — у Катерины Андреевны Карамзиной. Как часто ворчал он на отечество, когда канцелярии свистом перьев писали о нем. Не поэмка, поэма началась. История земли русской — творение Катерины Карамзиной.

Когда он упал неожиданно к ее ногам, когда у Карамзиных плакал бурно, он вдруг понял и почувствовал: есть одно лекарство от этого. И, встав, пройдя долгим путем, задумался и вдруг засмеялся.

Архимандрит Фотий был весел сегодня! Геенну на него призывали. Так пет — накоса, выкуси! Он был ловец человек. На трех ловил, на наживку плыл. Он излечит, он вылечит. Он чуял грех, как пес чует дичь. Не даром он теперь правит Юрьевецким монастырем — дали ему. Нищему — нищую обитель.

Превознес, возвеличил, ибо чутьем берет.

Вчера сказали: Голицын-прод впал в немилость. Исайя лжуй! У него грехи все собраны.

Он увидел Анну. Орлова-Чесменская. Легко ли! Полумиром владеет.

Так он ликовал.

Анна Орлова, дочь Алексея Орлова, который одним часом стал счастливым — примчал из Петербурга Екатерину, убил за трапезой Петра Третьего, всю жизнь любил забаву, кулачные бои, как мальчик, как дитя. Алехан — звали его братья. Теперь они с ней перестали видятся. Потому что здесь он! Фотий! Какие богатства остались! Юрьевецкий монастырь уже не монастырь, не братчина, не вотчина, он — государство. А все он, Фотий! Стал духовным отцом и самолично спял с нею грех. Даже слова не сказал! И прощенье не даст — пусть походит.

А теперь убрал Голицына, сластолюбца, хитрого мужеложца. А что было дьяволовой красоты у Анны! Золотые статуи из Италии, древние — целая комната! У него. Он расплавит. Анна смотрела, чтобы дядя не встряли.

А сегодня Фотий добрался, наконец, в Царское Село. Вот где грех в цене, вот где гуляет! Анна устроила это свидание. Там происходили события, которые только он, Фотий, полномочен решать. Император Павел, убитый, не давал покоя. Фотий для высокого места припас клад — он травил рану у себя на груди. Разжигал ее. И теперь в любую минуту перед кесарем он Фотий, явит видение — распахнет грудь и овладеет. Он завоеует!

Он спал теперь в гробу. Анна сделала этот гроб мягким, теплым. Он рано встал. Сегодня он ликовал. Завтра — завтра овладеет Юрьевецкий монастырь — кем? чем? — Россией. Вот оно, время! Пляши!

Он взял притихшую Анну под руку и, как всегда теперь, стал напевать, петь, мотаясь из стороны в сторону над графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской.

— Анно! Дево! Анно! Дево!

И стал тонким голосом все петь, все напевать, в восторге перед тем, что предстоит, — раскачиваясь, обняв ее, чтоб было удобнее:

— О Анно! О дево!

Но тут Аннушка — так он звал ее, когда бывал счастлив, — тут Аннушка, столь бережливая, когда нужно было предоставить духовному отцу все богатства, что она делала расписками, приказами казне, тут Аннушка положила ему в руку листок.

И, напевая, блаженствуя:

— Дево! Анно!

Фотий взглянул боком в листок.

Он пел и качался. Листок был мирской.

Он пел и качался, но сразу увидел, что то были вирши.

Благочестивая жена!

Подносят пииты ей вирши. Аникита, в мире князь Шихматов, Сергей — это он, он воспевает и тешится.

— Анно! Дево!

Он плясал, взяв за ручку деву Анну, все качаясь, и вдруг явственно прочел:

Благочестивая жена!
Душою богу предана,
А грешной плотью
Архимандриту Фотию!

И не в силах прервать свой пляс, который явно был боговдохновенный, тонким голосом все так же пропел об этом листке (о его происхождении, об авторе):

— Сатано!

И, все еще качаясь, продолжал петь и пропел о шите, который это сделал, пропел приказание:

— В Со-лов-ьи!

23

Настиг!

Он настиг эту пару — и где! — в своем жилище, в его собственном — увы! — столь скромном директорском доме, где он жил как хранитель этого места, этих лицейских! Ведь он, создатель лицея, заботившийся и добивавшийся родства со всеми, он, пришедший сюда как в собрание ждущих попечения, он, и только он, своими трудами добился этого! И какой скромностью он отвечает им всем. Когда Корф сказал, что эта мраморная доска, которую он сам поставил, — *genius loci*, — есть признание его заслуг, разве он не шепнул на него! *Genius loci* он воздвиг в честь императора, — и даже не он, а лицей! Как бы то ни было, трудами он снискал.

Несчастье, как всегда, бродит там, где есть чужие! Словом, он настиг эту пару. В бесстыдном положении! Ему поручена эта молодость, он надзирает, печется и просит об одном — не мешать! Но этот Пушкин, который нападает, который всех совратил! Он тотчас же все привел в порядок и выяснил. Вдова Мария Смит уехала. Вещи уложены, Фоме сказано, чтоб отъез. Сегодня же! Сейчас же! Ее уже отвезли. Он соблюдает или, вернее, блюдет память ее мужа. Не в этом дело! Он не знал этого мужа! Он просто повесил здесь паспорт, чтобы вдова помнила и соблюдала. И он настиг их. Ни слова об этом. Он, он сам его покрывает! Сам никому не рассказывает. Ибо — стыдно! У него будет о нем разговор. Там, где нужно.

Он сразу не хотел действовать. Он — отложил на день. Как напрасно! Словом, кратко, случилось такое: директор Энгельгардт, действительный *genius loci*, настиг Пушкина с молодою вдовой. Тотчас расторгнувшись об отъезде вдовы, он решил на день, на один день, отложить дело о Пушкине. И тихо сказал по лицейскому:

— Чтобы он, чтобы его — чтобы здесь не было его духу!

И этого духу более не было бы. Но в тот же день приезжает к нему старик Нелединский-Мелецкий и привозит от императрицы часы с надписью. Он, Егор Энгельгардт, рад и тому, что не погнал молодчика на день раньше. Вот судьба! Он только сохранил в общем журнале отметку, которую сделал о Пушкине: «И ум и сердце его пусты». Пушкин, конечно, ликует, но сдержался, и когда все написали ему в альбом, написал и он — короче всех, но прилично: в лицее не было неблагодарных. Прилично. И вместе, как всегда, уклончиво. О нем ни слова. И директор так беззлобен, что по настоящему огорчился бессердечностью Пушкина. Получив эти часы, он не уме-

лился. Ни слова не сказал, хотя, конечно, и был доволен. С ним осторожнее! Его утешенье — другие. Корф говорил о нем, о Пушкине: у него холод и пустота во всем и только две страсти: женщины и стихи.

Много не мог предугадать Энгельгардт.

Сказать, что дадут часы — императорский подарок? Кому? Пушкину. Не угодно ли? Холод и пустота в этом человеке. Вот и все. Корф, который сердечен, сказал ему, что он о Пушкине думает. Корф умен, много работает умишком и делает успехи. И формула Корфа о Пушкине: холод, пустота. И только две страсти: женщины и стихи. Каково! Корф — лицейский умник. Корф прав. О вдове ни слова. Она отбыла.

Но кто бы мог подумать, что его стихи — это сила! Насмешник остроумен, бог знает у кого учился из французов. Вольтер был давно. Бог с ним. Но знает ли он литературу? Поверхность. Немецкой литературы и не касался. Он хотел дать им в лицее общительность и светскость. И какая дьявольская насмешка!

А теперь — директор должен был и это унижение пережить, — он получил часы. Бог с ним. Хотя не ему, так лицу все же приятно. Но он их не бережет. Вчера потерял. И он, старик Энгельгардт, должен еще об этом заботиться.

Он вздохнул. Надо сказать и об этом.

А кроме того: ведь что в лицее за последний год приходится терпеть! Это все он. Бюхель конечно со странностями. Но ведь его отец почтенный. На все его странности нельзя смотреть. И вот Бюхель — несмотря на старую близость с ним, Энгельгардтом, почтенного отца — вдруг выступил! Нет сомнения, что это дело Пушкина.

Вдруг сказал, что директор только с теми водится, кто может быть многих мнений об одном. С таким трудом налажены редкие, но приличные по-прежнему отзывы — кого? Аракчеева! И он ему всех заразил. Вдруг что-нибудь произойдет? Бюхель также выступал. Он всех лишиг, то есть он лишиг его — всех. Нужно еще смотреть, не потерял ли этот искусник — эти часы! Фома! Следи! За чем? Да за часами, Фома. Хе-хе...

24

Где он жил? Да нигде.

Никто никогда не знал, не мог сказать — где.

И наконец: кто он такой?

Почему и зачем появился? Почему, прежде чем добиться приема у государя, Карамзин должен был добиться приема у него?

Быть может, тайна?

В самом деле, как тут могло быть без тайны?

Женщины горячились. Тайна. Рассказывали, что он спас императора от смерти, когда тот тонул. Да император и не думал никогда тонуть. Да откуда эта дружба? Просто оттуда, что предан без лести. Ведь кругом него — лесть.

Говорили, что он грамоты не знает. Но это с удовольствием говорил и он сам. Нет, знал грамоте — не выше того, что требовалось, однако и не ниже.

Он был артиллерист, знал артиллерию смолоду. Говорили, что он Сперанского в двенадцатом году унек, заслал. Нет, со Сперанским были, хоть редко, отношения.

Чем он держался столь крепко? Тем, что не знали. Фрунтом. Лучше, чем он, не знали фрунта.

Царь ездил на развод. Нужно было верить. Он верил во фрунт. Фрунт все спасет! В военных поселениях поселяне станут во фрунт. Ничего более. Будет и хлеб. В фрунте мог с ним равняться только император. Тоже, как узнал, поверил преданному без лести. Простой фрунтовой строй равнял совесть. Такого искусства во фрунте не знали и при императоре Павле. Стали иные говорить, что Наполеона не фрунтом победили. Лишние разговоры. Может фрунтом и лучше бы было. Иные люди — молодые люди. В строй! Двадцать лет шагать — не день. Не рассуждать. Не кричать. Вздумали грамоте учить по разным методам. Один привезли из Англии — взаимное обучение. Ланкастерские взаимные обучения. Друг друга учат. Скоро, говорят, научают. Но беда в том, что, того и гляди, и выпрямь научат. Вся армия читать начнет!

Он ничего не говорил. Знал, что этого не будет. Ведь не то, что читать начнут, пускай читают, — да кто шипет?

Стали уже бопомержже листки пускать. Вот, читайте. Сказано: в казармах все письменное и печатное собирать, давать на проверку. Сегодня и ему выдано. И он препроводит. И он взял эту письменную и печатную кипку. Перевязано веревочкой. простою, как он всегда делает. Без лести. И стал просматривать спешно — есть ли новость? Ничего нет. И слава богу. Без новостей. Он искал об одном военном поселении. Посещают лица. Может, отзывы есть, отношения? Так прилично это. Лести не любят, но нужен порядок. Пишут другим ведомствам. Пусть и этому.

Нет, это не было отношение, отзыв.

Это стишки. Теперь в ходу. Воспалятся и воркуют.

... Без ума, без чувств, без чести.
Кто ж он, «преданный без лести»?
Просто фрунтовой солдат.

Листки подметные. Ругатели. Смотри, Лавров, кто? Это твоё дело. Просто фрунтовой солдат, прочел он еще раз, горько. Прост, прост, — сказал он. Двадцать пять лет фрунтовым солдатом походи, тогда учи. Научишься. Прост фрунт. К ноге! Артикул! Держи.

25

Завелся у Пушкина друг и поклонник. Внезапный, как все у него было внезапно. Безумный кирасир. Он несся на коне, как всадник, стремящийся к скорой гибели. Самой скорой, — чем скорее, тем лучше. Пушкин встретил мчащегося во весь опор кирасира у гусаров. Кирасир, маленький, затаенный, в широчайших своих штанах, — новая форма, сменившая узкие, — в блестящей новой епанче, с кортиком, несся. Уже кричал будочник: — Стой! Пади! И вдруг он остановился. Стал, как взбаванный. Кобылица, белая, стройная, маленькая, подняв, вскинув кверху бешено тонкую голову, глубоко дышала, в шене. Пена падала с уди. Кирасир объяснил:

— Кобылица понесла.

И медленно, шаг за шагом, поехал. Пристал.

Он был в новой форме, которая только что была введена. Ясно было, что кобылицу он разогнал, что это был конец гонимой, но никто бы и не подумал об этом сказать. Впрочем, впрочем, с ним было все коротко. О двух его дуэлях все знали. А спешившись, он оказался неопытной красоты мальчиком, очень тихим, приехавшим к Молоцову или Каверину, даже именно — к Каверину. По делу. Делою была та же дуэль. Его вызвал Юрьев. За что? Ни за что. Увидев Пушкина, он просиял. И тотчас бросился к нему.

Это был Шишков, поэт, уже давно искавший дружбы с ним.

Александр Ардалионович Шишков писал быстрые элегии, в самом деле напоминавшие его. А в последнее время стал писать эпиграммы. Он подражал так близко, что Пушкин стал хмуриться. Но Шишков и не думал ничего скрывать. Самое их знакомство было горячо, горяча немедленная дружба. Куря табак и задыхаясь от дыма, — он не терпел дыма, но как отчаянный должен был курить, не смог не курить, — он говорил с Пушкиным откровенно.

Даже слишком откровенно. Пушкин вначале оторопел. Шишков был племянник знаменитого адмирала — «сухонутного адмирала» (Шишкова, старика, который был главою этой страшной «Беседы», воевавшей против Карамзина, который был занят корнесловием, столь раздражавшим дядю Василия Львовича, столь его вдохновлявшим. «Опасный сосед» не был бы написан без него. «Опасный сосед» был именно написан о его приспешниках.

Теперь время было другое. Двенадцатый год пронесся. Ждали. Не могло оставаться все попрежнему. А все оставалось, как было. Попрежнему. Появились быстрые люди. У сухонутного адмирала завелся быстрый племянник. Знаменитый дядя, который о нем заботился, докучал ему. Он был не согласен со своим званием: второй. «Дядя второй», — говорил он, — а не я.»

Взяв со стола карту, Александр Ардалионович другую сунул Пушкину. Пушкин играть сегодня не хотел. Шишков смотрел на него во все глаза, держа наготове карту. И звонким голосом, достав из обшлага два портрета и бросив их на стол, Шишков второй сказал:

— Дядю на дядю.

Все притихли. Александр смотрел на Шишкова второго во все глаза. Дядя Василий Львович против адмирала Шишкова! Давно ли — одни дядю клялись, другие дядю кляли. А сегодня — дядю на дядю. Оба врага стали смешны в картах. Не слишком ли? Он бросил карты. Дядя Василий Львович был точно смешон, да этот смех ему не нравился. Смех был нехорош. Смеялись. Когда появлялся Шишков второй — все должно было кончаться либо смехом, либо выстрелом.

Каверин смешал карты. И Василия Львовича и адмирала.

— Отчаянный, — сказал он.

А отчаянный уже читал эпиграмму. Не даром он был в новой форме и прискакал на последние.

Эпиграмма была коротка. Видно было, что он читал все пушкинские. Все и впрямь скажут, что это его, Пушкина, эпиграмма.

— Свобод хотели вы, свободы вам даны;
Из узких сделаны широкие штаны.

Прочел спокойно, ровно.

И полюбовавшись гусарами, в широких штанах, прижав руку к груди, когда смотрел на Пушкина, бросив непременно, но надоевшую трубку, шаркнул стройными ногами в широких штанах и умчался.

26

И изо дня в день, все чаще он начинал не чувствовать, — он чувствовал, каждый день одно и то же, что будет весь день бродить, не доходя до китайской хижины, а иногда и минуя ее наискось по малому переходу. Однажды он вдруг услышал там голос Екатерины Андреевны, она говорила с детьми: — Детенки мои, — услышал и замер: когда она говорила по-французски, ему показалось, что опять в китайской хижине весарь, и он простоял неподвижно, без дыхания, задохнувшись, пока не услышал важный, нежный голос Нелединского, и сразу тихо засмеялся. А с детьми, с мажым Андреем, она всегда говорила по-русски. Итак, здесь постояв, послушав это чуть шевучее объяснение с детьми — детенками, — его обезоруживали всегда ее грамматические ошибки, чего Кошанский уж, верно, боялся, как чорт ла-дана, — так простояв здесь третий день, третий раз послушав, как диво, эту ее речь, он вдруг сказал вслух, догадавшись, внезапно, разом: — Ага!

Он вдруг понял, что всю историю русскую, от времен Владимира Красного Солнышка, он узнал точно здесь, у Карамзиных, да только не от него, а от нее, от Екатерины Андреевны. Она была по отцу Вяземская, княжна, с головы до ног княжна, а говорила детям певуче: детенки мои. Ведь так, почти так, только Арина говорить умела. Аминь! Аминь! Рассынься!

И надо же было ему встретиться с нею! Здесь, возле лицея, в двух шагах, в этой китайской хижине, в небывалой Китайской Деревне.

Все чаще страсть находила, наначала на него.

Он по-настоящему задыхался; переводя дух, пыхтя, как во время драк с Малиновским, не сдаваясь, боясь, чтоб кто не заметил. И надо же быть ее разговорам с детьми, певучему ее взгляду, смеху быстрому. А его стихотворения она слушала по-своему. Раз выслушала, не сказала ни слова, а потом, через неделю, вспомнила и смазала строку за строкою, тихо, медленно, как бы убеждаясь в нем, увераясь. Стало ясно в этом бережном внимании — его стихи ей дороги, ей милы. И он стал иначе слушать их, смотреть на себя. Одну строку она прочла по-другому. Он хотел напомнить поправить, и вдруг решил: быть так. С этим нечего было делать. Это было решено помимо него, и уж, конечно, помимо нее, на всю жизнь. До конца. Что еще предстояло, он предвидеть не мог, бог с ним — да никому ни слова. Ни слова себе самому, все похоронить с самого начала — и страсть и неги Запрет лежал на всем. С трудом кой-как добивался он того, что сам переставал сознавать себя и ее. Это было преступлением против Карамзина, великого писателя, против дяди Василия Львовича, против Вяземского, ее единого народного брата — Пети, как она порой говорила о нем. Против отца и матери. Содрогнувшись, он подумал, что это на всю жизнь. Жизнь была решена, сразу. Он не ходил к Карамзиным, не смел — рана за раной — где как увидит он ее в будущем году? И так всю жизнь.

У дяди Василия Львовича были неудачи в семейной жизни, он ездил в Париж от них спастись, у деда несчастье, у прадеда тоже, но никому и присниться не могла эта любовь, упавшая на него, его пронзившая, как пуля. Тайна этой любви тяготила его, как вечная, неплатная, не дающая разрешения ни на час, ни на миг.

Так все началось.

Он был готов на все — с самого начала.

Гений этих мест, бог Китайской Деревни, был ее мудрец. Он все знал, все видел, со всем мирился, не мог только помириться с одним — с тем, что она любит так глубоко старика. Она и портретов с себя писать не давала, — пусть не говорят о ее красоте. Карамзин был стар. И не то, что писания его, его История были вечны для нее, дороже всего когда-либо им написанного. Нет, она любила его, отменно тонкого мудреца, учителя, так, как любят красавицы, девушки. И он не постигал этого. Так вот какова эта скрытность, самозабвение. Что за черное волшебство! Он видел рядом эти две головы — лукавую голову стареющего сказочника и эту прекрасную, вечно молодую. Ни слова, ни стиха об этой любви. А если вырвется — говорить о других. Лгать. И молчать. До конца.

27

Эта ежеминутная страсть, закуоренная, как вино, иногда отступала.

Он вздыхал, начиная по-другому видеть ее, себя, всю жизнь. Оставались раны, оставалась память ран, глубоких ран любви.

Отступала она. Забывались эпиграммы.

Таков был Чаадаев. Одна мысль, все решавшая, одна тайна. Какая — не знал, но догадывался. Ничто не мучило его при Чаадаеве.

Самая любовь отступила от комнаты мудреца. Любовь была печальна либо смешна. Отступала здесь печаль, пасмешка была невозможна. Самая мысль о любви, как мысль о болезни, — здесь исчезала.

Любовь и не переступала порога этой комнаты. Другая тайна была здесь. Было точное средство сразу достичь счастья. Не своего — всех, всей России.

И здесь, в комнате Чаадаева, такой строгой, наступало не успокоение, наступало знание, уверенность, — Чаадаев точно знал сроки всему. Несчастье, ничтожество должно было кончиться разом, в один день.

Никто не называл бы его франтом, щеголем.

Так обдуман был его вид, так лежал на нем, как изваянный, гусарский мундир. Нет, он далек был от щегольства. Ничего лишнего не было на нем. Никакого пристрастия. Молодцов навязал ему перстень. Ему дали за карточный долг.

Чаадаев долго смотрел на перстень и смахнул его со стола.

— Когда в Риме продавали рабов, — сказал он, глядя на удивление Пушкина, — вместо оков проводили мечом черту вокруг ноги, ниже колена.

И так как удивление Пушкина не прошло, а росло, сказал серьезно:

— Я не ношу перстней. Они напоминают рабство.

Сегодня Пушкин его не узнавал.

Он нюхал хлеб, ломтик принесенного слугою к чаю, как знатоки нюхают

вино, отличая лафит от шабли. И посмотрел своим прозрачным, изпающим взглядом, спокойно, не торопясь.

— Эти рабы, которые нам прислуживают,—сказал он, глядя вслед уходящему слуге,—у него не было денщика,—эти рабы, разве же они составляют окружающий нас воздух? А хлеб? Самые борозды, которые в поте лица взрыли другие, пахотные рабы,—сказал он,—разве это не та почва, которая всех нас носит?

Он оттолкнул ногою брошенный перстень. И несколько не повышая голоса, он сказал:

— Вот заколдованный круг, и в нем все мы тонем. Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся. А это должно быть скоро, ты лучше всех понимаешь время, которое проходит, чувствуешь время, которое должно настать. И здесь самое главное—предузнуть миг, который все разрешит. Друг мой, все, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. Ты же был в Швейцарии? Я видел там свободных крестьян. Они ходят иначе. У них другая походка. Главное, что мешает всему,—заразительность рабства. Вплоть до Цезаря все им заражены. Нет уже деревни в военном поселении. Как? Но само собою. Рабство вдруг минет. Благодаря бога, оно заразительно. Ты и сам не поймешь, как оно высоко ходит, как всем правит и влезает, наконец, на место рядом с кесарем. Кесарь видит его, наконец, и рабство проходит, спадает, словно его никогда не было.

Пушкин слушал Чаадаева, как всегда, всем существом. Малотворящий, еще меньше движущийся, не машущий руками, не улыбающийся Чаадаев так и должен был быть внимаемым. Вдруг Пушкин откинулся.

— Дело за Брутом,—сказал он радостно.

Чаадаев примолк.

— Ты сегодня неспокоен, друг мой,—сказал он спокойно.—Ты почувствуешь, что такое свобода. Как ты будешь сразу создавать стихи! Сразу, в миг. Рабство вдруг исчезнет. Так бывает. Так будет.

Он вежливо спросил Пушкина, давно ли он видел Карамзиных. В его Истории он ценит более всего самые звуки, простоту, отсутствие пристрастия. Но Иван Третий хотя, кажется, и прекрасный царь, все же он напрасно считает его самым лучшим. Он мало обратил внимания на Петра. Что об этом думает Пушкин? Все, все флаги и вдруг посетили Россию при нем. Начались общения. В этом доме, у Карамзиных, есть, однако, достоинства, которые трудно переоценить. Это—удивительный топ, самый воздух этого дома. Красота хозяйки удивительна. Разговор ее удивляет ровностью, знанием, уверенностью в истине. Она прекрасна.

— Что с вами, друг мой?—спросил он тревожно.

Пушкин был бледен, вдруг густо покраснел. Он искал слов, сбивался, путался. Он вдруг стал жалок. Чаадаев внимательно на него смотрел. Он верил в Пушкина. Недоступный для любви, он понимал, однако, все ее тревоги, все неожиданности. Теперь, все видя, почти все поняв, он с вниманием, спокойствием палил Пушкину чашку черного благоуханного кофе, полученного им из Англии, занял его самым порядком всего, что делал. Чаадаев ни о чем его не спрашивал. Если б не он, Пушкин заплакал бы, как ребенок. Жизнь ему не давалась. Теперь он вдруг успокоился.

Прощаясь, Пушкин обнял его.

Зорю бьют.

Рассветало. День еще не наступил. Все было как всегда, Пушкин за стеной еще не просыпался.

Зорю бьют.

Первый звук трубы, унылый, живой, и сразу тонкий, чистый звук сигнального барабана.

Зорю бьют.

Из рук его выпал ветхий том, который ночью он листал, — Данте.

Этот год миновал — как не было.

Зорю били.

Эта точность, голосистая и быстрая, снимала с него сон, — он уже не спал; снимала неверные, тлеющие сны. Его любовь была точна, как время, как военный шаг, марш. Как будущее. Больше всего, точнее всего будущее было предсказано прошлым, прошедшим.

История Российская, русская, Екатерины Карамзиной, была в уме и сердце.

Зорю бьют.

Стремительно и точно.

Они кончили лицей на три месяца раньше положенного. Сами стены больше уже их не держали. 9 июня 1817 года явился государь в конференц-залу лицея с Голицыным, и на завтра они покинули лицей навсегда.

Зорю бьют.

Через три года государь прислал приказ отгородить лицей от дворца. Прислал спешно, с конгресса, из Европы: нет времени. Скорее! Точно, тонко, голосисто.

Зорю бьют. Лицейский марш на стихи Дельвига.

Зорю бьют. Смирно!

★ ★ ★

Явились все. Они определялись в службу. Как по-разному все стали выглядеть после лицея, где все были на одну статью. Только после лицея появилась походка. Разная у всех. Небывалая — у Кюхельбекера. Куда такой пойдет?

Однако и он подписал свое имя.

Дали они подписку в том, что ни в каких обществах, тайных и секретных, не состоят. Все подписали с легким сердцем.

Первым явился Пушкин. А потом пришли, приехали и свои, и чужие. Разные.

Все дали подписку. Были довольны. Они поступали в службу. Жизнь началась.

Пушкин решил, что вскоре поедет в свою вотчину — Михайловское.

Будут встречаться в лицейские годовщины. Простились все. Пушкин с Дельвигом обнялись. Куда? Когда? В этом доме с колоннами.

Подписался, что ни в каких обществах не состоит, и вдруг засмеялся. А лицейские? Ведь решили собираться каждый год в день открытия лицея, 19 октября, всем лицейским. Старостой выбрали Мишу Яковлева. «Ското-

братны» были все свои, это не было общество. А «Арзамас»? У него уже была арзамасская кличка: «Сверчок», — нашли в балладе Жуковского, применили к нему — и дело: он, как сверчок, никому спать не давал. Нет, не пойдет его служба. Каждодневно, кроме воскресных и праздничных дней, будет он ходить на службу? Ничуть не бывало.

Нет, они не кончили лицей. Кончились лекции, кончилось царское-сельское время, пробуждения на заре, блуждания с неотвязчивым стихом весь день; кончилось это все, а лицей не кончился. Не мог кончиться.

Семья? Семьи не было. Отец жил воображаемой жизнью. Мать была скоро, загоралась и гасла без причин. Была Арина.

Была Арина и был лицей. Не кончался. Вот и все. Такова была жизнь. И ничто не прибывало. Кто был у него в лицее? Был Пушкин, Дельвиг, был Кюхля — брат родной по музе, по судьбе. Считать ли? Много их было, — это была его истинная родня, кровная.

Уж, конечно, не начальство их роднило, не Энгельгардт. Директором был для него все тот же Малиновский. Таков он был.

Так и осталось Царское Село родиной, отечеством прежде всего.

Мыслитель скажет: по откуда же это братство, почему Царское Село — отечество? Потому, что они каждый день в этот час вставали, или одно и то же, по одному месту гуляли, у одних профессоров учились? Отсюда эта близость, на всю жизнь? И мыслитель покачает головой. Он покачает головой и будет не прав: во-первых, не всем давали обед. Шалунам его вовсе не давали. А затем — жизнь привычная. Привычка к существованию такова и есть. Нужно единство, и кто его создает — не забывается. Энгельгардт его не создал, как бы ему этого ни хотелось. Сначала был Малиновский, потом отсутствие директора, и только к концу Энгельгардт. Кто же? спросит строгий мыслитель, уж не Пушкин ли, который половину лицейских не помнил? Уж не Яковлев ли, Яковлев — «Двести номеров», который изображал двести фигур?

Да. Пушкин и Миша Яковлев.

Они всех своих помнили.

Считать ли? Был Горчаков — с памятью, непонятной для него самого. Потом эта память прогремела по всем дипломатам мира. А с Пушкиным он встретился раз на большой дороге. Их земли были близки. Встретились и братски, по-лицейски, обнялись. Таков был лицей. Нет, директор Энгельгардт не совсем понимал его. Совсем его не понимал даже. А кто понимал?

Миша Яковлев — «Двести номеров». Таково было его звание — он изображал двести персон, знакомых и встречных, будочника и Пушкина. А потом они выбрали его лицейским старостой.

Да здравствует лицей!

29

В другую же ночь он был у Авдотьи.

С удивлением убедился он, что всего новее была ее старорусская краса, всего страшнее — ее старорусские чудачества. Ведь Авдотьей назвала она первой себя сама. Ничто бы и не подумал себя так называть. Ее звали бы Евдокси, а старые — Евдокией, а она звалась теперь Авдотьей. Цыганка сказала ей, что умрет она ночью, во сне.

Назавтра же днем отказали всем гостям.

Ночью ее дом над Невой засветился. Съехали кареты. Кучеры с ночными факелами съезжались к дому на Неве. Звонкий скок лошадей раздавался перед домом. До утра входили, днем разбегались. Сразу же модники прозвали ее «ночной княгиней». День она превратила в ночь, зато ночь до утра — в день. В молодости была она влюблена без памяти; выдали ее за старика Голицына. Старый муж мало интересовался ее поступками и не мешал ей. Так она превратила ночь в день, бежала от смерти судьбы со спокойствием, отчаянием и какою-то храбростью.

Занялась она математикой и напечатала целую книгу. Вяземский, когда «ночная княгиня» с ним заговаривала о дугах и касательных, крестился тихонько.

С Катериной Андреевной Карамзиной была в дружбе. Одевалась она в глубокой сарафан, который был ей к лицу. Пушкин русскую историю узнал у Карамзиных — Карамзиной. А когда думал о своей богатырской поэме, хотел видеть тотчас старорусскую Авдотью. Без нее не мог он писать поэму, потому что не мог не видеть ее. не полна была жизнь. Катерина Андреевна при ней была всегда.

Приехал он далеко за полночь.

Извозчики были его новым мученьем, от которого он был избавлен в лицее. Сергей Львович, скупо отсчитывавший деньги, всегда торговавшийся с извозчиками, был для него судьбой. Торговаться с извозчиком ночью, едучи к «ночной княгине», было трудно.

Долго смотрел на глубокую черную Неву.

Внизу встретил его швейцар с тяжелой булавой: княгиня принимали.

Он вошел. Только что ушли кирасиры. Авдотья была в своем обычном платье в приемные дни: в сарафане. Тяжелой золотой ткани был ее сарафан. Убранный дорогими камнями, сарафан был тяжел, скрывал ее знаменитые плечи. Опять он смутился от этой красоты.

Серебристым, мелодическим голосом она говорила, что ей не по сердцу эта новизна, которую по-русски и не назовешь. Где уж тут богатырей помянуть, как Катенин, который большую силу в театре взял, стал бесперечь теперь поступать.

Пушкин в смущении потупился.

Катенин действительно взял большую силу в стихах и театре, да о нем говорили неладно: словно недаром Катенин не любил стихов о любви. Говорили и то, и это. А его стихи были не просты, хороши, сильны. Да ведь он был в явном восстании против Жуковского, Карамзина. Авдотье и горя было мало. Господи! Не продался он за ученье ни мудрому Карамзину, ни прекрасному упорному Жуковскому. Плохи его богатыри? Добро же! Недаром любил он напевать горькую солдатскую.

Шел солдат с ученья,
Своего мученья,
При-то-мил-си.

Вот и он пришел с ученья — да к Авдотье. Будут богатыри! Будет стих! Завтра же пойдет к Катенину. «Поэмка», вспомнил он и скрипнул зубами.

Серебристым музыкальным голосом сказала ему Авдотья, что теперь му-

жики большую силу взяли,—и в песне и в математике—все они. А была в песне Шереметьева Анютка, сначала в девичьей, а потом в княжой спаленке, под конец и вовсе княгиней,—вот это песня! Всем песням песня! А в Париже ее математику издали, да не разумеют! Где уж им!

Пришел швейцар с булавой, доложил:

— Князь принять просят.

Явился к Авдотье сам старый муж!

Приказала сказать:

— Почивает. Нынче ночь. Просит с утра пожаловать.

Так и доложил:

— Почивают. Просят с утра.

Это была злая насмешка. Старый князь всегда смеялся над ее причудами, и только крайняя нужда заставила его явиться до рассвета.

А Пушкина Авдотья оставила.

Она бросила свой тяжелый, в драгоценных камнях голубой сарафан, как древние воины, верно, снимали доспехи. Ее старорусская речь была ясна, ее старорусские плечи были прекрасны, вечная авдотьяна прелесть была в комнате.

— Потушите свет,—сказала она.

30

Вольность!

Одною вольностью дорожил, только для вольности и жил. А не нашел нигде, ни в чем—ни в любви, ни в дружбе, ни в младости.

Полюбил и узнал, как томятся в темнице разбойники: ни слова правды, ни стиха.

Он не посмел к ней прикоснуться, он все только следил, чтоб никто не догадался, чтоб никто не подумал и подумать не мог. Он был обречен на всю жизнь, до смерти.

Избрали его в вольный «Арзамас» Свертком.

Не тут-то было. Вяземский преследовал Шаховского, призывал к мести. Он откликнулся, написал, что убили Озерова:

К вам Озерова дух вызывает, други, мечь!

Он умер от безумия. Вяземский говорил, что он тений. И умер от зависти Шаховского.

В китайской хижине, где жили Карамзины, все ходили на цыпочках, как у тяжело больного. Он должен был ненавидеть, преклоняться.

Вольность!

Первым Чаадаев сказал ему о ней.

Он вовсе не любил арзамасца Блудова. Мало ли есть и поважней вельмож. И шутки его замысловатые и невеселые. Он нынче поехал в дипломатический вояж. Что же! Он желает ему счастливого пути.

То, что совершил Карамзин, свято. Хвала Чаадаеву. Вольность и разум! Жертвами встретили его дома. Сергей Львович, видя сына возросшим и давним подписку в том, что он ни в каких обществах не состоит, пожаловав, что не только братец Василий Львович, но даже и мамелюк не понимают

Пушкиных, то есть не шоняли его, Сергея Львовича. Он предоставляет сыну слугу Никиту. Он даже снисходительно смотрел на шалости.

Он и сам когда-то. Да и теперь еще. Сын пишет. Счастливые стихи. Он и сам когда-то.

Путешественник Ансело в прошлом году нанисал, что фамилия Пушкиных благоприятна для поэзии. Его дядя Василий Львович стал стареть. Александр желает взглянуть на родовое Михайловское? Он и сам непрочь. Никиту Александр получает навек. Такова его воля.

Так вот гнездо его отцов!

В этом продолговатом доме жил его дед, оставивший здесь долгую память. Однакоже если бы со старым временем знакомиться по-семейному, вся история государства российского была бы сплошь историей страстей и безумства.

Пусть так. В доме распоряжалась Арина, и этот дедовский дом был удобнее, сытнее, даже красивей, чем отцовское пристанище в Петербурге.

Ранним утром он бросался к окошку, а там, миновав Арину, хлопотавшую над чаем, сбегал к озеру, озерам. Рядом с Михайловским озером было еще одно, малое, узкое, острое. Да и звали его: Маленец.

Озеро Маленец было в самом деле мало, с прихотливой излучиной. Он бросался в воду с самого пригорка, выходя на дворик, тотчас, с самого утра. Конь верховой ждал его. Он ехал в Тригорское — соседственный замок. Как он тотчас стал величать соседнее имение, — где жила, как всегда, как всю его жизнь, до самого приезда сюда, в Михайловское, все та же крепкая, как крижистый дубок, Прасковья Александровна Осипова. Пушкин живо ее занимал. Она знала родителей его слишком давно и близко и, слушая, как все наперерыв читают стихи его, она живо понимала, как не способна была оценить сына его мать. Она-то ее знала. Прасковья Александровна вовсе не желала, чтоб ее дочки окружали Пушкина. Молоды еще! А что он пишет вольно про любовь, так она на это запрета не кладет.

А дочки чего не поймут? Того, что она сама понимает лучше всех.

Сегодня шло по озеру судно. Четырехугольный, толстый, весь в заплатах, ветром надутый парус медленно шел по озеру в сторону Петровского. Так ходили здесь судна, вероятно, в те времена, о которых он теперь писал.

Это вовсе не было сказкой. Искушавшись, он брел в Тригорское. Высоко, старой крепостью, старым замком, торчало Тригорское, не похожее на мирное поместье. Здесь Иван Четвертый, — он знал об этом, — сравнивал с землей польскую крепость. Он приехал сюда тотчас, покончив с лицеем, потому что здесь было легкое дыхание. Он приехал сюда писать ту поэму, о которой думал, над которой сидел еще в лицее. Уже знали, что он пишет поэму, что поэма почти готова, что следует вскоре ждать... Чего?

Но именно этого никто не мог сказать. Прежде всего, ничего важного не приходилось ждать ни от кого из Пушкиных.

Русская древность, вольная жизнь! Он чинил себе легко длинное перо.

думая о ней. Холмы в Тригорском были прекрасны, Иван Четвертый, венчаный гнев, гнал здесь врагов. Русские древности были здесь. И это вовсе не было мирным стихом, древним русским миром Владимира. Нет, это было древней войной, русской войной. Он приехал сюда, еще ничего не забыв о Царском Селе. Нет, не мир, а война.

Такова была его первая поэма. Мира не было, и бог с ним. И думая о древней Руси, о баснословном царстве Владимира, думал о Руси, которая победно жила еще и в эти дни.

Да, она жила и в эти дни. Русь Владимира не была дряхлой, древней. Она была все та же. И те же богатыри скакали за ней, и он узнавал среди них чужих. Похожий толщиной и именем на Шекспирова Фальстафа — Фарлаф, жирный изменник, занимал его.

Нет, не кончилась древняя Русь. И богатыри не кончились. Бой шел все ва нее, за Людмилу, за красу. Русь была та же красота, та же.

Родные места не менялись.

Вот и он здесь. И сейчас поскачет в Тригорское.

31

Второй день он был здесь. Вернулся домой. Приехал. Сегодня ночью он не был дома. Изменницы занимали его. Он внал их с одного взгляда, с полувзгляда. Сегодня была неудача. Заметив эту стройную походку, увидев узкую ступню, колеблющийся стан совсем близко, он шел быстро, но пашел дверь запертой.

Как успела? Это было почти невозможно. Но как легка! Добро же! И он стал ждать во дворе, прохаживаясь взад и вперед и никак не понимая, как мог так по-мальчишески быть обойденным. Узкая ступня жгла его. Он шел все быстрее, посапывая и задыхаясь. Он на все был готов. Скоро не стало терпенья. Он взобрался и громко, быстро стукнул. Не стало времени. Он застучал кулаком и понял, что сейчас сорвет дверь. Ее узкая маленькая ступня все решала. Без нее эта ночь была невозможна. Как это случилось? Куда, зачем ускользнула? Измена! Издевка! И с тихим бешенством, перед этой изменницей, перед этой запертой дверью, он стал ходить, как маятник, у этой двери. Во дворе никого не было. Так он походил час, два. Потом, решив не сдаваться, он никак не мог унять себя, крови, никак не мог, оскорбленный, бешеный, не стараться увидеть эту маленькую узкую ногу. Добро же! Он ходил, уже спокойный, готовый ждать до вечера. Не могло быть того, чтобы она не прошла по двору.

Он ходил, бешеный, спокойный, по двору. Ее не было. Никого! Ничего! Он ходил до вечера, проклиная изменниц, самого себя.

Он узнал ее имя. Имя было нерусское. Лиза! Штейнгель. Много их теперь слеталось в Петербург. Изменницы хотели разбогатеть здесь во что бы то ни стало.

Он знал наизусть все таинства ночей, все уловки изменниц, а этой он не понял. Куда девалась эта Ланса?

Любовь была похожа на тайную тихую литию. Презирал их, смеялся над ними, но жить без них не стал бы.

Что шум любовный, неожиданности?

Любовь грозила верной гибелью — болезнями.

Молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили болезнь любви, как птицы переносят письма на войне. И в этот день безвестная изменница, которую проклинал Пушкин, весь день ею так и не пушенный, не пустила его, потому что была больна.

Любовь была слепая, бешеная, иначе бы не случилось с ним то неизбежное поражение.

Над изменницами смеялся, слегка презирал иногда, не вспоминал. Досада, мысль — как мог бы любить, и на кого жизнь уходила, кровь вставала. А ненависти не было. Ненавидел он, нещадно смеялся над тем, кто ненавидел женщин, над теми презренными, которые были смешны, любви и смолodu не знали, а между тем были уже везде и на самом веру.

Быть в ранней младости развратником — для него было слишком просто, нехитро. Не таков был знаменитый министр. Изучая, всего достигать — вот в чем мудрость!

Бока министра от его особых пристрастий становились все более пухлыми, улыбка все более умной, скрытной.

Он достиг величайшей власти, но касался вопросов веры, тонко касался. Фотий был его враг, но был ему не страшен пока.

От тонкости, которую он проповедывал во всем — и в просвещении и в религии, — от этой тонкости он толстел, вспухал все более. Вот, какова тонкость.

Уже расширялась, раскидывалась его власть. Он пригнул людей, особо ему обязанных. И чем ничтожнее были, тем это было тоньше. Академия наук была пристанищем его выкормышей. Он был ими поддержан, ими защищен. Он никого не боялся. Библейское общество дало ему Баттыша — Каменского, мужа тонкого, перед которым Фотий казался просто дворником господ, более никем. Он никого не боялся. Дошел до него слух о мальчишках-непоседниках. А однажды фон Фок из Особой канцелярии сообщил ему листок, где писарем был чисто выведен стихотворный пасквиль на него. Фон Фок был немец, из балтийских, и эту любезность совершил не без удовольствия. Пусть высокий князь почитает. Голицын прочел и от волнения потряс боками. Он послал справиться, кто сей преступник. Ответ был: Пушкин. Пушкинных было много, но только один — Мусин-Пушкин — заслуживал, по мнению Голицына, внимания. Далее князь Голицын получил донесение, что сей Пушкин малолетний еще, только что кончил лицей в Царском Селе.

Князь Голицын прочел еще раз пасквиль. Это было писано в самом крошечном штиле:

Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон.

К кому вызывает сей Пушкин? К толпе босоногих, безымянной? Бди, канцелярия! Бди, фон Фок! И, наконец, страшный по ясности конец:

Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он!

Князь невольно взялся двумя пальцами за застёжку мундира и стал грудью вперед. Он не был бы Голицыным, если б не решил вопроса тотчас. Куда такого послать, как быть? Голубчик острит. С таким нужна острота, его, голицынская. Голубчик шипит в духе вольной поэзии. Он улыбнулся. Голицын принимает вызов. Он согласен. Будет тебе, Пушкин, вольность. Ты вольность возлюбил — получай ее!

Где возмущение! Где теперь сей дух? Где вольность?

Дух был в Испании. Там чернь восстала против законной власти — испанцы против австрийского короля, который явился ими править. Завтра стало известно, что Пушкина высылают в Испанию!

Князь потирал руки.

Из страны, где идет пальба и резня, — король против чужеземного народа, а вернее, народ против чужеземного короля, — из такого путешествия не возвращаются. Не вернется умник!

В университетском пансионе учился и пребывал брат его, Левушка. Преподавал и учительствовал Бюхля. Мальчики почитали его, как бога.

И назавтра к Пушкину явились мальчики-студенты, только Левушки пока не было, они все рассказали. Пушкин увидел эти мальчишеские пылающие лица, пожал руки, ему протянутые, и вдруг засмеялся, негромко и весело, хрипло.

— Испанцы победят, — сказал он, — и я вернусь с праздником. Голицын в дураках!

Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он!

Бто были эти мальчики! Под секретом, шипя и брызгаясь, назвались точно: воспитанники благородного университетского пансиона. Лучше всех лазают через забор. Поэтому здесь. Сейчас уйдут.

Откуда узнали голицынские секреты? Бог весть.

У него была защита. Урок царям? — Урок поэтам!

Левушка, Лев Сергеевич, наконец явился. И Пушкин сказал ему, что будет писать письма ему, и только ему. Они — друзья. И он будет писать ему все о себе, о своей жизни. Левушка будет его уведомлять о всех родных, где они, что говорят, что думают.

Пушкин действительно собирался писать обо всем брату. Не было вернее средства сделать свои письма известными всем. И вдруг, уезжая, пожалел, что так и не облизился с Левушкой, — времени, что ли, не было. Лев был быстрый, ущемленный поэзией, невозможностью писать, имея его старшим братом. Итак, письма на имя Льва, — все будут знать, о чем он пишет.

Каждый вечер теперь, без единого пропуска, стал он бывать в театре. Играла славная Семенова. Он не отрываясь слушал ее знаменитый голос.

Он привык к двум немигающим, двум неподвижным, каждый вечер

сторожившим Семенову. Один был князь Гатарин, негласный, не смеющий об этом и слова проронить, муж Семеновой, другой — одноглазый орел, хищный и верный, Гнедич. Семенова была крестьянка. Она родилась крепостной, а парями играла, как царица. Пушкин смотрел не только трагедию. Он смотрел на беспримерную театральную страсть — на живую трагедию. Он знал все о Гнедиче, о Семеновой. Обе сестры Семеновы, Екатерина и Нимфодора, будили жгучее любопытство, вызывали удивление. Нимфодора, певица, была роскошна, величава, спокойна. И в театре все, кто видел, понимал: ее певучий голос, ее стан были счастьем. Какое счастье владеть таким голосом, так щепь!

А Екатерину, великую ее сестру, давно сопровождало несчастье. Быть может, такой и должна быть трагедия героическая? И в памятные дни, когда народным, единым и дружным, страшным по силе движением был уничтожен Наполеон, была в театре поставлена пьеса Озерова «Дмитрий Донской». И молоденькая, еще не расцветшая Семенова играла в пьесе главную роль. Это был вечер неслыханный. Освобожденный народ русский почувствовал себя освобожденным. Гром рукоплесканий встретил Семенову.

Она стала великой русской артисткой в один этот вечер, бесспорной народной любовью. Рукоплескания, слышала вся страна. Чудесный голос Семеновой стал голосом русской победы.

Такой она и осталась.

Но слава не стоит на месте, не ждет.

Славе Екатерины Семеновой стало тесно. Пусть Нимфодора наслаждается певческой славой. Певучий голос Екатерины Семеновой шел на победу небывалую. Росла ее слава.

В это время славилась у французов артистка Жорж. Игра ее поразила весь мир. Она оторвала трагедию от страсти простой, от речи запоминающейся. Страсть стала певучей.

Жорж приехала в Петербург. Семенова слышала ее. Судьба ее была решена. Она стала играть, убеждая певучим голосом. Певучая трагедия стала ее роком. Началось неслыханное состязание между царицей русской сцены и королевой сцены французской. И она победила. Не изгладилась еще память о народных слезах, о воинских рукоплесканиях «Дмитрию Донскому». И когда раздалась певучая речь Екатерины Семеновой, все перед ней сложились и единодушно приветствовали певучую трагедию.

Так для трагедии стали главными — начало, конец, первая и последняя речь героини. Трагедия стала владеть памятью отдельных стихов, отдельных главных слов. Как заклинание, как клятву, произносили их безумствовавшие поклонники. Забывался общий ход трагедии, даже смысл отдельных речей, столкновений. Была она душа трагедии. Стали знаменитыми ее жесты, начинающие, прерывающие, кончающие. И стал не виден общий ход трагедии. Певучая речь победительницы все поглотила. Трезвый смысл отступил, побежденный. Но память трагедии, память стихов и жестов, держалась именно на нем.

И здесь помощь великой артистке пришла.

Поэт Гнедич был ростом выше всех. Одноглазый орел, он мелкой поэтической памятью не жил. Великая Илиада, прародительница поэм, привлекла его. Должна была создаться русская Илиада. Гнедич знал русский стих, верил в него. Отныне его судьба была решена. Он стал день за днем изучать

и переводить Илиаду. Русская Илиада должна была существовать. И шорую этому был для него русский стих, самый свободный, самый полнозвучный, способный принять в себя стих всех народов, показать их. Он верил в русский стих. Работа его жила день за днем, год за годом.

Гнедич знал только великие задачи. Он решил, что без Гомера поэзия жить не может. И громадными томами исписывал он перевод — труд монаха и книжника.

Русская поэзия могла быть спокойна — будет русский Гомер. Точность была его религией. Он ничего не делал наполовину. Когда одноглазый орел увидел и услышал Семенову, участь его была решена. Любовь книжника и монаха! Есть ли на свете что-нибудь тяжелее? И он нес свою любовь, как вериги, но без них жить не стал бы.

Когда была получена весть о парижской Жюж, и началось у его Афродиты это беспримерное состязание, он стал работником во славу любви. Он ползал на коленях по сцене во время репетиций, поднимал руку в знак начала, в знак высоты голоса, понижал руку в знак понижения, протягивал в знак окончания. И, слушая любимый голос, был зорек и настойчив, как во время перевода Гомера. Одноглазый орел во время представления молчаливо повторял Семенову.

Пушкин смотрел и слушал без отрыва. Понимала ли великая артистка все, что играла? Порою казалось, что она играет в чарах какого-то сна. Перерыв. Он бросался за кулисы, охваченный страстью, желанием схватить ее за руки, прекрасные, неживые, потрясти ее, сбросить с нее трагедию, как колдовство. Так великие актеры меняли игру. Так кончилась на сцене классическая трагедия.

И раз он не выдержал, он бросился к ее ногам и хрипло сказал ей что-то. Но она взглянула на него внимательно, без улыбки. Она не испугала его.

Тогда он взял ее руки в свои и поцеловал их — в первый и последний раз.

Забыть ее было невозможно, — как славу, как жизнь, гордость.

Всюду были страсти.

Голос Семеновой вязал и чаровал.

Не смысл был у слов, а власть и жизнь.

Ей хлопали, ее вызывали после одного какого-нибудь слова, после ответа.

33

Однажды за ним пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и стал начальнику всей полиции — самому Лаврову.

Впрочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина собственно должен был вызвать в Особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот немец был непрост. Вызвал Грибоедова, и тот, придя домой, стал жечь все им написанное когда-либо. В вечеру у Грибоедова стало жарко. Печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело было слишком ясно для фон Фока.

Лавров заставил жать Пушкина всего три часа. Пушкин ходил по

линейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами.

— Невелик ростом,— сказал он негромко, удивленный.

Пушкин сдержался.

Лавров был прост,— вот что было удивительно. Не чинясь, он показал большой пузатый шкап и сказал:

— Это все ваше, за номером.

Шкап был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него.

Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров, наконец, объяснил, для чего здесь Пушкин.

В полицию его привели, потому что никто лучше не знал ни того, что произошло недозволенного, ни тех, кто это говорил.

— Вот вы нам станете докладывать,— сказал Лавров.

Пушкин засмеялся. Каков умник! Далеко до него Голицыну. Пусть поется.

Тут его оставил Лавров, для размышлений.

Он был занят.

Пушкин сидел в полицейском управлении уже долго. И вдруг загрустил. Ничего не боялся. Полицию — Лаврова — меньше —

И все же!

А когда вернулся к себе, уже темнело.

Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак, поросший волосом, и на арестованного. И арест этот взгляд понимал. У него были свои привычки. Было особое полицейское уважение к знаменитым вора и крупным убийцам. Пушкина он считал преступником крупным, но не пойманным. Тем лучше. Пусть подумает. Емь есть!

34

Казалось бы, изменницы, основой всей жизни которых была измена, жны были быть самыми пылкими в самой измене, самой страсти, жны быть бешены, неукротимы, без устали предаваться любви.

Ничуть не бывало. Холодны, умеренны. Странная это была умеренность. Бовь была их делом, а интересоваться делом было скучно, неуместно. Они плавали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям, страстью не согревали.

Они были расчетливы и очень самолюбивы. Ревность их была холодна, а молюбие бешеное.

Однажды он попал к такой, которая знала стихи, читала последние журналы, вообще была образована. Она была модница.

— Теперь Вольтера никто не читает, кому он нужен?

Пушкин прислушался.

— А кто нужен?— спросил он.

— Бассомпьер,— сказала модница.

Был и такой. Она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом ажды выбросила высоко ножку и сказала равнодушно:

— А теперь опять.

Равнодушие было удивительное.

Он спросил ее имя. Имя было нерусское, парочитое: Ольга Масон. Все заблуждения с ней были парочиты, шорок певесел. И Оленька Масон и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалеких стран, которыми бредили романтики,—они приезжали не для страсти—ибо страсть крепка,—а для пользы вещественной. Они умели быть незаметными. Они не мешали. Потом росли духовики, прибавлялись вещи. И они езжали, для семейного счастья оставляя скуку или неосторожное раскание. Бедность охраняла от гибели. Все же когда Пушкин бред раз в надежде на ночной приют, и вдруг карман его оказался пуст, он вспомнил солдатскую песенку о бедном солдате: «Солдат бедный человек», до конца почувствовал бедность и забормотал:

Пушкин бедный человек,
Ему негде взять.
Из-за этого безделья
Не домой ему идти

35

Спокойствие Федора Толстого стоило страстей. И молодые должны были это признать. А кто не признавал, тот скоро в этом убеждался волей и неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям. Но не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями.

Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И кренко на руку не чист.

И про Камчатку было верно, и про алеутов. И, встретив Грибоедова, Федор Толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал: в картишки на руку нечист. Не то подумают, что он таскает серебряные ложки со стола. Это его бесстрашие было более убедительно, чем дуэли.

Федор Толстой терпеть не мог светской уклончивости. Решая он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало. Как все о нем говорят!

Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера, и что все разное об этом судят, что неизвестно, что там было и что с ним в полиции сделали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:

— Выпороли.

У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались!

Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями:

— В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами—и все происходит, как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает.

К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, рядили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых, они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?

Фон Фок кончал присутственный день в Особой канцелярии.

Фон Фок был доволен днем.

Будучи знаменит, он добился такого дня, когда не был упомянут никем,

нигде. О Пушкине говорили, что он выпорот, высечен в полицию. Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов более не шипит. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка? Это большой вопрос. Не торопиться. Фон Фок успеет.

Между тем высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений.

Да полно, только ли о высылке шла речь?

Нет, архимандрит Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного по заманчивости стихов: Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узлу. Пресидев десять лет, стал бы быть поклонны. А на большее не способен. Пляски словесные навек бы забыл.

Аракчеев полтал крикунов поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно.

Бнязь Голицын полгал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее. И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И что еще важнее — единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть?

Чаадаев скачет.

И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге, — идет он бешеным шагом, ровно.

Чаадаев скачет.

И если все же конь придет не скоро, если придется мчаться помедленнее, чтоб не задержала случайность, все же сегодня до вечера все будет сделано. Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить. Ждать нельзя. Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь, мчится ровно. Сегодня же помчится и обратно. Военские часы непрерывны. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт ненавистен любителям рабства. Самовластие в слепоте. Защитники рабства уже ополчились. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание.

Чаадаев скачет.

Тонкие конские ноздри дышат глубоко и ровно.

Не упадет конь, не оступится.

Без стиха страна бессловесна, народная память нема. Не изведут Пушкина рабы.

Прискакал Чаадаев, спешился, посмотрел в конские умные глаза. Конь был гордый и на людской взгляд ответил: закинул голову.

Начинали уже привыкать к пушкинскому неблагополучию, к ссылке его, которая не начиналась, к слухам о нем, которые все росли. Привыкали. Приезд Чаадаева все изменил. Точно, Пушкину грозила беда. Время не стало неподвижным. Что грозит? Но ведь что бы из всех приговоров ни грозило, было ясно одно: пришла пора спасать — гусары заговорили.

Катерина Андреевна долго ничего не говорила. Чаадаев, как всегда, был

спокоен, внимателен. И, конечно, он был прав. Николай Михайлович, как всегда, тонок и мудр. Она знала, что завтра предстоит главный разговор. И она решила, что скажет, как всегда, правду, и только правду: единственный человек, который может спасти Пушкина, это Николай Михайлович Карамзин. Его голос перед государем все решит. Чаадаев прав. Она знала, как трудно это будет. Ну, что же, она опять будет хитрить, будет лукавить, будет спокойной.

У Николая Михайловича будет свидание с государем скоро. Как трудно говорить об этом! Но не погибать же Пушкину. Конечно, Пушкин безумец, а его эпиграммы тем ужасны, что смешны. И в каждой эпиграмме виден сам, слышен он сам, — оттого и смешны, тем и страшны.

Так все и вышло. Самым важным при встрече оказался простой вопрос: если не крепость, если не Испания, то к кому и куда?

Император вдруг краем губ улыбнулся. Он не был склонен в этот день к грозным явлениям. У Карамзина была милая жена. И когда Карамзин сказал о юге, он вдруг ответил ученому:

— Инзов? Хорошо.

Это имя принадлежало главному попечителю колонистов южного края. Это был юг: Екатеринослав. И так как это была Коллегия иностранных дел — это даже несложно. Императрица Екатерина играла имена. В одной пьесе она назвала авантюриста: Калифаллжерстон. Это был ряд имен многих авантюристов.

Так и это странное имя сочинила императрица.

У великого князя Константина Павловича был сын. Следовало его называть так, чтобы все было ясно. Он назван был по-немецки: Константинос. Прибавлено окончание: ов и вычеркнуто имя: Инсов.

Катерина Андреевна ждала мужа с трепетом. Она боялась и за Пушкина и за всю затею, все эти хлопоты, такие непростые. Она почувствовала вину перед мужем. Она была виновата в этих хлопотах. Катерина Андреевна даже заплакала. И когда Пушкин явился, она встретила его спокойно, молчаливо. Он будет говорить сейчас с Николаем Михайловичем.

Николай Михайлович не стал говорить о будущем, которое ему предстоит, ни о его поэме (он еще называл ее поэмой!).

Он был немногословен и просто сказал Пушкину, что он должен ему обещать исправиться. Обещает ли он? Дает ли обещание?

Пушкин сидел, как на иголках. И вдруг сказал:

— Обещаю.

Катерина Андреевна вздохнула с облегчением. Точно гора свалилась с плеч. И вдруг Пушкин прибавил смиренно и точно:

— На два года.

Он обещался на два года, Катерина Андреевна вдруг засмеялась. Как точен! Хорошо хоть, что на два. Пушкин остался все тем же, собой, и если было бы иначе, как стало бы скучно!

Однако куда же он все-таки поедет?

Нельзя же ехать в пустыню без имени, без названия, без воспоминания.

Он едет в Крым. Что же это такое? Каков Крым? Она ничего об этом не знала.

И, стоя у новых книг Николая Михайловича, которые ему посылали из лавки, она стала привычной рукой перелистывать одну за другой эти книги. Пушкин должен знать, куда он едет.

И вдруг она остановилась. Из лавки прислали описание Черного моря и местностей близлежащих, сделанное в свое время в Париже по приказу Наполеона. Виды Брыма, видно, необычайно занимали Наполеона. Книга была не нова, но роскошна. На больших листах художник живо изобразил удивительные места. С отвесной скалы спускалась девушка в длинной одежде и несла на плече стройный кувшин. Горец сверху следил за ней...

Катерина Андреевна прочла название места: Эрзерум.

Катерина Андреевна посмотрела на Пушкина. Он внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал ей:

— Этого я не забуду.

Катерина Андреевна с удовлетворением убедилась, что Пушкин и впрямь не забудет, и что запятия с ним по географии не меньше важны, чем ее занятия с Николаем Михайловичем по истории.

36

В последние два дня все собрал, всем распорядился. Руслан и Людмила печатались. Смотрел Семенову, увидел Гнедича и сказал ему: печатается поэма, он уезжает, должен ехать. И Гнедич, который в него и в его судьбу верил и, встречая в театре, ценил его как зрителя, — склонил худую шею: поможет выйти в свет поэме, которая выходит в свет скрытно. И оба стали смотреть в последний раз Семенову.

Кончал новую книгу стихов и полюбовался толстой рукописью, своим свободным почерком. Он кончал свои дела. Времени оставалось немного. Была весна. Он хотел проститься со всеми.

Везде были страсти.

Он смотрел Семенову теперь, что бы она ни играла. В первом ряду сидел одноглазый Гнедич, одноглазый орел, и Пушкин невольно смотрел: нет ли следа на коленях поэта, ползком учившего началам, черерывам, концам стихов, произносимых славным толосом.

Везде были страсти, страсти любовные, страсти гражданские.

В Париже был убит наследник короля, герцог Беррийский.

Он шел в театр, чтобы опять, снова — в который раз? — увидеть трагедию русскую — Екатерину Семенову, услышать ее голос, без которого не было и не могло быть заграничного дня, — ту трагедию, которая будет у него целую ночь до утра одним неразрешенным восклицанием, трагедию, которая приводила в театр каждый вечер одноглазого Гнедича.

Странно — Семенова была подлинной страстью, но не любовной, а гражданской.

Он слушал ее, каждую минуту готовый рукоплескать. Но сегодня, после первого действия, он вынул с груди портрет и, не глядя, щедрым жестом протянул его соседу. И сосед, пронзительно посмотрев вперед и сразу же оглянувшись, сунул портрет соседу. В рядах зашевелились. Это был портрет Лувеля, убийцы герцога, и над ним было широко написано: «Урок царям».

И он стал неистово хлопать Семеновой.

Предпоследнюю ночь он был у Никиты Всеволожского. Без гусаров прощанья с жизнью, которая должна была измениться,— пусть на два года, по его словам,— прощанья не было.

Нужно было проститься по-настоящему. Никита Всеволожский был человек, понимающий размеры всему. Прощаться с Пушкиным нужно было с умом и полетом. Не расчетливым же, не скупым же быть!

Итак, шире и крепче гусарские объятия!

К утру штосс разгорелся. Всеволожский был крепок, как молодой дуб. Никита Всеволожский был крупный игрок.

— Веньтэн?— спросил он.

Играли быстро, ставили крупно.

— Веньтэн врет,— сказал Никита,— вернее штосс. Идет?

Деньги он подбрасывал, они звенели.

Наконец он взял разом целую кучу.

— Желай мне здравия, калмык,— сказал Никита.

— Маленький калмык стоял за столом, разливая вино. Пробка хлопнула. Калмык поднял бокал.

Пушкин закусил губу.

Все деньги были проиграны.

Он взял свой новый том — рукопись в переплете; он все подготовил к печати.

Наконец игра выяснилась как нельзя более, его доля так же.

— Сколько?— спросил он.

— Сочтемся,— сказал Никита.— Штосс твой.

Тогда он взял свой том и поставил его на стол боком.

— За мной старого больше. Все вместе. Ставлю.

Никита стал метать.

— Не ставь на червонную,— сказал он Пушкину,— твоя дама не та.

Пушкин заинтересовался необыкновенно.

— А моя какая?— спросил он Никиту.— Не бубновая же?

— Ты не можешь этого знать,— сказал Всеволожский.— Может, и бубновая. Она.

Пушкин вдруг перестал смеяться.

Он был суеверен и роскошен, Всеволожский. Но выражался он всегда с роскошью, бубнового валета звал бубенным хлапом.

— Хлапа в игре не считаю.

Хлапа не считал, но и на него зыгирывал.

К утру Никита бил все карты с оныка.

Том пушкинских рукописей он отложил с некоторым уважением.

Пушкин шел домой пешком.

Ночь была ясней, чем день.

Его шаги звучали.

Он снял шляпу и низко поклонился.

Кому? Никого не было видно.

Петербург. Он уезжал на юг.

Здесь Нева катилась, ровно, царственно. Как всегда. Как катилась при Петре, как будет катиться при внуках.

Он уезжал завтра на юг, незнакомый.

Он поклонился Петербургу, как кланяются только человеку. Постоял, скинул шляпу. Всмотрелся. И повернул.

37

Был у генерала Раевского.

Генерал был не стар, суров и внимателен.

Он сказал Пушкину:

— Мой сын с вами дружен. Дочки малы. Вы едете с нами. Я еду в Крым. В Екатеринославе встретимся.

Генерал знал, что Пушкина высылают. Он смотрел на это, как на неудачу по службе поручика или капитана.

И генерал сказал неожиданно:

— Время пришло. Пора.

И кивнул головой.

И Пушкин понял, как генерал, быв героем народной отечественной войны в 1812 году, ни одного дня не переставал быть отцом, и теперь вез малых дочек, без которых никак не мог ехать в Крым.

Сын его Николай был гусар и в Царском Селе привык встречать, ждать его стихов.

А он сам, Пушкин? Он не был военным, а теперь был выслан и, стало быть, был беззащитен? Но тут-то было.

Нет, он не был беззащитен. Нет, он был воином, хотя и был только поэтом. Он был полководцем. Пехота ямбов, кавалерия хореов, казачьи пятеты эпиграмм, меткости смертельной без промаха. Чем они были короче, тем страшнее, как дули. Генерал Раевский, генерал отечественной войны, говорил с ним просто и кратко, как с младшим военным, поручиком или капитаном, другого вида оружия.

Он пережил отечественную войну, никуда из Царского Села не уезжал. Он знал. Знал силу врага. И в первой поэме — о древних богатырях, о враге всего русского — Черноморе — он думал о войне другого времени — войне за русскую славу и прелесть — Людмилу, древней войне, которая вдруг кажется войной будущего — Черномор, тупеющий и малый, летал и так похитил Людмилу.

Казалось ему, почему знать, будет ли такая война. И такая победа будет. Он думал о черной силе войны: измене. О Рогдае, о жирном Фарлафе.

Однажды Катерина Андреевна вдруг сказала ему, что он думает о Людмиле как о живой, и что он кажется в нее, в Людмилу, влюблен. Он испугался, что сейчас упадет к ее ногам и признается, что в Людмиле, когда писал, всегда видел ее.

Так случалось с ним: думая о ней, он представлял себе, какой она была раньше. Поэтому, когда он писал о Людмиле, он писал о ней не без лукавства.

Все произошло, как и должно было произойти.

Он увидел в последний раз Арину. И простился как должно. Обнял ее.

— Прощай, мать,— сказал он ей.

И Арина диву далась. Посмотрела, не шутит ли. Нет, не шутит. Взглянула. Взглянула на все стороны. Никого не было, слава создателю.

— Что вы, Александр Сергеевич,— сказала она, оторопев,— есть у вас мать.

— Есть,— сказал он серьезно.— Ты и есть мать.

И слезы полились у Арины, тихие, скупые. Привычные.

Уезжал он на перекладных. Пришли проводить все, кого ожидал.

Пришел Пушкин. Посмотрел лошадь, упряжь, остался недоволен.

— Перекладные, небось,— сказал ямщик.

Малиновский пришел. Он всегда был нужен во время отъездов, приездов, переездов. Он носил еще в лице звание казака, и память об этом у всех была жива. Уже далека была память лицейского пачала, его отца, память Сперанского. Он бы и остался казаком. И так как Пушкин в стихах звал его казаком, он любил и Пушкина и стихи.

— Садятся на коней ретивых,— сказал Малиновский, вспомнив кстати «Руслана».

И все заулыбались. Цитирующий Малиновский был лукав.

Бюхля, запыхавшийся, сказал:

— Малиновский, читающий на память «Руслана»? Каково!

И все замолкли. Да, «Руслана». Который еще не напечатан! «Руслана и Людмилу!» Каково!

С Царского Села начиналась его слава.

Его выслали. Куда? В русскую землю, он еще не видал ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голыцын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же? Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра.

Спокойствие. Ямщик ждет.

38

Подлинно, он узнавал родину во всю ширь и мощь на больших дорогах. Да полно, так и такой ли нужно ее узнавать? Он впервые услышал живую русскую песню. Ямщик пел.

Так вот она! какова, русская песня! Неторопливая, печальна, раздумчива. Он с жадностью слушал час, другой, третий. Так вот почему эта грусть величавая, широкая, неторопливая. Она поется на дорогах, ямщиками. А путь далек, без конца. Дремота сменяет песню. Его жизнь началась стремительно, а не поспешно, что не одно и то же.

Почтовый колоколец примолк. Ямщик исчез. Он был один в условленном месте — Екатеринославе. Никого с ним не было. Расправился, потянулся.

От дорожной тряски ноги отерпи. Высылка была только высылкой, не ссылкой: никто не ждал, не встречал и остановиться было негде. Он сунулся в единственное подходящее место, открытую дверь.

Оказалась харчевня. Он ее проклял, — низкие потолки были теперь для него, что гроб.

Купаться! В городе было наводнение. Днепр протяжно порывал, потом стонал, наконец, стихал. Харчевня была почти затоплена, вода подымалась над полом. Он не стал ничего ждать и тотчас бросился вниз, к раздутой, вздымающейся воде. Она переводила дух до нового приступа. Лодочник внизу посмотрел на него внимательно, не торопясь. Все же, услышав, что никуда точно везти не нужно, а нужно покататься, — подал.

Внимательный взгляд лодочника, чуть прищуренный, недоверчивый, его молчаливость Пушкин заметил. Он греб медленно, истово, только в конце налегая на весла и сразу же отдавая весла на волю волны, переставая грести. Пушкин спросил, поет ли он. Тотчас лодочник неторопливо зашел. Пушкин послушал. Песня была хорошая, старая. Недаром лодочник шурился. Атаман с ружьем везет девину. И вдруг Пушкин засмеялся, коротко и хрипло. Так вот куда он выслан для исправления. Песня была разбойничья. И он долго катался по Днепру, а потом сказал лодочнику подождать и стал купаться.

Тело было как сковано долгой тряской. Только плавая, только быстро плывя, оно опять становилось его телом, а он — собою. Ноги забывали усталость. Наконец лодочник устал ждать. Он пристал. Нет, он не устал. Он встал на резкий крик, идущий по Днепру.

— Оба! В капалах! Держи!

Только к утру привез его гребец к харчевне. Бежали, уплыли два капоральника. Он слышал крики людей, слышал и погоню за двумя.

Это было уже не воображение, не игра. Это не были еще стихи, это был он сам, это были чьи-то тела, чьи-то руки, бьющие воду, чьи-то плывущие в оковах ноги. Так началась его высылка.

Вечером, все в той же харчевне, стал его бить озноб, прерывисто, по-разбойному. Он стал в бреду спасаться от погони, стал задыхаться, требуя в пустыне ледяной воды, ничего не видя, ничего не слыша, не понимая. Наконец рука его поймала кружку, холодную, как лед. В кружке была ледяная вода, которую добыла перепуганная насмерть девчонка.

Так он лежал на какой-то, чьей-то власянице. Откуда она взялась? Ничего не ожидая. Его руки и ноги вспоминали дорожную тряску. Вдруг, неожиданно он вспомнил все — и лодочника с быстрым наметанным глазом, и крик:

— Держи!

Их было двое. Они вдвоем, вплавь, бежали из неволи, скованные друг с другом, плечо к плечу. Свобода! Только из-за нее можно плыть в оковах, скованным еще с кем-то другим.

Еще день. Вечером у него не горел огонь. Вот его Соловецкий монз-стырь, — Фотий взял чего хотел. Вот фронт в лежку. А Аракчеев его одолел.

— Зажги лучину! — сказал вдруг суровый, приказывающий голос. — Почему здесь огня нет?

Еще никого не ожидая, ничего не помня, он понял, что свет, огонь должен быть. Он очнулся.

Перед ним стоял генерал Раевский.

Старый Раевский, сердито запретивший кому-то оставлять его в темноте и потребовавший у кого-то лучину, был старшим родным. Он тотчас почувствовал себя защищенным и впервые вздохнул глубоко и ровно. С таким не пропадешь.

А Николай Раевский — сын его — был все тем же, не меняющий мнений и никогда их не скрывающий. Привыкший оборонять свои стихи, как сердце — солдаты, он читал их Николаю Раевскому со всей откровенностью, а Николай при стихе слишком напряженном просто и громко хохотал. Он привык уважать гусарскую прямоку и никак не мог забыть неодобрения Николая по поводу его горячего и прямого желанья говорить с императором, когда речь шла о царском счастье, о Софии Велье.

— Забудьте, — сказал тогда просто гусар.

И теперь, после безумия в этой проклятой харчевне, он не знал, была ли в самом деле история с двумя разбойниками, или это бред. Новая поэма мучила его. Он и бредил ею. Два разбойника, скованные вместе, вместе бежавшие, вместе плившие за свободой, не покинули его. Ему нужен был, как разум ясный, и громкий смех Николая Раевского. Он вполне ему доверился.

Николай Раевский сказал ему, что этому не поверят, не могут поверять.

— Нет вероятия.

Правде, тому, что было на самом деле, что было словами тюремного протокола, — вот чему нельзя было поверить. Нельзя было поверить стиху, который точнее прозы. Решено. Они ехали на Кавказ и в Крым.

39

Молчаливая, суровая, подбоя, пеживая очередь людей, которым изменяли то нога, то рука, то терпение, каждый день с утра толпилась у ям, наполненных непростой водой, и не просто ждала.

Притворно ничего не веря, они всему верили. Самое неверное дело была молодость, сила. Вдруг вернется?

Это было проще всего.

Нет надежды? Никакой? Все это ясно. И никто не верил. Как не так. Молодость, сила? Все может вернуться, все может быть, все бывает. И все оказалось так, как уже было. Спокойствие! Ничего другого.

Он покурно лез в яму, полную теплой воды. Унылая, суровая очередь толпилась за ним, ранние старики, безмолвные, угрюмые. Они приехали с надеждою на случай и чудо, которые здесь вернут им жизнь и силу. Не веря, сопровождаемый спокойным лекарем, пробовал он серные, горячие, кислые, холодные воды, а вот однажды, возвращаясь в одиночество, не думая ни о чем, — внезапно засмеялся — ничему, никому, вдруг, и сам этому улыбнулся: не ждал. Горячие воды сказались. Он смеялся по их воле. Славный лекарь генерала Раевского распоряжался водами по-военному. Он вовсе не стремился к однообразию. Вначале он распоряжался:

— Серную горячую. Подаром зовут Горячеводском.

Через неделю распорядился:

— Сегодня теплую кисло-серную.

Потом, через неделю, подал мысль:

— Теперь железную. Без железа нельзя.

Вот после железной Пушкин и засмеялся.

Любимый лекарь генерала был бывалый и остро понимающий лечение. Прежде всего он знал, что самые болезни малопонятны. Затем, что малопонятна вода. И наконец, что они помогают, излечивают. Впрочем, у него был и собственный метод, может быть и правильный. В книгах он не копался.

От горячих вод — к холодным. Таков был его метод. И два месяца, по строгому приказу лекаря, Пушкин купался в водах, сначала в серной горячей, потом в теплой кисло-серной, потом в железной и, наконец, в кисло-холодной.

Генерал одобрял своего лекаря.

— Без железа нельзя, — говорил он по поводу железных вод.

Нет, общество у него было теперь другое. Он нашел другую недвижимость. Он по-настоящему знал теперь, что страшные облака, разноцветные, седые, румяные, синие — это вовсе не облака, а вершины гор, ледяные под солнцем. Он знал их: пятиглавый, как собор, Башту, Машук, Железная Гора, каменная, похожая на гадюку — Змеиная.

И, когда исполнив все указы лекаря, он вдруг увидел свое лицо, наклонившись над чистым ключом, и почувствовал себя всего как есть, он понял: время пришло. И, садясь в седло рядом с Николаем Раевским, он долго с ним говорил. Николай был сын своего отца и помнил все, о чем толковал генерал. Они во всем сошлись. Раевский вспомнил химерический план Наполеона. План был похож на сказочные облака, бывшие вершинами кавказских гор. План этот был еще во время внезапной дружбы с императором Павлом, которая столь же внезапно, вместе с императором, кончилась. Этот план был — русская Индия. И Пушкин сказал, что эти горы не только невиданной красотой нужны, эта сторожа сблизит родину с персиянами торговой дружбою.

Они ехали с Николаем Раевским. Шестьдесят казаков с береговой кубанской сторожевой станции их провожали. И, любуясь их скачкой, их вольной посадкой, Пушкин сказал Николаю Раевскому, замерши в радости:

— Вечно верхом! Вечно готовы драться, в вечной предосторожности!

40

Его выслали по срочному приказу.

Не исполнился хитрый план быстрого, бесчестного Голицына, — он был выслан не прочь из России, не в Испанию, но туда, подальше, в Россию; родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далекие страны, как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой, и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля, родная держава.

Настоящим счастьем было, что руководил его высылкой не поэт, а генерал великого двенадцатого года, который вовсе не обособлял военного дела от семьи, от родства, а стало — от будущего. Он много в этот год думал об истории всех мест, по которым проезжал, не было, не могло быть немых мест, речь их была точна. Он был выслан на точную речь. Точен, как ма-

тематика, был стих. И здесь была еще одна проклятая загвоздка: не верили. Чем точнее был стих, чем вернее и справедливее было то, о чем он рассказывал, он знал: не будут верить. Невероятно — скажут. Вся родная держава вызывала недоверие. Излишне было доказывать. Точность полицейского протокола не спасала. Следовало подчиниться. И он подчинился. Более того, нужно было этим законом воспользоваться, можно было писать подлинную кровью, писать о том и о той, писать то и так, как захочется написать перед смертью. Словом, цензура для него не существовала. Не полицейская цензура, ее он знал и власть ее испытал, она его выгнала из столицы, эта цензура, а другая, страшная цензура — цензура собственного сердца и милых друзей. Он стал писать элегию так как будто она была последними его стихами, последними словами. Жизнь двигалась, как могла и как должна была. Николай Раевский был истинным, настоящим товарищем. Он был гусаром и понимал поэзию — не торошил ее.

Шел Крым, важное и запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кефу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышимый и явный в Кефе. Мимо крымских берегов приехали в Юрзуф, где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали «Русалкой», он и писал элегию.

Ночь здесь падала весомо и зримо.

Он видел крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их.

Берега шли близко. И он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна, смотрела вместе с ним, и как он никак не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там.

Он все вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, недалеко от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда, пока это осталось с ним, навсегда. Теперь ночью, под звездами, крупными и осязаемыми, не в силах более унять это видение, на которое был обречен навсегда, он здесь пал на колени перед нею.

Имя Катерины Андреевны никто не произнесет, спросят годы его безумной любви и, точно узнав, что она была почти вдвое старше его, махнут рукой, особенно если это будет женский вопрос, — в вопросе о годах они неумолимы. Красота? Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна — скромность ее уже давно непонятна. Она не имеет портретов.

Так началась его высылка.

Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием.

Он знал, что — слава богу! — никто ни слова о ней не скажет. Слава богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка, с детскими слезами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая, детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви?

Все это и была она.

Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила. Она их понимала, знала весь их ход, несбывшиеся, забытые им потом намерения. И смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством.

Он писал эту элегию как последнее, что предстояло сказать.

Ничего другого он не скажет.

Ни о ком другом, ни о чем другом.

И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду, спокойствие Катерины Андреевны было дерушимо. Все же он написал Левушке, чтоб послал печатать без подписи. В поэзии, как в бою, не нужно имя.

Он знал: когда будет писать о ней, свидетелем всегда будет ночная мгла или, как теперь,— угрюмое море. И эта его любовь, которую излечить было невозможно, которая была с ним всегда, напоминала только рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешил его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана занывает.

Выше голову, ровней дыхание. Жизнь идет, как стихи, но сердце прежних ран, глубоких ран любви, ничто не излечило.

Нет, не даром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, именно здесь, начинался лицей. Много южнее мест его высылки, когда он еще ходить не умел, до лицей, служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать, трактат об уничтожении рабства.

И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеной вперед!

Да здравствует лицей!

И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. Как проклятый, не смея назвать ее имени, плыл он, полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло.

Конец III части

НАСТУПЛЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД

Когда ты входил в город свой
И женщины тебя встречают,
Над побелевшей головой
Детей высоко поднимают;
Пусть даже ты героем был,
Но не гордись,— ты в день вступления

Не благодарность заслужил
От них, а только лишь прощенье.

Ты лишь вернул тот страшный долг,
Который сделал в ту годину,
Когда твой отступивший полк
Их в рабство отдал на чужбину.

СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок
И по невидимой черте
Три красных точки трех цыгарок
Безмолвно бродят в темноте.

О чем наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
А света нет, а холод адский,
И снег, как каторжный, метет.

Один сказал:— Моя сегодня
Полы помест, как при мне.
Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с ней погодки.
Всплывнет ли, просто ли вздохнет,
Но уж наверно рюмкой водки
Меня по-русски помянет...

Второй сказал:— Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю. Коль не верить,
Как проживешь в таком аду?
Наверно все глядит на двери,
Все ждет: сегодня вдруг придут.

А третий лишь вздохнул устал.
Он думал о своей, — о той,
Что с лета прошлого молчала
За черной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жены отпустили,
Чтобы спасти его жену.

У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка,
Изогнувшись в тонкую дугу.
Женщина под черною косынкой
Плещет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова: «yo te quiero»¹
Пляшущая женщина поет.

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,

Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый,
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает.
Он да песня — больше никого...
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

¹ По-испански: я тебя люблю.

Проволоку молча прогрызая,
Но снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы, да снега синева...
На одной из улочек Дель-Кампо,
Если ты сейчас еще жива.

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот, голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,

В грузном, поседевшем человеке,
В новом, грозном, имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
— Ну-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина во след им запоет.

Потеряв в снегах его из вида,
Пусть она поет еще и ждет,
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.

ТРИ БРАТА

Россия, родина, тоска...
Ты вся в дыму, как поле боя.
Разломим хлеб на три куска,
Поделится между собою.

Нас трое братьев. Говорят,
Как в сказке, мы неодолимы.
Старшой, меньшей и средний брат,
Втроем идем мы в дом родимый.

Идем, не прячась непогод,
Не обождав, чтоб даль светала.
Мы — путники. Уж третий год
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом еще далек, далек.
Он там, за боем, там, за дымом.
Он там, где тлеет уголек
На пепелище нелюдином.

Он там, где, нас уставший ждать,
Босая, на живые колючем,

Все плачет, плачет, плачет мать,
Все машет нам платком горючим.

Как снег, был бел ее платок.
Но путь наш долг был и торен,
И стал от пыли тех дорог,
Как скорбь, он череп, череп, череп...

Нас трое братьев. Кто дойдет?
Кто счет сведет долгам и ранам?
Один из нас в пыли падет,
Как снап сражен железом брачным.

Второй, израненный врагом,
Окровавлен в пути отстанет,
И битв былых слепым певцом,
Быть может, вдохновенно станет.

Но неврелимым третий брат
Придет домой и дверь откроет,
И материнский черный плат
В крови врага стократ омоет.

ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Но знаю я, что в смертный час
За тем столом он вспомнил нас.

Крылами смерти осенен,
Солдатской дружбой освещен,

Был пробным камнем этот стол
Для тех, кто в бой наутро шел.

В ту ночь, готовясь умирать,
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скупым,
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кровь пополам —
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.
В день мира прах его с трудом

Найдем средь выжженных печей
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберем
И вновь построим этот дом.

С такой же печкой и столом
И накрест клееным стеклом.

Чтоб было в доме все точь-в-точь,
Как в ту, нам памятную, ночь.

И если кто-нибудь из нас
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,
Солжет или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,
Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберем
И в этот день его сошлем.

Пусть посидит один в дому,
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если ляжет сейчас,
Он, может, ляжет в последний раз.

Как будто, хлеб он не дает
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подает тому,
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть, вместо нас, лишь горький сты
Ночь за столом с ним просядит.

Мы, встретясь, по его глазам
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был, значит, круг друзей
На одного еще тесней.

Но если был, мы у него
Не спросим больше ничего.

Он вновь по гроб нам будет мил.
Пусть просто скажет: — Я там был.

СЧАСТЬЕ

Мальчиком он был. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть сча-
стливым?

— Я хочу проехать на лошадке
И подуть в солдатскую трубу.

Юншей он стал. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть сча-
стливым?

— Я хочу весь белый свет объехать
И не старясь до ста лет прожить.

Стал солдатом он. Его спросили:
— Что ты хочешь, чтобы быть сча-
стливым?

— Я хочу, раз выбирать уж надо,
Умереть, чтоб родину спасти.

Умер он. Его вдову спросили:
— Что ты хочешь, чтоб не быть не-
счастливой?

— Я хочу, коль он уж не воскреснет
Чтоб мой сын хотел того же, что он

СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ

I

Последние годы Борис Исаакович Розенталь выходил из дому лишь в теплые тихие дни. В дождь, в сильный мороз, либо в туман у него кружилась голова. Доктор Вайнтрауб полагал, что головокружения происходят от склероза, и советовал перед едой выпивать рюмку молока с пятнадцатью каплями иода.

В теплые дни Борис Исаакович выходил во двор с книжкой. Во двор он не брал философских книг, там его развлекали возня детей, смех и руготня женщин. Он брал с собой томик Чехова и садился на скамейке возле колодца. Он держал открытую книгу на коленях и, глядя все на одну и ту же страницу, сидел, полужакрыв глаза, с сонной улыбкой, которая бывает у слепых, прислушивающихся к тому, как шумит жизнь. Он не читал, но привычка к книге была в нем настолько сильна, что ему необходимым казалось поглаживать шершавый переплет, проверять дрожащими пальцами толщину страницы. Женщины, сидевшие неподалеку, говорили: «Вот учитель заснул», — и беседовали о своих делах, словно были одни. Но он не спал. Он наслаждался теплом нагретого солнцем камня, он вдыхал запах лука и постного масла, он слушал бесстыдные разговоры старух о своих невестках и зятях, он ловил ухом беспощадный, бешеный азарт мальчишеских игр. Иногда сохнувшие на веревках тяжелые, мокрые простыни хлопали, как паруса на ветру, и лицо ему обдавало влагой. И ему казалось: вот он снова молод и студентом едет на парусной лодке по морю. Он любил книги — книги не стояли стеной между ним и жизнью, они были канатами, привязывавшими его к жизни. Богом была жизнь. И он познавал бога живого, земного, грешного бога, читая историков и философов, читая великих и малых художников, которые каждый в силу свою славил, оправдывали, винили и кляли человека на прекрасной земле. Он сидел во дворе и слышал пронзительный детский голос: «Г!»

— Внимание, бабочка летит — огонь!

— Есть, поймал! Добивайте ее камнями!

Борис Исаакович не ужасался этой свирепости, он знал ее и не боялся ее на протяжении всей своей восьмидесятидвухлетней жизни.

И вот шестилетняя Катя, дочь убитого лейтенанта Байсмана, подошла к нему в своем изодранном платьице, шаркая галошами, спадающими с грязных испарянных ножек и протянула холодный кислый блин, сказав: «Кушай, учитель!»

Он взял блин и ел его, глядя на худое лицо девочки. Он ел этот блин, и во дворе вдруг стало тихо, и все — и старухи, и молодые грудастые бабы, забывшие о мужьях, и лежавший на матрасе под деревом безногий лейтенант Вороненко — смотрели на старика и на девочку. Борис Исаакович уронил книгу и не стал поднимать ее — он смотрел на огромные глаза, внимательно и жадно следившие, как он ел. Ему вновь захотелось понять вечно удивлявшее его чудо человеческой доброты, он хотел вычитать его в этих детских глазах, но видно слишком темные были они, а может быть, слезы помешали ему, но он снова ничего не увидел и снова ничего не понял.

Соседок всегда удивляло, почему к старику, получающему сто двенадцать рублей пенсии, не имеющему даже керосинки и чайника, приходят в гости директор подтехникума и главный инженер сахарного завода, а однажды приехал на автомобиле военный с двумя орденами.

— Это мои бывшие ученики, — объяснял он. И почтальону, приносящему ему иногда сразу два-три письма, он тоже говорил: — Это мои бывшие ученики. — Они его помнили, бывшие ученики.

И вот он сидел утром 5 июня 1942 года во дворе, рядом с ним, на вынесенном из дому матраце, сидел лейтенант Виктор Вороненко с отрезанной выше колена ногой. Жена Вороненко, молодая красавица, Дарья Семеновна готовила на легкой кухне обед и, наклоняясь над кастрюлями, плакала, а Вороненко, насмешливо морща белое лицо, говорил:

— Чего плакать, Даша, вот увидишь, отрастет у меня нога.

— Да я не от этого, лишь бы ты был живой, — говорила Дарья Семеновна и плакала, — я совсем от другого.

В час дня объявили воздушную тревогу: шел немецкий самолет. Женщины, подхватив детей, побежали к щелям, оглядываясь, не подбираются ли жулики к оставленным на столиках и табуретках продуктам. Во дворе оставаясь только Вороненко и Борис Исаакович. Мальчишка кричал с улицы:

— Возле нас остановилась автоцистерна, это объект! Водитель удрал в щель!

Собаки, издевавшие уже множество налетов, при первых же отдаленных звуках немецкого мотора, опустив хвосты, полезли в щели следом за женщинами. Женщины пинали их, кричали: «И без вас тошно, вы еще здесь со своими блохами, марш, холера на вас!» но собаки валились набок и не хотели выходить из щелей.

Потом на миг стало тихо, и мальчишки пронзительно известили:

— Летит... разворачивается... пикирует, паразит!

Маленький городок вздрогнул от страшного удара, дым и пыль поднялись высоко вверх, крик и плач послышался из щелей. Потом стало тихо, и женщины вылезали из земли, отряхиваясь, поправляя платья, смеясь друг над другом, счищая с детей пыль и грязь, спешили к плиткам.

— А шоб вин сказывся, погасла-таки плита, — говорили старухи и, раздувая пламя, плача от дыма, бормотали: — шоб ему уже добра нѣ на том. нѣ на цем свити не було.

Вороненко объяснил, что немец сбросил двухсотку и что зенитки мазали метров на пятьсот. Старуха Михайлюк бормотала:

— Та скорей бы уж немцы шлы, чтоб кончилось несчастье. Вчера в тревогу какой-то паразит у меня с плиты горшок борща унес.

Во дворе знали, что сын ее Яшка убежал из армии и скрывается в чердачной комнате, выходит на улицу только ночью. Михайлючка говорила, что если кто заявит, то при немцах ему головы не снести. И женщины боялись заявлять — немцы были близко.

Агроном Коряко, не эвакуировавшийся с райземотделом, а хваставший, что уйдет с войсками в последнюю минуту, как только объявляли тревогу, бежал в комнату, — он жил на первом этаже, выпивал стакан самогону, агроном называл его «антибомбин», и затем спускался в подвал. После отбоя Коряко ходил по двору и говорил:

— Все равно наш город — это неприступная крепость, подумаешь, разбил дощ халупу.

Мальчишки первыми прибегали с улицы, принося точные сведения:

— Упала прямо против дома Заболоцких, убило у Рабяновички козу, оторвало ногу старухе Мирошенко, ее повезли на подводе в больницу, и она умерла по дороге, дочь убивается так, что слышно за четыре квартала.

Вечером зашел к Борису Исааковичу доктор Байнтрауб. Байнтраубу было 68 лет. На нем был надет легкий чесучовый пиджак, косоворотка расстегнута на жирной груди, поросшей седой шерстью и мокрой от пота.

— Ну, как, молодой человек? — спросил Борис Исаакович.

По молодой человек тяжело дышал, одолев лестницу, ведущую на второй этаж и лишь вздыхал, показывая на грудь. Потом он сказал:

— Надо ехать, говорят, последний эшелон с рабочими сахарного завода уходит завтра. Я напомнил инженеру Шевченко, — он обещал приехать за вами подводу.

— Шевченко у меня учился, отлично успевал по геометрии, — сказал Борис Исаакович, — его нужно попросить взять из нашего дома раненого Вороненко, которого дней пять назад жена нашла в госпитале, и Вайсман с ребенком, муж ее убит, она получила извещение.

— Не знаю, будет ли место, ведь несколько сот рабочих, — сказал Вайнтрауб и вдруг заговорил быстро, обдавая собеседника своим тяжелым, горячим дыханием: — Ну вот, Борис Исаакович, город, где меня буквально каждая собака знает, подумать только, шестнадцатого июня девятьсот первого года я приехал сюда! — Он усмехнулся: — И вот совпадение, в этом доме, в этом самом доме я был сорок один год тому назад у своего первого пациента — Михайлюк отравился рыбой. С тех пор кого я только не лечил здесь — и его, и жену, и Яшку Михайлюка с его вечными поносами, и Дашу Ткачук, еще до того, как она вышла замуж за Вороненко, и отца Даша, и Витю Вороненко. И так буквально в каждом доме. А-а, ну-ну. Дожить до того дня, чтобы нужно было бежать отсюда. И скажу вам откровенно, чем ближе отъезд, тем меньше во мне решимости. Все кажется — останусь. Пусть будет, что будет.

— А у меня все больше решимости ехать, — сказал учитель, — и знаю, что такое езда в переполненной теплушке для человека восьмидесяти двух лет. У меня нет родственников на Урале. У меня ни копеечки нет за душой. Больше того, — он махнул рукой, — я знаю, уверен даже, что не выдержу до Урала, но это лучший выход — умереть на грязном полу грязной теплушки, сохраняя чувство своего человеческого достоинства, умереть в стране, где меня считают человеком.

— Ну, — сказал Вайнтрауб, — а по-моему не так страшно, все ж таки люди интеллигентных профессий, вы сами понимаете, на улице не валяются.

Наивный вы молодой человек, — сказал Борис Исаакович.

— Не знаю, не знаю, — сказал доктор. — Я все время колеблюсь, многие мои пациенты меня уговаривают остаться... Но есть и такие, которые безоговорочно советуют уехать. Он вдруг вскочил и громко закричал:

— Что это? Объясните мне! Я пришел к вам, чтобы вы мне объяснили, Борис Исаакович! Вы — философ, математик, — объясните мне, врач, что это? Бред! Как культурный европейский народ, создавший такие клиники, выдвинувший такие светила научной медицины, стал проводником черносотенного средневекового мрака? Откуда эта духовная инфекция? Что это? Массовый психоз? Массовое бешенство? Порча? Или все ж таки немного не так, а? Сгустили красочки?

На лестнице послышался стук костылей, это поднимался Вороненко.

— Разрешите, товарищи начальники, обратиться? — насмешливо спросил он.

Вайнтрауб сразу успокоился и спросил:

— А, Витя, ну как дела? — Он почти всему населению города говорил «ты», потому что все сорокалетние и тридцатилетние когда-то мальчишками лечились у него.

— Вот ножку оторвало, — сказал, усмехаясь, Вороненко. Он о своей беде всегда говорил усмехаясь, стыдась ее.

— Ну как, книжку прочли? — спросил Борис Исаакович.

— Книжку? — переспросил Вороненко; он все время усмехался, морщился. — Какого хрена книжку, вот будет нам знаменитая книжка.

И Вороненко вдруг нагнулся к ним, лицо его стало спокойно, неподвижно. Негромко и неторопливо он произнес:

— Немецкие танки прошли через железнодорожное полотно и заняли деревню Малые Низгурцы, это примерно километров двадцать на восток.

— Восемнадцать с половиной, — сказал доктор и спросил: — Значит эшелон не уйдет?

— Ну, само собой разумеется, — сказал старый учитель.

— Мешочек, — сказал Вороненко и, подумав, прибавил: — завязанный мешок.

— Ну, что ж, — проговорил Вайнтрауб, — посмотрим. Значит это судьба. Я пойду домой.

Розенталь посмотрел на него.

— Вы знаете, я всю жизнь не любил лекарств, но сейчас вы мне дадите единственное лекарство, которое может помочь.

— Что, что может спасти? — быстро спросил Вайнтрауб.

— Яд.

— Никогда этого не будет! — крикнул Вайнтрауб. — Я никогда этого не делал.

— Вы наивный молодой человек, — сказал Розенталь. — Эпикур ведь учил, что мудрый из людей к жизни может убить себя, если страдания его становятся невыносимы. А я люблю жизнь не меньше Эпикура.

Он встал во весь рост. Волосы, и лицо его, и дрожание пальцы, и тонкая шея — все было высушено, обесцвечено временем, казалось прозрачным, легким, невесомым. И только в глазах была мысль, не подвластная времени.

— Нет, нет, — Вайнтрауб пошел к двери. — Вот увидите, как-нибудь промучаемся. И он ушел.

— Больше всего боюсь я одной вещи, — сказал учитель, — того, что народ, с которым я прожил всю свою жизнь, который я люблю, которому верю, что этот народ поддается на темную подлую провокацию.

— Нет, этого не будет, — сказал Вороненко.

Ночь была темна оттого, что тучи покрывали небо и не пропускали света звезд. Она была темна от тьмы земной. Гитлеровцы были великой ложью жизни. И всюду, где ступала нога их, из мрака на поверхность выступала трусость, предательство, жажда темного убийства, расправы над слабым. Все темное вызывали они на поверхность, как в старой сказке дурное колдовское слово вызывало духов зла. Маленький город в эту ночь задыхался от темного и недоброго, от зловонного и грязного, что проснулось, зашевелилось, растревоженное приходом гитлеровцев, потянулось им навстречу. Из подвалов и яров вылезли изменники, слабые духом, рвали и жгли в печах книги Ленина, партийные билеты, письма, срывали со стен портреты братьев. В нищих духом зрелиществе слова отречения, рождались мысли о мести за бабью ссору на рынке, за случайно сказанное слово; черствостью, себялюбием, безразличием заражались сердца. Трусые, боясь за себя, замыслили доносом на соседа спасти свою жизнь. И так было во всех больших и малых городах больших и малых государств, всюду, куда ступала нога гитлеровцев, муть поднималась со дна рек и озер, жабы всплывали на поверхность. чертополох всходил там, где растили пшеницу.

Ночью Розенталь не спал. Казалось, в это утро не взойдет солнце, тьма над городом встала навек. Но солнце взошло в предначертанный ему час, и небо стало голубым и безоблачным, и птицы запели.

Низко и медленно пролетел немецкий бомбардировщик, словно утомленный ночной бессонницей — зенитки не стреляли, город и небо над городом стали немецкими. Дом просыпался.

Яшка Михайлюк спустился с чердака. Он гулял по двору. Он сидел на той скамейке, где вчера сидел старый учитель. Он сказал Даше Вороненко, топившей плитку:

— Ну, что, где он, твой защитник родины? Убегли красные и не взяли его с собой?

И красивая Даша, улыбаясь жалкой улыбкой, сказала:

— Ты на него не доноси, Яша, он ведь по мобилизации, как все, пошел.

Яшка Михайлюк, после долгого сидения в темноте, вышел под сол-

печное тепло, дышал утренним воздухом, смотрел на зеленый лук в огороде. Он побрился и надел вышитую рубашу.

— Ладно, — сказал он лениво, — вот бы выпить мне чего, не знаешь где достать?

— Я достану самогон, — сказала Даша, — есть тут у одной знакомой. Только смотри, Яша, он ведь бедный, калека. Ты не калай на него.

Потом вышел во двор агроном, и женщины шептались:

— Вот это да, словно на первый день пасхи.

Он поговорил с Яшкой, шепнул ему словцо на ухо, и они оба рас-
смеялись.

Они зашли к агроному и выпивали там. Михайлючка пронесла им сала и моченых помидоров. Варвара Андреевна, у которой все пять сыновей были в Красной Армии, самая вредная на язык и самая ядовитая во дворе старуха, сказала ей:

— Ты теперь, Михайлючка, знатная женщина страны при немцах будешь: муж в концлагере за агитацию, сын дезертир, дом этот твой собственный. Прямо тебя немцы городской головой выберут.

Шоссе лежало в пяти километрах восточней города и поэтому немецкие войска прошли, минуя маленький городок. Лишь в полдень проехали по главной улице мотоциклисты в пилотках, трусах и тапочках, черные от загара. У каждого на руке были часы-браслетик.

Старухи, глядя на них, говорили:

— Ах, боже мой, ни стыда, ни совести, голые по главной улице. Окаянство-то до чего доходит!

Мотоциклисты пошуровали по дворам, забрали поповского индюка, вышедшего разобратся в конском навозе, второпях съели у церковного старосты два с половиной кило меда, вылили ведро молока и укатили дальше, обещав, что часа через два прибудет комендант. Днем к Яшке пришли еще два приятеля-дезертира. Они все были пьяны и хором пели: «Три танкиста, три веселых друга». Они бы, вероятно, спели немецкую песню, но не знали ее. Агроном ходил по двору и, лукаво усмехаясь, спрашивал у женщин:

— Где же это наши евреи? Весь день не видно ни детей, ни стариков, никого, словно их и не было на свете. А вчера с базара пятипудовые корзины перли.

Но женщины пожимали плечами и не поддерживали этот разговор. Агроном удивлялся почему. Ему казалось, что женщины совсем иначе отнесутся к таким интересным словам.

Потом пьяный Яшка решил очистить свою квартиру, ведь до тридцати шестого года весь нижний этаж был занят Михайлюками. После того, как соснали отца, две комнаты занял Вороненко с женой, а во время войны горсовет вселил в третью комнату семью младшего лейтенанта Вайсмана, эвакуированную из Житомира.

Приятели помогли Яшке очистить площадь. Катя Вайсман и Виталик Вороненко сидели во дворе и плакали. Старуха Вайсман выносила посуду, кухонные горшки и, проходя мимо плачущих детей, шопотом говорила:

— Цыть, дети, тише, не надо плакать.

Но потное лицо ее с прилипшими к вискам и щекам селыми прядями казалось таким страшным, что дети, глядя на нее, пугались и плакали еще сильнее. Даша пробовала напомнить Яшке об утреннем разговоре, но он ей сказал:

— Меня пол-литром не купишь! Ты думаешь, люди забыли, что твой Витька народ раскулачивал.

Лида Вайсман, вдова младшего лейтенанта, малость помешавшаяся в уме после того, как в один день она получила похоронную на мужа и на брата, смотрела на плачущую девочку и говорила:

— Сегодня на базаре нет ни капли молока, плачь, не плачь, молока нет.

А Виктор Вороненко улыбался, лежа на пустом мешке, постукивая костылем по земле.

Старуха Михайлюк стояла высокая седая с яркими глазами и все

молчала. Она смотрела на плачущих детей, на захлопотавшегося сына, на старуху Вайсман, на улыбавшегося безногого.

— Мамо, шо ж вы стоите, как засватанная? — спрашивал ее Яшка.

Два раза она не ответила ему, а на третий раз сказала:

— Вот и мы дождали дня.

До вечера выселенные сидели молча на узлах, а когда начало темнеть, вышел учитель и сказал:

— Очень прошу всех вас ко мне.

Закаменевшие женщины зарыдали сразу.

Взяв два узелка с земли, учитель пошел к дому. Комнату всю завалили узлами, кастрюлями, чемоданами, обвязанными проволокой и бечевками. Дети уснули на кровати, женщины на полу, а Ровенталь и Вороненко вполголоса разговаривали.

— Я о многом в жизни мечтал, — говорил Виктор Вороненко, — то мне хотелось орден Ленина иметь, то хотел свой мотоцикл с коляской, чтобы по выходным ездить с женой к Донцу; был на фронте, мечтал семью повидать, сыну привезти железный крест и сгущенного молока, а теперь я мечтаю только об одном: иметь гранаты вот бы шухеру наделал.

А учитель сказал:

— Чем больше думаешь о жизни, тем меньше ее понимаешь. Скоро я перестану думать, но это случится, когда мне разmozжат череп. Пока помешать мне думать бессильны немецкие танки — я думаю о мире.

— Да что там думать, — сказал Вороненко, — гранаты бы ручные, побольше шухеру, пока я жив, Гитлеру сделать.

II

Агроном Коряко ждал приема у коменданта города. Говорили, что комендант — человек пожилой, знающий русский язык. Откуда-то стало известно, что в далекие времена он учился в рижской гимназии. Коменданту было уже доложено, и агроном ходил в волнении по приемной, поглядывая на огромный портрет Гитлера, беседующего с детьми. У Гитлера на лице была улыбка, а дети, необычайно нарядные, с серьезными, напряженными лицами, смотрели на него снизу, с малой высоты своего детского роста. Коряко волновался. Ведь он некогда составлял план коллективизации по району — вдруг есть донос по этому случаю. Он волновался, — впервые в жизни предстояло ему говорить с фашистами. Волновался он и потому, что находился в помещении сельскохозяйственного техникума, где преподавал год назад полеводство. Он понимал, что совершает решающий шаг и не сможет никогда вернуться к прежнему. И все волнения души агроном тушил одной фразой. Он твердил ее беспрерывно.

— Играть надо на козырную карту, на козырную карту надо играть. Из комендантского кабинета послышался вдруг полный муки, хриплый, сдавленный крик.

Коряко отошел к входной двери. «Эх, ей-богу, зря я сам лезу, сидел бы и никто бы не тронул», — с внезапной тоской подумал он. Дверь распахнулась, и в приемную выбежал начальник полиции, недавно приехавший из Винницы, и молодой бледный адъютант коменданта, который в базарный день делал облаву на партизан. Адъютант что-то громко сказал писарю по-немецки, и тот вскочил и кинулся к телефону, а начальник полиции, увидев Коряко, крикнул:

— Скорей, скорей! Где тут доктор? С комендантом припадок.

— Да вот наискосок дом, самый лучший врач в городе, — показал в окно Коряко. — Только он, извините, Вайнтрауб — еврей!

— Вас? Вас? — спросил адъютант.

Начальник полиции, уже научившийся калякать по-немецки, сказал:

— Хир, айн гут доктор, абер эр ист юд.

Адъютант махнул рукой, кинулся к двери, а Коряко догоняя его, показывал:

— Сюда, сюда, вот этот домик.

У майора Вернера был жестокий приступ грудной жабы. Доктор сразу понял это, задав несколько вопросов адъютанту. Он выбежал в соседнюю комнату, обнял, прощаясь, жену и дочь, захватил шприц, несколько ампул камфоры и вышел следом за молодым офицером.

— Минуту... Я ведь должен надеть повязку, — сказал Вайнтрауб.

— Не надо, идите так, — проговорил адъютант.

Когда они входили в комендатуру, молодой офицер сказал Вайнтраубу:

— Я предупреждаю: сейчас прибудет наш врач, за ним послан авто. Он проверит все ваши медикаменты и методы.

Вайнтрауб, усмехнувшись, сказал ему:

— Молодой человек, вы имеете дело с врачом, но если вы мне не доверяете, я могу уйти.

— Идите скорей, скорей! — крикнул адъютант.

Вернер, худой, седой человек, лежал на диване с потным бледным лицом. Полные смертной тоски, глаза его были ужасны. Вернер медленно произнес:

— Доктор, ради моей бедной матери и больной жены — они не переживут. — И он протянул к Вайнтраубу бессильную руку с белыми ногтями.

Писарь и адъютант одновременно всхлипнули.

— В такую минуту они вспомнили о матери. — набожно проговорил писарь.

— Доктор, я не могу дышать, у меня темнеет в глазах, — тихо крикнул комендант: он молил глазами о помощи.

И доктор спас его.

Сладостное чувство жизни вновь пришло к Вернеру. Сердечные соуды, освободившись от спазм, свободно гнали кровь, дыхание стало свободным. Когда Вайнтрауб хотел уйти, Вернер схватил его за руку.

— Нет, нет, не уходите, я боюсь, это может повториться.

Тихим голосом он жаловался:

— Ужасная болезнь. У меня уже четвертый приступ. В момент припадка я чувствую весь мрак подвигающейся смерти. Нет в мире ничего страшней, темней, ужасней смерти. Какая несправедливость в том, что мы смертны! Правда ведь?

Они были одни в комнате.

Вайнтрауб наклонился к коменданту, и сам не зная отчего, точно толкнул его кто-то, сказал:

— Я еврей, господин майор. Вы правы, смерть страшна.

На мгновение глаза их встретились. И седой врач увидел растерянность в глазах коменданта. Немец зависел от него, он боялся нового приступа, и старый доктор с уверенными, спокойными движениями защищал его от смерти, стоял между ним и той страшной тьмой, которая была так близко, совсем рядом, жила в склеротическом сердце майора.

Вскоре послышался шум подъехавшего автомобиля. Вошел адъютант и сказал:

— Господин майор, прибыл главный врач терапевтического госпиталя. Теперь можно отпустить этого человека?

Старик ушел. Проходя мимо ожидавшего в канцелярии врача с орденом железного креста на мундире, он сказал улыбаясь:

— Здравствуйте, коллега, пациент в полном порядке сейчас.

Врач неподвижно и молча смотрел на него.

Вайнтрауб шел к дому, промок нараспев говоря:

— Только одного хочу я, чтобы меня встретил патруль и расстрелял перед окнами, на глазах коменданта, больше у меня нет желаний. Не ходи без повязки, не ходи без повязки.

Он смеется, размахивал руками, казалось, что он пьян.

Жена выбежала к нему навстречу.

— Ну как, что, все обошлось? — спрашивала она.

— Да, да, жизнь дорогого коменданта, совершенно вне опасности, — улыбаясь, говорил он и, войдя в комнату, вдруг повалился, рыдая, стал биться своей большой лысой головой об пол.

— Прав, прав учитель, — говорит он, — будь проклят тот день, когда я стал медиком!

Так шли дни. Агроном стал поквартальным уполномоченным, Яшка служил в полиции, самая красивая девушка в городе Маруся Варанова играла на пианино в офицерском кафе и жила с адъютантом коменданта. Женщины ездили в деревни менять барахло на пшеницу, картфел, пшено, ругали немецких шоферов, требовавших огромной платы за провоз барахла. Биржа труда рассылала сотни повесток — и к станциям шли девушки и парни с котомками и узелками, грузиться в товарные эшелоны. В городе открылось немецкое кино, солдатский и офицерский публичный дом, на главной площади построили большую кирпичную уборную с надписью на русском и итальянском языке: «Только для немцев». В школе учительница Клара Францевна задавала в первом классе детям задачу: «Два «Мессершмитта» сбили восемь красных истребителей и двенадцать бомбардировщиков, а зенитная пушка уничтожила одиннадцать большевистских штурмовых самолетов. Сколько всего уничтожено красных самолетов?» И остальные учительницы боялись при Кларе Францевне говорить о своих делах, ждали, пока она выйдет из учительской комнаты. Через город гнали пленных, они шли, оборванные, шатались от голода, и женщины подбегали к ним, давали им куски хлеба, вареный картофель. Казалось, пленные потеряли человеческий образ, так измучены были они голодом, жаждой, вшами. У некоторых лица опухли, у других, наоборот, щеки ввалились, заросли темной, пыльной щетиной. Но, несмотря на страшные страдания, они несли свой крест и с ненавистью смотрели на сытых, хорошо одетых полицейских, на носящих немецкие мундиры изменников из национальных батальонов. И ненависть была так велика, что, если б предоставили им выбор, их руки потянулись бы не за горячим караваем хлеба, а к горлу предателя. По утрам толпы женщин под наблюдением солдат и полицейских шли на работу на аэродромы, мосты, исправлять пути, железнодорожные насыпи. Мимо них проходили с запада эшелоны с танками и снарядами, с востока на запад шли составы с пшеницей, скотом, заколоченные товарные вагоны с девушками и парнями.

Женщины, старики, малые дети — все ясно понимали, что происходит в стране, какой участи обрекли немцы народ и ради чего вели они эту страшную войну. И когда однажды к Розенталю во дворе подошла старуха Варвара Андреевна и, плача, спросила: «Что ж это в свете делается, деду?» — учитель вернулся к себе в комнату и сказал:

— Ну, вероятно, через день-два немцы устроят евреям великую казнь, слишком страшна жизнь, которой они обрекли Украину.

— При чем же евреи? — спросил Вороненко.

— Как при чем, это одна из основ, — сказал учитель. — Фашисты создали всеевропейскую всеобщую каторгу, и, чтобы держать каторжан в повиновении, они построили огромную лестницу угнетения. Голландцам живется хуже, чем датчанам, французам хуже, чем голландцам, чехам хуже чем французам, еще хуже приходится грекам, сербам, потом полякам, еще ниже украинцы, русские. Это все ступени каторжной лестницы. Чем ниже, тем больше крови, рабства, пота. Ну, и в самом низу этой огромной каторжной многоэтажной тюрьмы находится пропасть, которой фашисты обрекли евреев. Их судьба должна страшить всю великую европейскую каторгу, чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев. Ну вот, мне кажется, страдания русских и украинцев настолько велики, что подошла пора показать, что есть судьба еще страшней, еще ужасней. Они скажут: не ропщите, будьте счастливы, горды, рады, что вы не евреи! Это простая арифметика зверства, а не стихийная ненависть.

Во дворе, где жил учитель, за этот месяц произошло немало изменений. Агроном стал необычайно важен, потолстел. К нему ходили с просьбами женщины, приносили самогон, каждый вечер агроном нативался, заводил патефон, пел «Мой костер в тумане светит». В речи его появились немецкие словечки. Он говорил: «Когда я иду в нах гауз или на шпацир, пропу ко мне не обращайтесь с просьбами.» Яшка Михайлюк дома бывал редко, большей частью он ездил по району, ловил партизан. Приезжал Яшка обычно крестьянской подводой, привозил с собой сало, самогонку, яйца. Мать, безумно любившая его, готовила богатые ужины. Однажды на такой ужин пришел унтер-офицер из гестапо, и старуха Михайлюк с укором сказала Даше Вороненко:

— Не угодила ты, дура, видишь, какие люди к нам ходить стали, а ты живешь со своим одноногим в жидовской комнате.

Они никак не могли простить красавице Даше, что та в тридцать шестом году отказала сыну и пошла замуж за Вороненко. Яшка насмешливо и загадочно сказал:

— Скоро тебе просторно жить станет. Бывал я в городах, где очищено все сплошь... до последнего корешка.

Даша рассказала об этих словах дома. Старуха Вайсман начала причитать над внучкой.

— Даша,— сказала она,— я вам оставлю свое обручальное кольцо, а потом с нашего огорода пудов пятнадцать картошки можно будет снять, тыкву и бурак. Девочка прокормится кое-как до весны. У меня есть еще отрез сукна на дамское пальто, можно будет его выменять на хлеб. Она ведь совсем мало ест, у нее плохой аппетит.

— Прокормим как-нибудь,— ответила Даша,— а вырастет, мы ее выданим замуж за нашего Виталия.

В этот день пришел к учителю доктор Вайнтрауб. Он протянул учителю маленькую бутылочку, закрытую притертой стеклянной пробкой.

— Концентрированный раствор,— сказал он,— мои взгляды изменились, в последние дни я начал считать это вещество необходимым и полезным медикаментом.

Учитель медленно покачал головой.

— Благодарю вас,— грустно произнес он,— но мои взгляды тоже изменились за последнее время, я решил отказаться от этого лекарства.

— Почему? — удивленно сказал Вайнтрауб. — С меня хватит. Вы были правы, а не я. По центральным улицам ходить мне нельзя, жене моей запрещено ходить на базар под страхом расстрела, мы все носим эту повязку. Когда я выхожу с ней на улицу, у меня словно на руке тяжелый обруч из раскаленной стали. Так жить нельзя, вы совершенно правы. И даже каторги в Германии мы, оказывается, недостойны. Вы слышали, как там работают несчастные девочки и мальчики? Но еврейскую молодежь туда не берут, значит, ее, нас всех ждот что-то во много раз худшее, чем эта страшная каторга. Что это будет — я не знаю. Зачем мне ждать этого? Вы правы. Я бы ушел в партизаны, но с моей бронхальной астмой это неосуществимо.

— А я за эти страшные недели, которые мы с вами не виделись,— сказал учитель,— стал оптимистом.

— Что? — испуганно переспросил Вайнтрауб. — Оптимистом? Простите, но вы кажется сошли с ума. Вы знаете, что это за люди? Я пришел сегодня утром в комендатуру просить только о том, чтоб дочь мою после избития освободили на один день от работы — и меня выгнали, и спасибо, что только выгнали.

— Не об этом я говорю,— сказал учитель,— больше всего я боялся одной вещи, даже больше чем боялся,— ужасался ее, покрывался холодным потом при одной мысли о ней. Знаете, того, что фашистский расчет окажется верным. Я уже говорил об этом Вороненко. Я боялся, я ужасался, я не хотел дожидаться до этого дня, до этого часа. Неужели вы думаете, что фашисты вот так просто затаили эту

огромную травлю и истребление многомиллионного народа? В этом холодный, математический расчет. Они пробуждают в людях лишь одно темное, старое суеверие, разжигают ненависть, возрождают предрассудки. В этом их сила. Разделяй, натравляй и властвуй! Возрождать тьму! Натравить каждый народ на соседний, поработенные народы на народы, сохранившие свободу, живущих по ту сторону океана на живущих по эту сторону, и все народы всего мира на один еврейский народ. Натрави и властвуй! А мало ли в мире тьмы и жестокости, мало ли суеверий и предрассудков! И они ошиблись. Они развязывали ненависть, а родилось сочувствие. Они хотели вызвать злорадство, ожесточение, затемнить разум великих народов. А я сам воочию увидел, на себе испытал, что страшная судьба евреев вызывает у русских и украинцев лишь горестное сочувствие, что они, испытывая сами страшный гнет немецкого террора, готовы помочь, чем могут. Нам запрещают покупать хлеб, ходить на базар за молоком, и наши соседки сами берутся делать для нас покупки: десятки людей заходили ко мне и советовали мне, как лучше спрятаться и где побезопасней. Я вижу сочувствие многих. Я вижу, конечно, и равнодушное. Но злость, радость от нашей гибели я видел всего лишь три-четыре раза. Немцы ошиблись! Счетоводы просчитались. Мой оптимизм торжествует. Я никогда не имел иллюзий — я знал и знаю жестокость жизни.

— Это все верно, — сказал Вайнтрауб и посмотрел на часы, — но мне пора, — еврейский день кончается, половина четвертого... Мы с вами, вероятно, не увидимся больше. — Он подошел к учителю и сказал: — Разрешите с вами проститься, мы ведь знаем друг друга почти пятьдесят лет. Не мне вас учить в такие минуты.

Они обнялись и поцеловались. И женщины, смотревшие на их прощание, плакали.

Много событий произошло в этот день. Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты «ф-1». Он обменял «фенек» на стакан фасоли и два стакана семечек.

— Что мне, — сказал он учителю, стоя под деревом и глядя, как сын его Виталик обижает маленькую Катю Вайсман, — что мне, пришел домой раненый, но никакого удовольствия нет, а как мечтал, ей-богу, и в окопе и в госпитале. Во-первых немецкая оккупация; зверство это счих биржами труда, каторжанство в Германии, голодуха, подлость, немецкие и полицейские хари, предательство проклятых изменников, девушек, извините, блудят на полный ход, а как мы их воспитывали и лелеяли... — Он оглянулся на детей и сказал вполголоса: — Борис Исаакович, вы для меня теперь, как отец родной стали, и я вам прямо сказать могу: Даша для меня первый человек, и я ей верил, как отцу, матери и партийному уставу, а сейчас я получил через нескольких женщин подтверждение, что она в прошлую зиму жила с военным врачом третьего ранга. Это когда я под Мценском бился, она изменяла мне с врачом из тылового подразделения. Так мне кругом все опостылело... Я ей ни слова не сказал, потому что у меня к ней серьезная любовь, которая редко даже в жизни бывает. Но я решение принял: погибнуть в бою за родину все легче, чем так жить. Вот такое решение.

Старик молчал, Вороненко сердито крикнул сыну.

— Что ты делаешь ребенку, фашист? Ты же ей все кости повыводгиваешь. А? Как ты считаешь: ее отец погиб в бою за родину и посмертно награжден орденом Ленина, а ты должен ее бить нещадно с утра до ночи? И что за девочка такая, ей-богу, стоит, как овца, ~~а~~ кроет глаза и не плачет даже. Хоть бы убежала от дурака, а то стоит и терпит...

Никто не видел, как он незаметно ушел из дому, постукивая костылями. Он посматривал немного на углу, оглядываясь на дом, где остались его жена и сын и пошел в сторону комендатуры. Больше он не видел ни жены, ни сына. И агроном не вернулся домой. Граната, брошенная одноногим лейтенантом, попала в окно приемной коменданта, где собрались поквартальные уполномоченные в ожидании новых

инструкций. Коменданта в это время не было — он гулял в саду; так советовал ему врач с железным крестом на мундире. Каждый день сорокаминутная прогулка по тропинке фруктового сада и недолгий отдых на скамеечке.

Утром тронутую Лиду Вайсман полицейский погнал убирать трупы отравившейся ночью семьи доктора Вайнтрауба.

Кое-кто хотел пробраться в квартиру к доктору. У жены его была карагулевая шуба, да вообще много имелось хороших вещей: серебряные ложки, хрустальные бокалы, из которых пили, когда приезжал сын — профессор из Ленинграда, ковры. Но немцы поставили караул, и никто ничего не получил, даже доктор Агтеев, просивший «Большую медицинскую энциклопедию» и горячо объяснявший, что книги эти немцам совершенно не нужны, они ведь писаны на русском языке.

Тела везли по всем улицам. Худая, скверная лошадь останавливалась на каждом углу, точно мертвые ее пассажиры каждый раз просили остановиться, чтобы посмотреть на заколоченные дома, на террасу, застекленную синим и желтым стеклом в доме Люблименко, на каланчу.

Пациенты смотрели на последнее путешествие доктора из окон, ворот, дверей. Никто, конечно, не плакал, не снимал шапок, не прощался с ним. В страшные эти времена кровь, страдания и смерть никого не трогали, потрясала людей лишь любовь и доброты. Доктор не был нужен городу: кому охота лечится в такое время, когда здоровье сущая кара? Кровохарканье, паралич, тяжелая грыжа, смертные сердечные припадки, злые опухоли спасали от изнурительных работ, от немецкой каторги. И о болезнях мечтали, вызывали их, молили о них бога. Мертвого доктора провожали угрюмыми и молчаливыми взглядами. Лишь одна старуха Вайсман заплакала, когда телега проехала мимо дома, потому что накануне доктор, придя прощаться с учителем, принес для маленькой Кати кило рису, кулек какао и двенадцать кусков сахара. Он хорошо лечил людей, доктор Вайнтрауб, но не любил лечить бесплатно. Никому никогда он не делал такого богатого подарка.

Только к вечеру вернулась Лида Вайсман.

Она сказала, что доктор и докторша оказались тяжелыми, что земля была очень каменистой и твердой, но, к счастью, немец позволил копать неглубоко. Она пожаловалась, что сбила лопатой каблук и порвала юбку, когда слезала с подводы — зацепилась за гвоздик. У нее хватило здравого смысла, а, быть может, хитрости помозганного, не сказать Даше, что на заставе, при въезде в город, висит Виктор Вороненко.

Но когда Даша вышла, она деловито и тихо сказала:

— Виктор там висит, наверное, страшно хочет пить — рот раскрыт, и губы совершенно пересохли.

Даша перед вечером узнала от старухи Михайлюк о судьбе Виктора. Она молча ушла в глубь двора, где были посажены огурцы, и села между грядок. Вначале мальчишки подозревали, не собираются ли она сорвать с огорода, и следили за ней, но потом поняли, что она задумалась. Она закусила зубами губу и думала. Совершенно не жалея себя, казнилась страшными мыслями. Она вспомнила первый день их совместной жизни и вспомнила вчерашний, последний день, она вспоминала военного врача третьего ранга и сладкое кофе, которое она варила для врача и пила вместе с ним, слушая пластинки. Она вспомнила, как муж спросил ее шопотом ночью: «Тебе не противно спать с одноногим?» — и как она ответила: «Ничего не подлаешь». Она была грешна перед ним всеми грехами, хотелось бежать от людей. Но мир стал жесток и некому было сочувствовать ей — надо было подниматься с земли, снова уйти к людям. В этот вечер пришла ее очередь носить воду из колодца.

Немецкий солдат, живший в соседнем дворе, побежал в уборную, на ходу стаскивая ремень, а на обратном пути увидел сидящую Дашу и подошел к забору. Он стоял и молча любовался ее красотой, ее белой шеей, ее волосами, ее грудью. Она чувствовала его взгляд и думала, зачем ко всему горю бог наказал ее такой красотой — ведь бессмысленно чисто, без греха, жить красивой в подлое, страшное время.

Потом к ней подошел Розенталь и сказал:

— Даша, вы хотите остаться одни, я вместо вас налью воды, вы посидите здесь, сколько нужно для вашей души. Виталика я накормил холодной пшенной кашей.

Она молча кивнула, посмотрела на него и всхлипнула. Он, пожалуй, единственный из горожан совершенно не изменился за все время, остался таким, как был — внимательным, вежливым, читал свои книги, спрашивал: «Я вам не помешаю?», желал здоровья, когда кто-либо чихал. А ведь от всех людей ушло то, что так ей нравилось — вежливость, деликатность, отзывчивость. Кажется, только этот старик один во всем городе говорил: «Как вы себя чувствуете?», «Вы сегодня утром очень бледны», «Поешьте, ведь вы вечером почти ничего не ели». А мир жил так: «Э, все равно война, все равно немцы, все горит, все пропадает». И она ведь так жила, как весь мир, неряшливо, не думая о душе.

Она быстро копала, щепочкой землю между огуречными плетями и затем старательно закапывала ямки, ровняя их с землей. И когда уж совсем стемнело, она немного поплакала — ей стало легче дышать, захотелось есть, пить чай и захотелось подойти к тронутой Лиде Вайсман и сказать ей: «Ну вот, мы теперь две вдовы — ты и я». А потом она уйдет в монашки.

В сумерках Розенталь поставил на стол подсвечники, достал из шкафа две свечи. Он их давно берег. Каждая из них была завернута в синюю бумагу. Он зажжет сразу обе свечи. Он раскрыл ящик, которого никогда до этого не открывал, вынул пачки старых писем, фотографий и, сидя за столом, надев очки, перечитывал письма, писанные на голубой и розовой бумаге, выцветшей от долгого времени, внимательно рассматривая фотографии. Старуха Вайсман тихо подошла к нему.

— Что будет с моими детьми? — сказала она.

Она не умела писать. За всю свою жизнь не прочла она ни одной книги, она была невежественной старухой, но в ней взамен книжной мудрости развилась наблюдательность и житейский, во многое проникающий разум.

— На сколько вам хватит этих свечей? — спросила она.

— Я думаю, на две ночи, — сказал учитель.

— Сегодня и завтра?

— Да, — ответил он, — на завтрашнюю тоже.

— А послезавтра будет темно.

— Я думаю, что послезавтра будет темно.

Она мало кому верила. Но Розенталь можно было верить, и она поверила ему. Страшное горе поднялось в ее сердце. Она долго смотрела на лицо спящей внучки и строго сказала:

— Скажите, в чем виновато дитя?

Но Розенталь не слышал ее, он читал старые письма.

В эту ночь он перебрал огромный ворох своих воспоминаний. Ему вспомнились сотни людей, прошедших через его жизнь, его учения и его учителя, вспомнились враги и друзья, вспомнились книги, споры времен студенчества, неудачная, жестокая любовь, пережитая шестьдесят лет тому назад и положившая холодную тень на всю его жизнь, вспомнились годы бродяжничества и годы труда, вспомнилось, сколько было душевных мук — от страстной, иступленной религиозности к ясному, холодному атеизму, вспомнились горячие, фанатические, непримиримые споры. Все это отшумело, осталось позади. Конечно, он прожил неудачную жизнь. Он много думал, но он мало сделал. Пятьдесят лет он был школьным учителем в маленьком, скучном городке. Когда-то он учил детей в еврейской профессиональной школе, потом, после революции, он преподавал алгебру и геометрию в десятилетке. Ему надо было жить в столице, писать книги, печататься в газетах, спорить со всем миром.

Но в эту ночь он не жалел, что жизнь не удалась ему. В эту ночь впервые ему были безразличны давно ушедшие из жизни люди, страстно ему хотелось одного лишь — чуда, которого он не мог понять,

любви. Он не знал ее. В раннем детстве воспитываясь после смерти матери в семье дядьки, в юности познав горечь женской измены, всю жизнь свою он прожил в мире благородных мыслей и разумных поступков.

Ему хотелось, чтобы к нему подошел кто-нибудь и сказал: «Закрой-те ноги платком, ведь с пола дует, у вас ревматизм». Ему хотелось, чтобы ему сказали: «Зачем вы носили сегодня воду из колодца, ведь у вас склероз?» Он ждал, что одна из лежащих на полу женщин подойдет к нему и скажет: «Ложитесь спать, вредно так поздно ночью сидеть за столом». Ведь никогда никто не подходил к его постели и не поправил одеяла, не говорил: «Вот так будет теплее, вот и мое одеяло». Он знал это, ему предстояло умереть в ту пору, когда законы зла, грубой силы, во имя которой творились невиданные преступления, правили здесь жизнью, определяли поступки не только победителей, но людей, попавших под их власть. Безразличие и равнодушие — великие враги жизни. В эти страшные дни судила его судьба умереть.

Утром было объявлено, что евреям, живущим в городе, нужно явиться на следующий день в 6 часов утра на плац возле паровой мельницы. Всех их отправят в западные районы оккупированной Украины: там имперские власти устраивают специальное гетто. Вещей приказано было взять ровно 15 килограммов. Пищу брать не полагалось, так как во всем пути следования военное командование обеспечивало сухим пайком и кипятком.

IV

Весь день к учителю ходили соседи советоваться, спрашивать его, что он думает об этом приказе. Пришел старик-сапожник Борух, острый и сдержанный, великий мастер модельной обуви, пришел печник Мендель, молчаливый и философ, пришел жестяник Лейба, отец девяти детей, пришел широкоплечий седоусый рабочий молотобоец Хаим Кулиш. Все они слышали о том, что немцы во многих городах уже объявляли об этих отправлениях, но нигде никогда никто не видел ни одного эшелона евреев, не встречал колонн на дальних дорогах, не получал известий о жизни в этих гетто. Все они слышали о том, что колонны евреев идут из городов не к железнодорожным станциям, не по широким шоссе и дорогам, а что ведут евреев в те места, где под городом яры и овраги, болота и старые каменоломни. Все они слышали, что через несколько дней после ухода евреев, немецкие солдаты выменивали на базаре мед, сметану, яйца на женские кофты, детские джемперы, туфли, что жители, приходя домой с базара, тихо передавали друг другу: «Немец менял шерстяной джемпер, который надела соседка Соня в то утро, когда их выводили из города», «Немец менял сандалии, которые носил мальчик, эвакуированный из Риги», «Немец хотел получить три кило меда за костюм нашего инженера Кутеля». Они знали, они догадывались, что ждет их. Но в душе они не верили этому, слишком страшным казалось убийство народа. Убить народ! Никто не мог душой поверить этому.

И старый Борух сказал:

— Разве можно убить человека, который делает такие туфли? Их не стыдно повезти в Париж на выставку.

— Можно, можно, — сказал печник Мендель.

— Ну, хорошо, — сказал жестяник Лейба, — скажем, им не нужны мои чайники, кастрюли, самоварные трубы. Но не убьют же они из-за этого девять человек моих детей.

И старый учитель Розенталь молчал, слушал их и думал: хорошо поступил он, не приняв яда. Всю свою жизнь прожил он с этими людьми, с ними должен прожить он свой горький последний час.

— Надо бы податься в лес, но куда податься, — сказал молотобоец Кулиш. — Полицейские ходят за нами следом, с утра уже три раза приходил уполномоченный по кварталу. Я послал мальчика к тестю, и хозяин дома шел за ним следом. Хозяин хороший человек — он мне

прямо сказал: «Меня предупредили в полиции, если даже один мальчик не придет на плац, то ты ответишь головой, домовладелец».

— Ну что ж,— сказал Мендель-печник.— это судьба. Соседка сказала моему сыну: «Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню». И мой Яшка сказал ей: «Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я».

— Одно я могу сказать,— пробормотал молотобоец: — если придется, я не умру, как барац.

— Вы молодец, Кулпш,— проговорил старый учитель,— вы молодец, вы сказали настоящее слово.

Вечером майор Вернер принимал представителя гестапо Беккера.

— Лишь бы провести организованно завтрашнюю операцию — и мы вздохнули,— сказал Беккер.— Я замучился с этими евреями. Каждый день экшессы: пятеро сбсжали, есть сведения, что к партизанам: семья покончила самоубийством, трое задержано за хождение без повязок; на базаре опознана еврейская женщина, она покупала яйца, несмотря на категорический запрет появляться на базаре, двое арестовано на Берлинер-штрассе, хотя прекрасно знали, что по центральной улице им запрещено ходить, восемь человек разгуливали по городу после четырех часов дня, две девушки пытались скрыться в лес во время марша на работу и были застрелены. Все это мелочи. Я понимаю, что на фронте нашим войскам приходится иметь дело с более серьезными трудностями: но нервы есть нервы. Ведь это события одного дня, а каждый день одно и то же.

— Какой же порядок операции? — спросил Вернер.

Беккер протер замшей пенсне.

— Порядок разработан не нами. Конечно, в Польше мы имели более широкие возможности применять энергетические средства. Да без них, по существу, невозможно обходиться, ведь речь идет о статистических цифрах с солидным количеством нулей. Здесь, конечно, нам приходится действовать в полевых условиях. Сказывается близость фронта. Последние инструкции позволяют отклоняться от параграфов и применяться к местным условиям.

— Сколько же вам нужно солдат? — спросил Вернер.

Во время этого разговора Беккер держал себя необычайно солидно, куда солидней, чем в обычное время. И сам комендант Вернер чувствовал внутреннюю робость, разговаривая с ним.

— Мы строим дело таким образом,— сказал Беккер.— Две команды — расстреливающая и охраняющая. Расстреливающая — человек пятнадцать — двадцать, обязательно добровольцы. Охраняющая должна быть сравнительно не велика, из расчета один солдат на пятнадцать евреев.

— Почему так? — спросил комендант.

— Опыт показывает в тот момент, когда колонна видит, что маршрут ее проходит мимо железной дороги и шоссе, начинается паника, истерики, многие пытаются бежать. Кроме того, в последнее время запрещено применять пулеметы — очень невелик процент смертельных попаданий,— предписывается стрелять личным оружием. Это сильно замедляет работу. Еще надо добавить, ведь рекомендуется расстреливающую команду собирать из минимального количества людей — на тысячу евреев команду в двадцать человек, не больше. Пока идет работа, немало дела и у охраняющей команды. Вы сами понимаете, что среди евреев довольно большой процент мужчин.

— Сколько же времени это займет? — спросил Вернер.

— Тысяча человек при опытном организаторе — не более двух с половиной часов. Самое главное — это суметь распределить функции, разбивку и подготовку группы, своевременно подвести ее, а сама операция непродолжительна.

— Сколько же вам, однако, нужно солдат?

— Не меньше ста,— решительно сказал Беккер.

Он посмотрел в окно и добавил:

— Значение имеет и погода. Запрашивал метеоролога, на завтра в

первой половине предполагается тихий солнечный день, к вечеру возможен дождь, но это не имеет для нас значения.

— Следовательно... — нерешительно произнес Вернер.

— Порядок таков. Вы выделяете офицера, конечно, члена нацистской партии. Расстреливающую команду он составляет так: «Ребята, мне нужны несколько человек с хорошими нервами». Это надо провести сегодня вечером в казарме. Записать надо по крайней мере тридцать, так как процентов десять, как показывает опыт, всегда отпадает. После этого с каждым индивидуально проводится беседа: боишься ли ты крови, способен ли ты выдержать большое нервное напряжение? Больше никаких объяснений с вечера не следует делать. Одновременно по списку составляется команда охранения, унтер-офицеры инструктируются с вечера. Производится проверка оружия. Команда выстраивается в касках к пяти часам утра перед канцелярией. Офицер подробно знакомит с задачами и обязательно еще раз опрашивает добровольцев. После этого каждому из них выдается триста патронов. К шести они приходят на плац, где назначен сбор евреев. Порядок следования: расстреливающая команда идет впереди колонны в тридцати метрах. За колонной следуют две повозки, так как всегда есть некоторый процент старух, беременных и истеричных женщин, теряющих в дороге сознание. — Он говорил медленно, чтобы майор не упустил некоторых деталей.

— Ну вот, собственно, и все, дальнейшее инструктирование на месте работы, берут на себя мои сотрудники.

Майор Вернер посмотрел на Беккера и вдруг спросил:

— Ну, а как же дети?

Беккер недовольно покаплял. Вопрос выходит за рамки делового инструктирования.

— Видите ли, — сказал он строго и серьезно, прямо глядя в глаза команданту, — хотя рекомендуется отделять их от матерей и работать с ними отдельно, я предпочитаю этого не делать. Ведь вы понимаете, как трудно оторвать ребенка от матери в такую печальную минуту.

Когда Беккер протиснулся и ушел, командант вызвал адъютанта, передал ему подробно инструкцию и сказал вполне серьезно:

— Я все же доволен, что этот старый доктор покончил с собой заранее: у меня были бы ужасные угрызения совести в отношении его, как-никак он ведь мне многим помог, не знаю, дожил ли бы я без его помощи до приезда нашего врача... А последние дни я себя отлично чувствую — и сон гораздо лучше, и желудок, и уже два человека мне говорили, что у меня лучше цвет лица. Возможно, что это связано с этими каждодневными прогулками по саду. Да и воздух в этом городке превосходный, говорят, тут до войны были санатории для легочных и сердечных больных.

И небо было синим, и солнце светило, и птицы пели.

★ ★ ★

Когда колонна евреев миновала железную дорогу и, свернув с шоссе, направилась к оврагу, молотобоец Хаим Кулиш набрал воздуха в грудь и громко, перебивая гул сотен голосов, закричал по-еврейски:

— Ой, люда, я отжил!

Он ударил кулаком по виску шедшего рядом солдата, свалил его вырвал у него из рук автомат и, не имея времени понять чужое, незнакомое оружие, размахнулся тяжелым автоматом наотмашь, как бил когда-то молотом, ударил по лицу подбежавшего сбоку унтер-офицера. В начавшейся после этого суетолоке маленькая Катя Вайсман потеряла мать и бабушку и ухватилась за полу пиджака старика Розенталя. Он с трудом поднял ее на руки, приблизив губы к ее уху, сказал:

— Не плачь, Катя, не плачь.

Держась рукой за его шею, она сказала:

— Я не плачу, учитель.

Ему было тяжело держать ее, голова его кружилась, в ушах шумел.

ло, ноги дрожали от непривычно долгого пути, от мучительного напряжения последних часов.

Толпа пятилась от оврага, упиралась, многие падали на землю ползли. Розенталь вскоре оказался в первых рядах.

Пятнадцать евреев подвели к оврагу. Некоторых из них Розенталь знал. Молчаливый печник Мендель, зубной техник Меерович, старый добрый плут электромонтер Апельфельд. Его сын преподавал в киевской консерватории и когда-то мальчишкой брал уроки математики у Розенталя. Тяжело дыша, старик держал на руках девочку. Мысль о ней отвлекала его.

«Как утешить ее, чем обмануть?» — думал старик, и бесконечно горестное чувство охватило его. Вот и в эту последнюю минуту никто не поддержит его, не скажет ему слова, которого хотел он и жаждал услышать всю жизнь, больше всей мудрости книг о великих мыслях и деяниях человека.

Девочка повернулась к нему. Лицо ее было спокойное; то было бледное лицо взрослого человека, полное снисходительного сострадания. И во внезапно пришедшей тишине он услышал ее голос.

— Учитель, — сказала она, — не смотри в ту сторону, тебе будет страшно. И она, как мать, закрыла ему глаза ладонями.

Начальник гестапо ошибся. Ему не пришлось вздохнуть свободно после расстрела евреев. Вечером ему доложили, что вблизи города появился большой вооруженный отряд. Во главе отряда стоял главный инженер сахарного завода Шевченко. Сто сорок рабочих завода, не успевшие выехать с эшелонам, ушли с инженером в партизаны. Этой ночью произошел взрыв на паровой мельнице, работавшей для немецкого интендантства. За станцией партизаны подожгли огромные запасы сена, собранные фуражками венгерской кавалерийской дивизии. Всю ночь горожане не спали, ветер дул в сторону города. Пожар мог перебраться на дома и сараи. Кирпичное тяжелое пламя колыхалось, ползло, черный дым застилал звезды и луну, и теплое безоблачное, летнее небо было полно грозы и пламени.

Люди, стоя во дворах, молча наблюдали, как расплзался огромный пожар. Ветер донес четкую пулеметную очередь, несколько ударов ручных гранат.

Яшка Михайлюк в этот вечер прибежал домой без фуражки, он не гринес с собой ни саль, ни самогону. Проходя мимо женщин, молча стоявших во дворе, Яшка сказал Даше:

— Ну что, прав я? Просторно тебе жить теперь — одна хозяйка в комнате?

— Просторно, — сказала Даша, — просторно! В одну могилу уложили и Виктора моего, и девочку шестилетнюю, и учителя-старика. Всех их я своими слезами оплакала, — и вдруг закричала: — Уйди, не смотри на меня погаными глазами, я тебя тупым ножом зарежу, секачом зарублю!

Яшка побежал в комнату, сидел там тихо. А когда мать его хотела пойти записать ставни, он сказал ей:

— Ну, их, не отпирайте дверь, они там все, как бешеные, еще кипятком вам глаза выжгут.

— Яденька, — сказала она, — ты бы лучше опять на чердак пошел, там и кровать твоя стоит, а я тебя на ключ закрою.

Словно тени, мелькали в свете пожара солдаты. Их подняли по тревоге, вызывали в комендатуру. Старуха Варвара Андреевна стояла среди двора, седые растрепавшиеся волосы ее в свете пожара казались розовыми.

— Что? — кричала она, — Справились, запугали? Во как полыхает. Не боюсь я фрицев! Вы против стариков и детей! Дашка, придет еще день, мы их всех, проклятых в огне жечь будем.

А небо все багровело, накалялось, и людям, стоявшим во дворах, казалось, что в темном дымном пламени горит все недоброе, подлое, нечистое, чем заражали немцы человеческие души.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ



Бого баюкала Россия
Душевной песнею своей
Того как будто оросила
Голубизна ее степен.

Нам нежность — первая наука...
Заветом племени дыша,
Дремучий дед ласкает внука
Словами — «голуба-душа».

Сама, как русская природа,
Душа народа моего:
Она пригрет и урода,
Как птицу, выходит его,

Она не выжурит со света,
Держась за придури свои —
В ней много воздуха и света
И много правды и любви.

О Русь! Тебя не старят годы.
Ты вся — из выси голубой.
Не потому ли все народы
Так очарованы тобой.

Но если где какая сила,
Грозь,

боящая

и трубя,

Моя теплынь, моя Россия,
Протянет когти на тебя,—

Ты льдами двинешься по грозам...
И от жилья и до жилья
Пойдет стучаться дед-морозом,
Звуча колычугою, Илья.

И вновь, исполненные веры,
Восстанут с яростным «ура»
Суворовские гренадеры
За батареями Петра,

Чтобы, на славу их надеясь,
Россия встала полной сил,
Чтоб Красной Армии гвардеец
Врата шавылет пригвоздил.

О край улыбки безмятежной,
Страна атаки голодной,
Нашилок бешеный и нежный,
Где смесь пурги с голубизной.

Январь, 1943

НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

ХИРУРГ

Повесть

Постоянный ассистент главного хирурга, молодой врач, прозванный сестрами «Милый мой», заехал вечером в госпиталь, чтобы посмотреть оперированного вчера хирургом Петром Александровичем раненого майора. Когда он вошел в переднюю и, сняв военную фуражку, подал ее швейцару, он внезапно заметил, как похоже это у него вышло на обычную, слегка небрежную манеру самого Петра, Александровича. Ему показалось это смешным, и он покраснел. Он вытащил из кармана большой белый, помятый, но блестяще чистый носовой платок и провел им без всякой надобности около покрасневшего носа.

Он знал эту неудобную свою особенность: вспыхивать так, что лицо его краснело от щек через лоб до корней светлорусых густых волос. Это случилось, когда Петр Александрович на сложных операциях вгонял ассистента в пот замечаниями о том, что он держит «не изящный ножик», а скальпель, а потому, «милый мой, держите руку решительно: вы не апельсин девушке собираетесь очистить». Но чаще это бывало не от смущения и реловкости, от чего обычно краснеют люди, а от внезапного наплыва мыслей, заставших врасплох, как было и сейчас.

— Ну как? — спросил он старика-швейцара. — Больше никого не привозили?

— Как же! нынче восемь человек прибыло.

Старик повесил военный плащ ассистента на дубовую светлую вешалку и пошел к шкафчику за халатом.

— Это еще при мне привезли, так, значит, больше никого.

Ассистент взял у швейцара свой халат, надел его и пошел вверх по лестнице, бессознательно подражая походке главного хирурга и не замечая этого.

Если бы он продолжал следить за собой, он заметил бы это подражание еще во многих мелочах и осудил бы себя за это. Личное обаяние знаменитого хирурга было таково, что почти все молодые, начинающие работать с ним, врачи проходили через эту стадию внешнего подражания. Одни ограничились этим внешним, заводили себе точь-в-точь такую же небольшую бородку, как у главного врача, и вполне сознательно вырабатывали манеру держать себя в операционной, как Петр Александрович. Они старались, вымыв руки, так же прямо и непринужденно неся голову подходить к операционному столу и осматривать лежащего на столе больного, а затем, как это всегда делал хирург, движением указательного пальца правой руки молча показывать, как надо положить и закрепить стерильные салфетки вокруг операционного поля.

Другие, увидев в себе внешнее подражательство — оно сначала замечалось на товарищах, а потом уже в себе, — сурово изгоняли его. Тогда им яснее открывалось то настоящее, удивительное богатство знания, опыта, ума, наблюдательности, умения видеть человека как возвышенное — это казалось одинаково и физической и духовной организации человека, — которым владел Петр Александрович, отдавая все любимым своим ученикам и не беднее от этого.

«Милый мой» — так всегда обращался к ассистенту хирург — как раз вступал в период сурового изгнания внешнего и оскорбительного для него подражательства. Он работал с Петром Александровичем больше года и с начала войны собирался непременно на фронт. Но теперь внезапно, словно его озарило, понял, что еще мало черпал из внеуренного богатства Петра Александровича, и решил учиться и учиться у него и искать то главное, что сделало из него большого хирурга.

«Милый мой» вошел в палату тяжело раненых и, подвинув себе стул, подсел к кровати лежавшего на спине майора и опять сделал это так похоже на старшего хирурга, что сестра этой палаты, Ната Ивановская, заметила и поморщилась.

Майор только что заснул. Лицо у него было молодое, правильное и от большой потери крови очень бледное. Но пульс был хорош, пальцы оперированной ноги, укутанной в толстый слой ваты, — теплые, и спал он, спокойно и ровно дыша, вытянув поверх одеяла красивую белую руку.

Посмотрев еще двух тяжело раненых красноармейцев в соседней палате — одного со сложной полостной операцией и другого, которому предстояло повторение попытки укрепить протез нижней челюсти — ассистент вышел в коридор.

— Вы что же домой не идете? — спросил он вышедшую с ним сестру.

— Пойду, — ответила она, — а что?

— Да так заболеть немудрено. По суткам не выходите из госпиталя...

— У меня помощница хорошая. Сейчас она придет, а я погуляю в саду и спать лягу.

— Вот видите, я вас и поймал. Значит, домой и не собирались?

Сестра засмеялась и не ответила.

— А может, пошли бы вместе? В Москве тихо и спокойно. Когда я шел сюда, небо было светлое, строгое, и над городом поднимались аэролаты.

— Аэролаты и из сада видно... Вы же знаете, что никто ему без меня не сумеет дать попить...

«Он» — это был раненый в нижнюю челюсть красноармеец.

Оба помолчали.

— Майор красив, как мраморный Аполлон, — сказал ассистент, — но мы

подпортим ему эту красоту — при-
бавим крови.

— Как вам не надоест стараться говорить, как Петр Александрович? — досадливо сказала сестра. Ассистент покраснел и неожиданно для сестры отыпал весело:

— Ей-богу, больше не буду. Обещаю вам.

Они вместе прошли через большую притихшую палату госпиталя, где лежали выздоравливающие красноармейцы. Несколько электрических лампочек горело под темными абажурами, и только на полу от них лежали светлые круги. Кровати были в тени. На кроватях мерло дышали люди. Направо от проходившего врача повернулся на кровати красноармеец и сказал во сне: «Подговорь» Ефимкина, Ефима Андреича, как живца поймать?»

— Рыбак! — нежно и понимающе шепотом сказал ассистент.

Он привычно отметил себе, что красноармеец дышит глубоко и ровно, значит, с легким, где была рана, все обстоит хорошо. Потом он попрощался с сестрой и вышел на лестницу.

Он спустился уже до нижней ступеньки. В передней старик-швейцар, в круглых очках, облокотившись на перила вешалки, читал «Правду». Увидев ассистента, он опустил газету и поднял на пере-
носите очки. За окном тонко и пронзительно возник, набирая силу и расширяясь, назойливый звук. Швейцар положил газету на вешалку и сказал:

— Тревогу дают, Семен Иванович...

Когда Семен Иванович взбежал по лестнице, наверху в палатах уже происходило движение. Сестры и санитарки собирали и приготавливали больных к переходу в общинное бомбоубежище госпиталя. Хотя для каждого обязанности его во время тревоги были точно известны, все происходило каждый раз не так, как было в прошлый. Общим было только соединение усилий и забот людей не о себе лично, а о жизни раненых, доверенных им.

В этот раз очень скоро после объявления тревоги начали стрелять зенитки за госпитальным садом. Напротив, через улицу от госпиталя, загорелся дом, и когда район осветился, над улицей были

сброшены три фугасные бомбы. Фугасные, просвистев так, будто они ввинчивались в воздух, разорвались: две в большом саду госпиталя, одна, около углового магазина.

Дежурный врач Тихонова заволновалась. Ее до сих пор ровный голос стал тревожным, движения торопливыми, и на щеках пятнами выступил румянец. Она приказала немедленно унести еще оставшихся в палатах раненых в бомбоубежище.

Но Семен Иванович уже руководил перенесением лежащих больных. Вместе с сестрами и санитарками он черекладывал раненых на носилки, помогал им спускать носилки с лестницы и избегал обратно через две ступеньки, все время испытывая необыкновенный подъем и сосредоточение физических сил, ловкости и сообразительности.

Встречая порозовевшие лица сестер и санитарок, Семен Иванович и в них отмечал выражение упорства и самозабвения, которые чувствовал в себе самом, так что, когда стрельба зениток в районе госпиталя затихла и Семен Иванович прошел по опустевшим палатам, он подумал, что вот это именно то, чего ему нехватало все время со дня объявления войны: горячей, взволнованной, чисто мускульной работы, которая всегда кажется человеку самой действительной формой помощи другим людям.

После хлопотливой ночи больных решили не беспокоить до семи часов утра. Тревогу дали в одиннадцать вечера, отбой же был в два, и только к трем часам утра раненые вернулись в палаты. День начался на час позже. Но то, что ночью налет обошелся без жертв для госпиталя, сообщило всем повышенную энергию и все сестры, сиделки, уборщицы — особенно легко и ловко работали в это утро.

Госпиталь был развернут в великолепном, но не совсем приспособленном под него здании. До войны здесь была хирургическая больница, и в первой комнате находилась большая приемная с огромными, чуть не до потолка, окнами. Теперь в ней помещали выздоравливающих. Раненые радовались, когда их переводили в эту палату, и прозвали ее «выходной».

Когда подняли зеленые шторы, больные увидели голубое чистое небо, верхние уже желтеющие ветви тополей, и в выходной палате начался разговор о том, что нынче ночью здорово били зенитки и что пожары, возникшие около госпиталя, очень быстро были потушены.

— Применились уже, — сказал раненый красноармеец в надетой на одну правую руку, расстегнутой рубашке. Под левым подвернутым рукавом выпирала толстая перевязанная, согнутая в локте, уложенная в шину и прибинтованная к груди рука. Сидя на кровати, он здоровой рукой трогал и поглаживал пальцы раненой руки: — А что и не применить? Третий месяц практику проходят.

— Не говори, — ответил из соседнего ряда красноармеец Митрошин. Он лежал на кровати со сползшей на груди повязкой, нетерпеливо глядя на сестру, которая давно уже шла по его ряду, но все задерживалась, беря, встряхивая, и снова раздавая градусники. — До пожаров не надо было допускать. Понимать надо: если он зажигательные сыплет, то он хочет район осветить и ловчее фугаски сбросить. Значит, не давай гореть, туши. — Они заспорили. Митрошину было неудобно со сбившейся повязкой и досадно на сестру, почему она не торопится к нему, и он ругал пожарников за то, что они не смогли отстоять деревянных домов напротив госпиталя. На самом же деле пожарная команда работала хорошо и только потому не успела потушить все зажигательные бомбы, что они упали сразу в нескольких местах. Обгоревшие дома были видны из окон палаты и за ними — угловой магазин, вчера еще веселый и нарядный. Стена его была теперь словно изрыта оспой, окна и двери выблвнуты, а вывеску с надписи «Бакалея» отнесло к воротам госпиталя.

— У меня интерес был на крыл пойти, да сестра непустила, отозвался лежавший напротив Митрошина красноармеец с забинтованной по ушам и подбородку головой.

— Голова закружится по крыше лазить, — строго ответил первый раненый в ряду. Фамилия его была Задорожный. — Ты, Майоров, до

диплся, до того, что от комиссара попадет. Это, по-моему, ни к чему! Какое твоё дело на крыше? Пока лечишься, твоя забота поправляться. А ты то на лестнице попадешься...

— Сестрица, — Майоров резко и легко сел на кровати, звякнув тугими пружинами и спустив ноги, — позвольте я вам бинт подержу.

Сестра, поправляя повязку Митрошину, разбинтовала верхний бинт и скатывала его быстрыми движениями пальцев. Она только взглянула на Майорова красивыми тёмными глазами и чуть-чуть улыбнулась. Майоров быстро вдел ноги в войлочные туфли и подскочив, взял бинт и стал его расправлять в ширину. Сестра туго натянув бинт, скатала его ладонями и спросила Майорова, почему ему не ложится спокойно.

— Черестур отдохнул, сестрица. Держат меня здесь совершенно напрасно: всё равно — лечение одними градусниками.

Майоров хорошо знал, что измерение температуры — не лечение, но среди раненых так было принято говорить, когда человек, по мнению их, поправился и лечения уже не требовал.

Сестра подбинтовала широкую крепкую грудь Митрошина и перешла дальше по ряду. В палату заглянул Семен Иванович.

— Фролова тут нет? — спросил он.

— Расторопный какой, Семен-то Иванович, — сказал Митрошин, нынче ночью досталось ему работы...

— Мой доктор — с одобрением одобрил Задорожный.

Майоров постоял немного, новый, короткий ему полотняный халат отдувался колоколом — пояс от него Майоров привязал к спинке кровати и им не пользовался — и быстро, вприбежку, пошел к двери на лестницу. Мимо, обгоняя, прошла к лестнице тонкая высокая сестра из палаты тяжело раненых и исчезла за дверью, затворив ее под носом у Майорова. Кругом зашевелились.

— Майоров! — обликнул его красноармеец, лежавший с краю ряда. Нога у него была в гипсе, и к ней был подвешен небольшой груз на вытяжение. — Подай-ка табачку из тумбочки. — Майоров быстро повер-

нул в узкий проход между кроватями, достал из ящика тумбочки лёгкий табак в начатой пачке, свернул цыгарку, подал товарищу, чиркнул спичку и поднес ему. Тот прикурил.

— Что ж ты? Сам-то закуривай, — сказал товарищ.

— Нет, я пошел насчет радио узнать.

Майоров вышел на лестницу, но сейчас же вернулся. Круглое веселое лицо его с коротким носом и светлыми бровями смотрело плутовато и изображало, что он чуть было не попался, но вывернулся.

— Старший врач... — шепнул он, торопливо пробираясь к своей койке.

Но это был не старший врач. Обе половинки двери открылись на лестницу, и там их придержали рукой. Показались два тонких высоких, похожих на велосипедные, колеса, и санитар Фролов плавно, без усилия покати в кресле через палату только что привезенного раненого. В палаты тяжело раненых можно было и неоднократно призывалось старшим врачом проходить из коридора, но упрямый Фролов по старой памяти и из-за удобства движения чрез широко открытые двери, часто провозил больных здесь.

Раненый был уже вымыт и переодет в синий халат. Голова у него была забинтована так, что виднелись только нос, щека и левый глаз. Фролов катил его очень бережно, и больные, вставая с кроватей и повернув головы, провожали его взглядами до дальней двери.

Сестра из палаты тяжело раненых ответила кому-то на лестнице: «Да, да, конечно» и, закрыв дверь, пошла за Фроловым. Майоров, не дойдя до своей кровати, круто свернул в проход между рядами, и подмигнув Митрошину, что обозначало: «Сейчас узнаем», тоже двинулся за санитаром.

Откуда-то сразу стало известно, что новый раненый — летчик из части, расположенной за Можайском, и сбил сегодня в ночь два фашистских бомбардировщика. Тема разговора сейчас же переменялась.

— Молодой еще, — сказал Митрошин, который всем казался пожилым из-за своего глухого, словно он говорил в бочку, голоса. И сам

он тоже считал себя пожилым, хотя ему было не более тридцати.

— Летчик и должен быть человеком в самой силе, — ответил Задорожный. У него все дело в расчете. Недодал — пропадешь и передал — пропадешь; надо угодить в самую меру. Во всем так: и в ихних фигурах, и в посадке, но в бою особенно. Как у нас на заводе машина: чик-чик и режет сталь на болтики, — комарь носу не подточит, — одинаковые. Но в машине сердце не заболит, а в человеке и страх может быть, и точка... Вот и надо, чтобы нерв соответствовал.

— Страх — это ерунда, — отозвался через три кровати молодой, очень маленький ростом сапер Володя. — Комсомольцу бояться — позор.

Задорожный хотел что-то ответить, но только взглянул и промолчал. Володя был известен всем как хитрый и ловкий парень, любитель забить козла, побалагурить с санитарками, всегда умевший уклониться от гласуника, выпросить вторую порцию сладкого. Но это было одно, а обвинить человека в хвастовстве — другое, и Задорожный промолчал.

— Нет, страх бывает во всяком... — упрямо начал Митрошин и вдруг засмеялся и поглядел на Володю! — Это в тебе его, может, не было, ты ростом маленький, скрытый, а я как прибыл на передовые да всех товарищей выше на голову, как бац-ня... Комиссар — молодой, лицо чистое, веселое — встретил нас, разговаривает. А пули кругом: вжик, вжик. Однако он не боится, только усмехается. Замечает, конечно, что у нас кто голову в плечи втянет, кто глазами поведет... «Эта, — смеется, — которую ты услышал, уже пролетела...» Ну, ладно, — думаю, — эта-то пролетела, да их неслышимых тут сколько угодно. До того охота голову спрятать, а совестно. Комиссар говорит: «Посмотрите, все ли у вас в порядке?» Я ногой подергал и подаю вид, будто у меня портанка худо накрутана. Сел я на землю, сапог снял... Десять минут пересбурвался, право. Хочу встать — никак зад от земли не отдеру: у земли спокойнее. Даже заметил, что тут суглинок, земля хуже нашей: у нас чернозем могучий, папешь — рассыпается. Поднял глаза, а ре-

бята больше половины — все переобуваются! И комиссар глядит на меня с хитринкой. Так сразу мы друг друга и поняли: он — меня, а я — его. Я так понял, что он, может, и сам боится, да ведь дело-то такое... Так и поднял я себя во весь рост. А невдолге случилось в атаку подниматься. Думал, нипочем из траншеи не полезу. А народ пошел, и я за всеми... И ничего, после привыкать стал.

Задорожный перестал поглаживать пальцы левой, прибинтованной к груди, руки, встал и, отрыв ящик тумбочки, достал оттуда папиросу и пошарил спички.

— А я привыкнуть не мог, — сказал он, и темная прямая линия его бровей как бы надломилась. — У меня нервы беспокойные: вроде как екает в груди, когда снаряд летит. Вот думаешь: ах-хот! — и привык на всю жизнь! Привыкнуть не мог, врать не буду, а от товарищей не отставал. Раз, думаю, они держатся, идут, могу идти и я. Это же у меня не специальность на всю жизнь: в атаки ходить. А тут отбили мы одну деревню от немцев... Отбивали вы ребята, населенные пункты от немцев? Отбивали? Значит, точка!

— Да, вот... — начал Митрошин. Но точки Задорожный еще не поставил.

— Посмотрел я, и сердце у меня затворелось: не слышу себя... И потом в каждом бою так. И как ранит — не слышал. Сгорая и не берегся, — и он рассказал, как во время атаки прыгнул в немецкий окоп, кричал: «За родину, за Сталина», а сам не слышал, что кричит: уж после товарищи рассказывали...

— А я раз прыгнул в окоп, — усмехнулся Митрошин, — в городишке одном дело было. Стрельба была горячая. Слышу под ногами у меня что-то возится, вроде лягушки или жабы, только поболе. А это я двоих немцев придавил, и они желают вылезти. Кричу: «Руки вверх!» Они боятся подымать — прострелят. Подумал я, да и скрутил их. Так двоих и привел...

Появился Майоров, сел на кровать и pokrutil головой.

— Н-ну, болит у него голова, раскалывается. Стали мы с Фроловым его переводить на койку, он рукой показывает, чтобы полетче... Я ему в

тумбочку все вещи сложил: книжечка записная с карандашиком, палтиросы... Слюна у него сильно бежит. Сестра Ната ему салфетку подложила...

— Откуда его привезли? — спросил Митрошин.

— Из-за Можайска откуда-то. Как германцы летят на Москву, они их первые встречают да и заворачивают...

В дверях показалась молоденькая санитарка с детским выражением лица и глаз и, улыбнувшись, сказала:

— Здоровые больные, которым разрешено в столовую, завтрак подан. Через пять минут из пятидесяти человек в палате осталось только несколько, которые не могли ходить. Остался и тот, которому Майоров стучивал пыхарку.

II

Надев халат и упрятывая в обшлаг клиншинок высунувшегося рукава, Петр Александрович стал подниматься по широкой лестнице, на которой уборщица закрепила медными прутьями постеленную темно-красную дорожку. Он прислушивался, как удобно и легко двигается его плотное тело, как расширяется дыханием грудь после ходьбы на свежем сентябрьском воздухе — он утром непременно шел полтора — два километра пешком — и как все в нем сильно и ждет работы. Когда лютью Семен Иванович позвонил ему из госпиталя и передал, что все обошлось благополучно, он распорядился начать день попозже, но шел, как всегда, точно в девять, представляя себе, что его появление должно открыть какие-то недоделки и смутить врача и сестер. Но то, что на лестнице заканчивался как бы последний штрих, понравилось ему.

Лестница была замечательная: широкая, мраморная. Над ней стоял такой обильный светлый столб воздуха, что, казалось, будто входил в концертную залу, а не на лестницу. На средней площадке ее было вделано огромное, во всю стену, зеркало. Перегнувшись через перила, с верхней площадки можно было увидеть в зеркале то, что делается в передней. Отсюда сестры

часто наблюдали, как, входя, Петр Александрович снимает свою фетровую шляпу, пальто и надевает халат, поданный ему сестрой-хозяйкой. Для старшего врача всегда откладывался его блестящий, хорошо выглаженный халат, на котором все до единой пуговицы целы и карманы не надорваны по уголкам. Халаты, требующие починки, сестра выдает молодым врачам и сестрам.

Когда Петр Александрович легко и быстро шел вверх, сестра из выходной палаты, нагнувшись, заглядывала вниз. Проходя, она услышала, как в передней стукнула дверь и узнала по шагам и приветствиям швейцара и сестры-хозяйки, что старший врач пришел. Ей захотелось посмотреть, в каком он сегодня настроении, и она осталась, стараясь быть незаметной.

Сестра увидела, как в стекле, отливавшем утренней голубиной, появилась голова, очерченная твердыми четкими линиями. Большой лоб переходил в глубоко пролысевший череп прекрасной формы, красиво и уверенно посаженный на крепкую шаю. Черные брови, темные быстрые глаза, плотная и свежая кожа лица и черная острая борода, оттененные блестящей белизной халата, соединялись на этом лице в совершенно особое выражение независимого, чуть насмешливого превосходства, как будто этот человек привык все делать лучше и правильнее других и привык к тому, что другие признают это в нем. Таким всегда было лицо хирурга, но оно имело еще особенность необычайно тонкой сменности выражений, которую можно было увидеть в одних глазах, да разве еще около крупного, красивого его рта.

Хирург, сделавший на своем веку тысячи сложных и точных операций, перечувствовал, вероятно, много больше, чем человек другой специальности, доживший, как и он, до шестидесяти лет. Он привык к тому, что в минуты самого большого напряжения десятки людей видели его лицо и старались прочесть в нем судьбу человека, лежащего перед ним на столе. Поэтому выражение его лица подчинялось ему так же, как его замечательные белые руки с красивыми

сильными пальцами и коротко остриженными ногтями.

Ум, спокойствие, уверенность, самодовольство, жесткость, пронзительность — все можно было увидеть на его лице, когда Петр Александрович «отпускал» себя, но это бывало не часто. Это случилось после удавшейся операции и в остром мгновенном приступе гнева, на который он изредка бывал способен. Вероятно, такую смену выражений могла бы увидеть женщина, которую он любил.

Сестры считали Петра Александровича интереснее всех молодых врачей госпиталя. Больные верили в хирурга и робели перед ним.

Когда Петр Александрович сильным своим шагом прошел мимо зеркала, не взглянув на себя, сестра быстро отскочила от перил и, покраснев, торопливо открыла дверь палаты. По ее взволнованному виду и больные и сестры поняли, что хирург пришел.

— Ишь, как впорхнула, словно тетерочка: глазки чернышкие, щечки красные, — сказал Майоров.

— Будет тебе брехать, — ответил Митрошин; он лежал наискось на кровати, свободно бросив свое большое тело и отдыхал после завтрака: — Вот, право, человек без понятия.

Как всегда бывает при появлении «старшего», и сестры, и молодые палатные врачи, заканчивавшие утренние обходы больных, внутренне подтянулись, пробегая в памяти, все ли ими сделано, как надо, и в чем им надо воспользоваться огромным опытом Петра Александровича. Приход его никого не застал врасплох: если новое явление — налеты на Москву — усложняли жизнь, то против этого усложнения выдвигалась больше прежнего согласованная общая работа. Навстречу хирургу уже шел его постоянный ассистент — Семен Иванович.

Поздоровавшись, они медленно пошли по широкому коридору. Как и обычно, Петр Александрович не мешал ассистенту говорить о погоде, которую и так ясно видно было в окно, и о ночном налете на Москву, о котором тоже уже было известно. Хирург с первого слова никогда не спрашивал о больных, допуская небольшую паузу перед работой.

— Нет, это, право же, замечательно получилось, — сказал ассистент. — Когда на углу бабахнуло как следует, входит в палату эта девочка, Дуняша, и приглашает: «Здоровые больные, которым разрешено ходить, пойдемте за мной в бомбоубежище». Все кому, и не хотелось, пошли. Краснощекая Жанна д'Арк впереди, Майоров, конечно, при знамени... — Семен Иванович с досадой заметил, что он снова говорит не просто, а с неестественной манерой, подчеркивающей не принужденность и свободу обращения с человеком, стоящим выше его. «Ну зачем я так сказал? Как некрасиво!» — подумал он.

— Ха, милый мой, — не засмеявшись, сказал хирург, — великое дело найтись в трудную минуту! — Потом, видимо, представил себе маленькую краснощекую Дуняшу, и до него дошла комичная трогательность эпизода. Он засмеялся.

Они вошли в комнату дежурного врача, и Петр Александрович, стоя, поздоровался с комиссаром, по утрам всегда бывавшим в дежурной, и с врачом.

— Я сейчас принял раненого летчика, — сказал Семен Иванович. — Сегодня ночью защищал нас и попал к нам. — И он рассказал, что летчика привезли час тому назад два его товарища. Летчик, — старший лейтенант Звягинцев, двадцати трех лет, сбил один «Хейнкель» из пулемета, догнал другой почти у самого расположения немцев и, не имея уже патронов, употребил танковый удар. Немецкие зенитки открыли по нему огонь, и его ранило осколком, и, видимо, крупным, в шею около уха. Однако он довел самолет и спустился на свой аэродром недалеко от Можайска. Лежит в его, Семена Ивановича, палате, вернее, сидит...

— Так, так, — сказал Петр Александрович. — Ну что ж! Товарищ блестяще справился со своим делом, теперь наша очередь... а?

Ему никто не ответил. Хирург начал быстро спрашивать вошедших в это время палатных врачей. Задав необходимые ему вопросы, он уже не задерживался в дежурной и тем же сильным, решительным шагом пошел в палаты раненых. Ассистент и несколько врачей сопровождали его и пропустили пер-

вым в дверь красноармейской выходной палаты, держась сами почтительно чуть-чуть позади.

Войдя в выходную палату, хирург остановился у порога и окинул взглядом ряды лежащих и сидящих на кроватях раненых. Бледные, розовые, смуглые лица с блестящими и беспокойными или «скучными» глазами повернулись — одни медленно, другие торопливо — к двери, следя за всеми движениями вошедшего. Сестра быстро пошла навстречу хирургу, неся белый листок с записанными температурами больных и историей болезней тех из них, кого палатный врач хотел показать сегодня.

Во время обхода Петр Александрович бывал неразговорчив: он весь уходил в себя, слушал, что говорит сестра, смотрел на лица красноармейцев, на белые их повязки, иногда переводил взгляд на огромное окно, но смотрел не на окно, а в себя и думал. И вдруг неожиданно задавал вопрос врачу или сестре о том, что им казалось несущественным до тех пор, пока Петр Александрович не спросил об этом.

— А ну, откройте ему ногу и дайте его рентгеновский снимок, — приказывал он и, осмотрев ногу с наложенной неподвижной повязкой и торчащие из ваты, словно налитые водой пальцы, осматривал их, смотрел на снимок, быстро извлеченный сестрой из папки с историями болезней, думал и говорил:

— Привезите товарища в перевязочную и позовите меня. И маленько взглядывал на лечащего врача, который уже понимал и угадывал, в чем он ошибся, что упустил, чего не досмотрел.

А Петр Александрович быстро и легко переходил к другому раненому и нетерпеливо спрашивал, как себя чувствует больной.

После ответа сестры он спрашивал и больного, если тот мог ему ответить. И тут по взгляду, обращенному к сестре, одобрительному, жесткому, насмешливому, — можно было определить совершенно точно, как он оценивает работу сестры. Иногда это бывало приговор, после которого сестре лучше было стараться перевестись из госпиталя. «А всего лучше переменить про-

фессию», — как очень вежливо говорил ей Петр Александрович после обхода. И беда, если сестра не признавалась в ошибке, если у нее наворачивались слезы и она оправдывалась.

— Э! — говорил хирург. — Слабонервным нужен полный отдых, полный! — Он поднимал вверх черные свои брови. — Что я говорю! Полный и й-ший отдых, — и он смеялся громко: — Ха! ха! ха!

В этой палате надо было посмотреть только трех больных, и пока все было хорошо. Хирург подошел к постели красноармейца, которому Майоров доставал табак, и тот пожаловался «старшему» что ногу сильно печет и она зудится.

— Вот, — сказал Петр Александрович, — какой ты скорый! — Хирург говорил «ты» некоторым раненым, которых долго лечил и привык к ним, — хочешь, чтобы нога и не почесалась... А ты помнишь, что у тебя с ногой было?

— Как же! Бросовая нога была, товарищ старший врач. Вам благодарен..

— Я тоже думаю, что нога была бросовая.. А теперь, пожалуй, пусть немного «позудится» а? Зато пойдешь на ней домой за сто верст..

— На фронт пойду, товарищ старший врач: напе село у немцев еще.. Вас благодарю, калекой не остался..

— Ну, ну... — сказал Петр Александрович, прерывая раненого. Довольный, он отошел к сестре и одобрительно посмотрел в ее красивые, блестящие глаза: — В прекрасном состоянии больной.. чисто.. удобно. — Сестра вспыхнула и нагнулась над бумажкой с температурой.

Уже выходя из палаты, хирург обернулся и, видя высокую, стройную фигуру сестры, пышные ее темные волосы, прихваченные марлевой косынкой, и на заднем плане за ней ряды людей — из них почти каждый имел серьезное ранение и теперь возвращался к жизни и работе, — Петр Александрович на секунду поддался тому, что в других называл словом «размяк», а в себе не допускал и мысли, что оно может быть. И сейчас же в нем возникло настроение, в котором ему все удавалось. В этих выздоравливающих красноармейцах заключалось

дело его жизни. Но оно было не только его делом, а и этой красивой сестры. И он захотел еще раз показать, что он доволен ею.

— Да, погодите, а где же Майоров? — спросил он, улыбаясь своим красивым молодым ртом, и когда Майоров лихо вышагнул от своей кровати в неширокий проход между рядами, сказал: — Про вас, Майоров, каждый день слышу: вы пользуетесь добротой сестры, и вас видят везде, только не в палате.

— На то вы и лечили меня, товарищ старший врач! — отпартовал Майоров.

И Петр Александрович, разведя руками, как бы говоря: «Ну, что с ним поделаешь?» — и смятая улыбкой свое всегдашнее выражение превосходства и давая понять этим, что он доволен, вышел.

— Он и смотрит-то, как орел, — сказал один из красноармейцев вслед хирургу. — Глаз у него орлиный.

— Да... человек! — ответил другой.

III

Обойдя три большие красноармейские палаты, занимавшие всю левую часть здания, Петр Александрович направился в палату, где лежали раненые командиры. Здесь он подошел к кровати майора, которому вчера оперировал бедро. Из пробитой пулей бедренной артерии получилось внутреннее кровоизлияние, но сгустком быстро свернувшейся крови артерия была прижата так, что кровотечения наружу не произошло. Во время операции артерию перевязали, и теперь важно было, пока не восстановится кровообращение, сохранять в ноге живую теплоту. Нога была укутана ватой и обложена грелками. Майор лежал на спине с приподнятыми на высоко взбитой подушке плечами и смотрел на подходившего старшего врача блестящим и ласковым взглядом человека, благодарного за то, что самое страшное, — страшнее немецкой пули, — прошло и нога уцелела.

Петр Александрович подошел к кровати больного, тихо пододвинул стул, сел и стал смотреть. Взяв руку майора, проверил пульс, по-

ложил ладонь на грудь больного — посчитал количество вдохов. Так, молча, спрашивая сердце и легкие больного о состоянии тела, Петр Александрович перевел глаза на высокую тонкую девушку, — медичку третьего курса, Нату Ивановскую, которая работала в этой палате за сестру. Лечащим врачом здесь был постоянный его ассистент Семен Иванович; он стоял с другой стороны кровати против хирурга.

У майора пока все было хорошо. Петр Александрович сказал вполголоса:

— Следите внимательно за ногой, — и спросил сестру: — Как себя чувствует новый товарищ? Может ли говорить? Температура?

— Тяжело ему, — ответила сестра, — ни лечь, ни повернуться не может, говорит шепотом и невнятно. Температура тридцать семь и восемь. Глотает с трудом только воду.

— Ну, подойдемте к нему. — И хирург встал.

Направо у окна на кровати сидел, опираясь на подушки спиной и плечом, человек с забинтованной головой, так что была видна только левая половина лица, молодого и свежего, с хорошим голубым глазом в светлых, как бы запыленных, ресницах. Другой глаз блеснул из глубины отодвинувшейся от носа толстой повязки.

— Здравствуйте, товарищ, — с тем же видом превосходства, стараясь веселым и бодрым тоном показать, что ранение, в сущности, не так тяжело, поздоровался хирург. — Как это говорится у вас? Пристроился к хвосту, подравнял скорости и рубанул. И вот двух немецких самолетов не существует, а мне предстоит задача вас чинить. Так?

Летчик чуть повел углом губ, показывая, что улыбается.

— Как вас зовут?

В горле лейтенанта захрипело, как будто он поперхнулся.

— Старший лейтенант Сергей Звягинцев.

— Больше не надо говорить. Дайте руку.

Петр Александрович посмотрел на ассистента; взгляд обратился к тому, что Звягинцев мог говорить только шепотом и так, как если бы во рту у него было что-то большое и неповоротливое.

— Думаю, сейчас взять на реплт-

ген? — вопросительно взглянул на хирурга Семена Ивановича.

— Да, да, сразу же и возьмите. Так через четверть часика подойду посмотреть. Распорядитесь, милый мой. Мы тут с сестрой справимся.

«Милый мой» вышел, а Петр Александрович обошел всех больных этой палаты. Их было четверо: вчера оперированный майор, политрук с тяжелым ранением живота, у него было розовое лицо и блестящие глаза, ему хотелось говорить, и сестра показала хирургу на листок с температурой, — температура была высока; был еще сержант с ампутированной ногой и Звягинцев. Потом хирург перешел в соседнюю «вторую» палату, рассчитанную на восемь человек, сюда отбирали больных со сложными ранениями периферической нервной системы и операциями пересадки кости. Дело это было длительное, приходилось ждать полного очищения раны, и с начала войны отсюда выписали только шестерых человек. Одного из них оперировал Семен Иванович, и операция эта с точки зрения — очень критической — его самого была сделана удовлетворительно. Петр Александрович коротко назвал работу ассистента «обещающей».

В третьей палате, куда направился хирург, лежали тяжело раненные красноармейцы. Здесь стояла особая, напряженная тишина, в которой слышно было частое, горячее дыхание лежавшего первым от двери раненого. У окна негромко, стараясь сдерживаться, стонал лежавший на спине немолодой красноармеец. Вдруг он закричал зубами и протяжно вздохнул. Осторожно и легко ступая, хирург сначала подошел к нему.

Три эти смежные палаты просто различались по названию на первую, вторую и третью — иначе «тяжелую». Все три были в ведении сестры Ивановской.

Осмотрев больных тяжелой палаты, назначив операцию, Петр Александрович зашел еще в две палаты тяжело раненных, где лечались врачом была Тихонова, и отправился в рентгеновский кабинет. Там уже все было готово для просмотра. Фролов только что привез Звягинцева в том же легком кресле и стоял, привалившись к стене, ожи-

дая, когда понадобится подпереть кресло поближе.

Фролов уже несколько лет работал в больнице, возил и носил больных, мыл их в ванне и считал свои обязанности «чистой работой». Он безгранично уважал старшего врача и уверял всех, что тот его вылечил от запоя гипнозом, хотя Петр Александрович после первого запоя Фролова всего только посмотрел на него в упор и сказал:

— Тебе, отец, эти глупости надо бросить. Понял? Не то пропадешь.

Фролов угрюмо сказал: «Понял», но понял только, что пить надо осторожно. Петр Александрович ценит Фролова за его умение необычайно бережно и вместе с тем уверенно обращаться с больными и как бы не замечал, что время от времени в госпитале вместо Фролова на несколько дней появлялся его внук Саша, паренек лет пятнадцати.

Как только Семен Иванович придавал нужное положение голове Звягинцева и врач-рентгенолог, девушка в резиновом фартуке, закрывавшем ее грудь, до самой шеи, выключила свет, именно та бархатная, непроницаемая темнота, про которую Звягинцеву приходилось только читать, окружила лейтенанта, и он стал ждать, что сейчас что-то почувствует и увидит, но не чувствовал и не увидел ничего. Он услышал только легкое потрескивание электрических разрядов.

— Видите, вот он, — сказал странный в темноте и очень приятный голос старшего врача. — Немного придвиньте его голову к экрану, милый мой. Так... хорошо. Теперь ясно. Видите?

— Вижу. Дьявольски угловатый осколок. Отметим.

Сестра Ивановская, поддерживая голову лейтенанта, видела на светящемся экране черный, как бы плоский металлический кусок с рваными краями и какой-то неуместный обрыв гладкой и стройной линии нижней челюсти. Потом осколок посмотрели с другой стороны: он появился на фоне шейных позвонков и был длинный, похожий на брусочек с червовыми краями.

Девушка-врач сделала снимки, включила свет, и Фролов, шаркая растоптанными птблетами, увез лейтенанта в палату. Семен Ивано-

вич прищурил глаз, качнул головой слева направо и цокнул языком, обозначая этим озабоченность дальнейшим ходом дел Звягинцева.

— Как этот осколок проскочил около артерий? — Он сделал движение плечами в знак удивления. — Линия его следования как раз должна была бы пересечь артерию. А. яремная вена?

Что артерия осталась цела, было понятно обоим: при ранении такого крупного сосуда и наружном кровотечении из него Звягинцев без немедленной перевязки не мог бы остаться живым. То внутреннее кровоизлияние из пробитой артерии, которое получилось у майора и сохранило ему жизнь, едва ли могло произойти у Звягинцева, так как у него было огромное входное отверстие, не такое, как маленькое пулевое ранение майора. Кроме того, управляя самолетом, Звягинцев усилил бы кровотечение и не дал бы образоваться спасительному сгустку. Когда перед просмотром Ната сняла толстую, пропитанную кровью повязку с головы лейтенанта и легко прибинтовала свежим бинтом марлю и вату, прикрывавшие рану, артерия пульсировала ясно и четко.

В палате летчик и хирург посмотрели друг на друга. Хирург проникательным, серьезным взглядом темных глаз, а летчик одним голубым глазом, очень прямо, по-детски. Второй его глаз косил из-за повязки на кончик носа. Ему показалось, что хирург хочет уйти; он зашевелился, поискал глазами на тумбочке, пошарил там рукой и взглядом подозвал к себе сестру. Сестра спросила: «Что-нибудь принести?» Летчик сделал движение рукой, как будто бы написал слово. Сестра взяла с тумбочки блок-нот и карандаш и подала ему.

«Как мои дела?» — написал он.

— Надо вынуть осколок, дорогой мой, — ответил хирург.

«Разбарабанило страшно. Язык не ворочается. Когда думаете вытащить?»

— Можно и завтра, но для успеха операции лучше сегодня.

«Что значит успех операции и что — неуспех?»

— Успех — это значит, как вы называете, сохранение полностью вашей «материальной части»: артерий,

нервов, слуха, голоса. Неуспех — частичная потеря управляемости...

Сестра сердито взглянула на хирурга: она не любила, когда он говорил так. Особенно не любила, когда после хорошо законченной операции, он — знаменитый хирург, пожилой человек — радовался и хвалился, как ребенок, рассказывая всякие — ей казалось, глупые — истории и неудачно — тоже казалось ей — острил. Но все в госпитале знали, что чем точнее, изумительней было его определение глубоких изменений в человеческом теле, чем труднее ему было сохранить или восстановить человеческую «материальную часть», тем больше и охотнее он говорил после операции, как будто пускался под гору вместе с потоком слов, перепрыгивая от темы к теме.

— Жизни вашей, надеюсь, не угрожает прямая опасность, — уже серьезно закончил хирург, — но я должен предупредить вас, что операция пойдет под местным наркозом и будет довольно сложной. Осколок велик, и с ним придется повозиться. Но ведь вы вот умеете делать сложные операции, и я тоже умею.

Когда Петр Александрович вышел, Звягинцев написал на бумажке и показал сестре: «Мне нравится ваш хирург, и я ему доверяю. Лучше сегодня».

— Да, ему можно доверять жизнь, — ответила сестра.

Летчику же представился темный, мрачный вражеский самолет, как он уходит от его истребителя. Звягинцев хочет не упустить врага, догнать, потому что ему тоже доверена жизнь. А «Хейнкель» нес смерть. И погиб сам.

Лежали обломки разбитой машины. Исковерканные моторы, часть фюзеляжа. Закрученный металл пропеллера, обгоревшие пулеметы. Кассета из-под зажигательных бомб. Уничтоженный им враг...

На самом деле Звягинцев не успел этого увидеть. В то время как «Хейнкель» стал падать, Звягинцева тяжело ударило в голову. У него зашумело в ушах, и приборы двинулись влево и вверх. В глубине шеи почти в горле стало горячо и захотелось как будто проглотить что-то. Боли он не чувствовал — боль пришла позже, — но ему каза-

лось, что он клонится направо и вниз и вот-вот упадет. Как только он делал движения правой рукой, на груди его теплело от крови.

А теперь ему казалось, что он стоит и смотрит на груды обломков.

Сестра увидела, что Звягинцев забылся, и на цыпочках прошла мимо него в операционную.

Хотя деятельность всех работающих в госпитале людей была в течение круглых суток направлена на уход за ранеными, но в эти сутки были свои часы подъема. Таковыми были утренние часы.

С шести часов утра начиналась мелкая хлопотливая работа сестер и сиделок: уборка помещения, измерение температуры больным, умывание их, смена белья, раздача завтрака. Эта работа была лишь подготовкой к более важному — обходам врачей. Но деятельное, полное движения утро заставляло отступать тяжелое, накопившееся и застоявшееся ночью. Поэтому утренняя работа сестер была приятна раненым, с нею все становилось светлее, удобнее, глаже, и будто отбрасывался прочь еще один натиск болезни.

Самым же главным, что наступало ежедневно, была та, таинственная для многих, борьба за человеческую жизнь, которая каждый день происходила в операционной. Из десяти палатных врачей было несколько хирургов, и все они делали операции своим больным, часто спасая их от смертельной опасности. И все же ни одна операция не вызывала такого живого интереса, сочувствия, волнения больных, как операция хирурга Петра Александровича. Он не всегда оперировал тяжело раненных. Иногда рана была как будто благополучна на вид, не осложнена инфекцией, но больного брал на операцию главный хирург. Это значило, что ранение таит в себе какую-то угрозу в будущем и ее нужно понять, предвидеть и устранить. В таких операциях Петр Александрович был умным и тонким мастером. И раненый, зная, что он попадает в руки главного хирурга, испытывал двойное чувство: если за него беретесь сам хирург, значит, операция серьезна и сложна; если сам, значит можно надеяться, что он отведет опасность, на-

висшую над жизнью. Слепая сила в теле, враждебная жизни, будет не отдавать захваченного ею, а умная сила — друг жизни — в лице хирурга Петра Александровича, будет расстраивать козни слепой силы и отнимать у нее это захваченное. Такой и представлялась со стороны каждая операция главного хирурга.

IV

Уже с самого появления Петра Александровича в госпитале до хирургической сестры Зинаиды Платоновны, подающей во время операции подачей инструментов, докатывалась общая волна энергии. Сестра снова окидывала взглядом ряды блестящих, стальных инструментов, лежащих за стеклами шкафов на стеклянных же, сиявших чистотой полках, и отбирала десятки кохеров, пинцетов, хирургических ножей для предстоящих сегодня операций.

Небольшая ее фигура в белом халате начинала двигаться по перевязочной с тем внутренним подъемом, который сказывается в особой гармоничности и нацеленности всех движений и действий. Лицо ее, молодое, с неровной, чуть тронутой оспой, кожей, оживилось и розовело. Даже манера ее обращения с людьми менялась. В обычное время она просила своих помощников. Теперь же она начинала приказывать медлительной коренастой Аннушке, и та быстрее кипятила инструменты, переставляла блестящие никелированные барабаны со стерильным материалом, подавала аппарат для переливания крови — стеклянную банку с резиновыми трубками и баллоном. И постепенно перед Зинаидой Платоновной на отдельном столе, поставленном близко к операционному, располагались блестящие никелированные предметы в особом, удобном ей, «боевом порядке».

Работа ее заключалась в том, чтобы из массы лежащих рядами на столе инструментов подавать хирургу во время операции именно те, которые нужны по ходу операции и обычно требовались хирургом коротко и четко. Но она так привыкла следить за ходом операции, что всегда знала и угадывала, что по-

надобится, и держала нужное наготове, еще сокращая этим секунду ожидания. Для этого требовались внимание, точность и быстрота реакции, напряжение всех сил и осторожность движений, чтобы не коснуться чего-нибудь постороннего стерильными руками. И бывало так, что она на мгновение переставала понимать, что такое кохер, ветгут, салфеточка, и тогда надо было усилием воли заставить себя отбросить что-то мешавшее понимать и видеть все снова с той же ясностью. Поэтому после нескольких операций лицо ее серело и бывало покрыто каплями пота, а глаза западали. Она работала с Петром Александровичем много лет еще с той германской войны, знала его требования и причуды и опробовала чрезвычайно редко, и то только тогда, когда на нее находила странная робость перед Петром Александровичем.

Петр Александрович ценил свою хирургическую сестру за ее умение так включаться в самый ход операции, что руки ее как бы переставали быть руками другого человека, и у хирурга получалось ощущение, что это его собственные продолженные руки достают ему нужный инструмент, не отвлекая его мозг от главной работы, направленной на тончайшие и быстрейшие действия в поле операции.

И хотя во время многих сотен операций хирург и сестра постоянно испытывали это чувство согласованности в работе, каждый раз, готовя инструменты, Зинаида Платоновна волновалась до тех пор, пока в дверях операционной не появлялась плотная быстрая фигура Петра Александровича. Тогда волнение ее разом опадало.

В большую, полукруглую, мерцающую глянцевыми отблесками света на гладких эмалированных и никелированных плоскостях, операционную за хирургом входили те, кто должны были или хотели присутствовать при операции. Кроме врачей госпиталя, приходили студенты — будущие хирурги — и фронтовые врачи, прикомандированные к госпиталю для повышения квалификации. Среди них было много женщин. Все в белых халатах, возбужденные тем, что им предстоит видеть великодушную работу большого мастера, порозове-

вшие в более высокой температуре операционной, они занимали места у высокого стола, на котором лежал закрытый простыней человек. Студенты чувствовали себя менее уверенными, чем молодые врачи, побывавшие на фронте; они вежливее и предупредительнее, чем обычно, уступали место поближе женщинам и товарищам, которые были ниже ростом.

Когда Петр Александрович в стерильном халате с марлей, закрывающей губы — колпачок на голове он считал лишним, — несся перед собой и отводя от себя согнутые в локтях и покрытые каплями воды руки с направленными прямо друг к другу длинными, тонкими пальцами с коротко обрезанными ногтями, подходил к столу, молодые врачи встречали его почтительными и восторженными взглядами. Он как-то в длину осматривал приготовленного к операции больного и быстро взглядывал ему в глаза. В глазах он почти всегда встречал вопросительное выражение, иногда боязнь, испуг и старался подбодрить больного шуткой. Напротив него через стол ассистирующий врач закреплял цапками стерильные салфетки вокруг места операции и ждал первого разреза, чтобы поданным сестрой Зинаидой. Платоновной комочком марли впитать в него и убрать выступившую кровь.

Перед Зинаидой Платоновной в который раз возникала картина, похожая на полотно знаменитого голландского художника, и даже в лице Петра Александровича было то же выражение дерзания и спора, как и там на лице молодого врача.

Глядя на коричневую от жара поверхность кожи больного, темнеющую в четырехугольнике между белоснежными стерильными салфетками, хирург рассказывал врачам, что он ожидает найти при разрезе, и всегда оказывалось так, как говорил он. И он уже привык шеголять этим своим ясным видением и пониманием сложных патологических процессов в человеческом теле и своим знанием, как располагаются, переплетаются, ложатся друг на друга мышцы человеческого тела как тянутся артерии и нервы, словно не было для него тайн в том теле, что лежало перед ним. Толщи или тоньше жировой покров, шири-

или уже кость, сильней или слабее мышцы — это не могло помешать ему видеть. По общей конституции — облику больного — он знал все о нем и действовал безошибочно.

Он брал в руку блестящий никелированный, очень изящный, надежный острый скальпель и, мгновенно опустив руку, проводил черту на коритчевом, гладком участке кожи так быстро и сильно, что мелкие перерезанные им артерии спадались и кровь не успевала выступить из них.

Это было начало наступления.

И вот открытый разрез понемногу окружается блестящими похожими на ножницы, но с тупыми защищающимися концами, кохерами и пеланами. Они ложатся на белоснежные салфетки, пятная их алыми каплями крови, их уже много, они окружают разрез никелированным металлическим кольцом.

Рука хирурга делает добавочные разрезы, идет вглубь, открывая шире и шире глубокие ткани, пробираясь через наружные покровы тела человека к тому враждебному, что нельзя излечить ни лекарствами, ни солнцем, ни теплом, ни холодом. «Quod medicamentum pop sanat, ferum sanat!».

Напряженно, с выступившими на лбу капельками пота, стараясь успеть сделать именно то, что нужно, ассистент, склонившись, зашелкивает кохеры на мелких артериях, оттягивает края разреза. а' Зинаида Платоновна, методично беря со стола и подавая блестящую сталь, непрерывно и мерно поворачивает на небольшой угол — туда и обратно — свое тело.

С лиц молодых врачей и студентов сбегает выражение взволнованности, неуверенности, робости. Они смотрят, вбирая блестящими глазами точность движений хирурга, его умение обойти важный жизненный центр, не потревожив его, быстроту, с которой он, как бы совсем не спеша, делает свое трудное, ответственное дело... Они уже теснее стоят друг к другу, облачаясь на плечи товарищей, заглядывая и не смея выступить хотя бы на полшага, чтобы не помешать этим точным движениям белых мускулистых

рук, они затаивают дыхание. Перед ними идет самое благородное из сражений, и, зная, что им предстоят такие же бои, они учатся...

V

Петр Александрович в небольшой комнатке перед операционной мыл щеткой свои мускулистые, обнаженные до локтя руки, слегка поросшие черными волосками, и разговаривал с ассистентом, тоже мывшим руки у соседней белоснежной раковины.

— Я вас уверяю, милый мой, что это чисто женское качество очень полезно для хирурга. Из нее будет толк, вот увидите. — И Петр Александрович еще и еще раз провел щеткой под ногтями правой руки, сильно брызгая мыльной пеной. Разговор шел о некоторой нерешительности, с которой молоденькая женщина-врач, приехавшая с фронта, приступила к операции под руководством Петра Александровича и как потом смело и верно справилась с трудной задачей наложения швов при ранении мочевого пузыря. — Она не сомневалась, а соразмеряла, так сказать, седьмой раз примеривала, прежде чем отрезать.

— Но вот вы-то этой медлительности не допускаете. У вас быстрота...

— Милый мой, никогда не делайте поспешных заключений. Я тоже соразмеряю, но укладываюсь несколько в более короткий срок, вот и все. Мышление же идет у меня совершенно тем же порядком. Так же прикидываешь все возможности...

Петр Александрович взглянул на розовые от теплой воды, чистые свои руки с истонченной от частого мытья кожей и, взяв у Зинаиды Платоновны ватку, намоченную спиртом, стал тщательно, не спеша протирать ногти и пальцы.

В операционной в это время лейтенант Звягинцев сидел на белом высоком столе и пытался лечь на бок. Но как только голова его начала склоняться налево, она становилась ощутительно тяжелой, все большое из правой раненой ее части разливалось по всей голове, начинало давить изнутри и стучать в оба уха, у угла правой челюсти бился громко и внятно пульс, и боль была такая, что вот-вот и голова разорвется на тысячу кусков. И Звягин-

¹ Что не излечивают лекарства, излечивает железо.

лов, наклонив голову всего на несколько сантиметров вниз,—ему казалось, что он опустил ее уже почти на половину расстояния до стола,— снова поднимал ее.

Сестра Ивановская подвела свои руки под его левое плечо и голову, и Звягинцев медленно стал, опираясь на ее руки, опускать голову. Было так же больно, но это надо было сделать, и он делал. Потом, когда голова его легла, все в ней наполнилось шумом, гудением, и все так же мерно, назойливо билось: раз... раз... раз... под правым ухом. Он чувствовал, как руки сестры развязывают и снимают повязку, и приятно прошло холодком по коже и запахло йодом. В правую его, лежавшую поверх тела, руку, сделали укол, осторожно засучив и снова опустив рукав рубашки.

Потом белые чистые салфетки закрыли ему лицо, и он только что хотел сказать, что ему не видно, как услышал спокойный голос хирурга: «Положите вот так». Белая материя на миг приподнялась, открыв лицо Звягинцева, он увидел снизу вверх лицо хирурга, его широкие плечи, его руки, отведенные в сторону и немного поднятые, и хирург показался ему похожим на араба или бедуина на молитве. Закрытая ли белым нижняя часть лица, как изображают арабов в пустыне, или властные черные глаза делали его похожим на араба, лейтенант не понял, но улыбнулся. В это время они оба взглянули друг на друга, и хирург взглядом одобрил его за то, что он улыбается и взглядом сказал, что надо держаться крепко. Звягинцев доверчиво и открыто посмотрел на него и хотел было попросить карандаш, но белое прохладное снова легло на его лицо и глаза, чьи-то руки плотно взяли его у затылка и лба, и он отдал себя в эти руки.

Он не мог видеть, но он чувствовал то же, что и все, стоявшие в этот час в операционной: не только физическое, а и душевное здоровье человека, от которого зависела теперь его жизнь.

Петр Александрович был очень доволен только что оконченной под его наблюдением операцией. Молодая женщина-хирург заметила, верно поняла и толково воспользовалась некоторыми его приемами. Это

его радовало. Сам он сегодня был в том ощущении уверенности, которое всегда у него сопровождалось успехом. Не то чтобы его успех или неуспех мог зависеть от настроения или на нем могла отозваться дурная проведенная ночь,—успех должен был быть и бывал и в том, и в другом случае. Но при таком самочувствии, как сегодня, работа шла по прямой восходящей линии, в других же случаях приходилось что-то преодолевать в себе, считаться с собой и успех достигался более медленным, напряженным путем.

Закрытая с четырех сторон белыми салфетками правая сторона шеи Звягинцева была плотна и туга на вид, как будто кожу здесь набили чем-то изнутри. На золотисто-коричневой от йода поверхности чуть ниже и сзади от мочки уха виднелось рваное большое отверстие с выбитыми розовыми краями. Петр Александрович повел глазами, проследив живая путь от места, где вошел осколок, вниз на шею, где он теперь лежал. На рентгене он видел разрушенный угол челюсти и осколки кости, увлеченные вниз и, в свою очередь, действовавшие как инородное тело, несущее разрушение тканей. Он попросил одного из стоявших рядом фронтальных врачей показать и показать ему лежавший на окне рентгеновский снимок. Тот с готовностью взял снимок и подержал его на свет против глаз Петра Александровича. Потом по кивку головы хирурга снова отнес его на место.

Пока хирург рассказывал свои соображения молодым врачам, Семен Иванович, держа шпатель с чистым, как ключевая вода, раствором, вкалывал иглу наискось в эту тугую золотисто-коричневую кожу в ноте операции и, влив дозу, достаточную для обезболивания небольшого участка, переходил дальше.

Длинным косым разрезом вдоль шеи хирург вскрыл слой кожи. Зинаида Платоновна подала ассистенту пинцетом комочек марли, и операция началась.

На несколько минут наступило молчание. Хирург уверенно открывал себе дорогу среди мышц, лентами лежавших вдоль разреза, и там, где через них проскочили осколки, они были разорваны и изуродованы. В операционной слышалось

отрывистое: «Кохер.. Пеана!..» — так сокращенно назывались пинцеты Кохера и Пеана — и тихий голос Семена Ивановича: «Салфеточку, пожалуйста..»

На спеша, но точно и мгновенно, Зинаида Платоновна подавала инструменты. Необычайно согласно и тихо дышали стоявшие поодаль от стола фронтальные врачи. И только коренастая фигура Петра Александровича двигалась, наклонялась, протягивала руку за инструментами. И только его голос нарушал тишину:

— Полмиллиметра! — сказал он.

— Да, счастливо, — ответил Семен Иванович.

Это относилось к тому, что осколок прошел в полмиллиметре от сонной артерии, которая, видно было, мерно билась «обоку в разрезе и от этого поднималась и опадала кровь, засорявшаяся в глубине. Семен Иванович комочком марли плотно прижал сверху, не забываясь о том, что окружившие разрез откинутые на белые салфетки кохеры и пеаны приподнялись и звякнули.. В чистом наложении мышечных волокон ассистент заметил проточащую маленькую артерийку и сейчас же, нацелившись кохером, защемили

Сестра Ивановская держала голову лейтенанта и потому была совсем близко от операционного поля и хорошо видела все. Это уметое, безотное проникновение в глубину человеческого тела восхищало ее. Ей хотелось бы сказать лейтенанту, что происходящее с ним сейчас очень просто и это именно та простота обращения с материалом, главная черта большого мастера, которая достигается глубоким и тонким изучением этого материала. Сестра поала по задрагиванию головы гинцев, когда хирург входит в асть, где прекращалось действие обжигающего раствора, и перемала об этом движением глаз Сеу Ивановичу. Ассистент сейчас делал укол в соседние с местом рации ткани. Петр Александрович иногда спрашивал:

Как себя чувствуете, товарищ? лейтенант отвечал: «Уту», — и все имало, что это значит.

действительности же Звягинцев ытывал совсем не то, что ожи-

дал. Он ожидал, что местный наркоз, о котором предупреждал хирург, значил боль, неудобная и необходимая терпеть, сжав зубы. Он к этому уже приготовился и решил вытерпеть. В тот момент, когда хирург взглядом одобрил Звягинцева, он хотел попросить карандаш, чтобы передать словами радостное ощущение заботы о нем прекрасных, близких ему людей, начиная с товарищей, которые очень быстро доставили его к одному из лучших хирургов Москвы, и что в этом хирурге есть что-то обаятельное, простое и сильное. Этим он напоминает Звягинцеву человека, портрет которого он возит с собой всюду. Звягинцев вспомнил слова, сказанные ему Сталиным в трудный день его жизни, и подумал, что с этим ему не страшна физическая боль и он готов вытерпеть, сколько понадобится хирургу..

Но кроме первых уколов иглы, которые были скорее неприятны, чем болезненны, — в его шее, казалось ему, было тугое, одеревенелое, хрустящее, что противилось вхождению постороннего предмета, — боли от разрезания тканей и углубления в них хирурга не было. Была та же боль в голове, ощущение давления и шума в ушах, но и эта боль немного уменьшилась. Поэтому он с готовностью старался придать своему «угу» успокоительный и веселый оттенок. И так его и понимали и хирург, и сестра.

И чем дальше шла операция, тем яснее все стоящие вокруг хирурга люди понимали, что она идет правильно и свободно. Даже когда Петр Александрович с величайшей осторожностью вынул пинцетом зазубренный, пропитанный кровью в носдреватом изломе кусочек кости, никто, кроме Семена Ивановича, не обратил внимания, как медленно он это сделал.

— Окружение.. — Петр Александрович сказал это тоном, объясняющим, что по ходу разреза лежат очень ответственные сосуды и нервы и малейшего неверного движения хирурга достаточно, чтобы совершить непоправимую ошибку. Поэтому надо быть очень осторожным. И он продолжал медленно идти вглубь, вынимая мелкие осколки раздробленной челюсти.

И вот появились сгустки свернувшейся крови, обрывки помятых и разорванных тканей и среди них темное и зазубренное, как пила, железное тяжелое инородное тело, посланное врагом. В это время глубина разреза была такая, что в ней скрывались пальцы хирурга до второго сустава, а ширина невелика.

VI

— Вы точно представляете себе форму осколка, милый мой? — спросил хирург.

— Форма осколка, — ответил ассистент, — похожа на неровный брусочек с зазубренными гранями. К нам он лежит боком, и на отдаленной от нас грани имеются острые выступы. В соседстве — *pervus laryngeus*. При извлечении..

— Так! Все это совершенно точно, но вам не кажется, что после удара о нижнюю челюсть осколок — скрость его и так была невелика — получил поворот и разрушил меньше, чем мог бы? Ну, пойдем дальше! Расширитель! — И операция снова продолжалась в полном молчании.

В каждой операции Петра Александровича после сосредоточенной работы наступал момент, когда напряжение отпускало. Хирург уже не так лаконично требовал инструментов, все чаще прибавляя к просимому слову «пожалуйста», и начинал рассказывать истории. Это значило, что главный переломный момент операции миновал.

Но сегодня прошло уже около часа с начала операции, давно все ясно видят черное железо среди важнейших органов человеческого тела, а осколок вынуть еще нельзя. Своей дальней гранью он лежит около гортанного нерва и, видимо, налег на него. Осколок можно взять только в том случае, если он пойдет совершенно свободно, но он чем-то держится в глубине или сам что-то держит. В таком случае небольшого насильственного движения может быть достаточно, чтобы Звягинцев на всю жизнь потерял голос и мог говорить только шепотом. Повреждена ли гортань, тоже еще неясно. И операция продолжается с неослабевающим напряжением.

Теперь уже все видят, что вынуть

осколок не так просто и что эта операция — серьезна и неслегка даже для такого замечательного хирурга. С великолепной невозмутимостью наружной Петр Александрович отодвигает лежащие рядом с осколком ткани, легко покачивает его в раме, изредка обмениваясь с Семеном Ивановичем коротенькими фразами и спрашивает:

— Как себя чувствуете, товарищ?

И неизменно, но со все большим замедлением, будто к лейтенанту слова теперь доходят длинным, окружным путем — действие морфия и утомления, — в ответ слышится: «Угу!»

— Чертовски неудобный осколок! — говорит Семен Иванович. — Главное, хорошие края, соседство армной вены! — Ему хочется словами чуть-чуть разрядить общее напряжение. Но, сказав их вслух, он чувствует, что слова сейчас не ко времени, и, покраснев, умолкает. Ему навойливо вспоминается случай неудачной операции, бывшей при нем, когда хороший, умный хирург чуть-чуть задел скальпелем армную вену... Присасывая воздух, вена всхлинула: «суюп», судорога прошла по телу человека, и он умер на операционном столе. Это страшное воспоминание неотвязно приходило в голову Семену Ивановичу — слишком уж рваные и острые края были у этого «дьявольски неудобного» осколка и слишком грозно рядом с ним определялись контуры артерии и вены.

Петр Александрович углубил указательный палец правой руки в разрез, завел его за осколок, долго и внимательно нащупывал что-то, поднял голову и глядя в потолок, как будто зрение могло сейчас помешать осязанию, и сказал, высвобождая палец:

— В дальней от нас грани есть трещина, милый мой. Ею он и зацепился за раздавленную им мышцу. Немного я высвободил. Надо еще зайти с левой стороны, — и он прощупал осколок еще и левой рукой.

— Готово, — сказал он, — убежден, что пойдет. А?

Семен Иванович ничего не спрашивал, и потому это «а» обозначало совет с самим собой.

— Теперь только побережь соседние сосуды. Если вынимать с поворотом вглубь, главная зазубрина

отойдет от артерии, да и я потеряю.

Петр Александрович долго устанавливал за осколком указательный палец левой руки, взглянул на ассистента, и они, одновременно ухватив пинцетом осколок, подвинули его кверху... Лейтенант дернул головой, и пинцет у хирурга сорвался.

— Сначала! — сказал он. — Голову крепче!

Около пяти-шести минут, во время которых Петр Александрович согнутым пальцем, не изменяя напряженного и неестественного положения его и всей кисти руки, удерживал ткани сбоку и сзади осколка, происходило то медленное движение осколка вверх, то снова его торможение. По одному взгляду на лицо Семена Ивановича можно было сказать, что это осторожное движение чрезвычайно трудно. Сестра Иванова чувствовала, как от затылка ее по рукам течет в кончики пальцев и рук сильное нервное напряжение, будто это она, крепко зажав в пальцах пинцет, тянет вверх железный осколок с острыми зубчатыми гранями. И она бессознательно приподнимала плечи вверх, как бы физически помогая вытаскивать это тяжелое, враждебное человеческому телу, железо. Она повторяла про себя: «Ну, иди же, иди! Не сорвись...» и крепче сжимала голову лейтенанта. И почти все окружающие испытывали то же, и она.

В глубокой тишине операционной все услышали, как далеко за окнами идет, позванивая на повороте, трамвай. И шумная, движущаяся, бегущая жизнь показалась всем страшно далекой. То особенное течение времени в операционной, когда в эти несколько минут умной работы хирурга присутствующими совершалась мысленная передача своего напряженного желания удачи, успеха, победы старшему товарищу, было так наполнено, что казалось не пять минутами, а часом.

Рука Семена Ивановича, делавшая легкий поворот при извлечении осколка, начала заметно дрожать. Лицо его было бледно, и под глазами выступил пот...

— Разом! — сказал хирург, и точным, ровным движением они с ассистентом выхватили осколок наружу. Хирург опустил его на белую сал-

фетку, и легкий сдержанный вздох многих людей, вздох облегчения, прошел по операционной.

Осколок был черный продолговатый брусочек, внизу рассеченный щелью, и в ней запеклась кровь. Казалось, он топорщится на белом фоне салфетки.

Петр Александрович медленно вынул из раны свою руку и опустил ее вниз, давая ей отдохнуть, как будто он долго нес большую тяжесть. Потом он поднял руку, пошевелил пальцами левой руки; указательный был согнут под прямым углом в первом суставе и от долгого пребывания в одном положении не мог сразу разогнуться. Хирург взглянул в полость операции и сказал тихо самому себе: «Тут, и еще вот тут», немного поработал и вынул еще два кусочка кости. Он протягивал руку и, не глядя, брал инструменты, которые, получив от Зинаиды Платоновны, передавал ему ассистент: так легко понимали сейчас и Семен Иванович, и операционная сестра, что требуется хирургу.

Семен Иванович склонил голову к плечу и слегка потер об халат вспотевшее лицо.

Петр Александрович взял пальцами пинцет Пеана, как берут носовые; ассистент получил от Зинаиды Платоновны кетгут, окружил им тупые зацеленные кончики пеана и затянул. Петр Александрович разомкнул инструмент и бросил на салфетку. Потом Семен Иванович еще перевязывал артерии, и хирург почти механически снимал и отбрасывал инструменты.

— Вот, — сказал хирург, выпрямляясь и этим давая понять, что главное дело закончено. Он поднял обе руки и стал показывать окружающим врачам, как ловко его слушаются мускулы пальцев. Первые суставы, которые у большинства людей сгибаются только вместе с соседними — вторыми, свободно сгибались каждый по очереди. Было хорошо смотреть на четкие, красивые движения этих рук мастера, и хотелось назвать их «умными».

— Хирург должен владеть своими мускулами, как пианист звуком каждой клавиши. При операции может понадобиться любое положение пальцев, вот как сейчас, когда я должен был страховать движение осколка и защищать важнейшие сосуды. И я

приучил мышцы пальцев работать не как им хочется, а как мне нужно. Вот смотрите...

Он согнул по очереди один за другим под прямым углом теперь уже вторые суставы пальцев, оставляя первые несогнутыми, он заставлял каждый отдельный палец делать разнообразные движения, и, сгибаясь, палец этот не тянул за собой остальные: он был свободен в своем движении. Молодые врачи, приподняв руки, старались повторить движения пальцев хирурга, но это им не удавалось: пальцы их были словно привязаны друг к другу. Это развеселило Петра Александровича.

— Ха,— сказал он самодовольно, и глаза его выразили как раз это чувство,— над своим телом надо хорошо поработать, чтобы оно хорошо и точно работало на вас. Хирург должен иметь гибкие и сильные пальцы скрипача, чувствительные и безошибочные. Он подчеркнул это «без». И ни у кого не шевельнулось сомнение в том, что у Петра Александровича действительно были именно эти безошибочные пальцы мастера, равно необходимые музыканту и хирургу: все видели их в работе.

«Ну, пошло теперь,— облегченно и вместе с тем негодующе думала Ната,— начал хвастаться! Ну зачем это, зачем? Как это такой замечательный, удивительный человек может хвалить себя, как мальчик?» Негодую внутренне, она восторженно и нежно смотрела на него серыми большими глазами.

— Угу? — вопросительно сказал лейтенант, поняв, что что-то произошло в ходе операции. Он не заметил момента извлечения осколка, но он начал чувствовать боль, потому что обезболивающих уколов больше ему не делали.

— Угу! — утвердительно и весело ответил Петр Александрович и кивнул ассистенту: — Делайте, милый мой! — Он отступил на шаг и движением шеи и подбородка сдвинул марлю ото рта.

— Могу сказать вам, товарищ Звягинцев, что все в порядке. Через неделю сделаем небольшую пересадочку кости, и я вам подгоню так, что собственная жена не заметит шрама. Впрочем, юноше можно обойтись, это не женщина. Вот у меня был случай, еще до революции.

Петр Александрович обвел придвинувшихся врачей веселым, блестящим взглядом и, поглядывая на работу ассистента, начал:

— Приходит ко мне женщина замечательной красоты и просит меня заполнить ей ямочку на шее между ключицами, уверяет, что это портит ей декольте. «Madame,— говорю я ей,— вы и так прекрасны, уверяю вас! Зачем это вам? У вас Дианы грудь, ланиты Флоры», и,— говорю,— небольшой недостаток только подчеркивает вашу красоту». — «Нет, нет», — говорит — я сама знаю толк в античных статуях и прошу вас сделать мне операцию». — Ха! Я не очень любил заниматься ненужными вещами: не имел времени. И она ушла. Отправилась к какому-то шарлатану, и он ей напустил под кожу парафина. И снова я вижу у себя прекрасную даму. — О, доктор,— молит она,— уничтожьте мне эту гадость. Теперь когда я бываю на балу, все хорошо и красиво, но на больших обедах я не могу проглотить кусок без того, чтобы при глотании не выпирал шарик на шее, как кадык». — «Нет,— говорю я,— ничего не могу сделать, madame, ни-че-го»...

И он захохотал, окруженный смеющимися молодыми лицами.

— Вы! — словно вызывая ее отвечать на экзамене, внезапно повернулся он к маленькой бледной девушке, которая сегодня делала операцию под его руководством. — Я в юности уважал женщин. Я был приучен вставать, когда входит женщина, и уступать ей место. Я жил среди красивых, изнеженных женщин и считал, что это и есть женщина. Но с течением времени, как бы это сказать? Научился делать различие! Да! И когда, как и для каждого человека, придет черед и мне «уступить место», то я с радостью и немного старомодной вежливостью уступлю его женщине. — Он наклонил голову, показывая, что именно такой женщине мог бы уступить место: — Очень хвалю вас, товарищ!..

Он увидел, что девушка очень смутилась, покраснела почти слез, и повернулся к ассистенту.

— Здесь пока не будем закрывать? — спросил тот.

— Парочку швов!.. Так вот, товарищ Звягинцев, то, чего я не дела

для красивых женщин, я сделаю вам блестяще, чтобы закончить операцию, в которой и для меня — одно мгновение — тоже был своего рода таран...

Но Звягинцев не ответил. Действие обезболивающего раствора окончательно проходило, и вся голова его, казалось, была охвачена болью. Даже зубы стали болеть сильно и мучительно.

— А хороша была женщина? — спросил Семен Иванович, прикрывая место операции стерильными марлевыми салфетками, сверху куском стерильной ваты, прижимая все рукой и делая знак Нате Ивановской, чтобы она приподняла голову лейтенанта. Потом взял из рук Зинаиды Платоновны широкий марлевый бинт и начал повязку.

— Замечательно! — ответил Петр Александрович. — Венера Медицейская, и только! — Или, как недавно прочел мой маленький племянник, «Венера Медицейская». Пожалуй, были основания и для такого...

«Разливается соловьем! — думала Ната, поддерживая голову лейтенанта, наблюдая как, тускло смотрит его глаза, как бледно лицо, и тревожно взглядывая на Семена Ивановича. — Тут человек устал, вот какой измученный, а ему все ладно, лишь бы себя показать. И Семен Иванович туда же о женщинах! Хотя что же это я? Разве можно Петра Александровича равнять с другими? И вот он какой чудесный: как маленький, рад и счастлив. И лицо у него какое хорошее. Чуть-чуть татарское. Добродушное, бесхитростное...»

Она взяла бинт, переданный ей Семеном Ивановичем, и стала бинтовать голову лейтенанта, поворачивая бинт так, чтобы он ложился гладко. Семен Иванович отошел от операционного стола и спрашивал Петра Александровича:

— Может, кофеинчику ему, а?

И они пошли вместе к умывальнику мыть руки. Аннушка выносила таз с окровавленными кусками марли. Зинаида Платоновна, сделав укол лейтенанту, собрала в выключенную ванну бывшие в употреблении инструменты, подошла к белой табуретке и села на нее, положив на колени руки, и теперь уже не боясь коснуться ими халата.

— Замечательная операция! — ска-

зал один из фронтовых врачей, обращаясь к Петру Александровичу и сияя молодыми, ясными глазами.

— А? Да! Вот что я посоветую вам в таких случаях... — И Петр Александрович заговорил деловито и спокойно о том, что он считал полезным знать молодому врачу.

А Ната Ивановская помогла Фролову осторожно переложить лейтенанта на подвижный легкий стол, и когда Фролов поклатил его из операционной, пошла рядом, поддерживая голову Звягинцева.

За дверью в коридоре ждал озбоченный Майоров.

— Сестрица, — спросил он, — ну как, благополучно?

Ната кивнула головой, и Майоров тихо пошел рядом с Фроловым, тисцетно стараясь чем-нибудь ему помочь и сочувственно глядя в лицо лейтенанта.

VII

Занявшись устройством Звягинцева так, чтобы голова его и шея были приподняты, ровно поддерживались подушкой и этим уничтожалось бы лишнее давление головы на шею, прибавлявшее боль, сестра Ивановская не заметила, как произошло около полчасца. Несмотря на множество маленьких дел, из которых и составлялась забота сестры о раненом, Ната, не переставая, ощущала весь ход только что законченной операции. Она вспоминала все движения и слова хирурга и, казалось, видела каждого человека в отдельности, как на замечательной картине. «Бывает же, — думала она, — столько значительного в жизни. Видеть такую операцию — это видеть в одно время и жизнь и искусство. Как смотрел тот врач... а Петр Александрович?»...

— Ну-ка покажите мне его, — сказал за ней тихо подошедший Петр Александрович.

Ната в это время вытирала рот лейтенанта влажной марлей, нагнутой на палец; она посторонилась от кровати и пропустила хирурга. Петр Александрович положил на скатерть тумбочки черный вымытый осколок: раненные любили оставлять на память пулю или осколок, несший им смерть, теперь — смерный, обезвреженный точной рукой хирурга.

— Пить хочет, а нельзя, — объяснила сестра.

— Да, сегодня у него трудный день. Ночью вы дежурите?

Хирургу, повидимому, хотелось, чтобы ночью у оперированного дежурила она, и Ната ответила так, как думала сама и как, по ее предположению, хотел он.

— Да, я дежурю.

— Не слушайте ее, — серьезно сказал появившийся в палате Семен Иванович, — если не ошибаюсь, она уже две ночи не уходит домой, и сегодня мы ее отправим.

— Если так, конечно же идите, — сказал Петр Александрович, поднимая брови и выражая этим равнодушным движением, что ему, в сущности, безразлично.

— Что вы, Семен Иванович, — ответила Ната, — когда же я уходила от оперированного больного? Не требуйте этого от меня. — И по ясному тонкому лицу ее прошло выражение упорства.

— Какова? — сказал Петр Александрович, глядя на сестру, обычным своим взглядом, но она поняла по чему-то неуловимому, что он очень доволен ею, и покраснела. Петр Александрович поклонился ей и вышел вместе с ассистентом.

Звягинцеву было тяжело: он стоял, и, как при сильной зубной боли, ему хотелось качать головой, как будто мерные, небольшие движения могли успокоить то, что рвалось и ныло внутри. Но как только он чуть-чуть подвигал голову на подушке, ему становилось неудобно и нехорошо. Сестра, сидевшая около его кровати, снова поправляла, и тогда делалось ловко и удобно лежать и как будто меньше чувствовалась боль.

У сестры Ивановской было одно качество, необходимое сестре, но тогда как многие девушки старались приобрести его. Ивановская никогда не думала о нем и не старалась его иметь и не знала даже, что оно в ней есть. Она умела необыкновенно ловко и не причиняя боли раненому, устроить его так, что он удобно лежал и чувствовал уменьшение боли. Отдыхая, он удивлялся, что другой человек мог догадаться о том, как сделать лучше для него.

Она дождалась, что Звягинцев успокоился и, держа ее руку, за-

дремал. Тогда сестра потихоньку высвободила руку и, легко ступая, отошла от кровати. Ее дежурство кончилось еще утром, она была свободна делать то, что хочет.

Каждый раз, собираясь славать дежурство, сестра Ивановская испытывала чувство, похожее на ревность. Ей казалось, что другая делает все не так заботливо и не так вовремя, как она сама. Она знала, что Голубева (студентка их института, только моложе Наты на один год), с которой они работали вместе с самого поступления в госпиталь, не пропустит и не забудет ничего нужного, но все-таки Ната постоянно затягивала свое дежурство. Ей нравилось ходить по госпиталю, заглядывать вечером в операционную, когда там не было операций, спускаться вниз к саитаркам и смотреть, как они катают и складывают чистое белье, подходить к больным и чувствовать себя в большой семье, где всегда можно найти себе дело. Нравилось и то, что она могла днем отдохнуть в дежурной комнате сестер: это сближало госпиталь с домом. И сегодня, перед ночным дежурством, ей хотелось выспаться. Но увидев, как сестра Голубева на прыпочках ползла к постели лейтенанта и посмотрела, спит он или нет, Ната почувствовала досаду:

«Так и есть, сейчас все заботы перенесет на нового больного, а Лосеву, наверно, порошки забыла дать».

Ната повернула по коридору в третью, тяжелую, палату. Направо у двери лежал больной Семена Ивановича, красноармеец Лосев. Сестра подошла и наклонилась над ним.

Лосев, до прихода сестры смотревший прямо перед собой строгим, серьезным взглядом, повернул зрачки в ее сторону и слабо повернул голову. Липо его с горячим румянцем на щеках, с черной широко обрастающей бородой и огромными глазами, исхудавшее так, что скулы его были обтянуты и выступали, а щеки ввалились, было спокойно. Сестра поискала на тумбочке, переложила пустой пакетик.

— Лекарство давали, — понял Лосев, — не болит...

Речь шла о боли которую он непрерывно испытывал и которую облегчали приемы лекарства.

— Вам что-нибудь надо, Лосев?

Лосев чуть пошевелил головой и не ответил, надо ему, что-нибудь или нет.

Ната тихо присела на краешек стула. Лосев всегда вызывал у нее тревогу оттого, что она не знала чем ему помочь. В этом большом мужском теле с чистыми, как у ребенка, легкими и равномерными, четкими, несмотря на болезнь, ударами пульса чувствовалась стройность и слаженность текущей в нем жизни. Когда в теле Лосева поднималась боль, он умолкал и уходил в себя, как будто прислушиваясь, как идет в нем борьба жизни с беспорядком, произведенным врагом в его теле. Ранение у него было чрезвычайно тяжелое. Осколок, попавший в живот, произвел глубокие и серьезные поражения кишечника, и в госпиталь Лосев был доставлен с начавшимся воспалением брюшины. Только операция могла спасти его, Семен Иванович взял Лосева на операционный стол. Петр Александрович, взглянув на работу ассистента, сказал:

— Оч-чень серьезное дело... — И одобрил намеченный Семеном Ивановичем ход операции и дальнейшее применение бактериофага и стрептоцида. Но после временного облегчения, состояние Лосева ухудшилось: перитонит был налицо.

И теперь, глядя на усталое, измученное лицо человека, которого на время оставила боль, сестра старалась устранить все, что могло помешать ему отдохнуть.

Очень косой солнечный луч, падавший в окно, — окно смотрело на северо-запад, — перенес светлые прямоугольные стелки на стену, у которой стояла кровать Лосева. На подушке лежало овальное, с радужными краями, отраженное от стекла сияние. Лосеву оно светило прямо в глаза. Он отвел голову и прикрыл глаза тонкими, ведряющими, как у птицы, веками. Но и закрытые глаза его чувствовали свет, и что-то пробежало по худому его лицу, шевельнуло мускулы рта и щеки.

Ната подвинула стул к кровати, загородила свет и, чтобы тень легла шире накинута на спинку стула полотенце и развела в стороны концы.

Выходя в коридор, она наткнулась у двери на Семена Ивановича.

— Вливание Лосеву будем делать? — спросила она.

— Нет, не будем трогать. Спит?

— Только что немного задремал.

— Дайте-ка его назначения. — Семен Иванович посмотрел листок с назначениями, что-то вычеркнул.

— Интересно, в вашей семье как-нибудь особенно относились друг к другу?

Ната усмехнулась. В ее семье не успевали «как-нибудь особенно относиться». Чаще все встречались на ходу, возвращаясь или уходя на работу или занятия.

— Нет, кажется, ничего особенного не было... Никаких нежностей... А что?

— Вы как будто чувствуете за человека, умеете избавить его от лишней боли и сами не замечаете, как у вас все выходит.

— Нет, я стараюсь, — просто ответила девушка. — Человеку больно. Стоны его мешают соседу...

— Не соседу, боль вредит самому больному. Даже временная передышка от боли важна.

— Это если и не знаешь, то чувствуешь.

— Чувствуешь всегда раньше, чем знаешь. Это сложная штука — вопрос о боли. Есть глупая бытовая пословица: поболит — перестанет. Поболит и что-то останется в организме вредное, ненужное ему. Надо добиваться умения избавлять человека от лишней боли.

— Знаете, — сказала Ната, — а я вот о чем думала: почему женщина переносит физическую боль легче, чем мужчина? Я это очень часто замечала. Это не может так быть, что организм, которому непременно предстоит очень сильная боль в жизни — рождение детей — как бы выработал большую устойчивость к боли? Это очень глупо, то, что я говорю?

— Нет, конечно, совсем не глупо. Они спустились вниз, в переднюю. Ната подошла к телефону.

— Домой?

— Нет, маме в школу. — Она смотрела, как Семен Иванович снял халат и, обдернув гимнастерку, стал внезапно от этого, общего теперь многим людям, жеста проще и моложе.

— А вы знаете, куда я сейчас? В Кожевники. Хирургию девушкам-дружинницам читать. Там на фабрике одной кружок... Езди что, телефон пишу вам вот тут на стене.

Ната сказала матери, что дежуриит сегодня, и пошла в комнату отдыха сестер. Она повесила на гвоздик халат и вытянулась на диване. Сразу пошло какое-то перемещение от ног к груди, и ногам стало легче, а груди теплее... И она заснула.

VIII

Вечером в госпитале бывало совсем по-другому, чем по утрам. Когда Ната вошла в выходную палату. Дуняша, веселая и розовая, разносила по радам хлеб на большом подносе. Больные, зная, что сейчас их позовут ужинать, спешно кончали свои дела. У Митрошина на кровати, нагнувшись друг к другу так, что головы их почти касались, сам Митрошин и вызванный грузин с забинтованной до колена и прямо вытянутой ногой доигрывали партию в шахматы. Прислоненные к кровати, тут же стояли костыли.

В соседнем с Митрошиным ряду Задорожный, разложив на коленях, разбирал бумажки, вытасенные из карманчика записной книжки, просматривал и здоровой правой рукой аккуратно свертывал каждую и укладывал обратно. Подальше за ним кто-то писал письмо, склонив над тумбочкой бритую, отливающую синевой голову. В углу на четырех кроватях привалившиеся друг к другу — сидели и полулежали «ходячие» больные. Повязки у них были совсем легкие: Они слушали, как товарищ, делая паузы и меняя выражение подвижного лица, рассказывал «случай из своей жизни», и то и дело прерывали его громким хохотом. Ната уже знала, что, когда она будет проходить мимо, рассказчик приметит, все притихнут и проведут ее глазами, потому что не все или, вернее, только небольшую часть того, что рассказывается по вечерам в этой группе, полагается слышать сестрам.

Так действительно и вышло, только рассказчик кивнул и улыбнулся в сторону сестры.

Уже совсем вечером Ната пришла

в операционную. Там было тихо, чисто и просторно, как в музее. Широкий полукруг окон открывал безграничный светлый простор вечеряющего неба. Сейчас в нем, как уголь, подернутый пелюм облаков, горел закат.

У стола, на котором обычно раскладывались инструменты, сидела повязанная марлевой косыночкой сестра Зинаида Платоновна и чистила инструменты. Вид у нее был уютный, домашний. На ее коленях было разостлано жесткое полотно, которым она быстрыми и сильными движениями так протирала металл, что холодная сталь теплела в ее руках. На операционном свитом в сторону стола стоял открытый никелированный барабан, и около него лежала груда сложенной пелюм куском марли.

Желая именно такой простой, жепской как бы домашней работы. Ната подошла к операционному столу и поискала глазами ножницы. Она нащупала их под марлей и став у стола, начала разрезать марлю на равные четырехугольные салфеточки — заготовка для стерилизации на завтра — и ктасть в барабан.

— Как ваш летчик себя чувствует? — спросила Зинаида Платоновна.

— Сегодня трудно ему. Но он страшно терпеливый. Такой сдержанный человек.

— Витюшку оп мне напомнил, — вздохнула Зинаида Платоновна, — волновалась сегодня на операции, как за родного.

— Ну, раз Петр Александрович делает операцию, можно не волноваться.

— Нет, знаешь, мало ли что бывает.

— Сколько лет с ним работаете, а сомневаетесь! Правда сколько лет вы его знаете?

— Двадцать семь лет.

— То есть. — Ната посчитала про себя, — с той войны еще? Четверть века работы!

— Да, но не все время работала с ним. Кончила курсы сестер и пошла в лазарет, где он был главным хирургом. Был такой лазарет, прекрасно оборудованный, все сестры мечтали в него попасть. Разные высочайшие особы туда ездили: царские тетки, ну и вообще.

— Воображаю, как у вас за ранами ходили.

— Прекрасно ходили. Ты Петра Александровича знаешь. Можно представить себе, чтобы у него раненый не был окружен необходимым уходом?

— Сейчас нельзя. Но ведь тогда он был молодой, не такой опытный врач... И время другое было, и отношение к людям.

— А вот послушай, какое отношение у него было. Ходила к нам в госпиталь одна сестра, чуть ли не княгиня какая-то. Приводит однажды на перевязку своего больного. Петр Александрович требует пережечь водородом, а она найти не может. «Ха,— говорит он,— вы, я вижу, не-це-ле-сообразно употребляете пережечь водородом. Уверю вас, для раненых она гораздо полезнее». А у нее волосы были крашенные и, наверно, как раз пережесью. У него глаз острый — заметил. Всегда он был такой. Он, бывало, так на этих дам кричал. Ногами топал!

— А почему вы сказали, что не все время с ним работали? Он уезжал?

— Я уезжала. Решила, что на фронте буду полезнее, и собралась ехать сестрой в летучку. Петр Александрович мне сказал: «Ха! Хотите сильных ощущений?» Я ответила насчет пользы. «Однаково,— сказал он,— можно спасти человека, умело наложив ему жгут сразу после ранения, и можно спасти его длительным уходом. Польза одинакова везде». Но я все-таки поехала. Попала я в то большое отступление от Варшавы. Много было разных случаев.

Однажды папавили меня в полк на передовой перевязочный пункт. Вечером стали подносить раненых. Перевязочная — в большой палатке. Молодой хирург перевязывает, делает необходимые операции. Помогает полковник Фельдшер, пожилой уже, и я. Так к утру у нас стало пассивнее. Раненых отправили. Новых нет. Хирург наш пошел отдохнуть. Мы с фельдшером дежу-

рим. «Сколько я ни видал хирургов,— покуривает он и рассказывает,— нет ни одного такого, как пришлось мне встретить на фронте в японскую войну. Не забыл ни его ни когда. Решительный, быстрый. В

самых трудных условиях под огнем делает операцию и спасает человека. А молодой совсем был. Уж он не дал бы так много крови потерять солдату, как наш Николай Васильевич сегодня.

«Да, тот хирург,— рассказывает Фельдшер,— и не спешил делать ампутации. Старался в трудных фронтных условиях спасти человека руку или ногу. Нет другого такого, как он.

А я ему отвечаю: «Нет, есть и не хуже». И начала ему рассказывать про Петра Александровича. Но он плохо слушал. Я вам,— говорит,— верю, но все-таки, если бы вы знали нашего... А я опять: «Я считаю, что наш Петр Александрович...» Фельдшер мой насторожился: «Как вы назвали? Петр Александрович? Так и мой,— говорит,— Петр Александрович». И оказалось, говорили мы про одного человека... Видишь, как пришлось...

Ната ничего не сказала и задумалась. Зинаида Платоновна встала и, сняв с колен полотенце, свернула его и стала укладывать чистые инструменты в шкафы так любовно и аккуратно, словно в музейные витрины.

IX

Весенние ручейки всегда пересекали этот переулочек наискось и подбывались к асфальтовому тротуару. Постепенно, год за годом, асфальт измывался и обламывался, а тротуар делался все уже. И вот теперь от него осталась узкая полоса около дома и, чтобы пройти по ней, надо прижиматься к самой стене.

Семен Иванович прошел около серого большого дома, задевая и шурша по стене рукавом военного своего плаща. В этой полосе асфальта было нечто привычное. По ней когда-то ему приходилось пробегать по несколько раз в день. Семен Иванович посмотрел на стену дома, разрезанного пополам круглым каменным сводом ворот. Ворота были те самые.

Вот тут у ворот и стоял отец, когда привез его из деревни. Семен Иванович очень ясно увидел его перед собой. Небольшой человек с худым болезненным лицом, с тоскливыми глазами. Глаза были у него

хорошие: в них хранился теплый, ласковый свет для него, Семена. Вот тут он стоял... смотрел на сына и жалел его оставляя в городе. Но все-таки оставил. Все говорили, что отец его пьющий и слабый человек. А вот слабым-то он не был. Нет. Все как будто слабее на вид: тонкая шея в морщинах, всегда стеснялся перед людьми, а что-то знал лучшее для Семена, оставляя его в городе. Кроме Семена, у него никого не было, если не считать брата, у которого он жил. Он еще на прощанье протянул руку Семени...

Так отец начал вспоминаться Семену Ивановичу, и он пошел по улице очень тихо, чтобы повспоминать еще.

Отец был родом из деревни Сьяновой под Москвой и после смерти своего отца не делился с братом. Он был хороший плотник и работал в имении генерала Рейнбота, недалеко от Сьянова, за Пахрой. Домой, где жили жена и сын, он ходил по субботам и на неделе. В памяти Семена Ивановича возникли теплые и яркие обрывки далеких впечатлений детства: крупные красные цветы на ситцевой занавеске, потрескивание дров в русской печи ранним туманным утром, стол, выскобленный ножом, теплый пуховый платок матери и она сама — очень смутно, издали. Отец как будто всегда был с дороги: открывается дверь, и он, веселый, смешливый, появляется на пороге, притопывает ногами, хватается Семена на руки, подкидывает к потолку и напевает: «Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Ну полно, перестань!» — и это очень смешно, а мать почему-то сердится и плачет. Потом в избе бывает много народа, шумят, ссорятся, иногда дерутся. Утром отец скучный, бледный и совсем не веселый. Иногда утром Семен его не видит: он уже ушел.

У отца всегда бывали припасены удочки. По воскресеньям он ходил на Пахру ловить рыбу и брал с собой сына. Когда мать Семена умерла, отец стал водить его в рейнботовский дом, и он подбирал и сколачивал дощечки около верстака, на котором работал отец. Когда оборвалась служба отца у Рейнбота, Семен не помнил. Помнил только, что правая рука у отца

стала кривой — отец упал с лесов во время ремонта дома и сломал руку. Теперь отец чаще сидел на Пахре, ловил рыбу, а возвращаясь домой, кричал, раскрыв окна:

— Казнокрады, сволочи! С одного вола три шкуры хотят взять. Кому воровать надо? Нам надо, а мы, извините, честь знаем! А ему мало именьево, мало домов, давай с солдата сапоги снимем, он и босой повоюет! — И когда в избу приходили соседи, шумел: — Почитай-тека газетку, как генералов-интендантов судят... У него на Урале леса богатейшие, управители сидят, а хозяина их под суд: справедливый и милостивый суд... — Он развешивал «Газету-копейку», по которой выучил Семена читать и где во весь лист был написан заголовок: «Процесс генерала Рейнбота». Осудят? Держи карман! У них на ершей такая сеть, чтобы ерш в ячею ушел. Шемякин суд!

От частых выпивок у отца тряслись руки, плотничал он плохо — не мог приспособиться строгать левой рукой, а правая была неверна и слаба. Поэтому и на войну не попал. Брат его ходил, но вернулся через год контуженный: он все держал головой, будто удивляясь чему-то.

Брат отца славился по деревне как легкий на руку человек: у него роились пчелы, дети — шестеро — живы были все до единого. Он был один из тех хозяев, на которых в прежнее время приходилось, по статистическим данным, собранным Владимиром Ильичем Лениным двадцать семь пятьдесят вторых лошади, но был человек трудолюбивый, непьющий и после гражданской войны стал неплохо хозяйствовать. В это время в Горках поселился Ленин.

Это Семен хорошо запомнил. Мимо Сьянова стали проезжать машины, которые особенно любил двоюродный брат и ровесник Семена, Егор. Они с ним часто бегали по дороге в Горки и, случалось, прицеплялись сзади к грузовой машине.

Отец Семена в то время, прилаживаясь кое-как работать сломанной и плохо сросшейся рукой. Односельчане несли ему всякую домашнюю поделку. Он был мастер на все руки: мог сшить хомут, починить сапоги, потравить часы. Когда в сья-

новском кооперативе проворовался продавец и надо было спешно заметить его, отец поступил на время в магазин. Тут проявилось одно его качество: суровая его, почти сумрачная честность расположила к нему людей и так день за днем он и остался работать. Постепенно он стал нужным человеком, даже прямее он как-то стал, но всему мешали повторявшиеся время от времени его запой. Правда, сыновцы не видели в этом большой беды и ссылались на поговорку: «Пьян да умен — два угодья в нем», тем более что у продавца все было в чрезвычайном порядке, но отец Семена после запоя бывал мрачен и молчалив и не допускал никаких обсуждений и оправданий со стороны.

Семен с Егором часто ходили вместе ловить рыбу. И однажды мальчики встретили на Пахре незнакомого человека.

На Пахре Семен знал каждый изгиб берега. Знал, где хорошо ловится рыба и ранним утром, когда отлетают от воды хлопья тумана, и по вечерам, когда успокаивается вода, и на поверхности реки появляются круги там, где рыба хватается комаров и мошек. Летним утром мальчики подошли к заветному месту под высоким берегом и увидели, что оно занято.

Человек был широкий, плотный и сидел спиной к мальчикам на клетчатом одеяле, сбросив пиджак на траву. В руках у него были три бамбуковых коленца, он сложил одно с другим, повернул, и получилось длинное тонкое удилище. Семен толкнул Егора локтем, и они подошли ближе. И зеленая леска, и поплавок — точеный, гладенький, с гусиным пером, вставленным в него, — были нарядные и вроде как непригодные для настоящей рыбной ловли.

Человек ловко закинул леску в воду. Поплавок, стоя на одном месте, закланялся, и побежал по воде, а прямо натянутая леска стала отдуваться, слабеть и легла на воду. Рыболов вытянул удочку и передвинул поплавок — сделал глубину крючка поменьше. Семен шагнул вперед, хрустнул сучком, и человек обернулся. Тяжелое, мясистое лицо его не казалось старым.

Он повелительно кивнул ребятам, что могло обозначать только одно: «Не шуметь!» — и снова закинул удочку.

Когда рыбак вытянул одного за другим двух ершиков, а третий соскочил, блеснув в воздухе серебром, отлетел в траву и там стал биться и подпрыгивать, изгибаясь серпом, Семен кинулся и накрыл его рукой. Он зажал рыбку в кулак и подал рыбаку. Тот, не глядя, указал мальчику на двух других, спущенных на бечевке в воду. Семен, с трепетом человека, желающего оправдать доверие, старательно присоединил к двум ершам и третьего. Так составил негласный уговор: Семен помогал незнакомцу снимать рыбок, копал червей, ловил мух и все это из-за самой замечательной и юной из человеческих способностей: удивляться новому и отводить ему важное место в своей жизни.

Надо сказать, человек попался интересный. Он жил в доме с острой крышей и круглой террасой, на лесном участке, заросшем сосной, и был доктором. Он лечил самого Лешина.

Через неделю у Семена с доктором установились дружеские отношения. Доктор, приходя на берег Пахры, уже осматривался, где Семен, и даже подарил ему бамбуковую удочку.

— Не надо мне, — покачал головой Семен.

— Почему?

Семен не умел рассказать свои ощущения, когда ранним утром подходишь к кусту орешника, раздвигаешь ветви и перебираешь их, какая из них ровнее. Срезаешь ее ножом наискось и чувствуешь, как свежая и холодная роса брызжет с листьев тебе на лицо и ялечи. Потом легкими ударами ножа сбиваешь с ветки листья, и они терпко и резко пахнут. Сдираешь зеленую кору, и у тебя в руках удилище, гибкое и сильное, влажное и блестящее, особенного, сладковатого вкуса, если попробовать лизнуть языком. Такое удилище нравилось Семену лучше всяких бамбуковых.

— Почему же? — спросил доктор.

— Так, — ответил Семен.

— Так — это значит, что ты не знаешь, а человек про себя все должен знать. Ты откуда?

— Из Сьянова.
— Отец где работает?
— В кооперативе продавцом. У меня отец хороший...
— Мой отец был не особенно хорош для других. Но мне он тоже нравился.
— Отец у меня пьющий.
— Это хуже! Кто пьет, тот ворует.
— Отец копейки чужой не возьмет.

— Свое здоровье ворует. Здоровье — такая штука, которую труднее нажить, чем деньги.

Они вместе поднимались на крутой берег Пахры, и доктор дышал тяжело и громко, останавливаясь, чтобы перевести дух.

— Видишь, другое сердце я себе вставить не могу, хотя я и доктор, — сказал он.

Снизу, с Пахры, мальчишки свистнули и заорали:

«Семен-он Дежнев, путешественник!»

— Это кого же? Тебя?

— Меня. — Семен рассказал, что собирается стать путешественником.

— Зачем это тебе?

— Чтобы ездить по рекам и храбро скрасться.

— Я, наверно, тоже так думал в свое время. И потому стал доктором.

Семен не понял.

— Ты думаешь, доктору храбрость не нужна? Пожалуй, больше, чем путешественнику. В каждом деле, если хочет человек делать его хорошо, нужна храбрость.

Семен смотрел недоверчиво. Доктор остановился передохнуть и ворчливо сказал:

— А ты думаешь дело так дается? Ты его хочешь взять, а оно упирается. В этом-то вся штука и есть. Ерша и то так, не выудишь. Все ссоровка требуется. Так-то, путешественник, а удочку все-таки возьми!

В другой раз доктор, усмехнувшись, сказал:

— Ну, так, значит, поедешь, открось новую страну и сядешь у реки рыбу ловить?

— Ага!

— Так не бывает, брат.

— А как бывает?

— Бывает, что до этой страны всю жизнь добираться. А жить-то в ней и не приходится. Силы-то уже все ушли на то, чтоб добраться. И тогда говоришь людям: живите,

товарищи, на здоровье. Вот вам страна, защищайте ее. Так, путешественник...

Семен тогда не понял, про что говорил доктор и хотел спросить его об этом, но они скоро перестали встречаться. Вскоре отец отвез Семена в Москву и определил к частнику учиться паяльному мастерству. Ему было двенадцать лет.

Однажды Семен бежал с Егором по берегу Пахры, они играли в гражданскую войну. Неожиданно Егор остановился, не стал стрелять в «белого» Семена и сказал шепотом, указывая глазами вверх: «Ленин!» Оба затихли и стали смотреть.

На высоком берегу Пахры, где луг, окруженный редким березняком, обрывался круто в самой реке, под высокой старой березой была скамейка. На ней сидел сейчас Ленин. Он внимательно смотрел перед собой. Мальчики поглядели, на что он так засмотрелся. Внизу лежала голубая Пахра, подернутая от ветра рябью. Рябь была ярко зеленая, пятнами, словно отсвечивала от прибрежных кустов, которые отдавали ей свой цвет и сами оставались такими же яркими и зелеными. На том берегу лежал широкий ровный луг. Направо, где его кругло обходила река, виднелись деревянные мост и за ним серые дома Сьянова. Еще правее — линия железной дороги, и по ней паровоз, бросая в небо белые клубы, тащил, словно игрушечный, поезд к Кашире. Налево Пахра подбивалась к высокому берегу, лежала плавной, красивой излучиной. А там снова виднелись луга и за ними — мальчишки знали — есть камеломоня, где водятся змеи и где ломают белый камень — известняк.

Удивительно было, что Ленин сидел и внимательно вглядывался в такое, что можно видеть каждый день. Мальчики постояли, потом тихо-хотько спустились к реке и прошли нижней тропинкой у воды, чтобы не помешать Ленину, и долго помнили и говорили между собой о встрече.

В зимний холодный вечер Семен, посланный хозяином на Залену за хлебом, услышал, как все кругом говорили, что умер Ленин. Он испу-

гались. Потом ему стало так жалко Ленина, что он решил сегодня же поехать к отцу в деревню. Но на вокзале нельзя было пробраться к кассе и к поезду: столько ехало народа. Семен влез через площадку в ламбур и втиснулся между человеком в черном полушубке и женщиной в большом пуховом платке. Несмотря на мороз, ему было тепло между ними.

Отца он не застал дома и побежал в Горки. Уже была ночь. Березы стояли с толстыми пушистыми от снега ветвями. Глубокий мирный снег лежал в лесу и в парке. Наверно, и скамейка та, где сидел когда-то Ленин, была замечена снегом. Мимо дома с колоннами по закругленному проезду была наезжена широкая дорога. По ней подходили легковые машины, останавливались, двери их открывались, и люди торопливо выходили. Огромные венки угадывались своими очертаниями в темноте. Свет из окон и открывавшейся двери освещал красные ленты с черными буквами. Семен долго стоял. Он, казалось, чувствовал, как в дом входит снаружи холод, как в комнатах прибавляются люди, венки, и все это холодное, прямо с мороза. И это холодное уносит последнее тепло, в котором жил и дышал Ленин. Теперь, если и будут в доме жить люди, то это будет уже не он, живой, простой человек, которого Семен видел на крутом берегу Пахры, задумчиво рассматривающим простые их луга и села. Семен замерз и пошел домой.

Утром они с отцом пошли посмотреть, как Ленин увезут из дома, где он жил. Они вышли из деревни вместе с соседями. Пока шли, их персгоняли мужчины в полушубках и валенках, женщины, закутанные в платки, и ребята в пальтишках, обвязанные крест-накрест материнскими платками: был большой мороз при ясном небе. Шла вся деревня Сыянова, а за ними подходили Новлинские... В Горках на аллею в парке так же стояли белые, спокойные березы, искрился на солнце свежий и чистый снег: нарядный и ясный был день. Семен с отцом пробрались слева к самому крыльцу и стали у гладких стройных колонн. Егор, опоздавший пойти с

ними, уже не мог пробраться вперед и залез на березу.

Когда открылись обе половитки двора, сначала стали выходить люди и выносить венки. Цветы были живые, и Семен подумал, что они сейчас замерзнут — такой был холод, и вдруг забыл про цветы и холод: на руках вынесли гроб, обитый красным... Семен хотел рассмотреть Ленина, такой ли он, каким они его тогда видели с Егоркой, но его испугало, как хрипло и тяжело задыхал отец. Он посмотрел и увидел, что отец плачет.

Самому ему было тоже тяжело от чувства, которое высказать он не умел. Когда несущие гроб стали спускаться по ступенькам, Семен увидел лицо Ленина и тут только понял, что значит «умереть». Значит, когда «оно» придет, то уже ничего не поделаешь?.. Значит, никто не может избежать смерти? Как же это так: Никто? Не может быть. Он не поверил бы, что такое может случиться с ним когда-нибудь.

Ленина несли между нарядными, сверкающими деревьями. Вокруг шла толпа людей, и люди забегали вперед, проваливаясь по пояс в снег, но старались не нарушать стройного торжественного шествия. Потом толпа спустилась с отлогой горы к сыяновскому мосту, и деревянный настил моста гулко заскрипел на морозе под шагами людей. Все казалось Семену и тогда и потом, долго спустя, чем-то особенно родным, и он все вспоминал Ленина.

Когда он с отцом, проводив траурный поезд со станции Герасимо-во, шел обратно в деревню, отец рассказал Семену, как к нему в кооператив зашел однажды Ленин. Ленин купил коробку спичек и заговорил с продавцом.

— Он разговаривал со мною, будто я могу его чему-то научить, а не он меня. Спрашивал, что больше берут, в чем нуждаются крестьяне. А я с ним говорил вот как сейчас с тобой. А потом говорит: «Я о вас слышал не раз. Правильно и честно работаете». И пожал мне руку.

С этого дня Семен стал находить радость в посещениях отца. Ему нравилось видеть за деревянным чисто выскобленным прилавком худую фигуру отца в чернявком пиджаке и его старания ловко, быстро

и точно вывесить кусок хлеба, положенный на медную чашку весов.

Они ходили вместе с отцом на Пахру, поднимались на крутой ее берег, смотрели на Сыжново и Новлинское, на железнодорожный путь, идущий все там же через поля и луга, и Семен удивлялся, что вид земли меняется так помалу и незаметно. Казалось, все должно было сразу как-то перемениться, раз произошла такая революция. Но отец рассказывал о прежней своей работе сначала в Москве на постройках, потом у Рейнбота, о том, как и кто жил раньше на этой земле, и Семен привыкал замечать глубокие перемены там, где они сначала казались почти незаметными.

Он стал рассказывать отцу о своей работе и о желании своем учиться. Ему хотелось делать что-нибудь лучшее, чем работать в паяльной мастерской.

Двадцати лет Семен пошел на рабфак. Годом раньше он вступил в комсомол, а еще через год был призван в армию. Вернувшись в Москву, он поступил в медицинский институт.

Как отозвались впечатления детства на выборе Семена, он не думал. Сейчас Семену Ивановичу показалось, что он увидел это очень ясно. Отец открылся ему во всей горечи жизни, испорченной как раз перед тем, как другие начали улучшать свои жизни. А мог бы и его отец быть одним из ведущих людей: был он неглуп, честен, понимал многое.

Устроившись, Семен взял отца к себе в Москву. У них установилась особая дружба: суровая и скупая на внешние проявления. Отец, чтобы сделать приятное сыну, подолгу удерживался и не пил, но совсем бросить не мог, и часто болел. А Семену хотелось, чтобы у отца была спокойная старость. Он работал и учился.

Учиться Семену было так легко и просто, что он не мог поверить, как это кому-то может не даваться ученье. Чему же тут не даваться? Скоро он будет все знать. Но чем дальше, тем оказывалось труднее узнать все. Зато интереснее: горизонт всегда расширяется при подъеме на высоту. На лекциях по хирургии Семен услышал Петра

Александровича, и этим определилась его специальность врача.

«Врачи — помощники смерти», — все шутил отец. Сыном он необычайно гордился. Отец умер перед войной от болезни печени и почек. Другие печень и почки сын ему вставить не мог, хотя и был уже доктором.

X

Доктор, встреченный Семеном в детстве, правильно сказал ему и о здоровье, которое трудно наживается, и о сердце, заменить которого ни один врач не может человеку, если он изработал свое. Но всего правильнее сказал он о деле: ты его хочешь взять, а оно упирается.

Первое время после окончания медицинского института, в начале работы с Петром Александровичем, блестящие операции хирурга и неизменный их успех восхищали Семена Ивановича. Скоро они стали подавлять его. Сравнивая на операциях точность движений хирурга и свою робкую, нерешительную манеру, он краснел и от этого смущался еще больше. Петр Александрович непреодолимо стеснял его.

Все, что делал он сам, казалось Семену Ивановичу работой беспомощного человека, которого нельзя пустить одного по дороге — заблудится. И только то, что рядом все время стоял Петр Александрович, спасало его от крупных ошибок. Но мелким не было числа. Он не видел так человеческое тело, как видел его хирург. Он предполагал одно и находил другое.

Первый проблеск появился, когда Семен Иванович заметил, что и у Петра Александровича бывают смутные дни поисков, разочарования и недовольства собой. Ага, значит, даже он натывается на какие-то неуловимые препятствия, как будто небольшие, но трудные для преодоления. У Семена Ивановича не было достаточно медицинских знаний. Но одно дело понимать по книге и другое по опыту. Тогда он стал накапливать этот опыт.

До войны, ему казалось, он уже многое приобрел. Но когда в госпиталь стали привозить раненых, его опыт снова стал маленьким. С той смертью, которую пришел сеять на нашей земле враг, нужно было бороться во всеоружии.

У каждого рода войск своя техника. Так и у Семена Ивановича должна была быть своя. Но тут он вдруг обо что-то споткнулся. Этого еще не случалось с ним в жизни: сомнение в своих силах одолело его. Он начал раздумывать, есть ли у него данные, чтобы овладеть мастерством, за которое он взялся. И последнее время сомнение это еще усиливалось, когда он думал об операции Лосева.

Все эти три недели Семен Иванович то надеялся на хороший исход, то чувствовал, что хорошего исхода быть не может, и думал, правильно ли он все делал, чтобы спасти жизнь Лосева.

А жизнь была любопытная. Главной чертой Лосева — человека тридцати шести лет, сибиряка, охотника, колхозника — была гордость. О чем бы он ни рассказывал, видно было, что он горд тем, как и среди чего он живет, гордится собой самим, своим прежним здоровьем и устроением своей жизни.

— Я сибиряк, я охотник, я снайпер. Я сорок шесть немцев уничтожил, а они меня одного. Значит, я стою дорого, — говорил он. И было понятно, что этот человек действительно стоит дорого и живет, крепко и сильно вцепившись в жизнь, потому что с таким ранением другой, если бы еще и был жив, то впал бы в уныние, а Лосев унывать не хотел или не умел.

— Какое ты, Лосев, о себе высокое понятие имеешь, — сказал ему однажды Майоров.

Лосев ответил пословицей:

— Цени себя выше, люди все равно цену сбавят. — И тут же поправился: — Мне и люди, однако, цену не сбавляют.

Семен Иванович слышал от сестры Ивановской, что Лосев человек интересный и умный, но удерживал себя от желания поговорить с ним: мешало ощущение зависимости жизни Лосева от его врачебного искусства и то, что Лосев, может быть, обвинял его в душе за плохое лечение. Несколько дней тому назад Семен Иванович наблюдал в палате тяжело раненых, как сестра Ивановская делала вливание физиологического раствора казаху, лежавшему у окна наизкося от кровати Лосева. Около Лосева, сидел внук Фро-

лова, Санька. Саньку Лосев любил за то, что тот напоминал ему брата. А для Саньки Лосев был интереснейшим человеком. В этот раз Санька передавал Лосеву слышанные им на улице разговоры о том, что немцы совсем близко от Москвы и к октябрьской годовщине ее возьмут, а потом пойдут к реке Волге и тогда заключат мир.

— Москву ему взять? Язви его в душу — не возьмет! — сказал Лосев. — Ты и не думай этого. Народ выстоит. А что эти куклы, — Лосев презрительно называл немцев «куклами», — похваляются, так ты знаешь, как на ярмарке главный кулачник ходит и вызывает: «Ну, кто со мной? Кто на меня?» — и по одному всех друг за другом побарывает. А надумаются двое, кинутся на него спереди и сзади, вот его силу и отберут. Верно?

Но Санька, видимо, еще не был убежден и сказал:

— А ну-ка не отберут? На это Лосев ответил загадочно для Саньки:

— Толкач муку покажет. Не понимаешь? Русские люди настоящие, выстоят.

Семен Иванович узнал пословицу отца. Отец говорил ее, когда при нем сомневались в способностях человека. «Толкач» в этом смысле означал дело человека, которое покажет, чего стоит этот человек.

— Пословица хорошая, Лосев, — сказал Семен Иванович, — дело только очень уж нелегкое.

— А об этом думать не надо, легкое оно или трудное. «За дело, говоритесь, берись». От него ведь не откажешься раз его навязали. Значит, делай! Глаза боятся — руки делают.

— Враг очень хитрый, дядя Лосев, — сказал Санька, — нам в школе говорили: хитрый.

— Хитрого зверя милее скрадывать Саня. За зайцем пойти или за соболем — что изберешь? Ясно, за соболем: он зверь хитрый, дорогой и зверь-хищник. Вцепится оленю в стантовую жилу и кровь тянет. Погибает такая тварь большого зверя.

— А разве немец дорогой зверь?

— Сам немец не дорог, а вцепился в большую тушку, дорогую.

Санька подумал, что это значит:

вцепился в нашу землю, и кивнул головой:

— В нашу родину? Да? — сказал он, зная, что говорит правильно, но Лосев как-то это еще повернул:

— Мы вот зовем — родина, еще — Россия, еще — Союз советских республик, а немцы называют «жизненное пространство» — вот как! — И Лосев перевел глаза на доктора.

— Да, — сказал неловко Семен Иванович.

— Очень обидно, товарищ врач, — сказал Лосев, — это «жизненное пространство». Как бы не считают, что оно заселенное народом и народу родное, принадлежит сколько веков. Пространство — значит: пустое. Пустое место для их жизни! А мы где? Мы себе жизнь строили сколько ли веков и еще двадцать четыре года. И нас со счета долой?

— Так предполагают они, Лосев, но этого не будет. — Семену Ивановичу было совестно говорить, потому, что, казалось ему, это «не будет» делалось руками Лосевых, а не его руками.

— Ясно, не будет! На чужое больно падки. Я их за это по всей географии подчитывал. За Францию — теперь за Бельгию. За Норвегию офицера сбил: нравится мне норвежский народ, похожи на сибиряков.

— А это кто — сибиряки? — спросил Санька.

— Сибиряки — это народы закаленные, крепкие. Который народ спортивный, работу любит, мороза не боится, сам себя уважает, тот самый сибиряк и есть, — серьезно и как бы без тени шутки сказал Лосев.

Он лежал суровый, бледный, с прозрачными желтыми руками, и Семен Иванович, глядя на него, чувствовал — не то справедливо, не то нет — вину перед ним, что не доглядел чего-то в его болезни. И если даже все доглядел, сделал все правильно, вина все-таки чувствовалась, как будто Семен Иванович был человек поменьше, а Лосев побольше и, может быть, жить надо было именно Лосеву, а не Семену Ивановичу.

— Какое у вас образование, Лосев? — спросил он.

— Практика жизни больше. В школу ходил два года! Золотистом

испорчен я: все в тайгу тянет. А так — у нас колхоз промысловый Братинка у меня, в связчиках ходил: мы с ним кыпкантики ладили. Жизнь!

Вот эту жизнь старался удержат Семен Иванович и не мог.

Он сделал повторную операцию, очистил полость живота. Один участок кишечника вызывал сомнения, может быть, следовало удалить его... На другой день температура у Лосева упала. Семен Иванович надеялся и ждал. В конце концов новые средства делали иногда чудеса. Но третьего дня температура у Лосева снова кинулась вверх, живот его стал плотен, и возобновились мучительные боли. Поздно вечером третьего дня, заехав в госпиталь, Семен Иванович тихо вошел в палату, где лежал Лосев. Сестра Виктория стояла около его постели и говорила о каком-то письме, которое он, верно, скоро получит.

— Я не успею получить. Вы уже без меня получите, сестрица, почтайте и матери напишите, — сказал, трудно дыша, Лосев, спокойно определяя срок оставшейся ему недолгой жизни с таким выражением, как будто наказывал домашним перед служебным отъездом на время. Пускай Ивана не задерживает дома. Хочет парень и пусть едет... — Речь шла о брате Лосева: Семен Иванович знал от Наты, что он просился учиться в авиационный институт, а мать не пускала, думая, что из всех авиационных учебных заведений выходят только летчики и боясь за младшего сына. «Лвоих вас отпустила на войну, а меньшого ничем не пушу, — писала она. — У меня и так сердце изболело, а в шестнадцать лет ему летать с пелен на полатни — только и всего...»

Сестра хотела успокоить Лосева и начала было говорить, что он еще сам напишет, но голос ее был неуверенный, и Семен Иванович почувствовал, что Лосев это замечает. И сестра сама это поняла.

— Хорошо, я напишу, Лосев, — сказала она.

И Семен Иванович не имел духа подойти к Лосеву. Сейчас в палате человек лежал, существовал, но понимал уже, что скоро наступит время, когда здесь будет «без него». Жизнь будет без него, пойдет даль-

и сестра доделает «без него»
еще простое дело — ответит на
вопрос матери, напишет, чтобы не
умирала Ивана. Организм Лосе-
боровский с какой-то перво-
вой, яростной силой, как будто
мог бы. Может быть, в этом слу-
чае было непреодолимое, заранее
виденное врачами, что поборо-
ть его не в их силах?
Ему Ивановичу хотелось знать
еще: непреодолимо ли это или
есть и его ошибка, но никто
на это не мог ответить, и он
тогда, прикидывая и соображая,
можно было бы сделать еще для
лечения болезни Лосева.

XI

Перевязочной Петр Александров-
Семен Иванович и врач Тихо-
нов смотрели, как сестра Иванов-
на снимает пропитанный кровью
и жестким бинт с ноги
о что привезенного в госпи-
таль красноармейца, по фамилии Ка-
линушкин. Он лежал на столе и,
оглянув мускулы шеи и морщась от
старался заглянуть, что там у
него с ногами. Лицо его, бледное
крытое мелкими каплями пота,
откинулось назад. Если бы не
сестра, успевшая поддержать ра-
ну, голова его припала бы к
маленькой положенной ему под
году подушечке.

Воздух какой душный от по-
тока, сказал он, и зрачки его ушли
вглубь. Тихонова пропитала ватку
тихим спиртом и поднесла к
глазу Калинушкина. Он вздохнул и
открыл глаза.

Потерпите немного, — сказала се-
стра Ивановская, разрезая ножница-
ми часть бинта и сразу сни-
завязку, как толстую корку, и
откинула ее в таз.

Я ни-че-го, — сказал медленно
красноармеец и улыбнулся ласковой,
тихой улыбкой, — по-тер-плю. А
очень плохи мои ноги?

Горю Александрович в это время
сел, уйдя в себя, на огнестрель-
ном переломе большой берцовой ко-
нечности ноги по самой ее сере-
дине. Кость была мелко раздробле-
на. Края раны неглубокие, но
очень грязные, как бы сочлились гноем. Он
ответил.

Поднимите ему ногу! — приказал
Тихонов и как бы сердясь.

Фролов, с тех пор как доставил Ка-
линушкина в перевязочную, стоял
около двери, по привычке прижав-
шись спиной к притолоке, и равно-
душно смотрел, как по перевязочной
двигаются люди в белых халатах.
Услышав голос Петра Александрови-
ча, Фролов быстро шагнул к сто-
лу и, подводя левую ладонь под
желтую, потрескавшуюся пятаку Ка-
линушкина, правой рукой крепко
обхватил пальцы сломанной ноги.
Натягивая ее к себе, он ловко и
осторожно поднял ногу над спле-
тенной из металлических прутьев
шиной, внутри обложенной слоем
серой ваты. Ната быстро приняла со-
стола шину, и Фролов, с тем же
равнодушием во взгляде, но так же
ловко, опустил ногу пониже, про-
должая натягивать ее к себе.

Петр Александрович взял из сумки
эмалированной, стоявшей на столеш-
ке ванночки желтые прозрачные рези-
новые перчатки и ловко вдел в них
руки. Глядя на ногу Калинушкина,
как бы по касательной к ее красно-
ватой распухшей поверхности, он
получил из рук «перевязочной»
сестры зонд и осторожно ввел его в
глубину раны. Калинушкин охнул,
зажмурил глаза и вцепился правой
рукой в край стола. Потом он мед-
ленно открыл глаза и вздохнул. Все
дальнейшие действия хирурга в его
ране он уже переносил, смирив-
шись, молча, но по движениям его
губ, выражению боли в ясных, не-
много наивных серо-голубых глазах
и поту, выступившему под глазами
и на лбу, видно было, как трудно
ему терпеть. Петр Александрович
недолго осматривал рану.

— Чорт его... Почему в таком со-
стоянии? — Он поднял вопросительно
черные, густые свои брови. — Сестра,
скажите Зинаиде Платоновне, чтобы
приготовила инструменты. Да нет!
Куда вы пошли? Приготовьте вре-
менно шину...! Вон та сестра скажет...

«Та сестра», молоденькая практи-
кантка, робевшая перед хирургом,
выскочила из перевязочной, а Ива-
новская быстро стала менять слой
ваты в шине. После того как пере-
вязочная сестра длинным корнца-
лом, как в клюве, пронесла, не кос-
нувшись никого, стопочку стериль-
ной марли и прикрыла ею рану на
ноге Калинушкина, Ната широко
бинтом прихватила марлю и повела
бинт вокруг ноги.

Семен Иванович, заметив, что настроение Петра Александровича колеблется и, увлекаемое нарастающим внутренним давлением, вот-вот покинет область «переменно», нагнулся и стал из-под низа осматривать ногу Калинушкина. Но, поймав себя на том, что рассматривает ногу не для пользы раненого, а только для показа, что и он занят осмотром, покраснел и выпрямился. Сестра Ивановская взглянула на него, и они поняли друг друга и одобрили взглядом честное, без увертки, поведение в штормовую минуту.

Ногу Калинушкина осторожно положили в шину, и он снова охнул, когда пятка его коснулась стола.

— Шину прибинтовать? — спросила сестра.

— Не надо, — ответил Семен Иванович.

— И другая тоже с переломом? — спросил хирург.

— Тоже, — как бы чувствуя вину, что так вышло, ответил Калинушкин.

По знаку хирурга бровями, быстро и гневному, как молния, сестра Ивановская стала развязывать левую ногу, уложенную в простые длинные дражки и забинтованную от пятки до паха сначала бинтом, а сверху обмоткой.

— Держи, Фролов, — сказала она, когда дражки стали отваливаться на стол. Фролов, так же как правую, поднял и левую ногу Калинушкина, не давая прогибаться ей на месте перелома.

У Калинушкина было небольшое осколочное ранение бедра с переломом бедренной кости. Сам осколок нащупывался с задней стороны бедра и был расположен несколько сбоку.

— Д-да, — задумчиво сказал хирург и внимательно осмотрел рану и перелом. — Это все?

Сестра Ивановская показала на грудь Калинушкина. Тот заторопился:

— Тут, сестрица, все в порядке. Я испугался: ну-ка ноги отрезать? — Он перевел глаза, стараясь встретиться ими с глазами кого-нибудь из стоявших около него людей в белых халатах. Они почему-то ничего не делали с его ногой, только смотрели, и это было страшно.

— Наверно, пропал я? — опять вопросительно сказал он, в то время как плотный широкоплечий человек

с острой черной бородкой, с засученными до локтей рукавами белого халата, протянул руку и пальцами, просветивающими через желтую прозрачную перчатку, стал надавливать пониже и выше раны на бедро. По опухшей, как бы налитой изнутри, ноге из небольшого отверстия потекла зеленоватая струйка гноя. Сквозь запах нашатырного спирта от ватки, свалившейся на стол, до Калинушкина снова стал добираться тот же «душный» запах.

«Затеки, — сказал хирург то, что поняли стоявшие рядом с ним люди, но что Калинушкин понял только как плохое для себя. Он снова потянул голову вверх и вперед и скошил глаза.

— Вот вам! — Хирург сказал это таким тоном, как будто был уверен и не мог тут ждать ничего хорошего. — Результат спешки и незнания. Скальпель есть?

— Кипятится, — ответила сестра, работающая в перевязочной.

— Ну, сделаем вместе с той ногой... Слегка подбинтуйте, сестра Ивановская. Шины пока не надо.

Черные блестящие глаза Петра Александровича встретились с серо-голубыми ласковыми и беспокойными глазами красноармейца. Хирург широко расставив ноги, немного выпятив живот и как бы укрепившись в ожидании, пока Ната подбинтует ногу Калинушкина, смотрел и думал.

Калинушкина беспокоило молчание человека, который как он понял по повелительному его тону и подчинению ему окружавших его людей, был главным здесь. Особенно беспокоило то, что он сказал: «...вместе с той ногой». Но спросить еще раз он не решился.

— Где это вам так досталось? — спросил Петр Александрович. — И откуда на бедре ушиб?

Ната удивленно взглянула на хирурга: она не заметила никакого ушиба а он, как всегда, видел все до мелочей.

— Не уберется... от танков, — ответил Калинушкин, чувствуя по звуку голоса «главного», что к нему, Калинушкину, он добр и заботлив, а жесткие нотки в голосе, которые он слышал, относились к кому-то другому. Ната, спешившая бинтовать, увидела большой кровоподтек выше места ранения с наружной стороны

бедро. Бинт прозрачно прикрыв его последним оборотом.

Фролов, устав от долгого на вытжку держания ноги Калинушкина, осторожно опустил ее на стол и медленно выпрямился.

— Как ловко держал! — похвалил Калинушкин, немного ободренный тем, что вторую его ногу так заботливо перевязали: наверное, дело не так уж плохо. — Спасибо, я и не чувствовал.

— Тут у нас все ловкие, — сказал Семен Иванович, — вот узнаете...

— Ну и что же? Товарищи вынесли? — продолжал настойчиво спрашивать Петр Александрович.

— Зачем товарищи? Вохрина убили, еще как первый танк мы подшибли. Больно немцы палили по нам... А уж это третий танк меня задепил. И сам кончился...

— Так сколько же вас было?

— Мы с Вохриным и были.

— И вы три танка уничтожили?

— Три.

— Последние два, значит, вы один?

Они далеко от вас были?

— Нет, близко. Засада у нас в роще была. Первого-то Вохрин бронебойными пулями стал стрелять. Но нет, ползет! Гранатами пришлось остановить. Немец из люка полез. Вохрин в него попал... Тут из-за березы второй танк застрелял. Гляжу, Вохрин мой поник... Ах, гады! Я за гранаты, связки у меня около куста лежали... Одну... другую... потом бутылками... А когда третий подошел, я и растерялся: не найду около себя ничего... Около Вохрина, знаю, еще связки у дерева были, я и пополз туда. Он стреляет почему зря. Слышу, по ноге, как обухом, ударило. Ползу, а поворотливости не стало. Тут в груди засипело, дыхнуть не дает. Я грудь рукой зажал и к дереву...

Калинушкин рассказывал просто и обстоятельно, останавливаясь и отдыхая. Все слушало молча.

— А он уж летит, березы подминает так, что ветки об землю хлещут. Тут и меня ушибло. Они подумали — кончился я, открыли люк, а я туда всю связку... Пропали гады, мать их... Ну, все-таки остановил танк.

После долгого разговора, во время которого он не раз покашливал,

Калинушкин, словно стараясь подавить кашель, нутужился и покраснел.

— А нельзя было вам отойти, отбежать? — волнуясь, спросила Тихонова, и ее большое материнское тело склонилось к Калинушкину, как бы в стремлении защитить, уберечь.

— Куда же отбежать? Сзади товарищи закрепляются, надеются на нас. Нет, отступления на войне нельзя допускать... Ты о жизни товарища помни, он твою сохранит... — И, видя, что все молчат, спросил: — Товарищ старший врач, как думаете с моими ногами?

Петр Александрович смотрел на лежавшее перед ним молодое тонкое тело со сложными переломами на обеих ногах. Что-то было еще и в груди. Перелом бедра был последним ранением: на третий танк этот парень шел весь израненный, с переломом кости. Петр Александрович, взглянул в серо-голубые обеспокоенные глаза. Надо было ответить на вопрос.

— Вы же только что сказали, Калинушкин: «Ты товарищу жизнь сохранишь, а он тебе», — неточно повторил хирург слова красноармейца. — Я думаю, что сумею сохранить вам... — Он хотел сказать: «жизнь», но сказал: — Ноги.

— Спасибо вам, — ответил Калинушкин, как будто все сомнения его репшались одними этими словами хирурга, и глаза его засияли доверием. — А терпеть — это ничего, я потерплю.

— Погодите, погодите, — как будто припоминая что-то, сказал хирург. — Как вы сказали: «в груди засвистело»? Или как? Почему дыхнуть не давало?

— Это, когда пуля в грудь попала, слышу: в ране свистит... Жалко — ничего, не так тяжело, а то... Теперь мне ее доктор зашил.

Петр Александрович холодно, почти презрительно посмотрел на Семена Ивановича и перевел взгляд на сестру Ивановскую.

— Правильнее было бы сначала осмотреть ранение груди, а не конечностей, но в большом госпитале забыли, кажется, то, о чем знают в передовых отрядах. Неизвестно, какой сюрприз нас ждет. Листок-то какой-нибудь есть с ним?

— Да ведь Калинушкина с того пункта доставили, Петр Александрович, — сказал Семен Иванович. Речь шла о прифронтовом пункте, который враг разбомбил с самолета.

Ната быстро разбинтовала грудь Калинушкина.

«Сюрприз» действительно ждал. На груди было два пулевых ранения. Одно незначительное: пуля чиркнула вкось по правой ключице и только разорвала кожу. Другое, ниже правого соска, прошедшее через легкое... И... здесь, несомненно, была сделана операция. Выходное отверстие было в области девятого ребра, скорее на боку, чем на спине. Семен Иванович рассмотрел и сказал непонятно для Калинушкина одобрительным тоном:

— Пневмоторакс. Легкое подшито к краям раны грудной стенки герметичным швом. Полость плевры... видимо... освобождена от крови и воздуха... — Говоря это, он прикладывал к груди Калинушкина ниже раны холодноватые пальцы левой руки, постукивал по ним пальцами правой и, скользя левой рукой пониже или выше, снова стучал. — Почти полное расправление легкого... А вот тут... слышите? Звук другой! — Он выпрямился. — Прекрасная операция груди и запущенные ноги...

— Ноги-то не успели поглядеть. Меня на пункт только на четвертый день доставили. Бой шел сильный. Санитар дополз, всего меня перевязал, вина дал, хлеба, и в окопчик подтянул к рощице. А вынести нельзя было, лежал, ослаб. Когда немцев отбили, меня вынесли и на пункт. Врач, молодой такой, развязал мне грудь. «Тут, — говорит, — тебе немедленная операция нужна». Дали понюхать чего-то, и не помню, что со мной дальше было. Проснулся — в машине везут. Ребята рассказывали: меня со стола взяли. Когда в машины занесли, немцы все из пулемета бил... Многих по второму разу ранил.

Семен Иванович быстро и ловко бинтовал грудь Калинушкина: широкие полосы марли плотно ложились одна на другую, бинт катился под мышку и появлялся из-за спины там, где резкой границей отделялась загорелая, бронзовая шея от белого юношеского тела. Это тело, с

которым Калинушкину было так удобно всю жизнь, что он совсем не замечал его и не связывал с ним всю ту радость, которую испытывал от него: возможности двигаться, бегать, плавать, видеть поля, рощи, людей и чувствовать любовь и дружбу к людям, теперь тяжелое и неудобное Калинушкину лежало на столе, и уже другие люди знали, что с ним делать. Калинушкину каждое движение причиняло боль, напоминая ему непрекращающийся, что вот у него есть ноги, руки, бок, грудь, которые болят. И другие люди старались делать так, чтобы он меньше замечал свои ноги, руки и грудь, и сам Калинушкин мог только доверчиво отдать себя в руки тех людей, которые лучше него знали, что делать с его телом. И он снова доверчиво нашел своими глазами глаза старшего врача.

С этого часа, даже с этой минуты началась борьба хирурга Петра Александровича с тем темным, тяглым и неумолимым, что находилось на красноармейца Калинушкина.

Даже голос хирурга, которым он приказал немедленно приготовить перевязочную для операции, — в операционной детали, по возможности только чистые операции, — даже голос его прозвучал, как команд к бою:

— Приготовить без промедления! — И, сбросив перчатки, он пошел к умывальнику.

XII

Давно не помнил никто так глубокой сосредоточенности, такой уходя в себя, с какой Петр Александрович подошел к операционному столу. Стоявшие около него врачи: Семен Иванович, Тихонова, дававший наркоз чернышский молодой врач Ласкин, прозванный «жуком», Зинаида Платоновна, Ната даже Фролов, переодетый в чистый халат, — все чувствовали необычно, что происходило с хирургом.

Почти все, кроме Семена Ивановича, сначала объясняли это и обычное настроение там, что Петр Александрович рассердился во время осмотра ран Калинушкина. Беспорядок, допущенный врачом 1

первоначальной перевязке. Особенно в плохом состоянии была рана правой ноги. Врач должен был вставить в нее дренаж или хотя бы отрезок марли для лучшего вытягивания гноя; для этого же следовало сделать разрез снизу: отверстие, сделанное осколком, было недостаточно. На бедре тоже полгалося извлечь так близко к поверхности лежавший осколок. Этим удалится бы самая причина загрязнения раны и опасность накаливания гноя в тканях. Но если и в самом деле Петр Александрович мог быть недоволен врачом, то ведь все слышали от самого Калинушкина, что сделать все нужное врач просто не успел. Думали еще, что Петр Александрович сердится на неправильно прошедший осмотр, где все как-то шло с конца к началу, и даже листок и расспросы красноармейца оказались в самом конце, когда надо было с них начать.

Все это было не то.

Семен Иванович понимал лучше других, в чем дело. Его самого взволновал рассказ, Калинушкина. Он ясно видел перед собой тяжело движущийся танк — темное стальное чудовище — и вставшего против него молодого парня с ясными глазами, простого, бесхитростного, с тонким юношеским телом, мало защищенным против железных уверток чудовища, движущегося на него. Это должно было вызвать волнение и у хирурга. Сдержанное им, оно не унялось, а получило огромную силу, искавшую выхода и направлявшую его мысли.

Калинушкин имел совершенно четкое представление о своей роли среди таких же людей, как он сам. Он сделал все, что мог сделать для них, а это не часто удается людям. В страшную минуту Калинушкин, защищенный лишь таким оружием, которое требует смелости, ловкости, силы воли, самопожертвования, то есть только лучших качеств человека, оказался победителем страшной тяжелой машины. Он верил, что товарищ сделает для него то же, что и он для товарища. Петр Александрович и собирался это сделать. Любую рану Калинушкина, взятую отдельно, хирург одолевал уже в сотнях тел, вверенных ему. Но собранные вместе и усиленные ослаб-

ленным общим состоянием раненого эти раны были страшны и прямо угрожали жизни Калинушкина.

Борьба за жизнь человека была профессиональной хирурга Петра Александровича, и он выходил на эту борьбу ежедневно и спокойно, расчетливо выигрывал бой. Те случаи, когда бой кончался победой слепого, тяжелого и ненавистного Петру Александровичу, большею частью были объяснимы, и исход он всегда предвидел. Там было уже непреодолимое, заранее угаданное, с чем хирург боролся потому, что его профессия обязывала бороться до конца. Он боролся, видя, что перевес берет уже смерть, а не жизнь. Но, цепляясь за последние ростки жизни в теле человека, Петр Александрович испытывал не бессилье от невозможности спасти эту уже слабую жизнь, а лишь ясно осязаемый им недостаток знания. Если бы знания было больше, то, возможно, и этот бой оказался бы выигранным им.

Поэтому после каждого смертного случая в его хирургической практике он думал об этом долго, и не в больнице, не в госпитале, где его все видели, а дома, где почти никто из сотрудников не видел его. Он обдумывал, записывал и тщательно изучал все, что могли сделать в подобном случае человеческая мысль и умение, и чем мог он, хирург Петр Александрович, еще расширить эту вечно колеблющую и отодвигаемую человеком границу его человеческих знаний. И если находил свою ошибку, то разбирал ее строго и точно.

И теперь Петр Александрович ясно видел, как может и как должна пойти борьба за жизнь в самом теле Калинушкина.

Если бы он умел успокаивать себя, то подумал бы, что борьба в таком молодом сильном теле может пойти хорошо. Но лучшее нельзя было брать в расчет. Бактерии, занесенные в тело человека, — сильнейший, опаснейший враг, и полнота деятельности их в данном случае была очень широка. Следовало ожидать воспаления другого неповрежденного, легкого, что часто случается при пневмотораксах. Не говоря уже о том, что перелом правой ноги был очень нехорош. Когда и Семен Иванович, углубивший ход мыслей

хирурга, указал ему на это, Петр Александрович нахмурился.

Было ясно, что Калинушкин находится в положении колеблемого равновесия, где смерть еще не взяла перевеса над жизнью, но может взять каждую минуту. Малейшее упущение хирурга могло все изменить решительно и бесповоротно: от врача зависело теперь добавить легкий груз на ту или другую сторону. Поэтому работа хирурга была уже не только в том, чтобы очистить раны и поставить сломанные кости в правильное положение, но главное в том, чтобы вперед предвидеть пути, которыми может броситься враг в теле Калинушкина, те железные увертки, которыми он будет цепляться за свою, смертельную для Калинушкина, победу.

Этой победы врага хирург допустить не мог. Но, чтобы не было этой победы, существовало два пути. Один более легкий — путь ампутации правой ноги. Этим путем тело освобождалось от избытка бактерий, все растущих на месте крайней загрязненной перелома большеберцовой кости, откуда они по лимфатической системе пробирались все глубже в тело. Другой путь — сохранить ногу, но зато увеличить опасность общего заражения.

Выбирая более легкий путь сохранения жизни Калинушкина, хирург мог быть спокоен, что он поступил правильно, но только правильно поступить было мало. Надо было сделать все возможное, то есть попытаться спасти правую ногу. Выбирая второй путь, хирург рисковал тем, что в этом как раз и таилось то опасное «малейшее упущение», которое могло бесповоротно ухудшить положение Калинушкина. Кроме этих двух обычных путей мог быть третий, но его надо было еще увидеть, найти.

Когда Петр Александрович подошел к операционному столу, Ласкин, который должен был сегодня вести наркоз, увидев приготовленные к операции ноги Калинушкина, сказал:

— Делаемся чем-то вроде эвакуационного пункта. Привозят прямо с позиций без перевязок по несколько дней. По одному этому можно судить, что враг с каждым днем подкочивает ближе и ближе к Москве.

Петр Александрович пожал плечами:

— Товарищ Ласкин не уяснил себе, что с такими, как Калинушкин, враг с каждым днем дальше от Москвы...

Уже по первому разрезу, сделанному хирургом в области ранения правой голени, Семен Иванович понял, что он ищет возможность сохранить ногу ценою длинных освобождающих разрезов. И снова отметил для себя величайшее познание человеческого тела, которым владел хирург.

Необычайная смелость в этой работе Петра Александровича казалась почти новаторской. Глубокие разрезы тканей, проведенных безукоризненно точно, как бы отрывали новую манеру хирурга, еще неизвестную ему самому и только что добытую в момент внезапного вдохновения. Изумительная быстрота и точность его работы напоминали лучшие его, ответственнейшие операции, когда Семен Иванович готов был плакать от радостного изумления перед могуществом человека.

Для крупного хирурга это была незначительная операция. Но для мастера нет незначительных дел. На широком, с ладонь, месте ранения, среди разорванных, потерявших свою стройность мускулов, дряблых и пропитанных гноем, неприятно вывернутых наружу, торчали осколки мелко разбитой кости. Семен Иванович видел распухшую ногу и никак не мог соединить с ней представление о легкости, быстроте, движении. Но среди этого безобразного разрушения человеческого тела красиво и целесообразно двигалась умелая товарическая рука.

Глядя на движения этой руки, Семен Иванович понимал, как много робких, незавершенных движений делает он сам в сравнении с этой работой. Он отдавал себе в этом ясный и беспощадный отчет и в то же время чувствовал в себе возможность такой же работы. Когда в раскрытой хирургом ране показались обломки живой, белково блестящей кости, Семен Иванович увидел в ней ту основу жизни, которая возникает снова среди разрушения, хотя только час назад, во время осмотра раны, он думал, что

правая нога Калинушкина совсем отслужилась.

Да, это была одна из обыкновенных операций, но Петр Александрович вдохнул в нее новый смысл, и уже видно было, что это новое удержится, потому что оно полезно и нужно.

Но видел это только Семен Иванович да разве еще Зинаида Платоновна. Впрочем, Зинаиде Платоновне видеть мешал страх, что в подготовке инструментов у нее сегодня не все благополучно.

Когда началась операция, Зинаида Платоновна, не видевшая ранения Калинушкина и зная лишь от «той сестры», что должно понадобиться из инструментов, отобрала, как всегда, всего с запасом. Но когда хирург отрывисто потребовал: «Люэр!» — кусачки, которыми откусывают черепную или пораженную, ненужную в ране для ее заживления кость, — она подала дрожащей рукой один пригтовленный ею люэр. Другого в запасе не было. С люэром обошлось благополучно, Петр Александрович обработал конец кости — вытаскил пинцетом множество мелких ее осколков, застрявших в мягких тканях, — и потребовал:

— Ножницы!

Из-за боязливого ожидания, что Петр Александрович спросит еще другой люэр, а его не окажется, Зинаида Платоновна торопливо взяла ножницы и перевернула их колечками вперед к руке хирурга, но сделала это так неловко, что одна половина их — хирургические ножницы не замыкаются наглухо — упала на пол.

— Ножницы! — повторил Петр Александрович.

Других ножниц не было. Не торопясь, Зинаида Платоновна приказала другой сестре подать уже прокипяченные ножницы из перевязочной и обжечь их спиртом. Сама же, вопросительно глядя на хирурга, протянула ему скальпель.

— Ножницы! Ножницы! — закричал хирург, краснея и гневно округляя глаза. — Когда вы изволите дать ножницы?

В это время сестра обожгла ножницы спиртом и робко протянула их хирургу, но он зло взглянул на нее, не замечая ножниц.

— Дайте же ножницы, чего вы стоите? — еще раз крикнул он и, наконец, увидев, выхватил ножницы из ее рук. — Ему лишний грамм вот этого, — он указал на пузырек в руке дававшего наркоз Ласкина, — не нужен! — Петр Александрович сделал ударение на последних словах и взглянул на Ласкина. Ната заметила, каким острым, гневным блеском сверкнули глаза хирурга. Выражение лица Ласкина было равнодушно, он стоял, рассеянно глядя в окно, куда доставали верхние ветки тополя с уже желтеющими холоднопыльными листьями. На ветках перепархивали воробьи. Он не все время держал пульс оперируемого, чего обычно требовал Петр Александрович, а, сосчитав, отпустил руку Калинушкина и минуты две не брал ее снова. Ната подумала, что тут быть буре...

— Какой у него пульс? — резко спросил хирург.

— Удовлетворительный, — значительно сказал Ласкин.

— Как-кой? — задохнулся Петр Александрович.

— Сейчас был восемьдесят четыре, — ответил Ласкин, стараясь нащупать пульс.

— Не был, не был, милостивый государь, а есть! Следить, следить надо за зрачком, за пульсом. Воробьев считать можно и без медицинского образования.

Ласкин надулся и покраснел, но движения его от этого не ускорились.

— Сестра Ивановская, смените усталого товарища! — приказал хирург. Это было оскорбление. Ласкин пожал плечами и отошел. Ната быстро стала на его место, поправила маску и взяла пульс.

Операция продолжалась еще около часа. После быстрой и напряженной работы на месте ранения правой ноги, Петр Александрович уже спокойно вынул осколок из бедра левой, провел два глубоких разреза и вставил дренаж. Обе ноги были укреплены в неподвижные повязки так, что раны можно было открывать, очищать и перевязывать, не тревожа кости, правильно сложенной на месте перелома. К левой ноге был прикреплен груз, который вытягивал мускулы и не давал им,

сокращаясь, надвигать концы стюманной кости друг на друга.

Когда Семен Иванович с Натой палочки повязки на обе ноги и хирург похвалил их работу, Калинушкин уже совсем проснулся. Он лежал на столе бледный, полуоткрыв рот, и, вздрагивая вскаки, как будто снова задремывал. Как в паницырь завовавшие его ноги даже со стороны были ощутимо тяжелы.

По окончании операции Петр Александрович снял резиновые перчатки, но сам наблюдал и даже помогал в наложенный шин, потом, стоя от стола, он наступил на валявшуюся половинку юбки и вспомнил, как кричал во время операции.

— Благодарю вас, Зинаида Платоновна, — сказал он, и это прозвучало, как извинение.

— Ничего, Петр Александрович, — поняв, ответила она.

Семен Иванович вышел из операционной в состоянии сильного внутреннего возбуждения, когда хочешь поделиться с кем-нибудь чувством радости, испытанной от удачи товарища, и когда к этой радости не применяется ни крупинки завети или недоброжелательства.

Он вспомнил, что молодые врачи, присутствовавшие на операции Звягинцева, называли ее замечательной. Они думали, что так и должно быть в таком прекрасном госпитале и у такого хирурга, как Петр Александрович. Как и Семен Иванович в начале своей работы, они считали, что в любом случае самые приемы хирурга есть нечто неизменное, выработанное долгим опытом, а меняется только сочетание этих приемов в зависимости от операции. Теперь Семен Иванович видел, что впечатление неизменных приемов внешнее, а на самом деле безошибочные и точные действия хирурга обновляются и совершенствуются в самом ходе его работы. Каждая его операция была не механическим повторением уже найденных приемов, а поисками в них наибольшей целесообразности в данных условиях. И хотя операция Звягинцева была очень удачной, но сегодняшняя была значительней. В ней ясно видно было преодоление трудного, постоянное решение задачи не только для себя, как мастера

и хирурга, но и для человека, лежащего перед ним, — то, за что Семен Иванович любил Петра Александровича и считал большим, настоящим человеком.

XIII

Превосходное течение послеоперационного периода у Звягинцева радовалось, как это всегда бывает в случаях избежания большой и серьезной опасности, и врачей, и сестер, и все были очень внимательны к лейтенанту. Условия, в которых произошло его ранение, были еще первым и необычным случаем за три месяца войны. До сих пор еще ни разу в госпиталь не привозили летчика, употребленного таран для уничтожения самолета врага.

Все работники госпиталя считали Звягинцева героем особенного склада, человеком, который не только повел самолет на таран, но и не потерял присутствия духа, хладнокровия и уверенности, когда ему пришлось, опасно раненому вести самолет назад, к аэродрому. По мнению всех окружающих его врачей и сестер, он уже простился с жизнью, отдал ее родине, и только чудом она вернулась к нему обратно.

И в красноармейских палатах обсуждался вопрос о таране Звягинцева. Однажды Семен Иванович услышал, как Володя — раненый из выходной палаты, обладавший способностью доводить свои мнения до абсурда, спорил со своим соседом, молодым сталеваром. Сталевар, комсомолец и славный парень, высказал мнение, что таран — это такая же точка высшего мастерства, до которой поднимается каждый мастер в своем деле, будь он литейщиком, доменщиком, строителем, — всегда высшая точка мастерства требует смелости и отказа от себя, но зато и содержит в себе самой возможность совершенно наилучшего окончания, почему сталевар и оценил в Звягинцеве высокое мастерство больше, чем личную смелость.

— Просто смелость — это хорошо, — сказал он, — но можно быть мастером и в смелости. У Звягинцева никакого не особенного героизма, а знание до мельчайших

подробностей своего дела. Вот это что. А вел он машину назад на аэродром по инстинкту самосохранения, конечно, имея в себе незаурядную силу характера. Ну, да любой мастер своего дела и не может быть без характера.

— Какой может быть инстинкт самосохранения? — яростно возражал ему Володя. — Давно объявлена война пережиткам капитализма в сознании человека. Вот этот самый инстинкт для нас пережиток, потому что только трус им может руководиться.

Сталевар возражал, горячился, но Володя спорил до тех пор, пока не подошел комиссар госпиталя и поддерживал в этом споре сталевара.

Комиссар любил говорить о таратуге Звягинцева. Раненые, разговаривая об этом, прикидывали, кто из их близких был бы способен на равноценный поступок, вспоминали то товарища, которому это было бы по плечу, то деда, ходившего с рогатиной на медведя, то отца, спасшего трех человек из горящего дома — случаи храбрости почти исключительной для своего времени. Комиссар замечал, что каждый переживал историю ранения Звягинцева, как что-то свое, перенесенное на своих близких, возможно и не имевших качеств, которыми обладал Звягинцев. Но перенесение образа героя и приближение его свойственно людям так же, как перенесение любви, созданной и изображенной Пушкиным или Лермонтовым, на свои собственные, возможно, менее значительные чувства. И если в этом почетная роль поэта, — возвышать чувства людей, то так же почетна и роль героя, потому что он, кроме собственного героического поступка — спасения и помощи товарищам — еще поднимает тысячи людей до понимания и ощущения в них того же героического начала.

И вот теперь в госпитале был другой человек, совершенно не похожий на Звягинцева, с широким мальчишеским лицом, коротким носом, робкий и даже как будто боязливый (Фролов и сестры рассказывали, как Калинушкину стало дурно во время перевязки) и до того свой, что в нем сначала и не ощутили ничего героического.

Но после операции все в госпитале узнали, какое трудное и ответ-

ственное дело выполнил Калинушкин и как Петр Александрович сам сделал ему рядовую, несложную опорацию, но как сделал! Тогда до сознания всех стало добираться, что хирург хотел помочь не просто тяжело раненному красноармейцу, а особенному человеку, бойцу обычной стрелковой части, очень скромному на вид, но сумевшему выполнить в очень трудных для него условиях за себя и за товарища все, что им было поручено командованием.

На другой день к палате, куда положили Калинушкина, подходили и спрашивали о нем и Майоров, и Митрошин, и комиссар госпиталя — Сергей Яковлевич. Майоров и Митрошин спрашивали Лосева, с которым были из одной местности.

Лосев взглянул своими горячими огромными глазами на товарищей и на их вопрос о Калинушкине сказал, что — сами должны повиноваться — дело было серьезное и парню досталось крепко. Лосев главное видел в том, с ногами или без ног останется Калинушкин, потому что парень он молодой и по земле ему ходить еще придется много. Товарищи согласились с ним и поговорили о трудности борьбы с танками. Они не рассуждали о героизме человека, поборовшего танк, а сначала рассмотрели вернейшие способы уничтожения вражеских машин. И уже с этого, совершенно иного, поворота одобрили Калинушкина.

Потом с той дружбой, для возникновения которой не надо времени, а только знание человека, подошли и посмотрели на него очень сочувственно, по-мужски, без тени жалостливости. Калинушкин открыл глаза и хотел что-то сказать, но Митрошин грубовато остановил:

— Лежи, лежи, ладно... После наговоримся.

Сестра Ивановская сказала комиссару, что Калинушкин — человек замечательный и что он и сам не понимает, какой он герой.

— Так, так, — сказал Сергей Яковлевич и немного насмешливо взглянул на сестру.

Комиссар знал всех раненых, поступавших в госпиталь. Человек старый, побывавший чуть не во всех областях родной страны, он

почти с каждым вспоминал его родину, как место, хорошо ему знакомое. Раненые дали ему прозвище «Земляк»,— почти к каждому комиссар обращался приблизительно так:

— Так вы из Пензенской? Как же, знаю, выходит, что мы чуть не земляки. В Башмаковском районе не бывал? Заметчина? Так это же совсем рядом. Ну, а я жил в Знаменском; длинное село, на семь верст. Прежде там помещика Келлера земли были...

— Да это же наш совхоз там, — оживлялся раненый. — Давно ли вы оттуда?

— А вот у этого самого Келлера в пастухах ходил.

И разговор продолжался.

В других областях комиссар побывал во время гражданской войны или в период сталинских пятилеток. Больные охотно говорили с комиссаром, он сообщал им множество экономических сведений о различных районах, и обычно вокруг него собиралась целая аудитория.

Когда в этот день Семен Иванович вошел в дежурную, комиссар сидел у письменного стола. Перед ним на темнокрасном сукне лежали потерянные книжечки партийных билетов. Комиссар перекадывал их, осторожно беря каждую и внимательно рассматривая поклепшие, кое-где расплывшиеся фамилии и имена.

— Неужели так много прибыло? — спросил Семен Иванович, подразумевая новоприбывших партизцев, которые должны были сдавать на хранение комиссару свои документы.

— Да, прибыли. — сказал комиссар, — вот посмотри...

Комиссар поднял свое тяжелое лицо с глубокими впадинами на щеках. Целая сеть морщинок лежала у глаз. Какое-то морское уменье далеко видеть было в его глазах.

— Что-то очень уж много! — Семен Иванович перебрал книжечки: Осипов Василий, рождения семнадцатого года... Был Осипов Архип, герой, взорвавший пороховой погреб вместе с собой и неприятелем. Где-то досталось ребятам. Билет весь оборванный.

— Да, ребятам досталось крепко. Так вот, друг Семен, прибыл сегодня всего один человек. Командир батальона, Струков. Видел?

— Это у него машину разбомбили? Еще не видел его.

— Тогда послушай... — И комиссар рассказал, что эти четырнадцать книжечек сдал ему майор Струков, и история их такова.

Струков со своими бойцами оборонял рубеж. Три дня они бились с «численно превосходящими силами», противника; какой бой шел и как шел, Струков не рассказывал комиссару — был еще слаб. Но после долгого и упорного боя и командир и бойцы поняли, что они попали в окружение, и им не пробиться. Тогда один из бойцов, принятых в партию перед самым боем, Федоров Лаврентий, — тут комиссар посмотрел книжечки, вынул одну и прочитал: — «Федоров, Лаврентий Кузьмич, рождения семнадцатого года, по национальности русский, рабочий, из Горького...» — предложил собрать партийные билеты и закопать их все вместе под деревом, чтобы они не достались врагу. Но если кто-нибудь останется в живых и выйдет из немецкого кольца, пусть вынесет их на родную землю.

Все согласились, собрали книжечки. Кроме трех, все они были новенькие, только что выданные командиром. Федоров завернул их в тряпицу и сказал: «Живой человек, коли выйдет, делом может доказать, что он партиз, а мы, если нас убьют, чем мы докажем? «Хорошо бы кто-нибудь из нас уцелел и вышел на родину». Они закопали в землю партбилеты и стали драться с немцами.

Четырнадцать бойцов легли за родину на одном из ее рубежей вместе со своим командиром. Ранним утром, оглушенный после дикого боя, избитый командир батальона открыл глаза и увидел, что он лежит в лесу рядом с товарищами. И тишина кругом. Струков кое-как встал, завернул потуже остаток левой своей руки, которую ему Федоров вчера перевязал в бою, поклонился своим бойцам и пошел. Дошел он до избы лесника, тут отлежался, переделался, собрал сведения, где расположились немцы. Через неделю он вернулся к дереву, где они закопали свои партийные билеты. Струков выкопал их, спрятал на себе и пошел к своим.

Перед каждой деревней он снова закапывал книжечки, ходил в раз-

ведку, потом возвращался, доставал их опять и тогда уже проносил. Через шесть дней ему удалось выйти в одну из наших стрелковых частей. Оттуда они с командиром поехали на машине в Москву, попали под обстрел с самолета, и в город их обоих доставили ранеными.

— Я его спрашивал, — сказал комиссар: «А если бы вас схватили немцы?» — «У меня, — отвечает, — граната была: взорвался бы. А партбилеты эти — голос тех, что лежат там, на лесной поляне, окруженные мертвым врагом. Я не смел их доверие обмануть. Донес их голос до родины...»

— Поступок этот, собственно говоря, и нельзя назвать правильным... — задумчиво продолжал комиссар.

— Это очень русская черта, — возразил Семен Иванович, — поступать не так правильно, как надо, а совершать поступок, в существе своем, может быть, и неправильный, но горячий и вдохновенный настолько, что он выше правильного. Я хотел бы поступить так же, как Струков.

Вечером Семен Иванович зашел к Струкову и около часа проговорил с ним. Струков, как и все раненые, побывавшие в очень трудном положении, своего трудного не считал за особенное и говорил о нем просто, видя смелое и героическое в поступках людей, борющихся рядом с ним.

— Что же это? — спросил себя Семен Иванович. — Почему все они рассказывают больше о товарищах, чем о себе, и скрывают то, хорошее, что проявляли в бою? — И он подумал, что вот уже четвертый месяц в госпиталь, ежедневно доставляют людей, героизмом которых он восхищается, а сами они считают, что не сделали ничего особенного.

И Семен Иванович понял, что люди и не могут рассказать, какими они были во время боя просто потому, что память человека инстинктивно отстраняет эти воспоминания, отказывается восстановить тот гнев, озлобление, горение, ярость и то высочайшее напряжение всех сил, с которыми человек именно в эту войну бросается на врага. Люди и представить себе не могут того подъема всех их душевных и физических сил, какой у них бывает во время боя.

— Так откуда же эта сила в человеке? — спросил себя Семен Иванович.

XIV

Вскоре после операции Калинушкина в Москве начались заседания медицинской секции Академии наук. В Лондоне был организован англо-советский комитет для установления сотрудничества и обмена знаниями между медицинскими работниками обеих стран. У советской медицины уже было что сказать, что предложить зарубежным товарищам.

Петру Александровичу часто теперь приходилось уезжать на собрания и доклады, но в госпитале, где он был главным хирургом, все так же ни на минуту не останавливаясь, шла борьба за жизнь и здоровье раненых бойцов. Все также продолжалась и начатая неизвестным врагом на фронте борьба за жизнь красноармейца Калинушкина.

Последние дни в госпиталь стало прибывать больше раненых, и ранения были свежее: фронт приближался к Москве. Семен Иванович работал наравне с хирургом делая самые серьезные операции и заменяя его, когда Петр Александрович уезжал в детский госпиталь оперировать изувеченных детей.

— Никогда не думал, милый мой, — сказал он ассистенту, что буду когда-нибудь так сильно чувствовать, как теперь, но оперировать искалеченного ребенка невозможно без двух чувств, руководящих с сотворения мира человеческими поступками: сострадания и гнева.

Однажды Семен Иванович поехал с хирургом, чтобы ассистировать при операции изувеченного мальчика десяти лет. Потом он несколько дней ходил, видя перед собой страшную рану на правой стороне лица, опухший, покрытый везикулами нос и на левой стороне жалко смотрящий из-под огромного, как бы налитого водой, века, единственный уплевший голубой детский глаз.

И снова, как это было в начале войны, Семен Иванович раздвигался: он опять чувствовал необходимость самому броситься в схватку, бить врага направо и налево, безумя от злобы и обиды, и от жалости к родной своей земле и вот таким ребятам, изувеченным страшным

врагом. Все-таки лучше было бы ему, думал он, быть где-нибудь впереди, подвергаясь одинаковой с бойцами опасности...

Но уже и думать о фронте было некогда. Весь этот большой госпиталь был наполнен ранеными. В руках Петра Александровича было, казалось, сосредоточено управление силами, которых он поднимал на бой в теле каждого человека. Но все чаще и чаще хирург вызывал ассистента к телефону и говорил: «Милый мой, постарайтесь справиться сами, я задерживаюсь». И Семен Иванович принимал командование.

Для него как будто убыстрился ход времени, и Семен Иванович иногда заставлял себя в каком-то неожиданном для самого повороте. Но наблюдать за собой не было времени.

За два-три дня происходило много событий. Привозили новых раненых. У Калинушкина упорно держалась температура и, несмотря на то, что ему доставали все новейшие лекарства, он заметно слабел, и аппетит у него был плохой.

На одной из перевязок Петр Александрович, ожидая, пока Фролов привезет Калинушкина, спросил Семена Ивановича, что он думает о положении больного.

Семен Иванович очень хотел, чтобы положение Калинушкина было хорошо, но видел, что хорошим оно не было. Он все же ответил в упрямом смысле.

— Вы, милый мой, кривите душой, — сказал хирург, — пожалуй, это не подобает нам с вами? А?

Семен Иванович наклонил голову: в голосе Петра Александровича и в словах «нам с вами» было особенное, поднимающее ассистента на равную ступень с хирургом, значение.

— Вы понимаете, о чем говорит эта устойчивость температуры?

— Понимаю, — ответил Семен Иванович.

— И вы думаете, что перед вами хирург, который занялся вредной жалостливостью, когда надо было без промедления ампутировать ногу?

— Я этого не думаю, Петр Александрович.

— А что же вы думаете?

— Что я не видел более целесообразной операции, и если и она не спасет Калинушкина, то и ампутация не спасла бы.

— Боюсь, что это не так, милый мой. — И, повернувшись, хирург пошел в перевязочную.

Но перевязка показала, что ничего особенно плохого нет: правая нога Калинушкина была даже в лучшем состоянии, чем предполагал Петр Александрович. Он показал Семену Ивановичу, как лучше вставить дренаж, и сказал, довольный:

— Ха, я думаю, тут все идет нормально. В чем же дело, как вы думаете?

Семен Иванович тут же в перевязочной выслушал Калинушкина и ответил уверенно:

— Дело в пневмонии, Петр Александрович.

— Ну, что же, будем бороться, — сказал хирург.

Вспышка температуры случилась у Калинушкина внезапно, когда уже и ждать ее было неоткуда, и ничем иным нельзя было объяснить ее, как снова возникшим процессом в ране. При обходе Петр Александрович заметил перемену в лице и глазах больного.

— Как вы себя чувствуете, Калинушкин? — спросил хирург, присаживаясь около его кровати. В этот день он был в прекрасном настроении.

— Ничего, хорошо. Вот только ноги как будто тяжелее стали. Как прикованы, — чуть слышно сказал Калинушкин. Он всегда встречал хирурга без капли стеснения, боязни или подобострастия, которые — Петр Александрович чувствовал, — самые различные люди постоянно испытывали при нем из-за настоящих или воображаемых ям его преимуществ. Хирург взял его руку и отыскивал пульс.

— Что такое? — спросил он беспокойно. — Опять температура? Вы, милый мой, присутствуете при перевязках?

— Правой ногой — всегда, хотя сестра Ивановская не нуждается в проверке.

— Все мы нуждаемся в проверке, поверьте мне. А ну-ка, сестра Ивановская, дайте его в перевязочную...

Вскоре шедший на перевязку Митрошин остановился у дверей в перевязочную.

— Что же вы не проходите, Митрошин? — спросила его шедшая за ним сестра. Но, прислушавшись, она

тоже отступила от двери, не решаясь открыть ее: до них доносился гневный голос Петра Александровича.

— На кого это он?— спросила сестра.

— Не понять,— ответил Митрошин,— сильно кричит. Лучше обождать.

— Да,— нерешительно сказала сестра,— подождем входить.

В перевязочной в это время Петр Александрович, уставившись круглыми глазами на сестру Ивановскую, кричал, топая ногой:

— Вы не имеете права портить чужую работу. Понимаете? Человек обязан уважать работу товарища, продолжать ее, а не разорвать. Один винтик может испортить весь механизм. Понимаете вы это или нет?..

Сестра Ивановская держала навзрыд левую ногу Калинушкина, как обычно держал Фролов, сегодня не осиливший соблазна и не явившийся на работу. Семен Иванович обтирал бензином бедро Калинушкина выше колена и при каждом надавливании из раны на наружной поверхности бедра выступал гной. Зинаида Платоновна быстро раскладывала на столике инструменты.

Ухудшение положения Калинушкина случилось потому что, сестра Ивановская просмотрела при перевязке крупный затек на бедре. Рана эта была настолько благополучна, ее так привыкли считать «хорошей», что сестра при перевязке направляла все внимание на правую ногу.

Сейчас при виде разбинтованной ноги Калинушкина она жестоко обвиняла себя, но крик Петра Александровича действовал на нее так, что ей хотелось считать себя обиженной и ни в чем не виноватой.

— Ха! Мы говорим: честность в работе! На фронте перед тем, как идти на серьезное дело, заявления о приеме в партию подают. А вы о чем думаете?— кричал Петр Александрович.— Зловещее повышение температуры! Знаю я эти романтические головы! — И хирург с беснством сделал витиеватый, вроде спираль, знак рукой над своей головой. Семен Иванович, несмотря на всю серьезность обстановки едва удерживался от улыбки: фигура Петра Александровича с расставлен-

ными ногами и покрасневшим лицом была необыкновенно комична. Ассистент посмотрел на сестру: она держалась спокойно. Но все-таки зачем же ей отвечать одной, когда он сам виноват не меньше?

— Петр Александрович!— сказал он.— Здесь я виноват так же, как сестра Ивановская.— Петр Александрович перевел глаза на Калинушкина: Калинушкин был испуган и взволнован. И хирург затих.

— Вы же знаете, милый мой,— спокойно сказал он,— я всегда словесно охотлив при операциях...

— Аннушка,— позвал Семен Иванович,— смените сестру Ивановскую. Толстая Аннушка подошла и осторожно перехватила ногу Калинушкина. Сестра Ивановская пошла к умывальнику.

«То, что он затопал на меня, ужасно, невыносимо,— думала она, моя руки, и чувство вины перед хирургом и Калинушкиным отходило все дальше и дальше.— Теперь уж я непременно уйду на фронт или пойду в райком и скажу, что я готова исполнять все, что понадобится, пусть меня пошлют с нашими комсомольцами, только после этого я ни за что тут не останусь».

Все, что она выполняла после разреза, сделанного Семеном Ивановичем на бедре Калинушкина, ей казалось, делал за нее кто-то другой. Она брала вату, бинт, слышала голоса хирурга и Семена Ивановича, видела красные щеки Аннушки, оспинки на порозовевшем лице Зинаиды Платоновны, но чувствовала себя отделенной от них: «Пожалуйста,— думала она,— можете кричать и топтать. Я все равно уйду».

Когда кончилась перевязка, Семен Иванович пошел в операционную.

Ната стояла перед Зинаидой Платоновной, а та утешивала ее:

— Ты, Наточка, не волнуйся...— говорила Зинаида Платоновна.

— О чем говорить, Зинаида Платоновна? Я тут больше ни за что не останусь.

— Что вы, Ната! — Семен Иванович с удивлением увидел потемневшие злые глаза девушки.— Почему? Вы на Петра Александровича обиделись?

— Я всю жизнь буду помнить, как он кричал на меня и топал, вот что.

— Да, но если посмотреть с точки зрения...

— Смотрите, как хотите, это стыдно и гадко. Большие люди, значит, могут быть злыми и грубыми? Какая же тогда разница между советским большим человеком и всяким иным, если он не будет сдерживать свои дурные инстинкты?

— Что вы, что вы, Ната, какие же дурные инстинкты! Ведь это же Петр Александрович! — убедительно сказал ассистент. Никогда не поверил бы, что это вы, вы обиделись, когда виноваты сами...

Но Ната уже вышла из операционной.

Прямо навстречу ей по коридору шел Петр Александрович, чуть помахивая правой рукой, как бы отбрасывая ею что-то назад. Порывавшись с зестрой, он остановился:

— Вы на меня сердитесь, товарищ Ивановская? — добродушно глядя на нее, спросил он.

Ната хотела сказать, что да, сердится, что ей непонятно, как он мог словно ударить ее этим грубым криком. Если бы она все сказала так, как думала, хирург понял бы, и все кончилось бы хорошо, но Ната ответила:

— Разве входит в отношения сестры и старшего врача возможность рассердиться или обидеться? Мы только делаем вместе свое дело... — Она повернулась и пошла, рассматривая только сейчас замеченный ею, особенный из треугольников и ромбов, блестяще натертый паркет коридора.

Петр Александрович с недоумением посмотрел на ее тонкую фигуру, казавшуюся очень легкой от белого халата, и остановился, о чем-то раздумывая. Потом он повернулся и пошел к выходу на лестницу.

— Мы... только... делаем вместе свое дело? Мы... только? Ха! Это-то мне как раз и непонятно. — Он прошел мимо Наты, не глядя на нее. Она продолжала идти, все так же рассматривая паркет и считая окна, мимо которых проходила: «Одно... другое... третье...» Навстречу ей шел доктор Ласкин.

— Очень сочувствую вам, — сказал он, беря Нату за локоть и наклоняясь с безупречно перенятой у Петра Александровича ласково-покровительственной манерой. — Я не поверил, когда услышал...

— Да, мне сегодня попало от Петра Александровича, — беспечно, лживым тоном сказала сестра.

— От этого, к сожалению, не застрахованы ни вы, ни я, никто в госпитале. Сегодня попадает мне, завтра вам. Уж на вас кричать? Это... — Он сделал жест, обозначающий, что он и слов не находит. — Вы всегда на своем посту: днем и ночью. Вы забываете о себе, о своем здоровье для раненых бойцов...

Ласкин продолжал говорить что-то, но Ната не слушала больше.

Она быстро отошла от него прошла по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, вихрем сбегала по лестнице и, пробегая мимо зеркала, услышала, как хлопнула выходная дверь: Петр Александрович ушел. Она постояла немного, видя себя во весь рост с растерянным лицом и маленькими руками, беспомощно выглядывающими из обхватов халата. Она представила себе, как она бежит вниз, торопливо проходит через швейцарскую и как есть, в халате и без калош, выходит на улицу. Петр Александрович идет вдоль сада, твердо и крепко шагая и чуть помахивая правой рукой.

Она могла бы сказать: «Простите меня, Петр Александрович», посмотрела бы в его холодное и враждебное к ней лицо и повторила бы еще раз: «Простите». И с радостью увидела бы изменение этого красного, холодноватого лица.

— Очень, очень рад, — сказал бы он, — вы простудитесь, разве можно так?... — Взял бы ее под руку и решительно повернул к госпиталю...

Ната вздохнула, медленно поднялась по лестнице и пошла в палату, где лежал Калинушкин.

XV

Казалось, жизнь Калинушкина повисла на тонком волоске. Он лежал совсем спокойно в длинной своей палате, тяжело уйдя плечами в подушки, и как-бы издали ласково и устало смотрел на подхизивших к нему людей. Глаза у него были такие же светлые и немного наивные, но теперь они выражали непрерывную усталость от непрерывной борьбы, идущей в его теле. Сегодня опять та же покорность, которая

так не нравилась хирургу и Семену Ивановичу, когда у Калинушкина развивался воспалительный процесс в легком, появилась в его глазах.

Фролов постоянно говорил о том, что Калинушкин не жилец на свете, потому что он, Фролов, в день прибытия Калинушкина слышал, будто его окликнули в перевязочной, обернулся и никого не увидел. А это всегда так бывает: перед тем, как кому-либо умереть его зовут.

— Чудак! Так ведь это тебя окликнули, а не его, — сказал Семен Иванович, — вот еще раз погуляешь и непременно позовут, вот увидишь.

— А вот сами поглядите, Семен Иванович, — примиряюще сказал Фролов, — Калинушкину не выжить.

Семен Иванович иногда и сам думал так, но ему хотелось думать, что Калинушкин выживет, и он не позволял себе сомневаться. В день повторной операции он заехал в госпиталь поздно вечером и велел давать Калинушкину каждые полчаса ложку шампанского, в случае необходимости — камфару, и если сердце будет хуже работать, звонить ему немедленно. Около Калинушкина осталась дежурить сестра Виктория в помощь Нате, чтобы Калинушкина ни на минуту не оставлять одного.

В тот день вместо Фролова в госпиталь явился Санька. Он помог увезти Калинушкина в палату и долго стоял, глядя на больного: все думал, как это такой небольшой, самый обыкновенный парень мог подбить три танка.

— Ты как же, — спросил Санька, — как ты мог справиться с тремя танками? Чем ты их?

Но сестра Ивановская не велела разговаривать с Калинушкиным, и Санька тихо, стараясь не шуметь, стал прибирать и ставить на место вещи, которые нарушали порядок в палате.

Кроме Калинушкина в ней было еще три человека. Один лежал на лево у окна за головой Калинушкина, так что тот не мог его видеть. Это был партизан Песков. Он был моложе всех в госпитале, и с ним Санька очень хотел подружиться. Но Пескову было так плохо, что он почти беспрерывно стонал. Все у него было разбито, сам он не мог даже повернуться.

Он все жаловался сестре, что у

него болят пальцы на ногах. Но Санька, который не раз возил его в перевязочную, знал, что ног у него нет: ноги сожгли ему немцы.

— Что же он говорит про пальцы? Пальцев-то у него нет, — спросил однажды Санька сестру Ивановскую.

— Так бывает, Саня, — ответила сестра, и Санька подумал тогда: «Вот как человеку жаль своего, что он все его чувствует».

Второй раненый лежал против кровати Калинушкина и все писал письма. С ним не удавалось поговорить, потому что он был узбек, плохо понимал по-русски и разговаривал только с высоким туркменом из третьей красноармейской палаты, который в повязке, называемой «тапка Гиппократ», ходил к товарищу, и похоже было, будто он надел чалму. Узбек поправлялся после ранения печени, был желт, худ и часто угощал Саньку печеньем и белым хлебом, которые Санька стеснялся брать, но брал.

Третьим в палате был Лосев.

В госпитале Санька чувствовал себя немного робко, хотя и хвастался ребятам в школе, что он здесь свой человек. Обязанности его были невелики: он помогал сестрам перекладывать больных, возил их в перевязочную, готовил ванны для раненых. Больные любили его, угощали сахаром и давали папиросы. Папиросы он брал, делал вид, что это привычно ему, прятал в карман халата и иногда отдавал делу, а чаще продавал на рынке, чтобы иметь фонд для игры в бабки. Обычно в дни, когда Фролов «болел», Санька приходил спозаранку до школы и потом уже после уроков вечером. Уходя в этот вечер, Семен Иванович подозвал Саньку и сказал, что Калинушкину и Лосеву нынче тяжело и Саньке лучше ночевать в дежурной, а то сестрам он может понадобиться.

Наступила ночь. В госпитале ночь несла отдых и сон поправляющимся и легко раненым, но в телах тяжело больных к вечеру сильнее колебались борющиеся в них силы, одолевая или уступая врагу. Помощь врачей и сестер была в том, чтобы поддержать эти силы и сгладить насколько возможно резкие, губительные для жизни скачки.

Вечером Калинушкину показалось, что палата как будто стала

выше, потолок странно мерцал: что-то вспыхивало за окном и освещало комнату то зеленым, то красным светом. Калинушкин не сказал об этом сестре, чтобы та не подумала, что это ему кажется. На самом же деле Сянька забыл закрыть занавески, и на потолке отражались огни светофоров. Целый день проходящие мимо Калинушкина люди, казалось ему, не то были на самом деле, не то виделись в каком-то забытии. Казалось, они ходили мимо, не имея к нему никакого отношения, хотя почему-то наклонялись над ним, ставили на тумбочку склянки и стаканы, отрывали ему то грудь, то руку и делали уколы. Днем еще можно было различить, кто входит и выходит, но к ночи все как-то стало путаться и даже свой голос, когда он спрашивал о чем-нибудь, казалось, доходило до него издалека.

Он не знал, что у него поднялась температура до тридцати девяти с десятными, но ему становилось удобнее, как будто он стал весить меньше, и от этого тело его легче лежало на кровати. Какое-то тепло проходило по спине, озноб, мучивший его два дня, исчез, и только все хотелось пить и неловко было беспрестанно просить об этом сестру. Он видел перед собой круглое, молодое лицо с большим строгим ртом. Из-под белой косынки виднелся узкий пробор светлых гладких волос — это была молоденькая сестра Виктория помогавшая Нате. Больные звали ее «наш писарь». А поздно вечером в палате вдруг оказался тот врач с черной бородкой, который делал ему операцию, но халат его был распахнут и под ним виднелся черный хороший костюм. Он подошел к Калинушкину, подвинул стул близко к кровати, сел и взял его руку. Калинушкин хотел сказать, что помнит его, но сказал почему-то: — Вызвали саперную команду, — потом подумал и прибавил: — Мост там в неисправности...

Врач сначала сидел у постели Калинушкина, расспрашивая сестру Нату, потом встал и ушел к окну, где долго пробыл у его невидимого соседа, так что Калинушкин не заметил, как врач ушел.

Он думал, что ночь уже проходит, когда сестра вошла и сказала кому-то: «Десять часов вечера». Она при-

несла тарелку с холодной водой, и Виктория взяла тряпку, намочила, отжала и приложила ко лбу Калинушкина. Калинушкину показалось, что рядом с ним, за его головой, лежат товарищи, которого только сейчас доставили прямо с передовой линии в этот госпиталь.

— Вохрин, — сказал он, — я думал, ты уж кончился, а ты вон где! Тебя куда ранило?

Но Вохрин не отвечал, только Виктория тревожно посмотрела на Калинушкина.

— Сестрица, вы к Вохрину подите, — сказал он, — ему что-то худо, дышит тяжело. Я-то уже перевязанный...

Вошла сестра Ната и Виктория сказала ей, что Калинушкин думает, будто тут лежит его товарищ, которого он потерял в бою.

— Не думаю я, — медленно сказал Калинушкин, — мне почудилось, что Вохрин... Я в памяти, — он закрыл глаза. Ему представилось, что он лежит в лесу на влажной после дождя земле и где-то близко стреляют из орудий. Он открыл глаза. Над ним был высокий потолок, углы комнаты, но стрельба была слышна, как будто орудия стояли очень близко.

— Это зенитки бьют. Тревоги не объявляли, — поспешно сказала сестра Ната. — Вы не бойтесь: мы в случае чего вас вынесем.

— Чого же бояться? Я привык, — ответил он, и Ната снова ушла к невидимому соседу Калинушкина, а молоденькая осталась около него.

— Я смотрю, — сказал Калинушкин, — сестре-то и присесть некогда. Что издевался враг проклятый! Я какой здоровый был, а со мной, как с малым ребенком, надо. Я уже три ночи ее вижу.

— Кого ее? — спросила Виктория и снова, взяв горячую тряпку со лба Калинушкина, заменила ее свежей и холодной.

— Сестру. Старшая она у вас, что ли? Ната зовут.

И опять что-то переместилось, и Калинушкин оказался на дороге. Он шел с товарищами и не чувствовал своего тела. Ноги его шагали, как раньше, и рядом с ним шел тот врач с черной бородкой и приказывал: «Приготовить без! промедления!»...

Когда он снова оказался на бр-

все еще была ночь, и электрическая лампочка, спускавшаяся по середине палаты, освещала под темного абажура краешек очей со стоящей на ней глубокой тарелкой и белый чайничек с ней. Было тихо, и казалось, что в те никого из сестер нет. Леший напротив Калинушкина Лостонал во сне. За головой его дышал невидимый сосед. И он, трудно выговаривая спросил:

Сестра Ната, погляди-ка, на дождь идет или нет?

Недавно шел, а сейчас перестало. — ответила сестра, и Калинушкин понял, что она никуда не уходит пока идет эта длинная сестра присутствует рядом, и время как он сам куда-то не знает, что с собой, она знает это за него. И стало спокойно.

Брат с мной приехал, — сказал же тяжелый, хриплый голос, — меня брат, надо идти.

Лежи, Песков, — сказал голос. — Тебе нельзя на дождь. надо лежать спокойно.

Брат зовет, — снова сказал сосед Калинушкина. — Некогда лежать. Приходи в разведку идти. Я уж пойду. Ями меня, сестрица.

Калинушкин понимал, что соседу ему кажется, что он пойдет в разведку, а на самом деле он так что не может сам подняться. Все-таки Калинушкину показало, что сосед уходит куда-то далеко и сестра помогает ему идти, тянет его, и говорит:

Обними меня за шею, Песков, тебе будет легче.

Калинушкин поискал глазами молчаливую сестрицу и не нашел. Хотелось пить, но он слышал, сестра Ната занята, и не пошел к ней, а только пошевелил засохшими губами и не удивился, когда сестра протянула ему чайничек, и втянул в себя из носика воду. Калинушкин не помнил, сколько прошло времени. По серому свету в палате он узнал, что было утро. Сильно болела левая нога, и он чувствовал такую тяжесть в теле, как будто шел тяжелый, утомительный путь. И теперь все тело его разбито.

Вотловолосый паренек сидел теперь на стуле рядом с ним.

— Ты откуда? — спросил Калинушкин.

— Фролова внук. Я тебя из переезочной привез. Не помнишь?

— Помню. А дед где?

— Запил, — сказал Санька, — с ним бывает.

— Что же это он? А старший что, ругает?

— А как же? Ругает, конечно. Дед у меня нужный человек: когда трезвый, — Петр Александрович говорит, — ему цены нет.

— Значит, хороший человек?

— Хороший-то он не хороший: ругается дома, дерется. Мне из-за него другой раз школу пропускать приходится. Сейчас война, я не считаюсь, а в мирное время сильно обидно было. А что с него возьмешь? Кричит: «Ты мне не указывай! Ты возрасти до Фролова. Фролов — первый человек в госпитале».

— Он ловкий старик-то, умелец, — сказал Калинушкин, но Санька махнул рукой.

— Ты что же, — спросил он, — первый раз так на танки пошел?

— Зачем первый? У меня дружок был, Вохрин — фамилия, нас с ним как что, так и назначают в укрытие: истребители танков...

— Страшно их истреблять?

— А то нет? Еще как страшно...

— А Вохрин где?

— Помер... Дай-ка попить. Потихоньку, не перебудит народ.

Санька протянул чайничек, наклонил носиком к губам Калинушкина, потом поставил чайничек и задыхался часто-часто.

— Ты чего? — спросил Калинушкин.

— Песков помер, — сказал Санька, и слезы быстро потекли у него из глаз и закатали на халат.

— Эх, сердяга, — сказал Калинушкин, — так это он нынче ночью в разведку собирался? Что ж он, дружок твой был?

Санька кивнул головой и стал смотреть в сторону.

С этого дня Калинушкин стал поправляться.

XVI

Чем больше развивается военная техника, тем больше тяжелых ранений приносит война. В госпитале всегда бывали такие тяжело раненные, поправить которых было невоз-

можно. В конце сентября умерло несколько человек, и Семен Иванович отнесся к этому, как к неизбежному. Но смерти Лосева Семен Иванович страшился, как потери близкого человека.

Температура у Лосева держалась ниже нормальной, он все слабел. И все же слабый, худой — тень человека — Лосев жил. Он разговаривал с Санькой и сестрами и даже шутил, что если бы его теперь свесить, это был бы точный вес его костей и кожи... И то, что Лосев вопреки всему, что совершил враг с его телом, продолжал жить, почти ужасало Семена Ивановича. Лосев был сильнее, чем он с его знаниями.

Семен Иванович постоянно чувствовал в себе присутствие мысли о Лосеве. Если он раскрывал медицинский журнал, то удивлялся, как часто стали попадаться ему описания случаев, подобных случаю Лосева. Как будто кто-то преднамеренно подсовывал ему и напоминал... Раньше это не бросалось так в глаза. И, осматривая вновь поступающих раненых, он видел, как намечались линии, подводившие его к необходимости что-то предпринять для помощи Лосеву.

Он понимал ясно, что у Лосева образовались спайки, сделавшие кишечник непроходимым. Хуже всего было то, что теперь Семен Иванович мысленно снова делал операцию Лосеву, и она проходила удачно.

Поздно вечером Семен Иванович по обыкновению зашел к Лосеву и застал его в том же положении. Все так же лежали поверх одеяла его слабые прозрачно-желтые руки, серьезный и глубокий был взгляд огромных, горячих, живых его глаз. Поистине сила жизни, заключенная в этом теле, становилась препятствием к избавлению этого тела от страданий. Лосев обрадовался Семену Ивановичу и ровно, «дошечкой», протянул ему правую руку. Раньше Лосев всегда подавал левую, где врач нащупывал пульс, но последнее время он стал подавать правую. — Здороваться с доктором, как с близким человеком. Это очень трогало Семена Ивановича и почему-то делало Лосева беспомощнее в его глазах. Семен Иванович в той же руке Лосева нащупал пульс и стал считать. Пульс слабый, но ровный,

дошел до него очень издалека, и он узнал, что борьба Лосева идет где-то на страшной глубине, и что борьба эта трудна.

— Ишь, руки у меня, как женские, — усмехнулся Лосев, мягко произнося слово «женские». — Поблели, ослабли, шей ко рту не донесут. А враг-то у порога.

— Да, враг у порога, — сказал Семен Иванович. Но в то время как Лосев думал о немцах, подходивших с каждым днем ближе к Москве, Семен Иванович подумал о враге, угрожавшем жизни самого Лосева.

Сейчас, сидя у кровати Лосева, он еще раз все пересматривал в уме.

Решение сделать операцию Лосеву, и именно так, как он ее делал мысленно, возникло у Семена Ивановича еще сегодня утром. То, что раньше представлялось ему как мешавшее этой операции, он отодвигал в сторону. И, отодвинутое, оно уменьшалось и становилось несущественным.

Главное, что понадобилось отстранять, было сомнение в том, самому ли ему делать операцию или попросить присутствовать и решать каким путем делать Петра Александровича. Сильное истощение Лосева было тяжелым и опасным фактом, но оно оставалось бы таким же, независимо от того, кто из хирургов оперировал бы Лосева. Каждый лишний день только убавлял силы больного: без операции надежды уже не было. За операцию было великолепное сердце Лосева. А за то, чтобы эту операцию делать Семену Ивановичу, — ясное понимание им всего хода предстоящей работы и догадка, что он натолкнется на единственно возможный и правильный путь.

Но было одно преимущество у Петра Александровича, и не только в этой операции, а и в любой другой. Кроме технических совершенных приемов, хирург владел еще и необходимой во время операции холодностью, которая позволяла ему совершенно отвлечься от личности лежащего перед ним больного.

Об этом необходимом условии хорошей работы хирурга Семен Иванович и сам догадывался и запомнил относящийся к этому рассказ Петра Александровича.

Однажды после операции Петр Александрович рассказал о том, как его товарищ, хороший хирург, взялся делать операцию своей жене. У нее была грудница, и женщина захотела, чтобы муж сам оперировал ее. Но когда хирург увидел на столе перед собой свою жену, он почувствовал такую неуверенность в себе, что если бы было можно, он отказался бы. И вот хороший хирург сделал робкую, беспомощную операцию. Через несколько дней состояние больной так ухудшилось, что операцию пришлось повторить. Ее сделал другой хирург очень легко и удачно.

— Вот, товарищи, — сказал тогда Петр Александрович, — нас иногда упрекают в равнодушии, с которым мы «режем» людей. Это глубочайшая и вреднейшая ошибка не может быть равнодушия у хирурга. Но холодность, но отвлечение от личности лежащего перед ним человека, — это да! Для хирурга недопустима «вредная жалостливость». Если это есть в нем, он не хирург. Впрочем, понимание этой штуки приходит к каждому в свое время...

Вот этого отвлечения от личности не только близкого, а и каждого человека у Семена Ивановича не получалось, и он не знал, получится ли когда-нибудь.

Семен Иванович всегда волновался на операциях, которые сам делал. Волнение его было двойное: ему мешала мысль, как он поведет себя во время операции, и та «вредная жалостливость», о которой говорил Петр Александрович. В случае с Лосевым это было особенно опасно, потому что Семен Иванович так свылся с Лосевым, что чувствовал его совершенно родным себе человеком.

И сейчас, он смотрел в горячие, живые глаза Лосева и думал, что взять его сейчас на операционный стол ему труднее, чем взвалить на спину под обстрелом и вынести с поля боя.

— Охота вам меня поднять, товарищ врач, — сказал Лосев, — да, видеть, не выходит. Мешает что-то внутри, а что оно — его и не видеть...

Семен Иванович посидел у Лосева и вышел в коридор. В коридоре горела синяя лампочка — неприятный, мертвенный свет. Заглянув в дверь операционной, он увидел Зи-

наиду Платоновну. Она сидела у стола и перетирала инструменты.

— Как поздно вы сидите, Зинаида Платоновна!

— Дома я теперь одна: сын уехал. Мне тут все равно что дом. А дома женщина без дела никогда не сидит: все найдет что-нибудь, что нужно доделать. Вспомнила, что у меня есть новый комплект инструментов...

Семен Иванович постоял, потрогал отросшую небольшую свою бородку и сказал:

— Зинаида Платоновна, вы пожалуйста, не уходите, вероятно, вы понадобитесь мне.

Он быстро прошел по коридору к дежурной комнате врачей. Она была пуста. Он повернул выключатель, подошел к телефону, стоящему на столе, снял трубку, набрал номер Петра Александровича. «Сказать... а может быть, не надо говорить, а прямо делать?» — «Да?» — услышал он знакомый голос.

— Петр Александрович, я решил сделать сейчас операцию Лосеву. Помните, там у него было... Да, да...

Он вернулся в палату тяжело раненых и подошел к кровати Лосева. Виктория сидела около Калинушкина. Лосев лежал один, с закрытыми глазами.

— Лосев... — позвал Семен Иванович и, глядя в отрывавшиеся огромные, окруженные темной тенью глаза, сказал, чувствуя, как отрывается от чего-то привычного и падает, словно ощущая высоту, его сердце. — Лосев, я решил сделать вам сейчас операцию. Что вы скажете?

— Дело, ваше, — ответил тихо Лосев. Семену Ивановичу показалось, что в глазах у Лосева появилось недоверие. Нет, какая-то искорка, похожая на усмешку... Нет, не усмешка, а то, что и ожидал Семен Иванович: — Пожалуй... не откажусь...

— Ну, вот и ладно, — сказал Семен Иванович. Он чувствовал огромное оживление каждого мускула в своем теле. Ощущение в коже ее живых нервных окончаний, которые как-то делали ее плотнее и крепче, отрывистое, сильное бичение сердца — все было хорошо. Он вошел в операционную, включил у двери рубильник и с удовольствием увидел, как ослепительно зажегся

огромный юпитер над операционным столом.

— Попрошу вас, Зинаида Платоновна, приготовить все — и немедленно — для операции Лосеву. — И закрыл рубильник.

Когда Семен Иванович вошел в приготовленную уже операционную, его поразила торжественная строгость и простота обстановки. Свет большой электрической лампы был направлен вниз на операционный стол. Вверх и в стороны свет проходил сквозь молочно-белое стекло абажура и освещал спокойно, мягко и ярко в высоту и ширину всю комнату. На никелированных плоскостях, изгибах, кривизне инструментов и барабанов лежали продолговатые и овальные молочно-белые блики от белых халатов, простыней и абажура...

«Так как же это будет?» — подумал он, подходя к операционному столу и глядя в глаза Лосеву. Он ждал и нашел в этих живых глазах выражение доверия, но побоялся задержать взгляд дольше. Сестра Ивановская стояла у изголовья Лосева. Рядом с ней на эмалированной тарелке лежала маска, приготовленная для наркоза, и капелъница с носиком, напоминающая стеклянного петушка. Зинаида Платоновна, закрыв рот марлей и держа вымытые руки над приготовленным к операции животом Лосева, подняла на Семена Ивановича глаза, и в них было простое и, как всегда, бесхитростное выражение.

— Вы так станьте, Зинаида Платоновна, — сказал он, — чтобы вам было удобно и передавать мне инструменты и поддерживать расширитель.

— Не беспокойтесь, Семен Иванович, — ответила она, — мне раньше часто приходилось ассистировать Петру Александровичу. — И она протянула руку за стерильной салфеткой.

Но уже страшно серьезная, нахмурив брови и от напряженного внимания крепко сжав губы, сестра Виктория разворачивала салфетку и тянулась всем своим тонким телом вперед, чтобы закрыть салфеткой живот Лосева.

— Не так серьезно, — сказал Семен Иванович улыбаясь. — Да, да, вам, Виктория. Не хмурьте так серьезно брови.

Но она не улыбнулась, только разжала тесно сомкнутые губы. Ната по знаку Семена Ивановича взяла маску, Зинаида Платоновна протянула скальпель. Семен Иванович примерил взглядом, как сти разрез, несколько иначе, и со сросшимся уже швом старого.

Что-то отходило от Семена Ивановича, проясняя и обостря все зрение. Одно из них было особенное: человек, по фамилии Лосев, его особыми, близкими Семену новичку качествами, исчез. Было. Не было ни горячих Лосева, ни четырехугольного его ни больших его дружеских р было только операционное похолодное, ясное представ о том, что нужно делать. Не длго, чтобы помочь человеку Лос а что нужно делать в этом уча человеческого тела, чтобы испраобразовавшееся в нем поврежде

Хирург вступил в полосу хного, ясного и четкого видения начал операцию. А стоящие р с ним люди увидели, что лицо мена Иванovichа ~~замкнулось~~, с непроницаемым, даже холодным угадать по этому лицу, хорошо плохо состояние больного, хо или плохо идет операция, было возможно.

Когда Семен Иванович вышел операционной, он незаметно себя прошел до половины коридора и сел на диванчик у двери в больницу. Краснорамейскую палату. В палате как всегда ночью, одни дышали и спокойно, другие похрапывали. Кто-то стонал во сне.

Семен Иванович чувствовал очень легко, как бывает после долгого физического напряжения, да все в человеке только что к и сильно работало. В мускулах чувствуется еще тепло, сердце работает сильными ударами, а тело как стало легче, и кажется, что дыхание воздуха на плечи стало шее.

«Точно кули таскал», — подумал Семен Иванович.

Теперь, когда окончилась операция, его страшно трогал гор дружеский, доверчивый взгляд Лосева. Это опять был тот Лосев, которого он волновался и который хотел бы вытащить из любого

Он видел перед собой исхудалое тело Лосева, выпирающие, обтянутые тонкой серой кожей кости таза. Он представил себе, как жестко, холодно и неудобно было Лосеву коснуться исхудалой спиной твердой поверхности стола, и подумал, что у него нет сильнее желания, чтобы это измученное тело снова ожило и распрямилось. Возвратившееся чувство любви и жалости к Лосеву было больше того, какое Семен Иванович испытывал до операции.

«Ну, что же,— подумал он,— теперь, может быть, мы вытащим его...»

В палате тихо дышали, похрапывали, стонали во сне раненные бойцы... Перед Семеном Ивановичем были люди огромной, великой страны, происходившие от своих отцов и дедов, так же, как Осипов Василий, рождения 17-го года, русский рабочий человек, погибший при защите родной земли на одном из ее рубежей в 1941 году, происходил от Осипова Архипа, взорвавшего себя вместе с пороховым погребом и врагами. Перед ним был народ, искавший справедливости, страдавший очень много и раньше, но за всю свою историю не страдавший так, как в эту войну от нашествия страшного врага, замахнувшегося, чтобы его уничтожить.

Семен Иванович думал, что вот он работает в очень маленьком уголке страны, и не так уж много около него близких ему людей: Петр Александрович, несколько товарищей — врачей и сестер. Но за этим небольшим кругом людей, образовывался второй, во много раз шире: это были бойцы, наполнявшие госпиталь. Люди в этом круге менялись: одни уходили на фронт или в тыл, другие прибывали с фронта. А там были те четырнадцать, лежавшие в земле, которая еще была в руках у врага, бойцы, голоса которых тоже доходили до Семена Ивановича.

И сила всего этого круга людей была в том, что они не хотели примиряться с уничтожением, не хотели привыкнуть к смерти.

Семен Иванович подумал, что мы только начинаем жить. И все дело в том, чтобы найти свое место в этом живом потоке, чувствуя сопротивление со всеми его живыми частностями. Тогда и для каждого человека не будет суживания и увядания, а расширение и расцвет: жизнь! К Семену Ивановичу быстро подошла санитарка:

— Петр Александрович вас к телефону просят,— сказала она,— второй раз звонят.

Семен Иванович встал с диванчика, пошел в дежурную и взял трубку.

— Все ли у вас благополучно, милый мой?— услышал он голос хирурга.— Звоню вам из дома: тут в нашем районе, без тревоги, сброшена бомба. Просмотрели...

Петр Александрович говорил спокойным голосом, но Семен Иванович понял, что он тревожится за исход операции.

— У нас все в порядке, Петр Александрович. Я только что кончил оперировать Лосева...

— Ну, ну... Вам бы теперь пойти отдохнуть, милый мой. Завтра буду с утра весь день. Ну, покойной ночи, а пожалуй — доброго утра: уже светает.

Семен Иванович выключил свет и откинул штору.

Возникла отдаленная стрельба зениток. Потом звук, доносившийся как бы с другого конца Москвы, стал приближаться. Вражеские самолеты летели над городом, и батареи, обстреливая, передавали их друг другу. Голубые лучи прожекторов, наклонясь, ходили по светлomu, предутреннему небу. Легкий путь светящихся трассирующих пуль пересек небо над госпиталем.

Война, та, которую называют отечественной войной,— столкновение сил: одной — враждебной, стремящейся отнять и разрушить жизнь, и другой — умной силы, которая расстраивает козни злой силы, защищает и создает жизнь, шла над Москвой.

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Сдвояз раздумье степное,
Сквозь метели да лед
Льются вести волною —
Жаворонок поет,
И корабль над странюю,
Голубя, плывет.

Парус — шелк ярко-алый,
Мачты — ель да сосна,
Что сынам даровала
Мать родная страна.
Кормчий силы немалой —
Сотня стран, не одна.

Пред рассветом, пред новым
Поникает зима,
Боевым трубным зовом
Побеждается тьма.
Руль сжимаемая сурово,
Правит Слава сама.

Глаз не выклевал ворон,
Сердца не раскрытил:
Харьков с Киевом ворог
Не лишил еще сил.
Ветер веет над бором,
Пастежь двери раскрыл.

Ой ты, рута живая,
Золотой мой песок,
Заповедного края
Рощи, пивы да лог,
Речь дошла к вам родная,
Счастья час недалек.

Вот четыре дороги —
Всем напастям конец,
И расцвел буйно-строгий
Цвет — победы венок.
Ты на отчем пороге,
Украинский боец!

*Перевод с украинского
МАРИИ ЗАМХОВСКОЙ*

БОРИС ГОРШИН

НА БЕРЕГУ

Он шлемом зачерпнул воды.
Как глаз, чиста была вода живая.
Он пил и пил,
с колючей бороды
играющие капельки слюды
губами посвежевшими сдувая.

У ног лежала тихая река,
и, словно в детстве, волны голубые

дымилась позолотою слезка,
и плыли за холмы сторожевые
крестьянскими возами облака.

И понял он, что здесь вся жизнь его,
все думы, за которые в ответе
он был, и что от счастья своего,
от берега,
от этих светлых вод
он не отступит ни за что на свете.

В. ШКЛОВСКИЙ

О РАЗЛУКАХ И ПОТЕРЯХ

Вместо вступления несколько слов
о дорогах и пространстве

Я видел, как уходили на восток вагоны. Ехали поезда, наполненные станками, сверху перекрытыми мебелью.

Пришлось видеть советские станки в пустырях, похожих на берег необитаемого острова. Как будто Робинзон на плоту вывозит вещи с корабля.

Я узнал, сколько стоит кипяток, как ссорятся из-за стульев для сна в неприветливой снежной Казани. Видел снега и спокойствие дальних среднеазиатских дорог — дорог с огнями. Легкий снег. Дымок над будкой с кипятком. К поездам выходили рабочие с фонарями. Это был.

В Средней Азии, в Сибири новые заводы. Прошло великое переселение машин.

Страна перестроилась. Такое простое слово. Но мы знаем, как трудно перестроить под огнем роту. Перестроить страну во время войны, передвинуть ее промышленное вооружение считалось невозможным.

Новые заводы в мохнатых горах Урала. На высоко поднятых степях Казахстана — заводы.

Трудно даже разумом связать те составы, одни из вагонов-ресторанов только, другие из подмосковных вагонов-электричек, странно прицепленных к паровозам. Трудно связать воображением и памятью эпелоны отступления с новым великим освоением страны.

Я бываю в клубе писателей, мои товарищи носят защитный цвет — форму армии и синие кителя флота.

Люди уезжают взволнованными, люди возвращаются измененными. Наш старый клуб, обшитый дубом изнутри, клуб с крутой деревянной винтовой лестницей и похож и не похож на вокзал. Изменился даже воздух. Трубы повисли, тянутся черными водорослями через двери, шумит калорифер, вдувая воздух в комнату, оттуда, где раньше был камин. Люди разъедутся, и память изменит звучание слов, унесет пепел, обогатит мысль, научит видеть будущее.

Идет вторая военная зима. Еще не выпал снег на Москву, но утром крыши седы и седа трава. Седина разлуки, седина мороза.

Разлуки, и потери, и короткие встречи, и дальние дороги... Я не подобрал еще глагола для этого предложения.

История произносит большую фразу, и я записываю эту фразу, как машинистка под диктовку, и не знаю, как построены слова, где тут имена собственные, где точки и как завершится мысль.

Мне хочется говорить с читателем, хотя я еще ничего не могу договорить. И вот я написал рассказы о разлуках, о потерях.

Я написал их для тебя, синеглазая, пепельноволосая, сейчас седая. Ты за круглыми боками земли, за Уральским лесистым хребтом.

Москва цела, она освещена, но яркие фонари стоят пунктиром огней, без ореолов, и только вспышки проводов освещают улицу сразу целиком как будто подумал троллейбус или трамвай.

Вспомнил или затянул вперед. Ты помнишь Батюшкова? Его книга стоит у меня в комнате, с кото-

рой я разлучен морозом, а ты — тысячами километров. Там было написано про флаг на фрегате: флаг трепетал вверх, между носом и кормой корабля.

Меж воспоминанием и надеждой
Сей памятью о будущем...
Моя душа вся в надежде.

20 ноября 1942 г.

ПИСЬМА

О «Наутилусе» несколько слов

Капитан третьего ранга Тарымов шел в море на подводной лодке.

Подводная лодка, — думал капитан, — поразительно непохожа на «Наутилус», описанный в романе Жюль Верна, и я не капитан Немо.

На «Наутилусе» можно было ходить по коридорам, капитан Немо играл на рояли, дрался с осьминогами, читал книги в библиотеке.

В подлодке нет пространства.

Но капитан Немо не отправлял письма по радио, в эфир, не разыскивал брата Николая — танкиста, от которого нет вестей, не оставлял адреса.

Тесно. Человек лишен пространства. Выйти нельзя, разве только на крутой горб лодки, тогда, когда она идет в надводном положении. Но и тогда есть не пространство, а плоскость моря и на ней точка железной палубы. Там, под срезом воды, людям тесно, как инструментам в ящике, но инструменты не должны дышать.

Под водою нет пространства, под водой нельзя шуметь: немцы слушают.

Во всем мире люди ходят, бегают, поднимаются по лестнице, — здесь команда и капитан закреплены в отсеках.

Лишенная пространства, лодка ведется волей командира: туда, где она нанесет удар, чтобы очистить пространство моря от врага.

Лишенное пространства, время длинно. Оно становится еще длинней, когда переступает через пять дней. После пятнадцати дней время как будто теряет смазку и греет подшипники. Так оно туго идет. Ограниченность воздуха, крутизна переборки, — узость и теснота овладевают душой.

А в детстве лежал он с братом под кроватью, играл в прятки. Одеждо опущено, под кроватью тесно и уютно, над головой переплет матра-

ца, страшно, интересно. Ищет тебя кто-то большой. Страх ходит по комнате, а ты притаился.

Двенадцатый день идет подлодка. Она идет по Гольфштрему туда, где немцы. Ее ищут сторожевые суда, ее ищут самолеты, ее подслушивают, ее стерегут мины. И ненавидят ее ненавистью магнитов.

Скучная теснотою маленькая кучка людей идет против врага.

Подводная лодка не дом. Дом на берегу, где земля широка, и под небом не надо нагибаться и потолок без клепок. Но как трудно дома!

Николай не отвечает, давно нет писем.

Он был на Урале; раньше мать жила на Волге, а теперь пространство родины — как немая карта, оно живо, оно представимо, любимо, родственно, но не названо. Все друзья на фронте. Россия большая, своя, но без адресов.

Он направил свое письмо в Радиокomitee с надеждой, что Николай ответит. Может быть, он на Кавказе, а может быть, где-нибудь под Смоленском партизанил в лесах или его лечат в госпитале в Казахстане.

А лодка уже шла обратно. Все еще было сыро, все еще было холодно, но время шло скорее, потому что лодка спешила к Большой Земле, где есть длина, ширина и высота.

Где он войдет к товарищам, будет пить чай, где набирают табак из кисета, затем свертывают папироску. И не спрашивают себя, напугав спички в кармане, откуда достать воздух для горения.

Лодка шла назад в ледяном наряде. Лед матово облегал ее. Для того чтобы снять этот панцирь, достаточно было погрузиться в тепло струй, идущих из Мексиканского залива сюда в Баренцево море.

Лодка совершила хороший поход, она нанесла удар немецкому линкору. Он ушел, накрепившись, как

пьяный, ушел, окруженный эсминцами, озабоченными, взволнованными.

После такого хорошего похода можно прийти с похода в ледяной коре, не сняв боевого наряда.

Лодка шла не погружаясь.

О письмах треугольных и прямоугольных

Дома на базе потолок высок, комнаты кажутся огромными, кровати очень широкой, вообще трудно занять столько пространства. Воздух везде сухой, а стены прямые.

— Нет письма?

— На ваше имя пришло двести семьдесят пять писем и одно от брата.

Ему подали две пачки, — одну большую, из треугольников, связанных лентой, другую поменьше, из конвертов, стянутых бечевкой.

— Откуда эти письма? — сказал он, разрезая скрепы.

— Все больше из Москвы, потом из Урала, из Сибири, четыре с Памира, тридцать семь с Дальнего Востока, и с Игарки только три.

Тарымов сидел изумленный в уже полузабытой комнате. На столе и на полу лежали письма, все женские. Они начинались одинаково: «Вы, вероятно, очень удивитесь, что я Вам пишу, но я услышала по радио...» Дальше писалось по-разному: в одних о том, как женщина подумала: грустно капитану, который разыскивает своего брата. Другие писали прямо о себе. Женщины вспоминали, как они стояли на крыше под фашистскими самолетами, и это тоже было очень страшно, потому что крыша не может пойти ни вверх, ни вниз, ни вбок. Другие писали о своих близких, о том, что от них нет писем с фронта.

Из Караганды писала женщина по имени Казакова о том, что у нее сын в морской пехоте, он забойщик, а сейчас она утром надевает его сапоги, его одежду, спускается в шахту, становится на место сына, рубит уголь, и так легко.

Две женщины, родившиеся в Луганске, писали с Алтая, вспоминая о том, как в Луганске в саду пели соловьи, как трудно без соловьев, без дома, как нужно вернуться к себе, в Ворошиловград.

«Если вам будет некуда ехать, — писали они, приезжайте к нам, мы познакомим вас со своими, мы будем слушать соловьев».

Капитан разбирал письма. Он пропустил обед, письма повторялись, из писем смотрели и улыбались карточки.

Капитан Немо под водой гулял в лесу, и бегали там метровые пауки, возвышались мраморные развалины Атлантиды. Он гулял там гордый, одинокий, переступал свинцовыми подошвами по ракушкам.

Это тесно.

Тарымов думал о том, откуда достать бумагу для того, чтобы ответить на все письма.

Вспоминал детство.

Как будто бы он с братом в лесу заблудился, кричит: «Ау!»

«Ау!» — отвечает мать совсем близко и потом веселое «ау!» наполняет весь лес до самого края.

Нет края у нашей земли, ее странность связано всеобщей любовью.

Мы даже не знаем, как любим друг друга.

«Ау!» — кричит сердце сердцу.

«Ау!» — не бойся.

Большая родина вся наполнена злыми.

Большое и понятное сердце в нам кристально.

НОГИ

О том, что время не шло, потому что у него не было ног

Утром не хотелось просыпаться. Он оттягивал пробуждение, не открывал глаза. Кругом уже шумели, в постели приносили чай. Надо просыпаться. День начинался, надо

опять испытывать тяжелое, неподвижное время.

Одеяло на постели лежало не так, как прежде. Там, на другом конце кровати, оно лежало плоско.

Во сне ноги были, они ощущались, они даже ныли. Сперва, после ранения, было не так тяжело.

Ранен он был разрывной пулей в обе ноги. Лежал на сырой глине в лесу. Невидимый ему автоматчик не подпускал к нему санитаров.

Он лежал двое суток страдая. Солнце вставало, как всегда, утром в лесу просыпались птицы. Потом наступала жара, жажда. Ночью он лизал росу с травы.

Товарищи сбили немецкого снайпера с дерева, вытащили раненого на плащ-палатке.

Ноги ампутировали здесь, в городе. Ампутировал доктор — веселый, рыжий, самоуверенный. О нем все говорили с уважением, все его хвалили.

Ампутация для такого хирурга простая, скучная, ежедневная работа. Он спасал людей, раненных в живот, вставлял куски кости и сшивал нервы.

Когда рыжий хирург входил в палату, все ему улыбались. Василий Иванович подходил к больным, смотрел температурные листки. Все было нормально. Больные поправлялись после операции, раны заживали без нагноения.

Дни тянулись медленно, и утром незачем было открывать глаза Михаилу Сулину. Ему двадцать лет. Уж не так было много дней в жизни, только что он собрался жить и выбирал, какое взять в руки счастье.

Когда его принесли раненого из лесу, его целовали товарищи, кололи щетинкой, поили горячим чаем.

Как надежно было в своем блиндаже! Приятно знакомый вкус полковой каши давал надежду.

Но не сохранили ему, Михаилу Сулину, ног, и теперь он не хотел жить.

О протезах

У постели стояли ноги, кожаные, с дырками, с никелированными шарнирами.

Соседи надевали протезы, учились ходить, рассказывали друг другу о том, как они ходят. Они говорили, что для того, чтобы привыкнуть к протезам, нужна воля, а ходить можно. Они говорили о новых специальностях. Они уходили, и у них уже была у каждого своя походка.

Война давала новых соседей.

Сулиным не сразу овладела апа-

тия. После ампутации он спал. Утром проснулся веселый, хотел сесть на постели и упал на лицо. Вот это сразило его сердце. Теперь он не хотел жить, не хотел мыться, и нянька вытирала его лицо теплым мокрым полотенцем.

Дни не шли. Хотелось растянуть сон. Во сне он видел дорогу. По левую и по правую сторону пшеница, а он, Сулин, идет и в поле зрения видит, то, что он не видел раньше: две милые знакомые ноги. Человек-то, оказывается, видит свои ноги, когда идет.

Время не шло, потому что у него не было ног.

В госпитале продолжалась жизнь. Раненые рассказывали о новых боях, о том, что у нас прибавилось автоматов.

Замазали окна в палате.

Сулину дали кресло на колесах, его подкатили к окну.

На улице лежал снег. К госпиталю утром подъехал хирург, слез с пролетки, быстро пошел и исчез в потьезде. Счастливый!

Сулин попросил, чтобы его подкатили к постели, он вполз на постель, накрылся одеялом, как интеллигент, с головой.

Хорошо было бы попасть обратно в сон. Ночь после боя — ты цел, тебя греет подоткнутая со всех сторон солдатская, уютно пахнущая шинель, отогреваются ноги. Ты цел, этот час твой, и рядом товарищи.

Кто-то откинул одеяло. Над Сулиным стоял хирург.

— Вот что, товарищ Сулин, — сказал хирург. — Так нельзя. Ноги у вас стоят, а вы не хотите учиться ходить. Надо, товарищ Сулин, жить и надо, милый мой, жизнь любить. Голова у вас есть, руки, вы молодой. Нам надо родину отстаивать. Вам учиться надо, вы можете быть токарем, инженером, как сумеете.

Василий Иванович сел около кровати.

— Василий Иванович, — ответил Сулин, — дайте мне спать. Не говорите мне скучных, обыкновенных слов. Мне их все уже говорили. Слова те затверженные. Я вам скажу — протезные те слова, шарнирные. Был я молодым, Василий Иванович, хоть и не танцевал, а мог бы, гулять любил. Был я в школе, как все, потом в вузе учился. Если, Василий Ива-

нович, жить нельзя, то умереть-то я имею право. Зачем я согласился на ампутацию! Мог бы умереть тогда я, и похоронили бы меня, как человека, в длинном гробу. Я не хочу жить калекой. Или хоть дайте морфия.

Сулин вскочил, опираясь руками вперед.

Доктор слушал его, улыбаясь грустно.

— Наркоза не дам,— сказал он.

— Вот вам хорошо,— сказал Сулин,— ходите, ногастый. Работаете, все вас хвалят.

— Товарищ Сулин,— спросил доктор,— а как вы думаете, стоит мне жить?

— Вам стоит. А мне, если смеете, дайте увольнительную от этой жизни.

— Мне жить стоит,— повторил Василий Иванович и поднял свои штаны выше колена.

Сулин увидел: блестят шарниры, черная кожа с дырочками.

— Трамвай,— сказал доктор,— обыкновенный трамвай: висел я молодым на подножке, подтянуло меня, закричал я от страха, потом от боли. Подымали трамвай надо мной домкратом. Ногу ампутировали выше колена. Я уже был молодым хирургом и очень боялся, что не смогу работать. Работаю.— Так вот что, Сулин,— продолжал доктор, поправляя свои полосатые штаны и опуская их на штблесты,— вот что, Сулин, вот что, дорогой товарищ, будете вы ходить на протезах и отнесетесь к горю, как воин.

ОПОЛЧЕНЕЦ

Тьмы времен нет. Нет забвенья. Когда идешь по Москве, около Мясницких или Арбатских ворот, то потому так изгибаются переулки, потому так переломлены они, что когда-то стояли здесь ворота и переулоч должен был выйти к ним.

Живу я в Лаврушенском переулке, угол Толмачевского, а сзади меня переулоч Кадашевский, рядом Климентовский.

Толмачевский переулоч — потому, что рядом Ордынка, а при орде были толмачи.

На Кадашах работали царские ткачи, ткали холсты, в Климентовском переулке была церковь Климента, и здесь казаки остановили гетмана Хоткевича.

Лучами в наших местах идут Ордынка и Полянка к стенам старых крепостей, которых уже нет.

Нет ворот, но остались направления дорог. История каждый день поворачивает меня. Она не прошла.

Написано в старой книге: «Вы говорите время идет, безумцы, это вы проходите».

История не проходит.

В персидской сказке мудрец спрашивал людей, плачущих за гробом: покойник живой или мертвый?

— Все мертвые мертвы — отвечали ему. И сказал тот человек в сказке: «Нет, если человек откапал после себя дерево, им посаженное, колодез,

им вырытый, или сына — он не мертв».

Бессмертие в истории — единственное человеку доступное.

Недавно проехал по Можайскому шоссе — старые реки у деревни Бородино живут в нашей истории и зовут их Держа, Колочь, Война, Сокиница. Все память о битвах.

Стоит Вязьма в Смоленской земле. Это древняя земля, ее знали арабы и называли Смоленск Азмилинском. Здесь в земле много сердоликов и браслетов, связанных из проволоки жгутом.

Здесь смолотили лодки, сплавляли их по Днепру на Киев, и оттуда шли лоды на Царьград, и когда была буря, связывали их вместе, и они скрипели друг о друга смоленскими своими бортами, но не тонули.

Здесь умели еще в XII веке читать Гомера, говорили о Платоне и сумели строить крепости и разводить пчел, здесь было много воска и меда, и потому здесь делали пряники.

Вязьма была вся цветная — желтая, красная. Улицы ее кривые, церкви ее, как цветы, — весь город как будто сделан пчелами.

Нет города. Есть кости города, разбитые кости, нет города, изорваны рельсы. Люди положены живыми в протезотанковые рвы, похоронены люди.

Нет города Вязьмы, нет сел на Днепре, но верховья Днепра в наших руках. Мы там, где сошлись Волга, Западная Двина и Днепр. У нас место рождения рек, мы пойдем вниз вместе с полной водой, мы спросим немца, выкопали ли они колодезь, посадили ли они дерево, мы спросим, почему они убили наших детей.

Мы живые, нет тьмы времен, мы сажали деревья, строили дома, у нас есть сыновья, мы помним свою историю.

Нет стены Белого города, но для идущего она все еще препятствие, он все еще проходит в ворота.

Мне пришлось писать книгу о венецианском путешественнике — Марко Поло. Он проехал через Россию на Китай в те времена, когда Монгольская империя объединила и Китай, и Сибирь, и покоренную Россию. Марко Поло писал свой дорожник много лет. Сперва он писал о женщинах, потом о кречетах и соколах для охоты. Кречеты тогда стоили дорого. Это был драгоценный подарок. Потом Марко Поло постарел и начал писать о драгоценных камнях и бумажных деньгах, изобретенных китайцами.

Так путешествовал купец: вниз по крутизне жизни.

Народы тогда были спутаны. В Пекине стояли русские войска под начальством князя Григория. В Южном Китае были аланы — предки теперешних осетин. Вдоль дорог тянулись фактории торговых народов.

Карл Маркс говорил, что торговые народы древности жили в порах других народов. Так жили боги Демокрита в порах между атомами.

Но Марко Поло любил свой народ, любил свой город, который тогда еще был полон залахом светлых елей. В Венеции были сван. Венецианец Марко Поло сражался с генуэзцами, в тюрьме написал свою книгу, не выдавши тайны дорог.

Ко мне приходил Константин Ильич Кунин — востоковед. Мы разговаривали с ним о сирийцах-несторпанах, которые бывали в Тобольске, и в Тибете, и в Цейлоне и сейчас говорят в Курдистане на языке книги пророка Даниила.

Мы говорили о том, что такое нация и как изменяется понятие о

нации. Мы говорили о Данилевском, о типах развития народа, о том, что народы разнообразны. Говорили о Достоевском и его речи на праздновании памяти Пушкина, о том, что русский народ понимает другие народы и не хочет заменить собою народы мира. Говорили о Хлебникове; Хлебников писал, что русский народ немецушен, так, как бывают огнеушорные материалы.

Кунин в это время начал книгу о тверском купце Афанасии Никитине. Афанасий Никитин выехал из Руси в 1456 году. Присоединился он к посольству, что везло кречетов шемахинскому хану от царя Ивана Третьего. По дороге Афанасия ограбили. Вернуться на Русь ему было не с чем. Пошел он за Каспийское море, пошел в Индию. В Индии пробыл много лет, торговал конями. Смотрел, какой товар тамошний нужен для Твери. Товара такого не нашел.

Был Афанасий Никитин записки, писал про людей военных, про князей, про женщин. То, что было не скромно, записывал Никитин по-индусски и персидски.

Возвращался тверянин Афанасий Никитин через Трапезунд. Путь шел на Кафу в Крыму. Много раз ветер отбрасывал назад корабль. С трудом добрался Никитин до Кафы, отсюда пошел сухим путем домой. Ехал долго. Весною умер он в Смоленщине. Рукопись его была списана и отправлена к великому князю.

Списывали ее дьяки слово за словом, а что было непонятно, то и букву за буквой. Так попали в рукопись персидские и индусские слова.

Кончалась рукопись словами: «Уруси тангри сакласун. Ала саклие буду нинани».

О годе 1941

Началась война. Немцы пересекли нашу границу. Танками прорвались через наши реки.

В именах мест боев ожила русская история.

На Россию шли немцы, люди, не знающие другой истории, кроме своей. Они нашли для войны хлор, газ, выедающий краску из травы и листьев, превращающий жизнь в тень. Шли против нас танки, ото-

бранные у французов, голландцев, бельгийцев, поляков, чехов, у госу- дарств, превращенных в тень.

Тогда начали собирать московское ополчение. Записывались истопники домов, директора заводов, дворники, писатели, архитекторы. Шло немоло- дое войско с непривычным оружием, шло против танков.

Уходило на фронт краснопреснен- ское ополчение. В ополчении шел Кунин рядом со многими писате- лями.

Ополчение билось в Смоленщине под Дорогобужем, а потом часть его попала в окружение. Мы в Москве этого не знали — отправили ополче- нию подарки. С подарками поехала жена Кунина.

Остались книги. Книга о Васко да Гама, книга о Магеллане, детская книга, о том, как открывали мир. Полное издание книги Марко Поло и непонятные рукописи — книга об Афанасии Никитине.

Затем я получил открытку. Писал Кунин. Писал, что вышел из окру- жения, переплыл реку, попал в пар- тизанский район, его вывели к оп- ной армии; стал он там переводчи- ком, а недавно узнал, что жена его погибла.

Еще он писал: «Я никогда не ду- мал, что вид убитого врага может утешить». Просил Кунина сходить на его квартиру посмотреть, не погибла ли библиотека и где рукописи кни- ги об Афанасии Никитине.

На открытке была приписка Фе- дора Грица: «Переводчик Кунин убит в пыточном бою».

Убит Кунин, черноволосый, длин- ноглазый, приземистый; убит чело- век, знавший китайский язык, лю- бивший русскую историю.

У него не осталось семьи, которая могла бы о нем вспомнить.

Не дойдя до Смоленска, на рус- ском снегу, защищая родину, умер еврей Кунин.

Кунин, если бы я мог, бы тебе сказать в последний час слово утешения!

Ты умер на русской земле, не дойдя до Смоленска, там, где умер тот твердящий. Я прочту над тобой молитву Никитина:

«Ала саклие буду ниани, уруси тангри сакласун» — что значит: «Да сохранит бог сей мир, да со- хранит бог Россию».

Так утешенно молился Афанасий, умирая под Смоленском, любя роди- ну всем сердцем.

РАЗГОВОР В ЛЕСУ

Инспекторское посещение

Лес был перестойный.

Его начали уже сводить, но поме- шала война. Время уже разредело насаждения, но кроны деревьев рас- кинулись широко и сверху лес, ве- роятно, был непроницаем. Люди ле- жали под плащ-палатками, пове- шенными на песты, в тесных кон- вертах, на носилках. Здесь сортиро- вали раненых и лечили легко ра- ненных, которых можно было не отправлять в тыл. Плохо было с ог- нем, потому что редко бывает огонь, без дыма. Между тем пошел дождь, и хворост отсырел, а сверху лета- ли самолеты.

Они кружились, сменялись. За разведчиками, легкими, прозрачными, как венский ступ, прилетал бомбар- дировщик. Бил дороги. Лес не был раскатыт, но выходить на опушку или полянку нельзя было.

Старый дивизионный врач, который производил инспекцию пункта, со- бирался сесть на лошадь, чтобы уехать, но дороге бомбили.

Врачи пункта — молодежь. Диви- зионный врач — человек с европей- ским именем, знаменитый теоретик, человек дерзкого, неожиданного раз- маха, учения и, может быть, со- перник академика Павлова.

Для врачей он был прежде всего профессором. Этот уютный, шутли- вый на лекциях, любящий хорошо есть, умеющий пить человек устроил в госпитале проборку за то, что белее плохо кипятилось.

Ему так радовались, когда он приехал. Он приехал из науки, от большой мысли, а лазил в котелки, проверял белее и говорил как на- чальник. Сейчас он уезжал. Все зна- ли, что старый профессор смел, его не удержит бомбардировка.

Старик — так его звали из уваже-

ния — хотя он и в самом деле был стариком, поставил ногу в стремя. Садился на коня он почти незаметно. Но сейчас он задержался, и серый мерин, оставив ногу влево, покосился на профессора изумленно.

— Подожду, — сказал профессор.

Молодые врачи посмотрели на него с надеждой. Он улыбнулся и сказал: «Пережду!»

Профессор проводит беседу

— Ну, значит, деловая часть окончена. О чем бы поговорить с вами, товарищи? Давайте я расскажу вам про Ивана Петровича Павлова, моего учителя. Великий это был человек, и замечательный из него вышел бы командующий фронтом. Держал он нас в руках так, что если посадит на стул, то без дела у него со стула не сойдешь. Он меня раз поставил следить за рдной собакой. Надо было записывать движения каптель слюны каждые двадцать минут. И я спал полнода на полу, подложив полено под голову, и боялся проспать, боялся, что полено окажется уже очень мягким.

Иван Петрович меня любил, может быть, за то, что я дружил с его сыном. Суровый этот человек уважал дружбу. А может быть, любил он меня еще и за то, что коптал я хорошо, а время было трудное, при нашем институте развели огород, и требовал Иван Петрович, чтобы все коптали хорошо, и хороших огородников называли столпами и устоями института.

— Ну, я расхвастался.

Слышно было, как бомбят дорогу.

— Ждать придется, — сказал профессор. — Сядем-ка к раненым, им тоже интересно, что врачи говорят.

— Так вот, товарищи. Было это совсем недавно — шесть лет тому назад. Умер у Ивана Петровича сын в Ленинграде, умер от рака. Мы очень за старика беспокоились, и послали меня к нему, чтобы побыл я с академиком. А я не знал, что делать, как утешать такого человека. Он большой, все сам решает. Скажешь ему, а он оборвет, и будет ему еще труднее.

Вот приехал я к нему в Колту-

ши, там стоят такие беленькие дачки. В одной даче две обезьяны живут — Рафаэль и Роза. Такие неприятные, похожи на человека, но как будто человек опустился, пропился, стыд потерял и еще этим хвастается, а ноги без сапог и пальцы на ногах длинные.

Приехал я утром, пришел к Павлову. Была уже очень глубокая, вот как сейчас, осень. На рябине ягоды темнокрасные, лес сквозит, а сосны выделились.

— Купаться, — сказал Иван Петрович, — купаться пойдем, — и велел дать мне простыню.

Идем под гору. Иван Петрович хромает, у него нога была сломана. Я понимаю, что он думает. Думает он, что надо купаться, надо попытаться восстановить ту бодрость, которую дает холодная вода и трение мохнатой простыней. Надо не нарушать своей жизни, надо цепляться за старые привычки, потому что старые привычки рожают прежние отзывы, мы их зовем рефлексами. Можно вцепиться в жизнь, как в ручки трамвая, и она увезет тебя, как трамвай, а потом в нее, в жизнь, влезешь.

Идем мы вниз, и Иван Петрович палькой сшибает листья с дороги, сердится, что не убраны.

Купальня махонькая, так — квадратик воды. Зеленые допатые пергородки, на воде осенний лист. Лыда нет, а лезть не хочется.

Иван Петрович разделся. Спокойно сошел в воду, помочил холодной водой под ложечкой, нагнулся, вымыл волосы, нырнул и знакомым пролазом выплыл в озеро.

Плыл он по-стариковски, низко держа над водой голову, и способ плыть у него был старинный, саженьками, но все же вода между плечом и шеей его бурлила. Плыл и я за ним. Плыву по-лягушачьи, брасом, тоже нынешнего кроля я не понимаю. Поплавали, вылезли. Действительно хорошо. Обтерлись простынями. У Ивана Петровича щеки порозовели, и он заговорил о горе.

— Когда сын мой родился, Охтенского моста еще не было, а Троицкий был деревянный, а меня уже считали старым профессором. Я сидел тогда в кабинете, писал. Жена

рожала дома, я сам не принимал. Прибежал товарищ, говорит: «Сын родился, и какая у тебя копоть». А я писал и не заметил, что лампа коптит и петролей в лампе почти выгорел. Петролей тогда, дорогой мой, еще керосином не звали, возили в цистернах, и на каждой цистерне было свое имя, как нынче на паровозах, только имена были священные — Будда, Магомет, Конфуций, а цистерну с именем Христа полиция не разрешила. Бывало, идут такие цистерны, их везет паровоз, длинный, с трубой, а сын через окошко читает названия... Теперь сын мертвый.

Теперь все иное, вот останешься, как сосна в лесу, а все деревья без листьев, а сосна будет жива, а ей холодно, я нового много не понимаю, у меня упрямство стариковское.

Вдали бомбили, вдали отвечали зенитки. Молодежь слушала старика-профессора, понимая, что это он их утешает, не хочет уехать в эскадре.

— Вот пошли мы, товарищи, к обезьянам. Рафаэль сидит, рассматривает синюю губу нижнюю, он так любил ее топырить. Чешется Рафаэль, прыгнул потом, и глаза блестят, а сосредоточиться не может, торможения нет.

Смотрит Иван Петрович и говорит: «Какая прекрасная хаотическая молодая жизнь!» И у него на глазах слезы.

Пошли, на плечах у нас простыни тяжелые.

— Рак, — говорит Иван Петрович. — Разрастаются в организме отдельные клетки: клетки-паразиты, клетки-эгоисты, и гибнет человек. Так народы и государства, потерявшие разум, хотят вытеснить других. Они говорят, что это рост организма, но это рост рака.

Значит, Иван Петрович все время думает о сыне. Вижу я, что он идет в главное помещение. На вешалке много пальто, котелки: иностранцы приехали, будут выражать соболезнование.

Входит Иван Петрович, дверь открывается, часы бьют девять. Он сам был, как заведенный, никогда не спаздывал. В двенадцать часов всегда вытаскивал из кармана часы и

вздрагивал. Это потому, что читал он всю жизнь в Ленинграде в Военно-медицинской академии лекции, а на Петропавловской крепости рядом пушка в полдень била. Большое значение имеют, товарищи, привычки. На этом воинский порядок стоит. Привыкайте все исполнять до конца так, чтобы это уже было вне сознания, чтобы привычка вас держала, чтобы вытесняла она страх, а то, что сверху — будет подвиг.

Профессор по старому обычаю вводит в беседу анекдот

— Как же поможет, товарищ доктор, в бою привычка? — спросил боец.

— А вот как — служил я военным врачом на крейсере. И вот что у нас рассказывали, это еще про старое время, когда корабли ходили на парусах... Засвистит боцман в дудку — «Все наверх», и какая бы ни была буря, лезут матросы на маты. Корабль качает, рей за волны цепляют, может быть, — а они там наверху, потому что приказ.

Так вот что рассказывают. Потонул раз военный корабль под Севастополем... Вот потонул фрегат, а боцман был на том фрегате праведник и прямо из воды попал в рай. А матросы были воры и пьяницы, и прямо их души из воды в ад попали...

Сидит боцман в раю — день, хорошо, два — хорошо. На третий день скучно без команды. Докладывает он об этом херувиму, тот доложил серафиму — так пошло по команде к богу, что, мол, боцман просит команду к себе. И вниз идет резолюция — никак нельзя, потому что команда уже получила свое назначение, — кто на вертеле сидит, кто в смоляном озере, и вообще всякий получает свое удовольствие. Опять хлопотал боцман — полный отказ. Вылез он тогда из рая через забор, для матроса это не высоко, попал к аду. Подает донесение главному чорту — выпустите, мол, командую.

Полный отказ.

Тогда рассердился боцман, вынул дудку и просвистел сигнал — «Все наверх». И тут команда, кто из смолы, кто с вертела, кто из огнен-

мого озера — разом все наверх и все одеты по форме. Собрал их боцман, и пошли они куда надо. Дело простое — условный рефлекс.

Понятно?

— Забавно, но понятно, — сказал раненый.

— Так, вот, слушайте дальше. Иван Петрович никогда не опаздывал...

Рассказ о самом главном

Вот бьют часы, выходит Иван Петрович, садится, закидывает голову с сухими седыми волосами, кладет на стол крепкие старческие кулаки, и я сквозь круглые манжеты вижу его сухие и сильные еще руки.

Кончился бой часов.

— Господа, — сказал Павлов. — Сын мой умер, он умер от рака. Мой дед в Рязани тоже умер от рака. Есть основание думать, что предрасположение к этому заболеванию передается по наследству.

Говорит Иван Петрович, и голос у него с отзвуком, не так, как обыкновенно он говорит. Трудно ему. И вдруг он сердится и так продолжает, глядя прямо на немца, седого блондина, который смотрит на Ивана Петровича с любезным сожалением.

— Милостивые государи мои, — сказал Павлов, — у наших соседей, немцев, существует сейчас теория о том, что можно бороться с болезнями, лишая права иметь детей тех, кто больны. Так вот, милостивые государи мои, в старину предполагали, что средства, дорогие и средства отвратительные особенно помогают от болезни. Предполагают бороться таким способом с сифилисом, с эпилепсией, так думают прервать даже жизнь рас, которые авторам системы не нравятся. Но теория эта не учитывает сложности жизни. Человек — это не породистая собака, у которой все рефлексы подчинены одному. Стоимость человека, дорогие коллеги, трудно подсчитать. Я, не будучи сам больным, передал предрасположение к ужасной болезни от деда к сыну, и вот, по теории соседей наших, по немецкой теории, я не должен был родиться.

Тут Иван Петрович встал, улыбнулся тихонько и продолжал.

— Дорогие коллеги, я никогда не повторял ни чьих слов, и меня слушали. Будем считать доказанным, что я имел право родиться. И народ мой такой, что без него миру не прожить.

Сел Иван Петрович.

— Оставим звериные способы изменять жизнь. Ведь мы видим, что эта теория ложная, что она неправильно отсеивает, неправильно отбирает. Поэтому должна быть иная наука. Ее создавал Сеченов. Мечников. Мы кое-что сделали и здесь и на Песочной улице в Ленинграде. Смелость имею сказать, что русская наука, в которой свободное участие принимают и другие народы, создаст теорию истинную. Надо работать для того, чтобы окончательно объединить человечество на рациональных основаниях и сделать его счастливым.

Иван Петрович помолчал и сказал тихонько:

— Счастье! Если не мое, так других счастье. Мой сын умер, но завтрашнее заседание состоится, как обыкновенно.

— А мы сидели, товарищи, и слушали так, как слушают командующего фронтом, и мы чувствовали, товарищи, что мы едем в вагонах, прицепленных к этому сильному, вперед смотрящему человеку — паровозу.

Слышно было, как недалеко бомбят дорогу.

Профессор встал, легкой походкой, небрежно ступая по осенней траве легкими ногами, подошел он к своей лошади и одним движением оказался в седле.

Лошадь посмотрела на людей, косясь и подняв голову, как будто она считала себя сейчас очень важной.

— Профессор, дорогу бомбят, — сказала молодая докторша.

— Я поеду сторонкой, — ответил профессор. — Так не забывайте, друзья мои, отчетливость, создание навыков и кругозор. Надо все видеть, раскинуть крылья, и наука поддержит вас, как воздух поддерживает крыло.

Он тронул коня и быстро уехал.

Сидел в седле он прямо, молодо, гордясь умением.

НА ДНЕПРЕ

Мне задали вопрос

Немцы отходят. Они сжигают деревни. Левый берег Днепра, как бритый.

Дня два я был здесь, таял снег, и вот из-под снега показались черные обводы домов, как будто буквы. Это сгоревшие деревни.

Правее на Минском шоссе лежит переломленным хребтом широкий бетонный мост, показывая ребристую свою грудь. За ним насыпь асфальтена, как шерстяная нить. Рядом с ним сожженный временный мост и наш толькo что поставленный.

Левый берег Днепра — как бритый. По краям дороги бегут ручьи, долина Днепра широка, и не за что зацепиться взглядом. Но стучат топоры, старые женщины из отдаленных деревень и досок ставят ремешки избу. И рядом толкут уголь в деревянных ступках, прохаживая на рюмки.

Немцы ушли. Из землянок вылегли дети и улыбаются. Скоро стает снег, русские будут сеять.

Еще дальше серый лед Днепра забрызган темносерыми камнями гранитных устоев моста. Мост скоренный лежит на льду. За рекою треляют. Высоко над днепровской долиной поднялась железнодорожная насыпь. Талые поля — наступила распутица. На рельсах через аждые четырнадцать шагов выкопан кусок из рельсов, взорваны все соединения.

Разрушения однообразны. В поютне глубокие колодцы, оббитые внутри тесом. Рядом обрывки бумаги, вошенная бумага, как будто кто-то ел крупные конфеты.

Это прошли наши минеры и отстрелили фугасы.

Глубоко, на пять с половиной метров, были заложены фугасы, затрапованы, заровнены, вынутая земля была унесена за километр. Давно было все приготовлено, в узкую щель потом спустили в последний момент взрыватель. Глубоко под землею чуть слышно шли заведенные немцами машины.

Сколько замедленной ненависти у немцев! Они готовили эти машинки

уже тогда, когда спекулировали валютой и выпрашивали у Америки подаяния на восстановление хозяйства. Это оружие, приготовленное за десятки лет.

Взорванный металл мешает найти мины, и вот все же мины найдены.

На насыпи резкий ветер. Перед самым мостом в глубокой котловине от взрыва лежат два бойца. У одного в руке тонкий шуп, кончающийся стальным острием.

Знакомлюсь. Один из них — сержант Сухоруков Владимир Аркадьевич. По мирной жизни, по гражданке, как у нас говорят, он — избач, заведывал избой-читальней в колхозе на Дону. Колхоз так и назывался — «Луч на Дону». Сухорукову тридцать восемь лет, семья его угнана немцами или немцами истреблена. Сегодня он уже обезвредил несколько мин, а вчера нашел фугасный колодец. А рядом с ним лежит чернобрый круглолицый Анатолий Антонович Черныш, из-под Новороссийска. Был он помощником машиниста, была у него семья, и семья уничтожена, или увезена немцами. И вот двое бойцов с самого начала войны идут за немцами или перед ними. Минер и при наступлении и при отступлении находится в непосредственном соприкосновении с гибелью.

Минер может ошибиться в жизни только один раз. Немецкая мина имеет три взрывателя, ее нужно обрывать руками, надо осторожно вынуть верхний взрыватель, повернуть нижний так, чтобы сошлись отверстия, и ввести медную чеку, закрепив взрыватель, и тогда можно мину вести к себе на склад.

Мины тут разные, противопехотные и танковые; летом их разыскивать труднее, потому что они зеленые. На станции Туманово все было заминировано ловушками, и котелок, и колодец, и блок-аппарат — все кругом отравлено взрывами. Здесь нужно осторожно дышать.

Вчера они отарывали фугасы.

Работают они на этой работе каждый день, значит, им надо спать, есть, иметь свой режим дня. Нашли колодец, начали рыть, наступила

сма. С минами лучше ночью не работать. Легли спать, встали утром, думают попить чаю. Лейтенант говорит: «Лучше после поьем и побреемся. Давайте сейчас докопаем».

Кончили выкапывать. Оказалось, что взрыватель был на исходе, до смерти осталось полчаса. Вынули эту машинку, положили, побрились, попили чай, пошли дальше.

На станции Одинцово сорок одна мина, и в каждой избе мина, и каждую мину находит лейтенант Николай Алексеевич Загорский — год рождения девятнадцатый.

Сказал мне Сухоруков:

— Вот семья пропала и жизни как будто не было и не был я из-бачом. Иногда лежу — вспоминаю, что читали у нас в колхозе Островского, Макаренку уважали, Гайдара любили... Книг было не много. Не жаласешь. Я хочу с немцами поговорить. Поговорить, спросить их матерей: как это вы детей растили? Какие книжки им давали? Кто их писал?

А правда, что немцы Гайдара убили?

О Гайдаре

Гайдар еще мальчиком ушел в Красную Армию. Сражался с немцами под Киевом. Сражался в приднепровских лесах, отступал от немцев, а потом гнал их. Юношей он стал командиром отряда, потом демобилизовался.

Первые книги Гайдара люди полюбили за то, что он вспоминал о хорошем.

У писателя трудна вторая книга. Первая книга проливается, как дождь. Гайдар чем дальше, тем все лучше писал.

Он написал книгу о мальчике Тимуре и его команде, о детях, помогающих людям жить легче.

На фронт он пошел журналистом. Немцы хотели взять Киев с хода, но их выбили из города ополченцы. Началось окружение. Враг был виден в подзорную трубу, а Киев работал, открылся театр «Миниатюр», открылся цирк. Немцы охватили Киев глубоким обхватом, и тогда, по приказу, началось отступление.

Ушла армия, за армией шли люди.

Шел одним из последних Аркадий Гайдар. Дорога вела на Прилуки. Немцы велиливались, стараясь разрезать армию. Появились люди, ищущие свои части. Гайдар собирал людей, и снова оказался он во главе полка.

В болотах арьергард был окружен. В небольшой рошце, на сухом острове залпеты были среди топи тысячи людей.

Решили снять борты автомобилей и по ним уйти через болота. Проложили узкую дорогу на шесть километров, почти на километр бортов нехватало.

Шли глубокой грязью.

Гайдар шел сзади. С остатками людей выбрался в приднепровские леса, попал в партизанский отряд.

Зимой получили мы письмо, что Аркадий Гайдар убит. Тело его вынесли и похоронили около железнодорожного пути, недалеко от станционной будки, под дубом, у Днепра.

Будет еще весна. Прогоним мы немцев.

Растает вода в лесах, пойдет вода мимо разрушенных, взорванных мостов Смоленщины, пойдет вниз к Украине.

Около Кичкаса починят серебряную рану плотины.

Будет подыматься вода, начнут уходить опять под воду пороги.

Вода начнет разливаться по полям. Те поля много лет были дном озера Днепростроя, они будут пить воду, долго пить намокая.

Они будут пить воду, как горе, покамест горя, станет довольно. Начнет повышаться вода, снова станет зеркало озера.

В приднепровских лесах стоит дуб.

У него широко раскинутые ветви. Ветер там, как здесь. Дуб держит в охапке ветер.

Под дубом лежит Аркадий Гайдар.

Уже будет остановлено горе и станут крыть крышами разоренные города, восстанавливать Вязьму и станут называть улицы именами погибших.

Тогда придем туда, где лежит Гайдар.

Он умер тогда, когда научился писать очень хорошо.

Гайдар не мертв — он оставил после себя книги и сына.

В Калуге приблизительно четыре тысячи домов, из них пятьсот каменных

Города расположены вокруг Москвы кольцами. До одних девяносто километров, а до других два девяносто — сто восемьдесят. Так до Клина девяносто, до Владимира сто восемьдесят. До Калуги чуть меньше — ста восьмидесяти.

Город стоит на высоком берегу Оки, которая здесь образует крутую излучину.

В Калуге приблизительно четыре тысячи домов, из них пятьсот каменных.

Над рекою парк, за парком улицы. Одна из крайних улиц называется улицей Брута.

Улица Брута спускается к реке. По улице течет ручей, ручей срыгается; улица превращается в овраг. У самой реки стоит малюнький дом. За рекою сосновый бор. В доме жил Циолковский — звездоплыватель.

Маленький домик в три комнаты. В одной из комнат из угла в угол натянута железная проволока. По проволоке передвигается керосиновая лампа-молния. Она может висеть и над креслом и над столом. Это придумал Циолковский.

Еще в доме был велосипед, тяжелый на ходу, и присланные в подарок с завода ножи и вилки нержавеющей стали.

Я приехал к Циолковскому с режиссером Журавлевым. Циолковского просили консультировать ленту о полете на ракетоплане.

Он выслушал нас, наставя на собеседника ракету большой цинковой плохо спаянной трубы.

Циолковский плохо слышал. Десяти лет его почти лишила слуха скарлатина.

Мы привезли Циолковскому деньги за консультацию. Он позвал дочь и начал рассылать деньги по городу всем знакомым — кому сто, кому пятьдесят рублей. Денег было немного, но старику казалось, что это богатство, что надо делиться. Он посылал деньги и капусту в подарок, капусту со своего огорода напроги. Внук был болен. Он прыгнул с борезы с простыней вместо

парашюта и не разбился насмерть только потому, что упал на навозную кучу.

Мы ели у Циолковского пироги с капустой и говорили о звездах и стратостатах. Его звали в Москву присутствовать при полете в стратосферу. Старик говорил грустно:

«Ну что же, я приеду, как мальчик, посидеть в гондole стратостата. Он подымется без меня. И я знаю, что у них там будет — у них веревка запутается. В изобретениях самое сложное — это простое. Вот я никак не могу придумать, где поместить руль стратоплана. Нельзя же его поместить в трубе выходящих из ракеты газов».

Мы приехали в Москву. Стратостат не поднялся в назначенный день — запуталась веревка. Циолковский был прав.

Потом был чудный день с темным синим небом. В небе созрел стратостат, медленно подымаясь.

Чем меньше было давление вокруг, тем круче становилась бока стратостата.

Стратостат подымался, вся Москва смотрела вверх.

О большой вселенной

В сентябре 1935 года Циолковский, чувствуя приближение смерти, послал из Калуги письмо:

«Мудрейший вождь и друг всех трудящихся, товарищ Сталин!

Всю свою жизнь я мечтал своим трудом хотя немного продвигнуть человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться...

Однако сейчас болезнь не дает закончить начатого дела. Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской Власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды.

Всей душой и мыслями Ваш.

С последним искренним приветом всегда Ваш

К. Циолковский.

Товарищ Сталин ответил 17 сентября телеграммой:

«Знаменитому деятелю науки тов. К. Э. Циолковскому.

Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и советской власти.

Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку.

И. Сталин».

Циолковский оставлял звезды, как имущество, — он передавал их коммунистической партии, как дом. У него было чувство, что он реальный обитатель вселенной, что у него ключи от звезд, и он передавал ключи при отъезде хозяину.

Шли годы, зрели дни.

Маяковский говорил: «Дни зрели, как дыни».

Сколько незрелых дней видел я на своем веку!

Шли дни. В маленьком журнале для молодежи прочел статью молодого изобретателя. Он писал о стратоплане, о ракетном двигателе, о принципах движения, о том, что порох и динамит слаб для начинки ракеты. Он писал об опасностях взрыва ракеты.

Я не запомнил подписи.

Шли дни, дни зрели, как дыни. Сколько горьких дней созрело!

Созрела война. Немцы наступали на нас.

Прошло почти два года, и в кино в картине «Сталинград» увидел я огненные хвосты новых снарядов. В народе их зовут «Катюша», и имя изобретателя врезалось в память советских людей.

Я узнал звездоплавателя, наследника Циолковского. Он стремился к звездам и бросил незаконченное изобретение в голову немцам, потому что немцы стояли на дороге к познанию вселенной.

Его снаряд прорывается сквозь немцев в будущее. Мы знаем об нем мало. Те, кто стреляют, не рассказывают, а те, в которых стреляют, уже ничего потом рассказывать не могут. И только звук, похожий на звук мандолины, известен тем немцам, которые стояли у края своей гибели и до которых не дошел огненный вал.

Я был в Казахстане и провожал сына, приходившего домой на службу, в артиллерийскую школу.

Он там учится стрелять из обычных русских пушек, тех пушек, которые толкут врага, как пушки, загнав его в ступку.

Был вечер, надо торопиться проверке. Я провожал сына за город, до перекрестка.

Снежная дорога уходила вверх. Млечный путь тек над нами.

Одиноко висела Полярная звезда. Сын мне говорил о звездах, о Джиносе, о спиральных туманностях, об их движениях, о годовых параллаксах. Их берут как базисы для вычисления звездных расстояний, но они очень малы. Он мне рассказывал о смещении спектра, по которому можно догадываться о движении миров, столь отдаленных, что самый большой телескоп не может проколоть миг междузвездия до них.

Не самое важное своя жизнь. Не надо думать только о близком, надо думать о звездах.

Сын уходит, его нагоняет другой курсант.

Они идут, высокие, широкоплечие, сильно перетянутые ремнями, ушами меховых шапок, спущенные по уставу, потому что мороз силен.

Двое уходят вдаль, они похожи друг на друга, как два жолудя.

Над ними казахстанское небо. Звезды великой толпой стоят в небе. Звезды смотрят на заснеженную землю.

Им не грустно.

Генерал-майор А. А. ИГНАТЬЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

РОКОВЫЕ ДНИ

Петербургский экспресс прибыл в Париж в понедельник 27 июля 1914 года точно по расписанию в 6 часов вечера. Он оказался последним поездом, прибывшим из России до мировой войны.

Нарвалось первое звено моей связи с родиной.

На хорошо мне знакомом, закопченном парижском Северном вокзале навстречу мне бросились два французских офицера: ординарцы всенного министра, господина Мессими, и начальника генерального штаба, генерала Жоффра. Вытянувшись и взяв руку (по французскому уставу с повернутой наружу ладонью) под козырек, они мне доложили, что их начальники ожидают с нетерпением моего визита. Тут уж было не до мундира с орденами, ни до куртка с цилиндром — весь этот церемониал был выброшен надолго, если не навсегда, из дипломатического обихода. Прямо с вокзала, не заезжая домой, я отправился на улицу Сен-Доминик и через несколько минут уже вошел в давно знакомый мне кабинет военного министра.

Все французские министерства размещены, как известно, в бывших дворцах королевской аристократии, и военным министрам было, между прочим, лестно восседать за роскошным столом самого Наполеона.

Мессими принадлежал к типу политических выскочек: он не был адвокатом и не был связан с парламентом «династическими» узами. По образованию это был блестящий генштабист, по социальному положению — крупный помещик, разводивший известную мясную породу серых быков в провинции Невер, по политическим взглядам — республиканец с левым уклоном, по темпераменту — типичный сангвиник. Изношенное раньше времени лицо и красноватый нос хранили следы привольной жизни. На пост военного министра в кабинете Вивьани Мессими попал незадолго до моей поездки в Пуанкаре в Россию. При первом же приеме он успел выразить мне возмущение деятельностью своих предшественников: вместо трех французских офицеров он хотел командировать для стажировки в Россию ежегодно на правах взаимности несколько десятков, а русский язык ввести как обязательный во Французской военной академии. Хотя эти столь желательные для меня мероприятия не успели осуществиться, но все же переговоры о них создали ту благоприятную атмосферу, которая оказалась столь ценной с минуты моего возвращения в Париж.

Мессими встретил меня уже почти как коллегу-генштабиста, и мне поэтому было нетрудно исполнить поручение Сухомлинова: объявить о частичной мобилизации против Австро-Венгрии не больше четырех военных округов, но вместе с тем на всякий случай «подбодрить французов».

Как я и ожидал, «подбодрять» наших союзников не пришлось. Мессими мне сообщил, что уже со вчерашнего дня были приняты первые меры по охране железных дорог и ценных сооружений, по возвращению отпускных, но что подготовку к мобилизации приходится проводить с особой осторожностью, дабы не вызвать эпизод затруднений в продолжающихся дипломатических переговорах с Германией, Англией и Австро-Венгрией.

— Во всяком случае, прошу вас заверить ваше правительство (это слово всегда звучало для меня фальшиво, так как, по существу, правительства, в европейском понимании этого слова, в царской России не существовало), что Франция при всех обстоятельствах точно выполнит свои союзнические обязательства, — закончил Мессими.

То же примерно повторил мне и генерал Жоффр, которого я застал в его рабочем кабинете на бульваре Сен Жермен. Толстяк-старик с молодым лицом и хитрым взглядом был по обыкновению загадочен и неразговорчив. Принимать на себя роль газетного репортера мне было не к лицу, хотя я и сгорал нетерпением узнать подробности выполнения союзниками плана мобилизации.

— Мы принимаем пока только меры, предусмотренные для предвоенного периода, — осторожно объявил мне Жоффр, и в этой осторожности отражалась та дисциплинированность в отношении к своему правительству, которая всегда меня поражала в будущем главнокомандующем. (Пуанкаре тем временем, прервав свое путешествие, еще только плыл до волнам Балтийского и Немецкого морей, а без него никто не решался брать на себя ответственность за какое-нибудь серьезное решение.)

В посольстве, расположенном в двух шагах от военного министерства, я застал всех коллег за лихорадочной работой, в которой они были истинными мастерами: шифровкой и расшифровкой телеграмм.

Если в мирное время шифр представлял одну из важнейших частей дипломатической машины, то в военное время от качества шифра зависела судьба армий и народов. Шифры существовали с незапамятных времен, но можно с уверенностью сказать, что никогда раньше они не играли такой роли, как в первую мировую войну. Союзники, разделенные непроницаемой стеной неприятельских фронтов, через голову врагов передавали по невидимым волнам эфира секретнейшие документы по взаимному осведомлению. Беда была только в том, что перехватить радиопередачу оказалось гораздо проще, чем захватить вражеского посланца. Шифр в этих условиях стал одним из важнейших элементов секретной связи.

Русский дипломатический шифр, по мнению специалистов, был единственным, не поддававшимся расшифровке, но зато военные шифры и, в частности, наш агентский были доступны для детей младшего возраста и тем более для немцев. Трагическая гибель армии Самсонова в начале войны была связана, как многие объясняли, с тем, что немцы перехватили русскую радиотелеграмму. Урок этот не послужил, однако, на пользу нашему генеральному штабу: он был так влюблен в свой глупейший буквенный шифр, что продолжал в течение двух лет посылать нам под особым секретом необходимые для этой системы входные лозунги, рассчитывая затруднить этим расшифровку. Последняя была настолько легка, что ею занимались не только наши враги, но даже и лучшие друзья. Я бы и сам этому не поверил, если бы однажды, при вскрытии обычной дневной корреспонденции во французской Главной квартире, не нашел среди других документов не подлинную, а уже тщательно расшифрованную телеграмму на мое имя из Петербурга. Это была, конечно, небрежность того органа, на который была возложена цензура моей переписки. Французов я поблагодарил за выполненную вместо меня «работу», а начальство свое лишний раз просил о присылке мне какого-нибудь порядочного шифра.

Этот вопрос явился особенно серьезным в роковые дни перед войной. Я, не доверяя своему агентскому шифру, вынужден был посылать свои телеграммы через посольство за подписью самого Извольского. Отноше-

ния, установленные с послом с минуты моего назначения в Париж, особенно пригодились: малейшая несогласованность и расхождение в оценке положения между нами могли повести к самым неправильным выводам в Петербурге. Как приговоренный к смерти сохраняет до самой последней минуты надежду на помилование, так и все мы, большие и малые участники дипломатических переговоров, в последние дни перед войной надеялись на какое-то чудо, на мирный исход русско-австро-сербского конфликта.

Между тем, телеграммы Сазонова с каждым часом становились все тревожнее: главный дипломатический нажим Германии, естественно, был направлен на Россию.

Одним из решающих моментов явилась ночь с 29 на 30 июля.

Поздно вечером я послал очередную телеграфную сводку о военных мероприятиях нашей союзницы, — сведения, которые мне не без труда удалось получить от Жоффра. (Пуанкаре вернулся в этот день в Париж, все власти почувствовали под собой почву и стали более общительными.)

«Во Франции все возможное сделано, и в министерстве спокойно ждут событий», — вот какими словами я заканчивал свою телеграмму.

События не заставили себя долго ждать.

Почти одновременно, то есть около двух часов утра, секретари уже расшифровали длинную депешу Сазонова, в которой он сообщал об ультимативных требованиях Германии прекратить наши военные приготовления:

«Нам остается только ускорить наши вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны», — гласили последние слова депеши.

— Как вы это понимаете? — спросил меня Извольский. — Что это за туманное слово — «вооружение»?

— Это всеобщая мобилизация, — ответил я.

— Но как же я объявлю об этом французам: мобилизация ведь еще у нас не объявлена, — колебался посол.

После обычного совещания со мной и с советником посольства Севастопуло Извольский решил лично пойти на Ка д'Орсэ¹ и просил меня одновременно передать содержание сазоновской депеши военному министру.

Воинственный генштабист Мессими, услышав про «вероятную неизбежность» войны, превратился неожиданно в дипломата. Он долго подыскивал выражения и в конце концов выработал следующую форму ответа на мое заявление,

«Вы могли бы заявить, что в высших интересах мира вы согласны временно замедлить мобилизационные мероприятия, что не мешало бы вам продолжать и даже усилить военные приготовления, воздерживаясь по возможности от массовых перевозок войск».

Я прекрасно сознавал, что в подобных советах, кстати невыполнимых, русский генеральный штаб не нуждался, но ссориться с союзниками из-за этого не стоило, и потому, зная щепетильность Извольского, я передал ему дословно записанные мною слова военного министра.

Трудность положения в эти дни заключалась в том, что Франция, следуя примеру Австро-Венгрии и России, начала мобилизацию еще во время дипломатических переговоров. Вместе с тем, не желая попасть в положение нападающей стороны и тем нарушить условия строго оборонительного договора с Англией, французское правительство было вынуждено на следующий день, 30 июля, принять даже такие противоречивые меры, как мобилизация пяти потреничных корпусов и одновременный отвод их передовых частей на десять километров от германской границы. Пуанкаре представлял эту меру Извольскому как доказательство миролюбия, а Жоффри объяснял мне этот тонкий маневр, как выполнение заранее предусмотренного плана мобилизации.

Эта резнь между французским дипломатическим и военным миром отражалась и на моих отношениях с Извольским, его неприятный характер хорошо был известен всем сослуживцам. От бессонны

¹ Министерство иностранных дел.

ночей и трепки нервов посол становился совершенно несносным и неприглядным.

— Вы врете, — сорвалось у него, наконец, по моему адресу, — Пуанкаре мне это объяснял совсем не так.

Во всякое другое время я имел право тоже вспылить, но в эту минуту обижаться не приходилось: я понимал, что этот выкрик был вызван только горячим желанием как можно лучше выполнить свой служебный долг.

К утру 31 июля последние надежды на сохранение европейского мира улетучились. Оставалась одна забота: как бы не дрогнула в последнюю минуту Франция, как бы не сорвалась мобилизация.

Совет министров под председательством Пуанкаре заседал почти беспрерывно. Унизительный ультиматум Германии, конечно, был отвергнут: надо было быть или наивным, или непомерно нахальным, какими часто проявляли себя немецкие дипломаты, чтобы предложить Франции сохранение нейтралитета в случае войны с Россией и потребовать в залог этого «временную» уступку восточных крепостей — Туля и Вердена; это было равносильно по существу, вооружению Франции. Однако последнее слово — «Приказ о всеобщей мобилизации» все откладывалось. Я ожидал его с нетерпением и по раздавшемуся около четырех часов дня телефонному звонку уже догадался, что Мессими вызывает меня, наконец, по этому вопросу.

Встреча была сердечная. По одному рукопожатию я понял, что дело сделано. Первое настроение Мессими отразилось в той телеграмме, которую для точной передачи слов министра я составил первоначально на французском языке тут же в министерском кабинете. Подлинный текст этого исторического документа на русском языке я сохранил себе на память:

«Особо секретно. Срочная. От военного агента. Объявлена общая мобилизация в 3 ч. 40 м. дня.

Военный министр выразил пожелание:

- 1) Повлиять на Сербию, попросив перейти поскорее в наступление.
- 2) Получать ежедневные сведения о германских корпусах, направленных против нас.

- 3) Быть уведомленным о сроке нашего выступления против Германии. Наиболее желательным для французов направлением нашего удара продолжает являться Варшава — Позен. Игнатьев».

Последние слова вызывались не только сознанием относительной военной слабости Франции по сравнению с Германией, но и отражали то тяжелое впечатление, которое сохранялось во французских правящих военных кругах от последнего совещания между Жоффром и Жилинским. Я тоже разделял мнение Жоффра об опасностях, связанных с нашим вторжением в Восточную Пруссию. Во мне еще жила академическая теория моего профессора Золотарева об оборонительном значении линии Буго — Нарева, в Привислянском районе, о выгоде глубокого обхода левого фланга австрийских армий, приводившего к угрозе жизненному центру Германии — Силезскому промышленному району. Вот почему, не высказывая своих мыслей французам, я все же не препятствовал их давлению на план наших операций, давлению, которое считается ныне столь преступным многими историками войны.

Телеграмма Мессими уже скрывала сама по себе будущий основной недостаток в ведении союзниками мировой войны: отсутствие единого руководства.

Я вернулся в посольство с чувством человека, у которого свалилась гора с плеч. Союзники не подвели!

Извольский тоже был доволен, но не без сарказма по адресу «воспых» заметил, что «мобилизация — это еще не война»¹. Эту дипломатическую формулу уже повторяли на все лады в политических кругах Парижа, приписывая ее то Бриану, то самому Пуанкаре.

Было около семи часов вечера, когда, покончив со служебными дела-

¹ La mobilisation ce n'est pas la guerre.

ми, мы вышли с Севастополю из посольства и вспомнили, что со вчерашнего дня еще не только не спали, но и не ели. Мы уже давно жили, как на бивуаке, подремывая то в том, то в другом посольском кресле в перерывах между телеграммами, совещаниями у Извольского и беготней в министерства. Хороших ресторанов поблизости не было, и мы решили перейти пешком на правый берег Сены.

Царившая во все эти тревожные дни нестерпимая жара как будто спала, и было приятно взглянуть, наконец, на мой милый Париж. Он как всегда был полон очарования, и, остановившись на мосту через Сену, я лишний раз разлуживался картиной, на которую когда-то мне указала одна очень чуткая француженка: закат солнца светлорозовый, смягченный перламутровой дымкой, свойственной только Парижу. Где-то вдали обрисовывались башни старого Трокадеро.

Ближайшим к Сене рестораном, где можно было хорошо поесть, являлся «Максим», когда-то одно из самых веселых мест ночного Парижа. В нем и теперь былолюдно, но прежние завсегдатаи тонули в толпе самой разнотипной публики: солдаты в красных штанах, мастеровой люд в кепках, скромные интеллигенты в соломенных шляпах. Всем этим людям в обычное время не могло в голову прийти перешагнуть порог этого фешенебельного ресторана: он был им не только не по карману, но и не по вкусу. Теперь веселье заменилось волнением последних минут перед расставанием со всем, что дорого, перед разлукой с теми, кто мил и люб сердцу. Ровно десять лет тому назад я сам испытывал подобные чувства, отправляясь в далекую, неведомую для меня Манчжурию.

По парижскому обычаю, многих мужчин сопровождали их «petits amis» (подружки), и от атмосферы старого «Максима», где когда-то разодетые парижские женщины со своими кавалерами подхватывали хором модные веселые куплеты, оставалась лишь та непринужденность, которая позволяла объединиться всем собравшимся в общем патристическом порыве.

— За твое здоровье!

— За наше!

— За армию!

— За Францию! — слышалось со всех сторон.

Опытные гарсоны не успевали менять опорожнявшиеся бутылки шампанского. Денег никто не жалел. Некоторые из этих гарсонов, уже ухажившие на фронт, принимали участие в общем празднике; гости подносили им полные стаканы искристого вина.

Широчайшие окна витрин и двери были настежь открыты, и скоро ресторан слился с улицей. По ней то и дело проходили кучки молодежи.

«A Berlin! A Berlin!» — подхватывали они в темп марша этот победный клич.

Больно было его слышать. Были ли эти люди только невежественны или просто обмануты? А быть может, они были счастливее меня, не озная всей тяжести предстоящей борьбы?

Те же трогательные картины прощания мы встречали и на больших бульварах: незнакомые люди крепко обнимали каждого встречного в военной форме, женщины не отрывали губ в последнем прощальном поцелуе с возлюбленными. Немногим из них было суждено вновь встретиться.

Ровно в 12 часов ночи по приказу военного губернатора «Максим», как и большинство шикарных ресторанов, закрыл свои двери на многие месяцы и годы.

Когда мы с Севастополю подходили к Опера, нас чуть не сбил с ног бежавший молодой человек без шляпы с перекошенным от ужаса лицом, повторявший только одно имя:

— Жорес! Жорес!..

За ним бежали другие кричавшие уже ясно:

— Жорес! Жорес убит!..

Цвигаться дальше оказалось невозможным. Толпа затрудила буль

вары, появилась полиция, и дипломатам в подобные минуты попадать в сутолоку не рекомендовалось.

Севастопуло решил пробраться окольным путем в центр посольского осведомления — редакцию газеты «Фигаро», а я поспешил в военное министерство, чтобы узнать подробности злодеяния. Мессими еще не вернулся из совета министров. Меня принял начальник его военного кабинета.

— Это не иначе как дело *des camelots du roi* (королевских молодчиков), но как это ужасно и как нежстати, — сказал генерал. — Можно опасаться народных беспорядков в день похорон, какой-нибудь новой провокации.

— Да, вы правы, — ответил я, — это незаменная утрата. Я лично знал Жореса. Он был замечательный человек, и я знаю, какое он имел влияние на народ. Не думаю, однако, что это прискорбное событие могло бы помешать мобилизации. Я только что был на бульварах. Патриотический подъем большой. *Ils sont tous bien partis*. (Они все хорошо начали поход.)

На следующий день, 1 августа, я услышал ту же фразу от самого Жоффра. Он чувствовал себя уверенным, или, как говорят французы, *il s'est bien mis en selle* (хорошо сел в седло).

«Военная машина, — доносил я тогда, — работает с точностью часового механизма».

Где-то, в самой глубине души, таялилась еще последняя искра надежды, что Германия, убедившись в образовании против нее двух фронтов, в последнюю минуту поколеблется. Вооруженные народы стояли друг против друга, не решаясь на первый удар. Жить в этой иллюзии пришлось недолго.

«Сегодня в 6 часов вечера Германия объявила нам войну», — прочел телеграмму из Петербурга сидевший против меня за своим громадным письменным столом Извольский и, забыв в эту минуту свой английский снобизм, перекрестился.

Я невольно взглянул на стоявшие рядом настольные часы. Обе стрелки выравнялись в одну длинную линию, указывая тоже 6 часов: они были поставлены по парижскому времени, и телеграмма из Петербурга бежала по проводам со скоростью движения земли.

В кабинете воцарилась тишина. Извольский, потеряв монокль и вынув из кармана батистовый платочек, утирал глаза. Развалившийся против меня в кресле долговязый Севастопуло неожиданно сложился перочинным ножиком и мрачно уставился в землю. Я последовал примеру Извольского и тоже перекрестился, как крестились в наше время русские люди, шедшие на войну. Война мне была хорошо знакома. Но испытания, выпадавшие на долю России и русского народа в мировую войну 1914—1918 годов, превосходили в моем сознании все, что можно было себе вообразить...

Первым нарушил тишину Извольский:

— Ну, Алексей Алексеевич, с этой минуты мы, дипломаты, должны смолчать. Первое слово за вами, военными. Нам остается лишь помогать.

Спустившись по крохотной внутренней винтовой лестнице в канцелярию, чтобы позвать руку коллегам — секретарям посольства, я первым увидел раскормленного на хороших княжеских хлебах молодого лицейста Орлова. Он приехал в Париж в отпуск к своему богатому дядюшке, и его привлекли к работе по шифрованию телеграмм. Он так усердно печатал на машинке, что в первую минуту и не заметил меня, но сидевший рядом с ним малюсенький блондинчик, атташе посольства, барон Х., порывисто подскочил ко мне и, заискивающе пожимая мне руку, сказал по-немецки:

— Gott sei Dank! Jetzt wird schon alles in Ordnung gehen! (Хвала богу! Теперь все будет в порядке!)

У меня помутилось в глазах.

— Вон! — мог я только крикнуть и ударил при этом так сильно кулаком по столу, что чернильница высоко подпрыгнула, а толстяк Орлов с трудом удержался на стуле.

Барон исчез, а я снова поднялся к послу.

— Вот что случилось,— доложил я.— Прошу немедленно убрать из посольства этого барончика.

— Я не имею права,— пробовал было успокоить меня Извольский,— надо запросить Петербург.

Но я не унимался:

— Если этот субъект перешагнет порог посольства, то завтра я покину свой пост и уеду в Россию.

Барона больше никто из нас не видал.

Этот урок оказался, однако, недостаточным для посольских сослуживцев. Не прошло и недели, как французский генеральный штаб просил меня принять меры для прекращения телефонных переговоров между русским и австро-венгерским посольством.

Стало совестно за представителей России. Я стремительно влетел через несколько минут в кабинет первого секретаря посольства, моего дальнего родственника Бориса Алексеевича Татищева. У него как раз собрались и другие коллеги — вторые секретари: граф Ребиндер, барон Унгерн-Штернберг и граф Людерс-Веймарн.

— Неужели все это правда? — спросил я.

Татищев побагровел от стыда.

— Чего ты горячишься, Алексей Алексеевич? — удивлялись остальные. — Ты же сам знаком с австрийцами. Они такие милые люди, а родня Австрии формально еще войны французам не объявила.

— Ну так слушайте,— не выдержал я в конце концов, — если вы не поймете того, что произошло, если не измените ваших чувств к России, то помните мои слова: наступит день, когда на ваше место придут другие, настоящие русские люди. И вот их словам французы будут верить, а в вас скоро извернутся.

— Ради бога! Что ты говоришь! Одумайся,— разволновался всегда невозмутимый Татищев.

На следующее утро в посольской церкви по случаю начала войны был назначен торжественный молебен.

Собралась вся русская колония, но вместо молебна она услышала отпевание: вышедший на амвон настоятель протоиерей Смирнов оказался до того расстроенным, что при первых же словах проповеди расплакался и далее продолжать не мог. Вышел большой конфуз. Смутившийся Извольский обратился ко мне и просил меня выйти на амвон и поправить дело. Я объяснил, что мрякам в церкви патристических речей произносить не положено. По моему совету, Извольский вышел на паперть и сам произнес несколько слов, покрытых криками «ура!» собравшихся на церковном дворе россиян.

* * *

Во французском генеральном штабе с внешней стороны не было заметно перемен. Все сидели в тех же комнатах и на тех же местах, на которых я заставал их предшественников еще восемь лет тому назад.

Проходя по безлюдным унылым коридорам, я видел на стенах все те же большие батальные акварели — желтоватые пески и холмы, изображавшие поля сражений при Альме и Инкермане. Это всякий раз неприятно напоминало мне о Крымской войне. Неужели у французов не хватало такта заменить эти картины? Всеобщая мобилизация еще как бы не достигла до этого военного святилища, — «мобилизация — это еще не война» — и поэтому все продолжали сидеть в штатских пиджаках.

Зато во внутреннюю организацию вторгся новый элемент: мой старый знакомый, краснощекый жизнерадостный толстяк полковник Бертелю был назначен, по настоянию Жоффра, помощником начальника штаба, или, по-русски, генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего.

— Зайдите к Бертелю, ему надо кое о чем с вами поговорить, — просто я вместе с тем загадочно сказал мне Жоффр.

Бертелю сидел уже в соседнем кабинете.

Не будучи избалован в русско-японскую войну работой нашего разведывательного отделения, я был поражен теми, хотя и неполными, сведениями о распределении германских сил, которые мне передавал тонкий генштабист еще до соприкосновения с ними. Согласно этим данным, против Франции развертывались восемнадцать корпусов и от семи до восьми кавалерийских дивизий, а против России четыре корпуса (I, V, XVII и XX). Не установленными считались четыре корпуса (II, VI, Гвардейский и Гвардейский резервный). Всем было, конечно, прекрасно известно о существовании Гвардейского корпуса, но «не установленным» он считался потому, что на этот день не поступило еще данных о том, куда он будет отправлен — против нас или против французов.

Из-за ненадежности агентского шифра я продолжал передавать подобные сведения дипломатическим шифром за подписью Извольского, что в ту пору было связано с вреднейшей проволочкой времени, а впоследствии могло ввести в заблуждение относительно действительной осведомленности в военных вопросах дипломатов царской России.

Свидание с Бертело положило начало моей основной деятельности в мировую войну: осведомления русской армии о противнике по данным Французской главной квартиры. С 1 августа 1914 года по 1 января 1918 года, то есть и спустя три месяца после Октябрьской революции, не проходило ни одного дня, чтобы за моей подписью не поступило в Россию информации. На войне нет ничего тягостнее, чем перерывы в осведомлении о противнике.

* * *

Дома меня ожидал сюрприз. Наш буфетчик, степенный Иван Петрович, доложил, что меня уже давно поджидает какой-то французский военный; и действительно, передо мной в приемной вытянулся солдат-территориал в красных штанах и потертой шинели старого образца (новая форма защитного цвета для территориальной армии еще не была заготовлена).

— Mon colonel (мой полковник), солдат первого класса, Лаборд Леон, является по случаю назначения вестовым к «моему полковнику», — четко отпартовал человек, которого я не сразу признал.

— Леон Лаборд, так это вы, мой милый граф! — спросил я.

— Ну, конечно, — ответил мне солдат. — Неужели вы забыли наш вечер у Муммов два года тому назад?

И тотчас перед моими глазами встала одна из картинок беззаботного светского Парижа.

Сижу я как-то окруженный парижанками после обеда у хозяина одной из лучших марок французского шампанского — «Мумм».

Против меня, грея спину у большого камина, стоит во фраке, в белом жилете стройный блондин с голубыми глазами и упрямым подбородком — граф Лаборд.

— Что же, полковник, — обращается он ко мне, — когда же война?

— Какая там война, — бравирую я. — Все это только газетные утки.

— Полно, полно. Вы, конечно, многое знаете, — щебечут дамы, — но сказать нам не хотите. Вы ведь в случае войны останетесь с нами, не правда ли?

— А меня возьмете своим вестовым, — шутит Лаборд. — Мы с вами сверстники. Действительной службе в войсках я не подлежу, а для вас могу быть полезен. Вы увидите, как мы хорошо устроимся.

Лаборд пристал ко мне, как человек, твердо знающий, чего он хочет. На следующее утро он позвонил по телефону и, напомнив обещание, просил замолвить о нем слово в генеральном штабе. Отделаться было невозможно, и я скорее для проформы, в шутку, рассказал об этом случае при свидании начальнику 2-го бюро. К великому моему изумлению, полковник обещал передать пожелание Лаборда в инспекцию пехоты, а я совершенно об этом позабыл.

Вот такая случайность доставила мне ценного и преданного сотрудника.

Фактическое начало войны не изменило атмосферы посольства. Там попрежнему знакомили меня с бесчисленными телеграммами — копиями донесений наших послов и посланников в Петербург.

Самыми длинными были телеграммы русского посла в Лондоне графа Бенкендорфа. Уроженец балтийских провинций, этот несметно богатый старик провел чуть ли не всю жизнь в Лондоне и своим уравновешенным спокойствием представлял полную противоположность Извольскому. Бенкендорф считался незаменимым для дипломатических отношений с Англией: ее государственный и политический строй требовал особых качеств от посла. Между прочим, все свои депеши он составлял на французском языке: по-русски он писал с трудом и получил когда-то «высочайшее» разрешение не пользоваться родным языком даже для сношений с собственной страной.

С точностью фонографической пластинки Бенкендорф передавал в своих телеграммах бесконечные переговоры с Греем:

«Я просил Грея... Грей ответил... Я возразил Грею...» и т. д.

Эти донесения напоминали нам о том, что Англия была отделена от нервного континента и напряженной парижской атмосферы хоть и не широким, но очень глубоким проливом.

Сцена, разыгравшаяся передо мной во французском генеральном штабе через несколько часов после объявления Германией войны Франции, была в этом отношении особенно характерна.

Постучав и приоткрыв дверь в кабинет начальника 2-го бюро, полковника Дюпона, я заметил сидевшего ко мне спиной английского коллеги, полковника Ярд-Буллера — сухого, молчаливого и на вид весьма недалекого джентльмена. Не жалея мешать беседе, я собирался уже скрыться за дверью, но Дюпон настойчиво просил меня войти.

— Вы не будете здесь лишним. Вот рассудите, как мне понимать молчание вашего коллеги? Он и сейчас еще не хочет сказать, можем ли мы рассчитывать на вступление его страны в войну.

Любезно со мной поздоровавшись, Ярд-Буллер продолжал упорно молчать, а на все мои расспросы вежливо отделывался неполучением инструкций от своего правительства.

Невесела была наша беседа с Дюпоном после ухода моего английского коллеги. Я никогда не забывал тех трех томительных дней, которые отделяли объявление войны с Германией от вступления в войну Великобритании.

Так велико было морское и экономическое могущество Англии, что со вступлением в войну на нашей стороне вся Германия воскликнула в один голос: «Gott, strafe England» (Боже, покарай Англию!)

Кроме дипломатической работы, с первого же дня мобилизации я должен был заботиться о судьбе русских военнообязанных во Франции.

Двор посольства неожиданно наполнился толпой соотечественников, настойчиво требовавших оформления их отношений к военной службе, а вскоре и двор стал тесен, и люди всех возрастов и состояний стали, по требованию французской полиции, в очередь, растянувшуюся до самого Сан-Жерменского бульвара. С трудом удавалось пробиться до дверей посольской канцелярии. В открытые окна кабинета Извольского, где обсуждались вопросы войны или мира, доносился гул нетерпеливой толпы.

Вначале я был уверен, что вопрос о призыве под знамена, подобно другим личным делам иностранцев за границей, касался только консульских властей, тем более что в инструкции для военных агентов об этом вовсе не упоминалось. На деле же оказалось, что наш генеральный консул, престарелый Карцов, как и все посольские коллеги, считал ответ-

ответственным за судьбу русских граждан во Франции именно меня — военного агента. Наши граждане без оформления официальными властями их отношения к военной службе могли быть отправленными во французский концентрационный лагерь.

Когда я вышел в первый раз к толпе, из нее уже раздавались крики негодования за долгое бесплодное ожидание и прямые угрозы по адресу русских представителей. Особенно выделялся своим громким голосом и громадным ростом молодой брюнет, заявлявший о своем желании быть отправленным немедленно на фронт. Я не помню его фамилии, но не забыл его трагической судьбы. Будучи зачислен, как и большинство русских, в Иностранный легион, он после первых недель войны стал во главе соотечественников, возмущившихся против бесчеловечного к ним отношения со стороны французских унтер-офицеров, привыкших иметь дело только с теми подонками общества, которыми в мирное время комплектовался Иностранный легион. Многие вступавшие на службу в Иностранный легион меняли свою фамилию, как бы отрекаясь от своего прошлого, точь-в-точь как при поступлении в монастыри люди меняли свои имена. Нравы в легионе были особые: процветала порнография, пьянка, разврат, но надо всем довлела железная дисциплина и муштра, поддерживаемая не только изощренными методами наказания, но и хорошими туманами кадровых сверхсрочно служащих унтер-офицеров.

В течение войны не проходило ни одного кровопролитного сражения, в которое французское командование не бросало бы легион. Его печего было жалеть. Много раз сменил он свой состав и, несмотря на это, берег традиции своей непревзойденной боевой дисциплинированности. В результате после войны эта «презренная» часть проходила на парадах не в хвосте, а в голове всех других полков, первой среди первых заслуживших высшую боевую награду — красный аксельбант на правом плече.

Суровая военная школа перевоспитывала во Франции людей, и лучшими войсками на войне показали себя также полки пограничного XX корпуса и зуавы: они комплектовались преимущественно из парижан или, что то же, из самых необузданных сорви-голов.

Возмущение русских легионеров, людей преимущественно интеллигентных, царившим в легионе порядкам вполне объяснимо, но, к сожалению, оно вылилось в кровавый бунт против командования, да к тому же в момент, когда эта часть занимала передовые окопы. Улучив минуту, русские проникли в унтер-офицерскую землянку и зверски избили своих угнетателей. Расправа была жестокая: полевой суд приговорил бунтовщиков к расстрелу.

На следующее утро, получив об этом известие во французской главной квартире, я бросился к главнокомандующему, объяснил ему, что причина преступлений лежит в непонимании русскими французского языка, французских нравов и добился помилования. Увы! Приговор к этому времени уже был приведен в исполнение.

Главным виновником определения русских в Иностранный легион я всегда считал самого Мессими. Он знал «порядки», царившие в легионе и тщательно скрывавшиеся от иностранных дипломатических представителей. Для меня же, не посвященного в это, предложенный военным министром выход из положения представлялся в день мобилизации единственным спасительным якорем, ибо доступ в регулярные войсковые части для иностранцев был строго воспрещен.

Принимая в свое ведение во дворе посольства неорганизованную и возмущенную толпу, я не предполагал встретить в ней столь разнообразные и даже враждебные друг другу элементы. В первую очередь я вызвал к себе нескольких офицеров, находившихся случайно проездом или в отпуску в Париже. Они настаивали на немедленной отправке их в Россию, но все сухопутные границы оказались уже закрытыми, и до

уступления Англии в войну выезд морем был невозможен. Я попросил офицеров потерпеть и помочь мне в работе по регистрации соотечественников. Через несколько часов двор посольства превратился в своеобразное воинское присутствие: за столиками сидели мои импровизированные помощники и ставили наскоро изготовленные печати военного агента на представляемые документы.

— У меня паспорта нет!

— Я никогда его не получал!

— Я должен переговорить с самим военным агентом.— таинственно заявляет третий, еще не старый гражданин, сохраняющий под штатским пиджаком военную выправку. Он оказывается одним из офицеров саперного батальона, поднявших восстание в 1905 году и бежавших за границу. Теперь война призывает его вернуться в свою армию. Приходится принимать решение.

— Я эмигрант, враг царского режима,— заявляет другой.— Никаких документов у меня нет, но я желаю защищать свою родину от проклятых немцев.

Таких приходится уговаривать не возвращаться в Россию. Некоторые из эмигрантов-патриотов не послушали моего совета и были арестованы русскими жандармами при переезде через финляндскую границу.

— Я беглый матрос из Кронштадта!

— Я из Севастополя!

— Я бежал от еврейского погрома из Бердичева!

В конце концов я узнал тот Париж, о котором имел представление только понаслышке; я познакомился с бесчисленными обитателями пятого парижского района, почти сплошь заселенного русскими евреями — фуражечниками, я увидел впервые людей, для которых царская Россия была не матерью, а злой мачехой.

Под шум толпы и постукивание печатей пришлось принимать самостоятельно ответственные решения.

Посол и генеральный консул давно умыли руки, и я послал следующую телеграмму в Главное управление генерального штаба в Петербург:

«Признал необходимым разрешить всем русским гражданам и в том числе политическим эмигрантам вступать по моей рекомендации на службу во французскую армию. Прошу утверждения».

Оно последовало, как обычно, лишь после того, как дело было вполне закончено.

В те дни я считал, что перед лицом общей опасности должны смолкнуть внутренние политические распри, но, конечно, не предполагал, что мое решение в отношении революционной эмиграции облегчит мне связи с ее представителями в дни февральской революции, а на старость дней доставит удовольствие встретить среди советских товарищей старых парижских знакомых.

Я всегда ценил свой пост в Париже из-за того разнообразия, которое характеризовало работу военного агента, и той самостоятельности, которую она предоставляла. Однако последние пережитые дни оставили после себя впечатление какого-то тяжелого кошмара. Тщетно старался я урегулировать часы работы, сосредоточить мысли, не разбрасываться. Как дипломаты, так и военные представители за границей оказывались в положении жалких щенок, втянутых в бурный водоворот исторических событий. Это чувство полной беспомощности вызывало потребность связи со своей родиной или хотя бы с родной семьей. Но я был предоставлен только самому себе. От начальства ни одной директивы, ни одного осведомления, а любящая душа где-то далеко-далеко, отрезанная закрытием всех европейских границ.

Единственным нравственным удовлетворением являлось выступление против общего врага наших союзников-французов и потому-то 3 августа,

в день объявления войны Германией, я почувствовал, что гора свалилась с плеч: Россия не оказалась одинокой.

Относительная слабость французской армии, ее техническая отсталость — все это искупалось в этот день общим патриотическим подъемом нации.

«Да здравствуют кирасиры! — Да здравствует армия!» — услышал я под вечер из окон моей канцелярии.

То выступал в поход 1-й кирасирский полк, казармы которого располагались как раз по соседству. Я выглянул и не поверил своим глазам: в 1914 году, через десять лет после русско-японской войны, на откормленных конях ехали стройные всадники, закованные в средневековые кирасы, покрытые для маскировки желтыми парусиновыми чехлами! Такие же чехлы скрывали и наполеоновские каски со стальным гребнем, из-под которого спускался на спину всадника длинный черный хвост из конского волоса. Судьба этого несчастного полка, была, конечно, predetermined. После тяжких потерь он был превращен в пехоту, но, сохраняя свои боевые традиции, поддержал честь полка, атакуя немцев с карабинами наперевес в кровопролитных боях под Ипром.

Кирасиры прошли, служебные дела закончены, и около десяти часов вечера я решил, наконец, раздеться и с чувством исполненного долга заснуть.

Большое створчатое окно моей спальни выходило на парк Марсова поля, где над низенькими деревьями и декоративным кустарником высилась черная громада Эйфелевой башни. Ночь была особенно тихая, безлунная, и вершина башни уходила, казалось, куда-то в небо.

Тра-та-та-та-та — раздался вдруг совсем близко зловеющий треск старого манжурского знакомого пулемета. Со времен Мукдена мне не приходилось его слышать.

Он работал с одной из площадок Эйфелевой башни, но по какой цели? Где же враг? На земле все спокойно, — очевидно, враг был в воздухе.

Накинув снова пиджак, я спустился на пустынную улицу и зашагал по направлению к Сене, рассчитывая найти там более широкий кругозор и выяснить причину продолжавшейся ночной стрельбы. Под воротами соседних домов столпились растерянные жильцы верхних этажей.

С набережной открылась неповторимая картина: на черном небе выступала светложелтая масса формы толстой сигары — ципполин, под которой можно было различить даже кабины экипажа — настолько ярко это чудовище было освещено скрещивающимися лучами французских прожекторов. Оно плавно и не быстро двигалось в восточном направлении, преследуемое белыми облачками французских прапирозей. То вела огонь полевая батарея, расположившаяся на зеленом пригорке Трокадеро. Казалось, еще вчера проезжал я на утренней верховой прогулке мимо этих столь знакомых мест.

«Началось!» — подумал я, как когда-то, услышав канонаду под Ляном-ном.

Утром я уже оделся в военную форму, с тем чтобы расстаться с ней только после окончания мировой войны.

Глава вторая

НАЧАЛО МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Отъезд мой в главную квартиру состоялся 9 августа 1914 года.

Основной документ франко-русского союза — протокол совещания начальников генеральных штабов — предусматривал, что связь между союзными армиями при возникновении войны будет осуществляться через военных агентов, для чего французский военный атташе в России будет состоять при ставке главнокомандующего, а русский — при французской главной квартире.

В день, назначенный для отъезда из Парижа, я встал рано и особенно тяжело почувствовал свое одиночество в давно опустевшей квартире. Кому было меня проводить, некому благословить на ратное дело, как когда-то провожали и благословляли на родной стороне перед отъездом манчжурскую войну.

Укладываю самое необходимое для жизни и работы в небольшой одолговатый ящик — французскую офицерскую кантину. Ящик сбит из убух прочных досок, окрашен в серую краску, а на крышке красными знами написано: «Attaché militaire de Russie» (русский военный атташе).

Другого багажа брать нельзя. Разстаюсь на долгие годы со штатским одеробом и облачаюсь в походную форму — высокие сапоги, защитный гель, походные ремни с полевой сумкой, в которую приходится сложить агентский шифр, благо он не громоздок. На грудь прицепляю только ордена: Владимира с мечами, полученный за Мукден, и офицерский ст Почетного легиона — последний как знак внимания к французам. Обрядные аксельбантов, присвоенных офицерам генерального штаба, старой манчжурской традиции не надеваю.

Выходя из квартиры, не знаю, на какой срок покидаю ставший уже меня родным Париж. Забираю наспех в посольстве, чтобы прогнаться с Извольским. Он крайне удручен моим отъездом.

— Что же я буду без вас делать? Не могу же я остаться без моего сотрудника!

— Я об этом подумал, — отвечал я, — помощнику моему, ротмистру губатову, я, конечно, ничего поручить не могу, — он еще совсем мальчик, и притом ничего в военных делах несмыслящий. Ко мне, однако, предложением услуг явился полковник Ознобишин. Он, правда, от всего дела отстал, — в Париже обслуживал великих князей, обленился, все же когда-то кончил академию, хорошо знает Францию и французам.

Извольский, как обычно, веселил:

— Ознобишин? Я знаю только, что он хорошо исполняет цыганские тансы.

— Он получил от меня все инструкции, я оставляю ему военный шифр, и он будет передавать мне все вопросы и пожелания вашего превосходительства, — успокаивал я разволновавшегося посла.

Последовавший через несколько дней после этого разговора молниеносный разгром Бельгии вызвал полную растерянность в нашем посольстве: Извольский вызвал к себе Ознобишина.

— Скажите, полковник, чем вы объясняете такую быструю сдачу бельгийских крепостей? Пуанкаре уверяет, что у немцев очень большие силы, но для донесения мне необходимо дать какие-нибудь более подробные сведения. Какие же это пушки? — допрашивал посол.

— Так точно, ваше превосходительство, у немцев очень большие пушки, — глубоко вздохнув, ответил дородный, хорошо откормленный полковник, подтягивая брюшко и от волнения сидя почтительно уже на моем кончике стула.

— Вот каков ваш импровизированный помощник! — с возмущением возмущался мне впоследствии Извольский.

В два часа мне надлежало явиться во внутренний двор Cour 'de l'Horloge военного министерства, где меня должен был ожидать автомобиль, чтобы отвезти в главную квартиру. Местоположение ее держалось в секрете, и мне его не сообщали. Это недозерие показалось мне обидным: в Манчжурии всякий офицер знал, где находится Куропаткин!

Казенных легковых машин во французской армии еще не существовало, и для командного состава были реквизированы частные, а владельцев обращены в шоферов. В первые же дни войны хорошие машины быстро разобраны, а мне досталась какая-то крохотная, совсем нищая, открытая машина, принадлежавшая небогатому коммерсанту и совершенно несоответствующая моему положению представителя русской армии. Проводниками оказались жандармы с карабинами; они расселись по уютному небольшому грузовичку, на который стали грузить почту.

После довольно продолжительного и раздражавшего меня ожидания,

мы, наконец, двинулись в путь, и я рассчитывал, быть может в последний раз, взглянуть на еще недавно столь оживленный Париж.

С первых же дней войны он, правда, опустел: такси не работали из-за экономии горючего, а пассажирские автобусы были предназначены для подвоза на фронт продовольствия. Озна их были заменены сетками, а к полкам приделаны большие крюки для подвески мясных туш. Жизнь беспечной и богатой страны перестраивалась на военный лад. Я должен был, впрочем, это заметить еще в первый день войны, когда вместо любимого слоенного «круассана» мне подали сероватый ситный хлеб.

Мне хотелось проехать через центр города еще и потому, что через него шел путь в Порт-Сен-Дени в северной части города. Развертывание германских армий и наступление их через Бельгию к этому дню уже определилось, и потому я решил, что лучшим местом для расположения главной квартиры должен быть город Амьен. Отсюда, как мне казалось, можно было удобнее всего направлять контрудары как в северном, так и в восточном направлениях, во фланг наступающим из Бельгии германским армиям. Амьен был кроме того одним из важнейших железнодорожных узлов Франции, достаточно при этом удаленным от границы. Меня таким образом тянуло на север, а вместо этого машина с жандармами, не переезжая на правый берег Сены, покатила прямо к восточному выезду из города — Порт де Вансен.

Вот и Венсенский лес, когда-то самое популярное место для отдыхающих парижан, вот и зеленые скаты Венсенского форта, в глубоких рвах которого были расстреляны еще несколько дней тому назад сотни профессиональных взломщиков, воров и хулиганов; полиция давно была с ними знакома и использовала осадное положение для очищения столицы от подобных элементов, особенно опасных в военное время.

У самых ворот города, предназначенных в мирное время для взимания городского налога с горючего, построен из добротных дюймовых досок деревянный палисад с бойницами. Восемнадцать лет тому назад я вычерчивал на уроках фортификации в Пажеском корпусе подобные укрепления, но нам еще тогда объясняли, что палисады из дерева с введением на вооружение современных винтовок потеряли свое значение.

У ворот — первая остановка для проверки документов, остановка вполне «безопасная», так как бородач-территориал в форме старого образца при просмотре держит ружье у ноги. Но чем дальше мы удаляемся от города, тем эти остановки становятся опаснее: в каждом городе, селе, а особенно в маленькой деревушке, перед воздвигнутыми поперек дороги баррикадами из телег, столов и стульев стоит охрана, преимущественно старики, кто с винтовкой, а кто просто с охотничьей дробовиком. При просмотре приходится сидеть под направленным на тебя дулом заряженного ружья. Их смущает моя военная форма, а в особенности погоны и фуражка: они принимают их за германские, и меня спасает только орден Почетного легиона. Все твердо убеждены, что какие-то вражеские машины прорвались через границу и носятся по всей стране. Каждый хочет защитить свой родной угол.

Мой шофер возмущался этим непочтительным ко мне отношением, а я лишний раз оценил высокоразвитое чувство патриотизма у французов.

«Ах, кабы у нас так относились к общему делу обороны», — думал я тогда, не мечтая, что доживу до тех дней, когда Революция перекуёт наше население в новых, советских людей.

Сквозь облака пыли, подымавшиеся ехавшей впереди машиной (гудро-нированных дорог в ту пору еще не существовало), я не переставал любоваться разнообразием сменявшихся пейзажей нарядного цветущего центра Франции — провинции Иль де Франс. Влево от дороги расстилась живописная долина Марны, а прямо ласкающие взор роши и луга воскрешали картины Ватто, Коро и Робера. Оскорбляли глаз, как, впрочем, во всех европейских странах, торчавшие то тут, то там вдоль дороги безобразные щиты — рекламы торговых фирм, изображавшие то голого смеющегося ребенка с намыленной головой, то красноречивую рожу монаха за бутылкой ликера. Но и они в этот день не казались столь пошлы-

ми. Мне хорошо были знакомы разрушения, чинимые войной, и больно было подумать, что всему этому красивому миру, всем этим рощицам и лужайкам, деревушкам и древним замкам суждено быть может погибнуть под грубым сапогом германской солдатни.

Чем дальше мы продвигались на восток, чем больше переезжали перекрестков, тем сильнее хотелось приказать шоферу свернуть на север. Меня тянуло к нему точь-в-точь, как стрелку в полевом компасе. Скоро и ласкающая природа сменилась выжженными палющим солнцем полями.

Жара продолжала стоять невыносимая. Мелькают скудные виноградники Шампани, цветущий Эперне, неприветливый Шалон, а мы все продолжаем путь в восточной границе. Мне ясно, что на ней-то и развертывается французская армия. В моем понимании это должно было привести к неминуемой катастрофе, настолько я был убежден в наступлении главных германских сил через Арденны на Париж.

День склонялся к вечеру, когда мы неожиданно свернули с большой дороги и, пересекая ярко-зеленый луг, обсаженный широчайшими пирамидальными тополями, въехали в небольшой городок Витри ле Франсуа. Нас остановили только на центральной площади, заявив, что путешествие окончено: мы находились уже в расположении французской главной квартиры.

Первым, что привлекло мое внимание, были пулеметы, установленные на одной из соборных башен (зениток в то время не существовало). Я не знал тогда еще немцев, я долго не мог поверить всем возводившимся на них обвинениям в варварском способе ведения войны. Наше поколение было воспитано на уважении к немецкой культуре, и потому рассказы стариков-французов, участников войны 1870 года, о диких нравах германских улан мы были склонны принимать за жалобы побежденных на победителей. Вот почему мне казалось, что бомбардировки немцами церквей как наблюдательных пунктов объяснялись тактическими требованиями и что пулеметы на соборе являлись как раз оправданием для подобной стрельбы. Но прошло немного времени, и я мог убедиться, что разрушение памятников входит в доктрину германского империализма, а разницы между разрушением и грабежом для германской армии тоже не существует.

Через несколько минут, получив в комендатуре свой *Billet de logement* (билет на квартиру) и пройдя по улице, я уже постиг ту беспросветную скуку, на которую меня обрекала служба при французской главной квартире. Никто не мог себе объяснить, в силу каких соображений Жоффр упорно выбирал для своего штаба только небольшие и самые захудалые города, не в пример немцам, которые, по дошедшим до нас слухам, располагались в самых живописных замках. Вильгельмовские генералы грабили их до тла. Внешняя скромность Жоффра хорошо скрывала внутреннее честолюбие, и он ее, пожалуй, подчеркивал в написание другим генералам, как пример республиканского демократизма.

Витри ле Франсуа был типичным провинциальным французским городком. Центральная соборная площадь оживала только в течение двух часов воскресной обедни и в базарный день. Тут же, вблизи площади, — мэрия, двухэтажный каменный дом с развевающимися национальным флагом на крыше. Двери этого дома с хорошо начищенными медными ручками открываются редко, главным образом для свадебных кортежей. Внутри он пахнет не то ладаном, не то чернилами.

Неотъемлемой принадлежностью города является так называемый бульвар, состоящий из двух рядов невысоких, но чрезвычайно толстых черных стволов лип. Верушка их предстает безобразные наросты в виде кулаков, образовавшихся от многолетней ежегодной осенней стрижки ветвей. Весной эти черные нелепые столбы покрываются сперва красными молодыми побегами, а затем светлозелеными куполами нежной листвы. Они не всегда успевают даже зацвести и не дают почти никакой тени, но французы особенно ими гордятся.

— *Qu'ils sont beaux nos tilleuls!* (Как хороши наши липы!) — говорят

они. Кроме этого бульвара, в городе нет зелени: «La ville se n'est pas la campagne!» (город — это тебе не деревня!).

Вся жизнь — радости и печали, любовь и ненависть — все в провинциальном городке должно быть тщательно прикрыто за вековыми каменными стенами домов и наглухо закрытыми серыми ставнями. Окна открываются только для утренней уборки квартиры и для проветривания летом перед закатом солнца.

По улицам можно гулять, но нигде нельзя присесть. Это не «распущенный» Париж с его скамеечками для влюбленных парочек.

Провинциалы ложатся и встают с петухами. На первый взгляд трудно разгадать, чем они заняты целый день. Мужчин можно встретить только вечером, каждого в его излюбленном закопченном от времени «бистро», за бокалом кофе и рюмочкой коньяку.

Поселен я был у местного нотариуса. Он отвел для меня лучшую комнату с роскошной кроватью, покрытой розовым шелковым пуховиком. Все это так мало было похоже на войну! О ней напоминал только сам хозяин: каждый вечер он терпеливо ждал моего возвращения со службы, чтобы узнать новости с фронта. Газетам даже он, провинциал, уже перестал верить.

— Скажите, господин полковник, — умоляюще спрашивал мой хозяин, намекая на немцев, — как вы думаете, придут «они» сюда?

Голос его при этом ото дня в день все более дрожал: все его клиенты ушли в армию, дела остановились, и он уже чувствовал себя глубоко несчастным. Зато по утрам я получал совершенно обратное впечатление от его тестя, небольшого сухого старичка с седой бородкой клинышком по моде Наполеона III.

— Пусть придут! — заявляет он. — Пусть придут! Я им покажу, что это для них не семьдесятый год!

Не прошло и десяти дней, как в одном из таких же городков, далеко к югу от Витри-ле-Франсуа, я, проходя по главной улице, увидел мчавшийся мне навстречу небольшой двухколесный шарабанчик.

— Куда вы, куда вы? — закричал я, узнав в седоках нотариуса и его тестя.

— Я должен был спасти дела моих клиентов, — старался объяснить свое бегство нотариус.

— А я, — сказал старичок, — уехал только из-за необходимости: мой мясник уехал, пришлось и мне уехать.

Мои друзья мчались на юг, не предвещая конца своего путешествия.

Гнетущая тишина провинциального городка приходилась как нельзя больше по вкусу той мирной обители, которую представила из себя французская главная квартира.

Жоффри жил в небольшом домике в три комнаты. При командующем состояло только два *officiers d'ordonnance* (адъютанта). Один из них, престарелый капитан Тузелье, взятый из запаса, кроме обязанностей службы, заведывал и несложным хозяйством главнокомандующего. Обслуживающий персонал Жоффри тоже был немногочислен: два вестовых и два шофера, из которых старший — все тот же маркиз Альбюфетта; забыв про Жокей-клуб, он исправно мне козыряет, ожидая во дворе: права входа внутрь здания он не имел.

С маленьким окружением главнокомандующего я познакомился тотчас после приезда, получив приглашение к обеду. Это был высший знак почета, которого я удостоился только два-три раза за всю войну. С скромный бюджет главнокомандующего не позволял никаких приемов. В крохотной столовой был накрыт стол на шесть приборов: кроме начальника штаба, совершенно бесцветного генерала Беллена, и его помощника, толстяка Бертело, постоянным гостем считался только капитан Тардьё мой старый парижский знакомый. Форма альпийского стрелка с беретом придавала ему довольно воинственный вид. За ним ухаживали как за единственным представителем прессы, да к тому же и депутатом. Беседа, лишенная всякого живого интереса, прерывалась минутами гробового молчания. Много воды утекло, пока я сам постиг, что эта скука представляет на войне великую силу — результат внутренней дисциплиниро-

ванности, силу, отодвигающую на задний план личные дела, затирающую в прочный сейф все военные вопросы и не допускающую засорение ума праздною болтовней и, что самое опасное, слухами и сплетнями.

В своем скромном спокойствии французская главная квартира своеобразно отражала героическое настроение этого периода войны во Франции. Личные интересы были оставлены там, где-то далеко в тылу.

В работе самого штаба также ничто не выдавало внешних событий и внутренних переживаний. Ни беготни, ни суеты, ни бесплодных ожиданий начальства. Никто мне не сказал, что вход куда бы то ни было, кроме 2-го разведывательного бюро, мне вострещен, нигде не было немецкой надписи «Verboten» или русской «Вход запрещен», но в том-то и состоит секрет французов, что одним подчеркнуто-вежливым приветствием, одним банальным вопросом о здоровье или погоде они умеют дать понять, что посетителю в комнате оставаться не следует. Отказ от приема облетается, кроме того, строгим соблюдением общепринятого правила — не входить в помещение не постучавшись.

В первые дни я оказался единственным иностранцем в этом своеобразном французском мирке, отделенном от всего окружающего мира невидимой, но непроницаемой стеной.

Бюро штаба располагалось в двух больших зданиях образцовой школы, соединенных стеклянной галлереей. Она-то и была отведена для занятий русскому военному атташе и представителю прессы. Целыми днями мы сидели с Тардье друг против друга за большим столом, умирая не только от скуки, но и от жары. Ни писем, ни частных телеграмм из главной квартиры не принимали, это было нам объявлено в первый же день приезда. Утром разрешалась верховая прогулка, но только на зеленом лугу на окраине города. Я пытался было через несколько дней поехать на фронт или хотя бы осмотреть окрестности, но для этого оказалось необходимым испросить разрешение самого Жоффра, а об этом никто не смел заикаться.

Порядок дня по своей строгой регламентации напоминал мне монастырь или кадетский корпус. Подъем в пять часов утра, черный, очень скверный кофе (не зная порядков, в первый день я так и остался без кофе) с куском серого хлеба, выдававшимся в самом помещении школы. В полдень — перерыв на завтрак в одном из городских ресторанов-столовок «Рорottes», там же в шесть часов столь же скверный обед, а в десять часов вечера — сигнал для всех, кроме ночной смены.

— Все это возмутительно, вы должны протестовать! — негодовал Лабюрд, но я улыбался и молчал. Если в мирное время надо было держать французов «в порядке», не допуская даже в мелочах умаления собственного положения как представительницы союзной армии, то в военное время надо было ограничиваться только тем, что может принести пользу собственной армии и общему делу.

Я хотел доказать, что мною руководят исключительно интересы службы, что мне можно доверять, как «строгому исполнителю» всех правил, установленных военными законами (таков был текст первого параграфа русского дисциплинарного устава).

Первые же недели, проведенные во французском военном «монастыре», создали для меня то положение, которое не могли поколебать впоследствии ни парижские, ни петербургские интриги.

Строгая регламентация в работе всех органов французской главной квартиры распространялась и на мое служебное положение: я, по понятиям генерала Жоффра, должен был сообщать в Россию главным образом сведения о противнике, но и эти сведения передавались мне французами лишь после их «окончательной и документальной» обработки: в этом французская главная квартира не хотела вводить в заблуждение нашу далекую Ставку. Так думал Жоффр, так подкашивал здравый смысл, но Огеньвар (Управление генерал-квартирмейстера русского генерального штаба) продолжал и в военное время считать меня подчиненным только ему, требовал отправки всех телеграмм в его адрес в Петроград. Там они пролеживали два-три дня для расшифровки и перешифровки (в многомиллионной русской армии шифровальщиков найти было трудно)

и в конце концов сама ставка получала подчас самые срочные сведения только тогда, когда они теряли свое значение. Обидно было сознавать, что причиной задержки в осведомлении являлась исключительно напая бюрократическая неорганизованность, тогда как никаких технических затруднений по передаче телеграмм не встречалось. Не только башня Эйфеля для радиопередач, но и датский кабель, связывавший Россию с Францией, минуя Германию, работал бесперебойно.

Получение мною сведений о противнике облегчалось тем, что во главе разведывательного бюро в течение всей войны стоял мой старый парижский знакомый, полковник Дюпон. Угрюмый, неразговорчивый и невзрачный на вид полковник-артиллерист с пенсне на носу и вечной трубкой в зубах, он производил внешне впечатление вялого лентяя, а на самом деле был одним из лучших и наиболее культурных работников генерального штаба. Полковник Дюпон «умел читать» (это дано не всякому), много размышлял, и хотя редко, но зато кратко и ясно писал. Его бисерный почерк, которым он писал почти без поправок, отражал дисциплинированность его мысли — результат долгой работы над самим собой. Такой же работы он требовал и от подчиненных; он никогда не горячился, не выходил из себя, но все его боялись. Я сохранил о нем благодарное воспоминание за то, что многому от него научился.

Перед Дюпоном висела большая стенная карта театра военных действий.

Карта французского генерального штаба всегда представляла предмет моего восхищения и зависти.

Военный человек, будь то главнокомандующий или скромный разведчик, поставив перед собой задачу, вырабатывает план, который должен быть пронизан насквозь основной идеей маневра. При этом, однако, для принятия окончательного решения он должен уметь «читать» карту так, чтобы она становилась для него живой картиной местности и даже природы. В противном случае его план будет представлять мертвую и в большинстве случаев невыполнимую схему. Одноцветные русские и германские карты, несмотря на многолетнюю работу по ним, живой картины мне не давали; их приходилось «поднимать» цветными карандашами: синими — реки и ручьи, зелеными — леса, коричневыми дороги и т. д.

Карта, висевшая перед Дюпоном, как хорошая картина, запечатлелась в памяти навсегда: слишком много было пережито над ней тяжелых дней. У верхнего северного края испещренная черной сетью железных дорог — Бельгия. Как два часовых на ее юго-восточной границе стоят две современных крепости — Льеж и Намюр. Где-то на отлете, к северо-западу, запирает устье главной бельгийской реки Эско Анвер (по-русски и по-немецки — Антверпен), это чудо крепостной техники и военная гордость маленького королевства. Его отделяет от Франции буро-зеленая полоса лесистых Арденн, просеченных только двумя-тремя красными жилами — будущими путями вторжения германских армий. Они должны разбиться о «неприступную», по мнению французов, современную крепость Мобеж, которая оседлала главную двухколейную железную дорогу на Париж. Весь театр будущих сражений прорезан в восточной части двумя притоками Рейна — Маасом и Мозелем, текущими в северном направлении, и притоками Сены — Уазой, Эн и Марной, текущими в западном направлении. Оба бассейна разделены буроватой полоской Аргонских возвышенностей.

Восточный край карты, окаймленный широкой светлозеленой долиной Рейна, представлял потерянные французами в 70-м году дорогие их сердцу Эльзас и Лотарингию. Этот район рассматривался нашими союзниками как плацдарм для вторжения в Германию, как исторический и естественный барьер против нашествия немецких полчищ.

Все это не могло служить оправданием для пренебрежения французским командованием Северного фронта.

Современная линия Мажино была представлена в ту пору цепью устарелых крепостей: на севере — Верден, а далее Туль, Эпиналь, Вель-

фор, запиравшие проходы живописных Вогезов до черневших на карте Дюпона неприступных швейцарских Альп.

Как канва паутины, стягивающаяся к науку, со всех сторон стягивалась к Парижу сеть французских железных дорог. (Эта особенность потребовала, между прочим, впоследствии больших усилий от железнодорожных обществ для организации параллельных к фронту магистралей, необходимых для войсковых перебросок.)

★ ★ ★

В первый же день моего приезда, 9 августа, в Главную квартиру общее положение на Западном фронте (то есть французском, в отличие от Восточного, как было принято именовать русский фронт), мне уже представлялось тяжелым: передовые германские корпуса вторглись в Бельгию, первоклассная крепость Льеж пала, и только несколько фортов еще геройски держались под огнем тяжелой германской артиллерии. Прибывший из Брюсселя для связи мой бельгийский коллега тяжело вздыхал, жалуясь на отсутствие поддержки со стороны французов и англичан. Первой моей заботой было уточнить номера германских корпусов, которые, по данным французской главной квартиры, находились на каждом из двух фронтов, а затем, выполняя возложенную на меня задачу, доносить о перебросках неприятельских сил с французского на русский фронт.

Вопрос этот представлялся настолько серьезным, что теперь я могу писать о нем, не полагаясь только на одну память, а основывать свои суждения на тех документах, которые мне удалось вывезти после революции из Франции и сдать на хранение в Исторический архив нашей Красной Армии.

Задача моя облегчена, кроме того, тем, что мои скромные сотрудники, писаря, не покинули меня подобно офицерам после Октябрьской революции, не перешли в стан белогвардейцев, а с любовью и сознанием долга перед родиной помогали составить документальный «Отчет о деятельности русского военного агента во Франции 1914—1918 годов».

Так, 11 августа я телеграфировал:

«Из числа не установленных еще корпусов, VI и Гвардейский находятся на Западном фронте, а из одиннадцати кавалерийских дивизий, формируемых немцами в военное время, девять уже действуют против Франции».

Бельгийская армия, — добавлял я, — действует в полной связи, но на нее надежда плохая. Английская армия, вероятно, запоздает к решительному столкновению, которое, по моим расчетам, должно произойти в конце недели. Нашему решительному наступлению от Варшавы на Позен придается большое значение в виду выгоды для нас использовать наше преобладание на германском фронте. Настроение войск превосходно. В главной квартире — тоже спокойное и уверенное», — писал я своим, памятуя о настроениях нашего командования после Вафангоу, Ляояна и Сандэну. Мои расчеты на решительное столкновение были основаны на тех же отрывках разговоров, которые мне с трудом удавалось уловить в окружающей меня молчаливой среде.

Ценным моим осведомителем оказался Лаборд. Он обедал в своей компании шоферов, которые возили на фронт то того, то другого офицера связи или генерала. Таким образом я узнал, что Кастельно атаковал немцев на восточном участке Западного фронта, но нарвался на заранее минированные немцами поля. Когда еще за пять лет до войны один из копенгагенских осведомителей рассказывал мне о заминированных участках, то я, признаваясь, с трудом ему верил, как не принимал долго всерьез и рассказы французов о постройке немцами в мирное время бетонных площадок в самой Франции под видом полов для гаражей у богатых помещиков. Действительно, Германия была единственной страной в Европе, основательно подготавливавшей мировую войну.

Перегруппировка французской армии потребовала в первую очередь срочной переброски на север французской кавалерии под начальством генерала Сорде. По словам Лаборда, она почти целиком погибла от непо-

сильных переходов в страшную жару и отсутствия воды в Арденнских горах. Стальным кирасирам, голубым гусарам и конно-егерям пришлось первым бесславно заплатить за ошибки первоначального неправильного разбывания французских армий.

«В это время уже развивались,— доносил я 15 августа,— энергичные операции немцев в Бельгии: перебросив сильную кавалерию на северный берег Мааса для демонстрации против бельгийской армии, сосредоточенной к северо-западу от Льежа, немцы двинули прямо на запад со стороны Люксембурга 8 корпусов (II, IV, VI, VII, IX, X, XI и Гвардейский); которые к сегодняшнему утру должны были дойти до Мааса на узком фронте от Намюра до французской границы. На активные действия бельгийской армии во фланг германскому обходу рассчитывать трудно, ибо в ней уже есть стремление запереться в Антверпене. В этом же духе ожидаются здесь с нетерпением сведения от генерала Лагиша о наших действиях, но он пока ничего не донес».

Таким образом за весь период времени от вторжения немцев в Бельгию до 16 августа, то есть за пятнадцать тревожных для французов дней, никаких сведений — ни от Лагиша, ни от Огенквара, ни из Ставки не поступало. Лишь в этот день, в десять часов вечера, пришла первая циркулярная телеграмма с ориентировкой о действиях на русском фронте:

«Наша мобилизация прошла в блестящем порядке. До 1 августа противник проник на нашу территорию только в Завислянском районе».

Досадным казалось, что как раз в этот район на левом берегу Вислы проникли не мы, а немцы.

«Надежные сведения о группировке противника,— говорилось далее в телеграмме,— указывают нахождение против нас на германском фронте лишь пяти корпусов мирной дислокации, и то, вероятно, не полностью, а на австрийском — двенадцати корпусов».

Отрадно было узнать, что сведения мои о пяти корпусах, находившихся против нас, считались надежными, однако, самих номеров корпусов Ставка упорно не сообщала — по той, очевидно, причине, что она этого не знала, как не знавали и мы когда-то в Манчжурии размеров теснивших нас японских сил.

И наоборот, во французской главной квартире после первой же недели мне удавалось изо дня в день проверять присутствие на Западном фронте германских частей и появление то одного, то другого полка или бригады II и V германских корпусов, числившихся на русском фронте.

Восточный фронт продолжал оставаться для меня загадочным, что лучше всего видно из следующей телеграммы, посланной мною 20 августа, то есть через три недели после начала войны:

«Вернувшись из главной квартиры на несколько часов в Париж по делам службы, я был принят военным министром, который, как и все, интересовался сведениями об успехах нашего вторжения в Германию. Между тем сведения, получаемые мною для ориентировки, указывают лишь на столь незначительные действия передовых частей, что я принужден скорее умалчивать о них, с тем чтобы наши союзники приписывали моей неосведомленности отсутствие известий о серьезных операциях с нашей стороны. Министр совершенно серьезно депускает возможность нашего вторжения в Германию и движение на Берлин со стороны Варшавы. Если, по нашим соображениям, мы не предполагаем предпринимать в течение ближайших дней серьезных наступательных действий против Германии, то нахожу необходимым, в целях сохранения союзнического доверия, дать французам какие-либо серьезные объяснения о причинах, заставляющих нас отложить наступление на известный срок. В этом отношении необходимо считаться с тем, что французский главнокомандующий был извещен непосредственно французским послом в Петербурге Палеологом о нашей готовности к операциям к 1 августа и что, согласно последнего довоенного протокола штабов, наши армии могут начать серьезное наступление с 20 дня мобилизации, который для нашей армии истекает сегодня».

Я тогда не предполагал, что сражаясь у Гумбицена, русские войска окажут серьезную помощь союзникам.

Между тем действия в Бельгии продолжали развиваться стремительным темпом: был взят Брюссель, обложен Намюр, бельгийская армия отходила к Антверпену.

Сообщая мне эти сведения, скромный, уже немолодой полковник — мой новый бельгийский коллега — выразил мне между прочим свое удивление по поводу отсутствия русского представителя в его армии. Наш военный агент генерального штаба, подполковник Майер, в первый же день войны выехал из Брюсселя в нейтральную Голландию, где он тоже был аккредитован, что, конечно, произвело дурное впечатление на страну, решившую мужественно защищаться против разбойничьего германского нападения. Мне казалось необходимым поддержать русский престиж, и этим-то и объясняется моя поездка в Париж, где я уже наметил своего представителя при бельгийской армии. Это был молодой гвардейский штаб-ротмистр Прежбяно, бывший паж, неказистый на вид, но прекрасно воспитанный и идеально владевший французским языком. Рано осиротев, он еще до выпуска в офицеры оказался владельцем богатейших имений в Бессарабии, что, по его понятиям, уже одно должно было открывать ему любую дверь, в какую он бы ни постучался. В этом маленьком уродце была заложена исключительная энергия, направленная на создание собственной карьеры. Он уже давно бросил строевую службу и еще корнетом добивался назначения в распоряжение одного из военных агентов. Русские деньги позволяли ему хорошо жить за границей. Искренность в его понятии не могла считаться добродетелью. Словом, он был фигурой во всех отношениях мало достойной. Но выбора у меня не было.

— Ваш представитель в Бельгии имеет, повидимому, свое собственное осведомление, — сказал мне однажды Дюпон, показывая листовку на английском языке о небывалых победах, одержанных русской армией, о горящих немецких городах, о бежавших в панике германских корпусах. Произведя расследование, я с ужасом узнал, что автором подобной информации оказалась Прежбяно.

— Их (то есть бельгийцев) необходимо было подбодрить, — развязно объяснял он мне, — и я не виноват, что соседи-англичане перехватили мою информацию.

Катастрофа, которую я предвидел, как следствие неправильного плана развертывания французских армий, выразилась в бесплодных попытках французского командования оказать Бельгии помощь. Германская армия выполняла с первого же дня войны разработанный в мирное время план вторжения через Бельгию, разбивая по частям перебрасываемые на север французские корпуса. Ни номеров этих корпусов, ни подробностей боевых действий мне, конечно, никто не сообщал.

Разобраться в обстановке мне помогал отчасти милейший и очень дельный английский майор Клейв, прибывший в главную квартиру для связи и организации железнодорожных перевозок. Мы с ним быстро сошлись, и благодаря ему я мог заранее предупредить наше командование о предстоящем «решительном сражении в Бельгии», которое в истории получило название «Пограничного сражения».

«Великое сражение началось, — доносил я 22 августа. Настроение в главной квартире спокойное, но уже более серьезное, в Париже — несколько нервное. Имея основание готовиться к худшему, продолжаю находить весьма желательным какое-либо серьезное действие против находящегося на нашем фронте пяти германских корпусов, так как это помимо действительного для нас успеха одно может поддержать дух Франции в тяжелые минуты. Меня все более закидывают вопросами о нашем вторжении в Германию, на что я всеми силами стараюсь подготовить союзников к неизбежной длительности характера кампании, которая неминуемо должна закончиться победой».

Слова телеграммы «тяжелые минуты» объясняются некоторыми подробностями, полученными мною от того же моего неофициального осведомителя Лаборда: главный удар правофланговых германских армий был направлен против выдвинутой в Бельгию 5-й французской армии гене-

рала Ларензака. По словам Лабурда, она была наголову разбита. Беженцы запрудили все дороги и сеяли панику среди войск и без того деморализованных поспешным отступлением. То тут, то там вдоль шоссе валялись тела убитых французских солдат: на груди их белел кусок бумаги с краткой надписью, объясняющей их смерть: «Traître» (предатель). Проходившие мимо солдаты плотнее сжимали ряды, а унтера и офицеры грознее наводили порядок в отступающих ротах.

Суровость, проявлявшаяся французскими командирами для поддержания боевой дисциплины в трагические минуты, вначале меня поражала. В одном из знакомых мне пограничных пехотных полков произошел такой случай. Рота была выдвинута для активной обороны небольшого, но важного в тактическом отношении моста. Под натиском передовых германских частей необстрелянная рота дрогнула и стала отходить к реке.

— Ни с места! — тшечно кричал командир роты, перебегая по стрелковой цепи от одного взвода к другому, но, убедившись, что его слова не действуют, он выхватил револьвер, застрелил двух взводных и задержал отступление. Мост был спасен.

Демократическая свобода мирного времени потребовала суровой дисциплины для ведения войны.

В тихой штабной обители про поражение 5-й армии никто не упоминал, и только сидевший против меня Тарлье по секрету сообщил, что «хозяин» уехал на фронт наводить порядок. Как оказалось, эта поездка явилась для Жоффра одним из самых тяжелых испытаний: толстик Ларензак был его личным другом и, кроме того, справедливо считался одним из умнейших французских генералов. Это не помешало Жоффру принять решение об его увольнении, но он предпочел объявить это своему другу лично. Военному человеку нельзя бояться тяжелых объяснений и лучше объявить об увольнении с глаза на глаз.

25 августа началось наступление немцев на Париж.

Немцы овладели уже всей территорией Бельгии, форты Льежа пали. Намюр был взят, Антверпен обложен, английская же и французская армии постепенно отступали под concentрическим давлением превосходящих немецких сил, которые, пересалив через Арденны, дошли до линии Валансьен — Мобеж — Монмеди. Вот та первая линия, сведения о которой были мне, наконец, сообщены.

«Вся эта картина, — заканчивал я в тот же день свою телеграмму, — в связи с характером боев дает мне основание предполагать, что французские армии перейти в наступление в ближайшем будущем уже едва ли смогут...

На мой взгляд выясняется, что весь успех войны зависит всецело от наших действий в ближайшие недели до переброски на наш фронт германских корпусов (эти строки телеграф, к сожалению, не давал возможности подчеркнуть).

Переброска германских сил будет облегчена находящимися в их распоряжении бельгийскими железными дорогами, порчи коих, к сожалению, несущественны. Кроме того, немцы, вероятно, нарушат нейтралитет Голландии.

Потери с обеих сторон громадны вследствие ожесточенного характера сражений и открытого наступления пехоты днем. Во многих французских пехотных полках они достигли 50 процентов. Дух армии продолжает держаться надеждой на окончательный благоприятный исход и выручку с нашей стороны».

От моих настойчивых просьб получить осведомление о происходящем на русском фронте Ставка отделалась, наконец, следующей ни к чему не обязывающей отпиской:

«Ввиду нетерпения, с которым французское правительство относится к нашему наступлению в Германию, начальник штаба верховного главнокомандующего просит ваше высокопревосходительство (то есть Изволь-

ского) сообщить нижеследующее французскому высшему командованию: для исключительного его сведения: наступательное движение наших войск против Германии производится большими массами и выполняется с наибольшей возможной скоростью, совместной с требованиями благоразумия (!). Ныне в Восточной Пруссии разрешаются стратегические задачи, и как только это будет выполнено, явится возможность более скорого развития дальнейших наших наступательных операций».

В то же время моя информация о действиях на Западном фронте становилась день ото дня все обширнее. Она позволила мне, начиная с 28 августа, в моих ежедневных телеграммах в Россию рисовать более полную картину наступления германских армий.

В этот день я доносил:

Германские армии представляются мне как бы разбитыми на три группы:

А) Северную — правофланговую, состоящую из трех армий:

1-я — ген. Клука, II, IV^а, IV^б рез. и III корпуса.

2-я — ген. Бюлова, IX, VII и X корпуса.

3-я — командующий неизвестен, Гвардейск. и 2 Саксонских корпуса.

Вся эта группа наступает уступами справа, причем правофланговая 1-я армия в направлении Валансьен — Сеи-Кантен, коего она достигла сегодня, 15/28 августа, к вечеру.

2-я армия отделила два корпуса для осады Мобсжа.

3-я армия наступает на юг между Мобежем и Арденским лесом.

Б) Средняя группа: две армии.

4-я армия принца Вюртембергского — VIII, VIII резервн., VI и XVIII резервн.

Эта армия наступает на Маас на фронте от Арденского леса до Виртона.

5-я армия кронпринца — V, XIII, XVI корпуса — наступает на фронте от Виртона до Вердена.

Атаки этих двух армий сегодня, 15/28 августа, отбиты.

В) Левая группа — лотарингская — две армии:

6-я армия, принца Баварского:

I, II и III Баварские корпуса.

XXI и III резервн. корпуса.

7-я армия генерала фон Херингон — XIV и XV корпуса.

Обе эти армии дерутся день и ночь с французскими армиями в равных силах на фронте от высот впереди Нанси до Вогезов.

Утомление войск сильное с обеих сторон: потери, особенно с немецкой стороны, громадные, но дух французской армии превосходен. Все сегодня на день ожидают нашего вторжения вдоль левого берега Вислы».

«16/29 августа 1-я правофланговая германская армия, имея уступом слева 11-ю армию, стремительно и безостановочно двигаясь на Париж, достигнув Сен-Кантена сегодня утром, стала проникать еще более на запад, стремясь захватить переправы на Сомме, обороняемые англичанами. Немецкий кавалерийский корпус направляется на Шольн (Chaules), где он должен был сегодня натолкнуться на значительные французские силы. 5-я французская армия, сосредоточенная за рекой Уаз, перешла в решительное наступление во фланг обходящим немецким колоннам в направлении Сен-Кантена. Общее руководство этой решительной операцией принял на себя сам генерал Жоффри. На всех остальных фронтах ведутся кровопролитные бои, приближающие нас, на мой взгляд, к концу первого периода войны».

Контратака 5-й французской армии «против немецкой гвардии и X корпуса блестяще удалась, и немцы были отброшены с большими потерями», однако, опасение 5-й французской армии быть отрезанной от остальных армий заставило главнокомандующего отказаться от решительного действия 5-й армии, тем более что на стороне французов не было преобладающих сил.

Открывшаяся передо мной картина планомерного наступления германских армий представляла положение с часу на час все более и более серьезное. Когда я, по обыкновению, зашел к Дюпону около шести

часов утра 30 августа, он подвел меня к карте и, расставив пальцы, стал отмерять только что нанесенную углем линию фронта от Парижа.

— Вот положение к сегодняшнему дню.— сказал он мне.— Судите сами.

Он уже, вероятно, знал про полученные за ночь донесения о неудачных атаках, но, как обычно, не сообщал мне о них до окончательной проверки.

Париж! Он представлял для нас с Дюпоном в это утро совсем не то, что для хладнокровных исследователей войны!

После полудня я уже отправил следующую телеграмму:

«17/30 августа обходящая левый фланг германская армия неудержимо движется на Париж, делая переходы в среднем около 30 километров, и к вечеру этого дня достигла линии Морейль, Руа, Нуайон¹. Против Мобежа оставлены резервные войска. На мой взгляд, вступление немцев в Париж вопрос уже дней, так как французы не располагают достаточными силами, чтобы перейти в контратаку против обходящей группы без риска быть отрезанными от остальных армий. В силу той же причины удачная контратака корпусов 5-й армии против гвардии и X корпуса не могла быть развита сегодня (17/30 августа), ввиду решительно веденного наступления двух саксонских корпусов против IX французского корпуса, немецкая гвардия и X корпус понесли громадные потери, так как находились все под огнем трехсот французских полевых орудий. На восточном лотарингском участке фронта утомление обоих противников в связи с громадными потерями привело сегодня к усиленной канонаде без особо важных столкновений. I Баварский корпус отправлен в Мюнхен для полного переформирования вследствие потерь, достигших 75 процентов. За 5-й германской армией открыты две новые резервные сводные дивизии, составленные из эрзац-батальонов разных корпусов».

Не скрывая этой телеграммой от русского командования истинного положения вещей, я не мог предполагать, что причинил этим, как я узнал впоследствии, столько хлопот французскому послу в России Палеологу. Из приятного и бесцветного собирателя питейских сплетен высшего света этот потомок преческих королей и богатейших одесситов, узнав о моей телеграмме, превратился в грозного Зевеса: он горячо убеждал Сазонова, что «только такой паникер, как Игнатьев», может сомневаться в полной безопасности Парижа! Прозорливость почтенного дипломата не дала ему возможности предусмотреть бегства его собственного правительства из Парижа в Бордо.

«Общее впечатление,— доносил я на следующий день, 18/31 августа,— что немцы, миновав разделявшие их Арденские возвышенности, выравнили полукруг своих армий и, равняясь по обходящему флангу, concentрически будут наступать на Париж. Французы, удерживаясь пока с успехом на Восточном фронте, также concentрически отходят на центральный массив. Дух в войсках остается превосходный; в главной квартире настроение, конечно, удрученное, но вполне спокойное. Переданное мной сегодня содержание телеграммы из Петрограда о трехдневных боях 12/25, 13/26 и 14/27 августа в Восточной Пруссии в районе Сольдау — Алленштейн — Биллофсбург и занятие нами Алленштейна, известное уже из газет, не подняло духа в штабе, так как сведения об этих боях подтвердили опасения французов о затяжке наших операций в Восточной Пруссии».

Так думал штаб — французская главная квартира, которая была уже окрещена названием Гран Кю Же (от сокращения тремя начальными буквами GQG из названия французской главной квартиры Grand Quartier Général), но не так реагировала на наше вторжение в Восточную Пруссию французская пресса.

Широкой, в палец толщины стрелой, обозначались на первых страницах таких газет, как «Матэн», «наш поход на Берлин, представляя

¹ Города юго-западнее Сен-Кантена.

шийся уже не мечтой, а действительностью. В эти тяжелые дни германского нашествия наши успехи явились единственной могучей поддержкой духа французского народа.

Такой пламенный патриот, как академик Баррэс, продолжал кампанию в своей газете «Эко де Пари» в течение долгого времени и еще 8 сентября 1914 года писал: «L'arrivée des cosaques à Berlin, répétons le encore, elle est prochaine, non immédiate, mais immédiatement l'Allemagne va être renseignée sur l'approche des Russes» (Приход казаков в Берлин, повторяем мы еще раз, произойдет вскоре, но не тотчас же, а Германия-то будет тотчас осведомлена о приближении русских).

Соображения, переданные в моей телеграмме об отходе на центральный массив, зародились после бесед с моим другом — подполковником Бертелеми — помощником Дюпона. Он был гораздо более общительным, чем его начальник, и оказался единственным моим компаньоном по посещению полутемного закопченного «бистро», где после скудного обеда мы позволяли себе «украшать жизнь» чашкой черного кофе.

— Что же, — говаривал Бертелеми, — существуют военные принципы, которые должны оставаться неизблемыми при всех обстоятельствах, и первым из них является сохранение живой силы. Для этого можно пожертвовать и Парижем, который защищать нелегко, но занимать противнику тоже трудновато; подобная операция потребовала бы от немцев немало дивизий, тогда как нам будет представляться возможность задерживаться последовательно на Марне, на Сене и отходить на центральный плато. Район этот богатый, плодородный, базироваться сможем на Лион, Марсель, Тулузу; артиллерийские заводы и арсеналы останутся в наших руках: немецкие армии непомерно растянутся, и это даст нам возможность действовать по внутренним операционным линиям.

— Да, — отвечал я, — мы тоже всю эту стратегию хорошо изучали в академии, но живая сила зависит столько же от материального, сколько от морального состояния армии и страны.

— Ну, в этом вы, кажется, сомневаться не можете, — заканчивал всякий раз Бертелеми, приводя сведения о быстром восстановлении духа даже в потерпевшей поражение 5-й французской армии.

«18/31 августа положение резко ухудшилось. Англичане, отступавшие все последние дни за французские войска (18/31), занимали линии Суассон-Компьен, однако, при известии о наступлении немцев неожиданно покинули позиции, оголив совершенно левый фланг 5-й французской армии, расположенной вокруг Лаона. Правофланговая немецкая армия, повидимому, свернула с направления Парижа и предприняла глубокий обход левого фланга французских армий, центр коих занимал вчера линию Лаон — Реймс — Верден. На лотарингском участке Восточного фронта — без перемен.

Сегодня утром, 19 августа (1 сентября), немецкая радиотелеграмма известила о полном будто бы поражении нашей 2-й армии под Танненбергом, что мы приписываем фабрике фальшивых сведений».

«Обойденная с фланга 5-я французская армия сумела за сегодняшний день выйти из трудного положения и отойти за реку Эн к востоку от Суассона. Для облегчения отхода 1-я армия перешла в частичное наступление. Германские армии к сегодняшнему дню достигли следующих результатов: кавалерийский корпус силою в три дивизии, поддержанный, как всегда, пехотой, прошел Компьенский лес.

1-я германская армия дошла до линии Мондидье — Руа.

2-я германская армия — впереди Ретеля.

3-я германская армия — к западу от Монмеди.

4-я германская армия — к востоку от Стене.

5-я германская армия не перешла еще на левый берег Мааса между Стене и Верденом.

6-я и 7-я германские армии — повидимому, истощены в непрерывных боях».

«Дух французских армий, совершающих ежедневно чудеса храбрости, — превосходный, несмотря на необходимость отступать без победы».

В то время как в Витри ле Франсуа тяжелые события на фронте не нарушали спокойного уравновешенного порядка жизни, из Парижа мой заместитель Ознобишин 1 сентября сообщил мне:

«Посольство с минуты на минуту ждет приказание об отъезде в Бордо и приняло все меры, а именно: берут с собой лишь самые секретные дела, остальное все жгут, так как наше посольство в случае занятия Парижа немцами несомненно подвергнется разграблению и разрушению. Что касается нашего архива, то я сложил все, что было в железном шкафу в сундук, который увез с собой. Остальные дела (не секретные) я положил в железный шкаф — пусть лежат там, а лишние секретные издания статистического характера прикажу сжечь в момент нашего выезда. Посольство уезжает целиком, никого здесь не оставляя».

Вспомнился бравый казачий есаул под Мукденом, посланный на розыски брошенных при отступлении повозок с архивами. «Нашли, господин полковник, — докладывал он, — нашли, но, чтоб не отдать японцам, все сожгли».

«Ничего не жечь, — телеграфировал я Ознобишину, — приеду сам».

На рассвете мой автомобиль уже мчал меня в Париж. Около полудня я очутился на узкой улице Гренель перед закрытыми массивными воротами нашего посольства. Через минуту меня радостно приветствовал француз-консьерж, старый служака, знакомый мне еще со времен Нелидона. Он очень обрадовался и, сняв фуражку с красным околышем, формы, присвоенной русскому министерству иностранных дел, почтительно доложил:

— Какое счастье! Вы приехали весьма кстати. Эти господа, — указал он глазами на открытые настежь двери канцелярий, — чуть ли не сожгли дома! В такую жару затопили калорифер центрального отопления, чтобы жечь в нем бумаги.

— Неужели это правда? — пришлось лишний раз спросить у Татищева.

— А что ж такого? — невозмутимо ответил он мне, допивая один из бесчисленных стаканов пива, к которому питал чрезмерную слабость после долгой службы в Берлине. — Это ведь копии, а подлинники донесений найдутся в Петрограде.

— Не знаю, найдутся ли, — усомнился я.

Какие-то смутные предчувствия о неизбежных грозных потрясениях в России уже зарождались в душе.

— Да к тому же, сжигая архивы, — пробовал я образумить Татищева, — вы уничтожаете ценнейший рукописный материал о пребывании в Париже Александра I во главе русской армии 1814 года, о революциях 1830, 1848 годов, Парижской Коммуне, подлинники черновики писем таких интересных послов, как князь Орлов, граф Киселев и другие.

— Неужели в Париже мало надежных подвалов? Поручили бы мне. Я бы нашел таких верных французских друзей, что сам черт не тронул бы ваших бумаг!

Спорить с людьми, не знающими цены историческим документам, впрочем, не стоило, и я поднялся в кабинет к Извольскому, у которого уже сидели Севастопуло и Карцов. Все трое о чем-то горячо спорили.

— Вот скажите, Алексей Алексеевич, — набросился на меня посол, — войдут немцы в Париж или нет?

— Мне не удалось побывать в германской главной квартире, — улыбуясь, ответил я, — и планы ее мне неизвестны. Могу только доложить, что сегодня ночью немецкий авангард ночевал в Шантильи (будущее место расположения французской главной квартиры в 40 километрах к северу от Парижа), что разезды неприятеля были уже замечены с внешних фортов столицы и что с востока, через Мо, я проехать уже не мог. От этого до оккупации немцами Парижа еще далеко: французская армия отступает в полном порядке.

— Вот всегда военные не могут дать точного ответа, — вспыхнул уже пуночный не то от волнения, не то от нестерпимой жары Извольский. —

Вы понимаете, что если немцы придут сюда, то первого, кого они расстреляют, так это меня.

— Ну, что ты, Александр Петрович, — дрожащим от страха голосом успокаивал и себя и посла генеральный консул (я был поражен, что Карцов обращается к послу на «ты»). Консулы в России были не в почете, они считались дипломатами второго сорта, и Извольский тщательно скрывал свое родство с Карцовым). — Ты вот мне лучше скажи. — продолжал старик, — оставаться мне в Париже или уезжать в Бордо?

— Я тебе в конце концов не гувернантка, — уже не сдерживая себя, закричало «начальство». — Одаю только знаю, что если б я был на твоём месте, то, конечно, никуда бы не уехал.

Но Карцов не растерялся и остроумно ответил:

— Вот в том-то только и беда, дорогой, что ты не на моём месте, а я не на твоём!

Тут уже все дружно рассмеялись.

Чтобы не пропустить на следующий день поезда, мои посольские коллеги решили ночевать в гостинице при вокзале, хотя он буквально находился в трех шагах от посольства.

Оставленный мною при Ознобишине Шегубатов поступил еще «мудрее».

В качестве моего официального помощника этот, с позволения сказать, гвардейский штаб-ротмистр взял на себя охрану секретного сундука, погрузил его в мою собственную машину, заехал за своей дамой сердца, полусветской львицей, и приказал моему шоферу взять направление на запад.

— Как я мог этого ожидать, — пыхтел Ознобишин, объясняя невозможность зашифровать мою телеграмму в Россию.

Шифр уже укатил с Шегубатовым в спасительное Бордо.

Над русским посольством звеня не известный мне дотоле флаг из трех подос: желтой, красной и черной. Русская империя поручила свои интересы в опустевшем Париже испанскому королю!

Два месяца спустя, проезжая через Париж, я телеграфировал Извольскому в Бордо:

«Распорядился убрать испанские флаги. Простите самоуправство».

Правительство бежало, дипломаты за ним последовали, банкиры давно удрали, красивые витрины в роскошных магазинах закрылись серыми металлическими ставнями, но Париж стал еще прекраснее: его широкие авеню казались еще просторнее, его старинные дворцы — еще величественнее, а на центральной площади Конкорд, чувствуя полную свободу, рассаживались на перилах в часы досуга, как воробушки, веселые мидинетки и, болтая ножками, беззаботно рассматривали в небе пролетающих изредка «таубе» — голубей, как прозвали парижане вражеские самолеты.

Глаза третья

МАРНА

Марна — какое ласкающее слух слово, какое прасивое, чисто женское название реки!

Кто бы мог подумать, прогуливаясь в воскресный день по ее светло-зеленым берегам или катаясь в лодке под нависшими над рекой живописными ивами, что этой речке суждено будет обогреться кровью сынов французского народа, стать свидетельницей того внезапного подъема духа в отступающих французских армиях, который доставил им победу!

Моральная сторона войны столь трудно поддается учету, что современники, не желая над этим задумываться, окрестили сражение между 6 и 9 сентября 1914 года «Чудом на Марне». Красавица-река стала легендарной.

Мне выпало на долю быть свидетелем событий этих дней. Они стали историческими, но в ту пору ничем не нарушили того установленного порядка дня и работы, которые всегда отличали французскую главную квартиру. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что происходит даже не «Чудо», а просто битва, решившая участь всей войны,— я бы ему не поверил. Как и все французские товарищи, я лишь продолжал исполнять свои обязанности, стремясь использовать боевые столкновения для проверки сведений о противнике и для передачи, насколько это позволял телеграф, картины происходившего.

Не только военные атташе, ограниченные в своей деятельности, но и сами участники сражения не могут писать истории: у них нет для этого самого главного — неприятельских документов, по которым только и можно делать правильные выводы о талантности собственного высшего руководства, о храбрости и стойкости войск и, наконец, о степени трудностей, встреченных на пути к победе, а у меня, кроме того, в то время не было всех сведений, по которым можно было судить о могущей поддержке, оказанной в эти дни русской армией Франции.

Кроме того, современникам не всегда удастся быть хорошими историками. При оценке военных событий они не в состоянии отрешиться от невольного пристрастия к той или другой армии, стране, ее государственному строю, от воспринятого еще на школьной скамье вкуса к той или иной военной доктрине.

Да простят же мне историки ту неполноту данных, которая помешала мне тогда, в дни Марнского сражения, представить его во всем величии и военной поучительности.

★ ★ ★

В первые три дня по возвращении моем из Парижа операции на фронте явились естественным продолжением грозного и, казалось, безудержного наступления германских армий.

«1-я и 2-я германские армии», — телеграфировал я уже 3 сентября, — будут, повидимому, стремиться отрезать французскую армию от Парижа, в то время как их 3-я, 4-я и 5-я будут стремиться отрезать французов от восточных крепостей».

Опасное положение правофланговой 1-й германской армии фон Клука и 2-й армии фон Бюлова стало выясняться уже 4 сентября:

«Армии эти уже достигли реки Марны, не оставляя ничего против Парижа, — сообщал я, а в телеграмме от 5 сентября уточнял это так:

«Опасное положение 1-й германской армии, имеющей с фланга парижскую армию, должно быть причиной начала генерального сражения».

Этот прогноз основывался не только на движении германской армии, но и на тех отрывочных сведениях о положении французских армий, которые мне удавалось извлекать из бесед как с Бертело, так и с начальником 3-го оперативного бюро, подполковником Гамеленом, бывшим ординарцем и любимцем самого Жоффра.

Я встречался с Гамеленом еще в довоенное время. Он был самый толковый в окружении будущего главнокомандующего, и я привык советоваться с ним, когда приходилось проводить во французском генеральном штабе какой-нибудь деликатный вопрос.

Я никогда не получал французского *Ordre de bataille* (боевого расписания), но к началу Марнской битвы расположение французских армий представлялось мне так: на крайнем левом фланге из каких-то резервных частей и первых прибывших из Африки полков формировалась парижская армия под командой призванного из запаса, но бодрого старичка генерала Манури. Вправо от нее отходила куда-то на юг английская армия фельдмаршала Френча, где-то еще правее отступала 4-я армия Лангле де Карри, о 3-й французской армии Сарраея я совсем не слышал, а о 1-й и 2-й знал только, что ими командует мой старый знакомый Кастильон, продолжавший сражаться фронтом на восток.

Оригинальные проекты почти всегда зарождаются одновременно у таких людей.

Мысль использовать опасное положение правого фланга германских войск возникла внезапно у обоих ответственных военачальников — у командующего Жоффра и у военного губернатора Парижа, генерала Галлиени, который с отъездом правительства в Бордо, являлся почти единственным диктатором столицы.

Идея эта явилась основой победы на Марне. Не только современники даже историки не смогли решить вопроса, кому обязана была Франция своим спасением. Бесконечные споры по этому поводу долгое время разделяли французский военный и политический мир на два лагера — Жоффра и Галлиени, вызывая даже обширную полемику в прессе и военной литературе. Разрешение споров затруднялось, кроме того, и враждебными личными отношениями между главными виновниками возникших разногласий.

Во Франции было во много раз меньше генералов, чем в России, и поэтому они все хорошо знали друг друга, а Жоффр и Галлиени были, вдобавок, старыми сослуживцами, причем Галлиени, командовавший когда-то войсками на Мадагаскаре, привык смотреть на Жоффра на своего подчиненного — начальника инженерной обороны острова. Служба в колониях налагала на французских генералов особый отпечаток: она развивала в них самостоятельность, независимость, предоставляла широкое поле для применения административных способностей, но в то же время отрывала на несколько лет от жизни метрополии и превращала их в провинциалов, группировавшихся вокруг себя их поклонников, из которых формировались так называемые *Petites cellules* (маленькие часовенки).

Оторванность от правящих кругов вызывала в них болезненную поистинность, и Жоффр усатривал в каждом шаге своего бывшего начальника какую-нибудь интригу, ведущую против него в Париже. Галлиени в свое время умел оценить Жоффра как выдающегося администратора, но не мог примириться с низведением себя на роль подчиненного. Мне мало пришлось иметь дела с этим генералом, хотя вскоре после Марны он занял пост военного министра. Высокий, с непомерно большой талией и сплюснутой большой головой, близорукий, он казался штатским, одетым в военную форму, что, конечно, не соответствовало его страстной привязанности к военному делу, его скрытому, но сильному темпераменту.

Узнав о сосредоточении 1-й германской армии по периферии всего ему парижского района, Галлиени, еще до получения директивы Жоффра, как всякий хороший командир, стал рваться в бой. Вместо активной обороны столицы, он твердо решил выйти из окружавших его войск, собрать в кулак все небольшие силы и, перейдя в наступление, решительно наказать зазнавшегося противника за его пренебрежение к своему гарнизону.

Ему принадлежал пальма первенства в применении на поле сражений моторизованной пехоты: собрав все такси Парижа, он использовал для переброски на север целой марокканской дивизии во фланг армии Клука.)

Немцы увлеклись преследованием французских армий, — после победного сражения они считали их уже разбитыми. 1-я и 2-я германские армии продвигались на юг, ставя себя в опасное положение. Жоффр в этот момент удобным для общего перехода в наступление.

Так думали французские полководцы, но маленький седой упрямый англичанин, английский фельдмаршал Френч, не разделял их мнения. Выбрав свои войска из тяжелого положения еще после попытки помочь бельгийской армии, Френч решил больше не рисковать, и если помогать немцам, то помогать благоразумно.

Опыт уже давно показал, что одной из труднейших задач в военном деле является согласование действий союзников.

Не было буквально ни одного дня, когда кто-нибудь из них не допу-

стиль бы тот или иной *une gaffe* — ляпсус, который я для курьеза заносил в свою записную книжку военного агента.

Предупреждать и ликвидировать подобные «гаффы», сглаживать пероховатости в отношении высоких начальников — все это ложится на плечи одних и тех же лиц из их окружения, роль которых в разрешении великих задач почти всегда недооценивается. От них требуется одно, и самое редкое, качество — природный такт: способность учитывать при обращении с людьми условия обстановки, характеры, привычки, а иногда и слабости их начальников.

Много пришлось мне встретить на своем жизненном пути людей умных, образованных, талантливых, но как редко удавалось иметь дело с людьми тактичными.

Мой старый приятель, английский полковник Вильсон, будущий маршал, в дни Марны был только помощником начальника штаба Френча.

Я познакомился с ним в Париже, еще на французских маневрах 1906 года. Мы оба одинаково полюбили Францию, и это сблизило нас навсегда.

Мужественный, громадного роста, сухой, с лицом, изборожденным смолоду волевыми складками, сядет, бывало, Вильсон в кресло, закинет ногу на ногу высоко-высоко и слушает долго, терпеливо собеседника или докладчика, не выпуская из зубов вечной трубки. Он был способен выслушать, не моргнув, самую тяжелую истину, и только вглядываясь пристальное в черты его лица, можно было угадать или горькую усмешку, или сердечную боль, а чаще всего тонкую, полную английского юмора иронию.

В дни Марнского сражения Вильсон несомненно сыграл большую роль: он понимал, что французы ставят все на карту и что англичанам с их небольшими силами надлежит согласовать все свои действия с союзниками. Благодаря ему английская армия хотя и с чрезмерной осторожностью, но все же выполнила свою роль.

Задача Вильсона затруднялась тем, что с самого начала войны отношения его начальника Френча с командующим соседней 5-й французской армией Ларензаком, властным и горячим южанином, были крайне натянуты.

Трудно иногда бывает определить, воинская ли часть обязана своей репутацией командиру, или наоборот. Каждый корпус французской армии комплектовался на территории своего округа и ярко отражал все качества или недостатки его населения. I корпус, квартировавший в мирное время в Лилле, состоял из северян — сильных белообрывых великанов, угрюмых, но честных солдат. Такими они показали себя в первых боях.

Пыльные болтливые южане, уроженцы солнечной Ривьеры и жаркого Марселя, не выдерживали первых боевых столкновений на Лотарингском фронте и зачастую попросту бежали. Северяне, забрав их в руки, превратили впоследствии южан в первоклассные войска, отличившиеся под Верденом.

Судьба сталкивала меня с Франше Д'Эспере, командиром I корпуса, в течение долгих лет. Коренастый, пышущий здоровьем, хорошо упитанный, этот потомок французской королевской аристократии унаследовал от нее характерные для своей страны военные традиции: личное мужество, властолюбие, доходившее до жестокости, и мировоззрение в узких рамках военного ремесла. Он блестяще выполнил ответственную задачу, выпавшую на долю его армии в Марнском сражении: вдохнув в своих подчиненных — командиров деморализованных остатков 5-й армии — веру в успех, он заставил их перейти в наступление; ему приходилось в то же время тянуть за собой слева английскую армию, а справа — растягиваться, чтобы оказать поддержку 9-й армии Фоша, против которой была направлена сильнейшая германская контратака.

Естественно, что когда во время войны, с целью изучения фронта, мне приходилось посещать войска 5-й армии, оборонявшие впоследствии ближайший к Парижу сектор, я всегда относился с большим уважением

и командующему армией Франше д'Эспере. Я никогда не мог забыть, что в Марнском сражении он, несмотря на растянутость своего фронта, по собственной инициативе передал в распоряжение своего соседа, Фоша, один из лучших своих корпусов. Таких генералов в истории встречалось немного.

Франше, со своей стороны, также оказывал мне особое внимание: он не поручал сопровождать меня, как это было принято, одному из офицеров своего штаба, а после хорошего завтрака сам брал меня с собой в машину и начинал осмотр передовых позиций с посещения города Реймса, входившего в сектор его армии. Это позволяло ему оказывать высшую, по его мнению, военную любезность: подвезти гостя обстрелу тяжелой германской артиллерии, систематически бомбардировавшей в эти часы уже сильно пострадавший центр города.

Постепенно разрушавшийся древний собор стоял, как часовой, — один среди развалин окружавших его старинных дворцов розоватого цвета. На его потемневшем от веков каменном остове, появлялись все новые и новые раины — белые пятна разбитого камня, а внутри все сильнее дул ветер через разбитые разноцветные стеклянные vitraux, составлявшие гордость этого памятника седой старины. Потом обрушилась одна из башен и самый свод собора обратился в кучу мусора. После войны Реймский собор был полностью восстановлен по сохранившимся документам.

В конце войны Франше был назначен командующим армией на Салоникском фронте и здесь оказался одним из наиболее жестоких исполнителей приказа Клемансо о русских солдатах экспедиционного корпуса. После Октябрьской революции, выйдя перед строем безоружных, растерявшихся от непонимания обстановки наших несчастных соотечественников, Франше дал им только десять минут на размышление: продолжать сражаться, или идти на работы в конц-лагерь под конвоем черных солдат. За редкими исключениями, все предпочли переносить тяжелые испытания в Африке, чем продолжать служить за чуждые им французские интересы.

Прошло еще восемнадцать долгих лет, когда, исполняя обязанности комиссара нашего советского стенда в Авиационном салоне в Париже, я снова услышал фамилию Франше. Маршал Франции удостоил нас своим посещением, и мне пришлось приветствовать его при входе, почти сняв с головы мягкую фетровую шляпу.

— Здравствуйте, monsieur, — сказал мне Франше, подчеркивая подобным обращением, без упоминания не только моего прежнего звания, но даже фамилии, презрительное ко мне отношение. Меня это не задело, как не смутила и заключительная провокация со стороны маршала.

— Скажите, вы вот подобные аппараты и посылаете в Испанию? — обратился он ко мне, выслушав объяснение о стоявшем на углу стенда маленьком серебряном истребителе.

— Нет, господин маршал, — ответил я, — эти аппараты мы выставляем только для парижанок (нас окружало в эту минуту очень много нарядных дам), а в Испанию мы посылает аппараты гораздо более современные.

Толпа аплодировала, — то была эпоха народного фронта.

Адъютанты, стоявшие за спиной маршала, прикрыв рот рукой, не удержались от смеха. Франше отошел от советского стенда.

Позднее я узнал, что он уже тогда был женат на «знатной» русской белоэмигрантке.

Марнское сражение явилось пробным камнем для талантов многих генералов, а для некоторых, как Фош, — началом их блестящей боевой карьеры.

Выдающегося профессора тактики в высшей военной школе, полковника, а впоследствии генерала Фоша, мне до войны встречать не пришлось. Он тогда уже командовал пограничным XX корпусом в Нанси. Корпус этот комплектовался из парижан, потомков санкюлотов и имел еще более блестящую репутацию, чем I корпус.

Многочисленные ученики Фоша, как Гамелен и другие, восторгались не только его горячим темпераментом, но и той ясностью, с которой он излагал принципы стратегий, анализировал исторические примеры. То, схватив указку, Фош изображал фехтовальщика на рапирах, уподобляя различные виды маневров тонкостям фехтовального искусства, то, выбросив на карту спички, обозначал ими отдельные моменты военных операций. Фош, уже по одним рассказам, представлялся мне той самой фигурой, которую я встретил в Витри ле Франсуа в конце августа. Он по внешности вполне соответствовал типу опытного фехтовальщика.

На сохранившемся моментальном фотоснимке Жоффр стоит в профиль, — грузный, неповоротливый, он одет небрежно; а перед ним вытянувшись в струнку Фош в мундирчике в талию, руки по швам, — сохранивший свою молодость лихой генерал.

Он в эту минуту только что получил неблагоприятную роль: связать группой из нескольких деморализованных отступлением дивизий 5-ю и 4-ю французские армии, и не предвидел, что через несколько дней на него-то и будет направлен главный удар германских армий с императорской гвардией во главе.

У него нет тыла, нет придающихся всякой армии органов снабжения, но об этом должен думать его начальник штаба.

У него нет штаба, но Фош — враг больших штабов.

Он — стратег, водитель войск, он не сын деревенского бондаря, как Жоффр, а потомок лотарингских вояк, из рода в род защищавших свою пограничную область от германских гуннов.

Вызывая Фоша с командного поста XX корпуса, главная квартира приказала ему захватить с собой подполковника 5-го гусарского полка Вейгана, с которым он даже не был знаком. Этого стройного, светлоглазого доломана я хорошо помнил по маневрам и во Франции, и в Красном Селе. Под элегантной кавалерийской внешностью скрывалась большая работоспособность отличного генштабиста, чисто французская самоуверенность и самообладание. Если бы он и был способен на какие-либо переживания, то они, конечно, не отражались бы на okamennых чертах его лица с тонкими губами и столь же тонкими усиками.

Вейган был создан Фошем, который нашел в нем идеального начальника штаба, освобождавшего его от всей штабной кухни, перенесившего терпением все резкости его властного характера, искренно преклонявшегося перед авторитетом бывшего профессора тактики — будущего маршала Франции.

Вот те главные военные вожди, имена которых связаны со сражением на Марне. Но исход его зависел, больше чем в каком-либо другом сражении, не от них, а от того трудно объяснимого морального паралома, который я пытался передать в заключительных словах своей телеграммы от 8 сентября, — то есть после первого же дня небывалого истории — по своим размерам — столкновения вооруженных масс:

«Дух французских армий, выдерживавших десятидневное отступление, снова воспрял, и подъем его не поддается описанию».

Последние дни отступления от Марны ознаменовались, между прочим, и отступлением на юг самой главной квартиры: из Витри ле Франсуа, на два три дня, в живописный Бар-сюр-Об, а оттуда, накануне Марнского сражения, — в Шатильон-на-Сене, расположенный более чем в ста километрах от поля сражения. Рассматривать немцев в бинокль Жоффр не собирался: это за него делали командиры дивизий и корпусов, осведомлявшие его о положении через командующих армиями. Жоффр не командовал, а давал директивы, распоряжался не батальонами и полками, подобно Куропаткину под Мукденом; а только армиями. Он, вместе с тем, не подражал, как многие полководцы, Наполеону, бы не охотник до громких фраз и, для перехода от отступления в наступление, кроме директивы, известной мне тогда только в самых общих чертах, издал следующий скромный, но ставший историческим прижа

«Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à repousser l'ennemi.

Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.

Dans les circonstances actuelles aucune défaillance ne peut être tolérée.

Signé: JOFFRE

Message à communiquer à tous, jusque sur le Front.

(«В момент, когда завязывается сражение, от которого зависит спасение страны, необходимо напомнить всем, что теперь не время оглядываться назад. Все усилия должны быть направлены к тому, чтобы атаковать и отбросить неприятеля.

Войсковая часть, которая не может продвигаться вперед, должна во что бы то ни стало удерживать захваченное ею пространство и дать лучше себя убить на месте, чем попятиться назад.

При настоящих обстоятельствах никакая слабость не может быть терпима.

Подпись: ЖОФФР

Извещение, которое должно быть немедленно доведено до сведения всех до самой линии фронта.)

Подготовка к переходу в наступление отразилась на спокойном бытыве главной квартиры появлением множества запыленных, машин, появившихся с предельной скоростью офицеров связи. Они являлись не только передатчиками распоряжений, но и доверенными лицами главнокомандующего. Одним из самых интересных был майор Морен — *се cosmon de Morin* (эта свинья Морен), как в шутку встречали его в нашей «*Porotte*» — столовке 2-го бюро. Все хорошо знали Мопассана и ту новеллу, героем которой был некий Морен. Наш Морен, впрочем, не имел ничего общего с мрачным мопассановским мэром. Это был великолепный, мужественный офицер, зачастую небритый после бессонных ночей, но никогда не терявший бодрого вида; одним своим появлением он неизменно вселял оживление в окружающих.

Таков и должен быть офицер связи, — без паники, без суеты. За столом он, конечно, не позволял себе проронить слова о виденном на фронте, но за обедом все с затаенным дыханием ожидали от Морена очередного анекдота. Одно это как будто указывало, что на фронте несчастной 5-й армии, к которой Морен был прикомандирован, дела были уж не так плохи, как это было в действительности. На каждом языке можно пошутить по-своему, а на французском, благодаря богатству в нем синонимов, это особенно удается. На этом построена не только веселая сатира, но и весь французский юмор. Морен бывал тут неподражаем. Даже передавая телефонограммы, в которых встречались названия мало известных деревень, Морен, уточняя их по буквам, не мог удержаться, чтобы не повеселить своего собеседника на фронте, в особенности если тот чего-либо не понимал («O», — *comme* Octave, «U», — *comme* Ursule, «R», — *comme* Raymond et «Q», — *comme* toi. По-русски это выходило примерно так: «И» — Иван, «Д» — ты — то есть дурак».

До перехода французских армий в наступление, сведения, доставлявшиеся офицерами связи от измученных армий, могли только причинять заботы, но зато вести от союзной английской армии внушали тревогу не только всему окружению главнокомандующего, но и ему самому. терпеливому и сильному духом старику. Жоффр, в конце концов, лично поехал к английскому фельдмаршалу, чтобы убедить его перейти в наступление одновременно с 5-й французской армией. Он этого частично и добился, так как три английских корпуса заняли 6 сентября исходное положение для наступления, хотя и не в восточном направлении, как того требовал удар во фланг фон Клуку, а в северном.

Ночью с 5 на 6 сентября, по показаниям очевидцев, на французском фронте никто не спал. Рассылались последние приказания для перехода в наступление. Но в главной квартире порядок работы не изменился: подписав последние директивы, Жоффр лег спать, по обыкновению, в десять часов вечера и приказал разбудить себя только на рассвете, в пять часов утра: он был уверен в исполнителях своих приказаний, и заодно лишил их искушения обращаться к нему за помощью.

Мое личное положение к началу Марнской битвы значительно укрепилось. Терпение, проявленное в первые педдали войны, принесло свои плоды: меня стали считать не чужестранцем, а равноправным членом французской военной семьи. Телеграммы мои становились благодаря этому день ото дня более полными: я мог упоминать в них названия ручьев и деревень, встречавшихся не на географических, а на топографических картах, давать не только сводки о противнике, но и кое-какие общие выводы и прогнозы на основании разговоров с такими толковыми коллегами, как Морен.

Переход в наступление французских армий был изложен в моей телеграмме на следующий день:

«Указанное мною ранее опасное положение 1-й германской армии было блестяще использовано главнокомандующим, который за 6 и 7 сентября исправил стратегическое положение так: против 1-й германской армии, перешедшей на левый южный берег ручья Гран Морен, удерживалась 5-я французская армия на линии Куломье-Эстерне, фронтом на север.

Английская армия повела наступление на фронт Куломье-Эбли.

6-я парижская армия, заходя левым плечом, повела наступление во фланг 1-й германской армии на фронте Мо Лези-сюр-Урк.

С 8 часов утра 7 сентября 1-я германская армия стала отступать к северо-восточному направлению.

На правом французском фланге, против 5-й германской армии, 5-я французская армия заняла фланговое положение на линии к западу от Бар ле Дюк — Сульи фронтом на северо-запад. В то же время гарнизон крепости Верден перешел в наступление в западном направлении, стремясь выйти на сообщения армии кронпринца. Таким образом французские армии заняли охватывающее положение, и немцы для парирования его повели сегодня, 7 сентября, усиленное наступление на центр на фронте Фер Шампенуаз — Витри ле Франсуа.

В Лотарингии идет горячее сражение, пока безрезультатное, причем выясняется, что с этого фронта немцы не перебросили против нас ни одной части.

В то время Дюпон и я не могли, конечно, знать о переброске в Восточную Пруссию XI германского корпуса еще до высадки его из вагонов на Западном фронте.

«1-я германская армия, выставив два корпуса заслоном на запад, продолжает, повидимому, отходить на линию Ла Ферте — Монмирайль, — доносил я 8 сентября. — 2-я германская армия ведет бой на фронте Монмирайль — линия болот к северу от Фер Шампенуаз.

3-я германская армия продвинулась своим левым флангом до Камп де Майль, но сегодня, вероятно, контратакована превосходными силами, перебросенными французами по железной дороге. Последний способ вообще искусно применяется главнокомандующим для парализования сил на том или ином фронте.

4-я германская армия атаковала на фронте Витри ле Франсуа — де Сермез.

5-я германская армия, загнув свой левый фланг, XVI корпус, фронтом на восток, вела ожесточенные бои с 3-й французской армией и гарнизоном Вердена.

6-я и 7-я германские армии продолжали сражение на Восточном фронте».

Возникал вопрос: сумеют ли русские армии использовать опыт За-

падного фронта: переброска войск к полю сражения по железным дорогам представляла в то время последнее новшество.

Отход 1-й германской армии был, конечно, хорошим симптомом, — как первый шаг назад, который немцы были вынуждены сделать с самого начала войны. Однако это никого не ошелолило во французской главной квартире, и 9 сентября я доносил:

«8 сентября упорное сражение продолжалось на всем фронте с некоторым успехом для французов на некоторых участках: обходное движение против правого фланга 1-й германской армии не вполне удалось, так как немцы успели перебросить на правый фланг своего заслона, на запад II-й, IV-й, и IV-й резервный корпуса, которые повели наступления и потеснили парижскую армию с фронта Лизи-Бетц.

В образовавшийся прорыв 1-й германской армии английская армия продолжала наступать, и с рассветом 9 сентября начала переправу на северный берег Марны у Ферте. Далее, к востоку, французы продвинулись также вперед до ручья Пти Морен, имея перед собой III-й и IX-й корпуса в полном составе, а также X-й резервный. В центре, наоборот, немцы имели успех у Фер Шампенуаз, где вели бой гвардия, XII-й, и, вероятно, XII резервный корпуса.

Далее, сильнеешие, но безрезультатные бои велись на фронте Витри-ле-Франсуа — Сормез, где были обнаружены XIX-й, VIII-й и XVIII-й корпуса.

Наконец армия кронпринца продолжала бой фронтом на юг и восток, причем левофланговый XVI германский корпус был оттеснен.

На восточном Лотарингском фронте — без перемен.

Крепость Мобеж пала».

Последнее известие не произвело, впрочем, никакого впечатления. Возрастающее с каждым часом напряжение на фронте приковывало к нему, естественно, все наше внимание, и перелом мы ощутили только в ночь на 10 сентября. Чувствуя важность момента, я под утро зашел к Вертелю и принес ему на одобрение следующую телеграмму:

«9 сентября генеральное сражение продолжалось на всем фронте. 1-я германская армия отошла на северный берег Марны. После полудня немцы сделали попытку охватить, в свою очередь, обходящий фланг и заняли одним полком с артиллерией Нантейль, что не помешало парижской армии удержаться на всем остальном фронте и иметь даже успех, захватив два неприятельских знамени.

Английская армия, перебравшись через Марну, продолжала наступать в северном направлении, и противник отходил на северо-восток.

Для обеспечения правого фланга англичан французы продвинулись и к вечеру заняли Шато Тьерри.

Главное усилие немцев было направлено на центр, на фронте к югу от Сезанн — Фер Шампенуаз, но к вечеру 9 сентября французы контратаками отбросили немецкую гвардию и IX корпус к северу от Сен-Гондских болот.

3-я немецкая армия имела в начале дня также успех, и в связи с гвардией отодвинула французский центр, но к вечеру французам и тут удалось продвигаться снова вперед верст на пять.

4-я германская армия вела бой с меньшей интенсивностью, чем 8 сентября, на фронте Витри-ле-Франсуа — Ревиньи.

На фронте 5-й германской армии горячие бои велись без особых результатов.

Вероятно, с целью угрозы правому флангу французских армий, немцы подвели незначительные силы в долину Мааса.

На Восточном фронте они с дальних дистанций пытались бомбардировать Нанси».

«А-ПЕ-ТЕ-О-КА-ЖЭ, ЭС-А-Ю-ПЕ...» — слышалось чуть не крутой день из-за двери моей импровизированной шифровальной.

Это Лаборд диктовал по пятизначным группам очередную шифрованную телеграмму, а сидящий против него поделеповатый русский граф Мордвинов, в форме французского рядового, усердно стучал на

машинке. Владел он ею плохо, и диктовка то и дело сопровождалась энергичными солдатскими обриками Лаборда, вошедшего уже в свою роль старшего и заведующего хозяйством. Кроме Мордвинова, он имел подчиненных двух шоферов и вестового при двух своих верховых конях. Вскоре появился и пятый подчиненный, в лице сына Извольского, восемнадцатилетнего парня, полного остроумия и совсем не похожего на отца. Я взял его к себе после того, как он показал себя не трусом при паническом отступлении 5-й французской армии.

Так зародилась Русская военная миссия.

Мы были поселены в опустевшей загородной усадьбе, принадлежавшей знакомым парижанам, и это придавало нам известную самостоятельность.

Главной гордостью нашей миссии стал автомобиль, — громадный открытый синий роле-ройс, роскошно отделанный его хозяином Мордвиновым, владельцем известных заводов на Урале. Несмотря на всю свою близорукость, Мординов умолял взять его с собой на войну, вместе с его прекрасным открытым автомобилем. Лаборд, проехав со мной из Парижа в этой машине под управлением Мордвинова, вопрос о нем разрешил мудро:

— Вот что, — сказал он мне, — машина хороша, мы ее оставим себе, этого слепого русского хозяина посадим печатать на машинке, а его шофера определим в армию, и он будет нас возить.

Много тысяч километров сделала эта машина без единой поломки. На смену лопнувшей покрышки я позволял тратить не более двух минут, участвуя при этом лично в снятии и надевании запасного колеса. Осколком снаряда пробил как-то крыло этой птицы, летавшей со скоростью 120 километров в час, другим осколком повредило капот мотора, но верный шофер и личный мой друг — сержант Латизо не унывал: ни буря, ни вьюга не могли нарушить плавного и регулярного хода его любимцы.

Война больше всего сближает людей, даже разных классов. Еду я как-то лет двадцать спустя, уже советским гражданином, по железной дороге и сажусь обедать в роскошном вагон-ресторане. Замечаю, что ко мне приглядывается хозяин буфета, а через несколько секунд, к великому, не только моему, но и всех пассажиров, изумлению, — бросается ко мне и горячо меня обнимает:

— Неужели не узнаете? Я тот самый ваш вестовой Верне, которого так частенько распекал наш друг Лаборд!

Латизо и Верне остались моими друзьями, но, конечно, ни Лаборд, ни Мординов, ни Извольский не примирились с моим уходом из прежнего мира.

Между тем в Шатильоне они разделяли со мной все те огорчения, которые доставляли мне получавшиеся из России телеграммы.

О том, что происходило в это время на Восточном, русско-германском, фронте, по циркулярным телеграммам невозможно было составить себе понятие. Это продолжало оставаться для меня вечной загадкой.

Полученные мною как раз накануне Марнского сражения первые шифрованные телеграммы тоже не помогли разрешению загадки, не дали самого ценного — уточнения номеров германских корпусов и дивизий, обнаруженных на нашем фронте. Первая телеграмма, присланная через посольство 4 сентября, как особо секретная, гласила:

«Сообщите срочно Игнатьеву: 25 австрийских дивизий, наступавших на фронте Ополе — Краснестав, понесли громадный урон, вынуждены к обороне и частью подаются назад, 12 австрийских дивизий (номеров и тут не упоминалось) совершенно разбиты у Львова. Как только выяснится ожидаемое отступление австрийцев, немедленно будут приняты меры к переброске наших сил на германский фронт, причем имеется в виду также развитие наступательных действий на левом берегу Вислы».

Вторая половина этой телеграммы, повидимому, являлась следствием

многочратно передававшихся мною пожеланий французской главной квартиры о развитии наших операций в направлении Краков — Познань.

«Полагаю соответственным,— телеграфировал мне еще 1 сентября Монкевиц,— чтобы вы доложили генералу Жоффру, что у нас имеются достоверные сведения о начавшейся еще в четверг 27 августа перевозке германских сил с западной границы на восточную (части, как обычно, не указывались).

Ряд признаков (выражение очень невоенное и достойное автора — представителя министерства иностранных дел при ставке, Базили), указывает на то, что немцы перебрасывают войска с Западного на Восточный фронт. Помимо сведений о перевозке частей по германским железным дорогам, в настоящее время обнаруживается присутствие этих войск на нашем фронте». (Каких именно войск тоже, конечно, не сообщалось.)

Наконец и генеральный штаб и Ставка сообщили о появлении на нашем фронте III баварского корпуса, не повидавшего, как известно, за все четыре года войны фронта в Лотарингии. Однако верх бестактности проявил генерал-квартирмейстер Ставки Николая Николаевича, так называемый «черный» Данилов (мы его так называли в отличие от «рыжего» Данилова — талантливого и всеми уважаемого Николая Александровича).

«Для разговоров в главной квартире Жоффра,— гласила телеграмма Данилова от 7 сентября (то есть на второй день Марнского сражения),— мы можем констатировать факт переброски части сил немцев против нас, чем облегчается положение французов, и что, вероятно, позволит им перейти к проявлению соответствующей активности».

Напоминать французам об активности в подобную минуту казалось более чем неуместным: Марнское сражение находилось в самом разгаре.

Тем не менее, как ни было тяжело, но я по долгу службы передал и эту телеграмму Жоффру, и Бертело просил меня сообщить 9 сентября следующий телеграфный ответ французской главной квартиры на французском языке:

«On estime qu'il est actuellement impossible de supposer que des unités actives quelconques puissent être retirées du Front français, la bataille actuelle en donne toutes les preuves.— On ne nie pas quand même, que les troupes de réserve et de landwehr peuvent être dirigées contre nous, mais on met en doute leur valeur militaire. Il se pourrait bien aussi que des bruits de ce genre étaient lancés par les Allemands eux-mêmes dans le but de retenir notre offensive et gagner du temps pour les coups contre la France, ainsi que pour le perfectionnement de leur défense sur notre frontière. On reste rassuré que nous faisons en ce moment l'effort suprême avec le but de concentrer toutes les forces et toutes les ressources disponibles pour utiliser le temps qui nous est donné par la lutte de la France contre le gros des forces allemandes.»

(«Считая, что в настоящее время невозможно предполагать, будто какие-либо действующие части могли быть сняты с французского фронта; происходящее сражение дает этому все доказательства. Впрочем, не отрицается, что резервные и ландверные войска могут быть направлены против нас, но их ценность вызывает сомнение. Возможно также, что подобные слухи распускаются самими немцами, с целью задержать наше наступление и выиграть время для ударов против Франции, а также для усовершенствования обороны на нашей границе. Здесь вполне уверены, что мы делаем в настоящий момент самое большое усилие для сосредоточения всех наших сил и всех средств для использования того времени, которое нам дается борьбой, ведущейся Францией против главных германских сил».)

Этот тонкий намек на возможность неправильного осведомления нашего командования напомнил мне сложившееся еще с манчжурской войны мнение о нашем пристрастии к тайной агентуре и о плохой организации войсковой разведки.

Лишь много позже удалось раскрыть источники русского осведомления и убедиться, что манчжурская болезнь, которой были заражены раз-

ведьвательные отделы штабов, оставалась неизлеченной и что она-то и явилась одной из главных причин незаслуженных русской армией тяжелых поражений.

Величественная по своей напряженности эпопея, что разыгралась на Марнских полях, к 10 сентября подходила к своему финалу.

«На крайнем левом фланге парижской армии немцы стали отходить и очистили Нантейль. С 9 часов утра их 1-я армия продолжала отступать в северо-восточном направлении. Гвардия и X корпус также начали отступление на север», — доносил я вечером того же дня и заканчивая свою телеграмму следующим скромным намеком на победу: «В общем, надо признать, что французы имели за истекший период сражения большой успех, откинув правый фланг германской армии почти на три перелома».

Я не считал сражения оконченным, но я мог ошибиться. Мне казалось, что я в праве оторваться хоть на несколько часов от своих телеграмм и лично выяснить положение на фронтах. Баки моей машины были давно наполнены горючим, и Лаборд и Латизо уже третий день ходили подпоясанными, при револьверах, а моя шапка заняла почетное место за кожаным конвертом для карт, прикрепленным позади моего сидения. Оставалось только получить словесное разрешение «хозяина», так как постоянный «Laisser passer» (номерованный пропуск, выдаваемый только старшим чинам главной квартиры) уже лежал в моей полевой сумке. Он давал право без сообщения пароля проезжать в любой час дня и ночи на любой, даже передовой, участок фронта. Я сохранил этот пропуск как воспоминание о первой мировой войне.

Бюро штаба в Шатильоне располагалось на окраине городка, в старинном здании женского монастыря, давно поступившем в собственность государства; там же, в одной из келий, жил и работал Бертело.

Нестерпимая жара первых дней сражения сменилась холодными осенними дождями, но толстяк продолжал работать в своем белом халате: он, как хирург, руководил операциями. Впрочем, на форму одежды никто не обращал внимания.

Доступ к Бертело я уже имел свободный и, как обычно, просил через него разрешения Жоффра *faire une tournée sur le front* (прогуляться по фронту).

— Это вопрос принципиальный, мой милый полковник, — сказал Бертело. — Вы знаете, что мы ни одного иностранца на фронт не допускаем. Но для вас, как раз сегодня, главнокомандующий приказал сделать исключение. Необходимо только, чтобы ваши коллеги — англичане, бельгийцы, японцы, сербы — про это не узнали. Кроме того, вам ни в коем случае не следует пересезжать на северный берег Марны, избегая тревожить без того занятых наших генералов. Впрочем, вы это сами прекрасно понимаете, — провозного для вас не требуется.

— Привозите нам завтра хорошие вести, — улыбаясь, закончил Бертело.

Он всегда был всем доволен, что являлось одним из главных качеств этого хитрого стратега. И мне странно вспомнить сейчас о том, что несколько лет спустя выдержанный, уравновешенный Бертело потерял голову под чарами румынской королевы, красавицы Марии, и ринулся в бесславный, заранее обреченный на неудачу поход против советской России.

Было еще совсем темно, когда перед рассветом я выехал из нашей усадьбы на фронт. Избранный с вечера маршрут был нанесен на карту, и роль-роис плавно помчал меня прямо на север, в направлении Фер-Шампенуаз.

Это название мне было давно и хорошо знакомо. Я читал его не раз на серебряной трубе трубача, когда-то стоявшего со мной в дворцовом

карауле. Кавалергардский полк получил это отличие за подвиг, совершенный в одном из последних боев против Наполеона в 1814 году. Ровно через сто лет Фер Шампенуаз — небольшая деревушка, расположенная на шоссе из Парижа в Нанси, — явилась центром самых ожесточенных боев в Марнском сражении.

На центральной крохотной площади уцелел скромный памятник — колонка из серого камня, наверху которой распластал свои крылья почерневший от времени двуглавый орел. Я велел Латизо остановиться, вышел из машины, снял фуражку и прочел краткую надпись.

«EN MEMOIRE DES SOLDATS RUSSES TOMBÉS ICI EN 1814»¹

Неподалеку, в сторонке, прижимаясь к стенке, стояла небольшая группа пленных немцев. Это были гвардейцы. Их охраняли республиканские солдаты в красных штанах, с неизменной трубкой во рту. Но искуженным лицам немецких пленников, по их потухшим безразличным взорам, можно было убедиться, что люди эти были доведены до предела изнеможения. Вот он, результат пресловутых пятидесятикилометровых передов на «кайзер-маневрах», которыми так гордились перед войной немцы-германские коллеги. Их армии пришли на поле сражения измученными — только непосильными переходами по страшной жаре, но и голодными — из-за отставания продовольственных транспортов и обозов. Когда после сражения на Марне французские врачи вскрыли из любознательности несколько немецких трупов, то в их желудках нашли только куски легкой сахарной свеклы. Поля были еще не убраны, и голодные германские солдаты заменяли свеклой недополученный военный рацион.

Куда девались традиционные немецкие каски из черной кожи с трехконечным шишаком и золотым орлом! При походной форме цвета «фельд-грау» (полевой-серый) каски эти покрывались, подобно французским кирасам, матерчатыми чехлами. Для облегчения на походе пехота аствовала даже с шанцевым инструментом.

Интересен был замысел, положенный в основу плана Шлиффена, — захождение с семью армиями, правым плечом вперед, через Бельгию во Францию. Добросовестно был разработан в берлинском генеральном штабе марш-маневр на Париж. «Nach Paris!» — было лозунгом всей германской армии. Офицеры уже мысленно заказывали хороший завтрак у Буана и непревзойденное французское вино — «солнце в бутылках»; немцы, как известно, любят не только покушать, но и пожать. Теперь эти планы рухнули — если не навсегда, то надолго. Немецкие стратеги несправимы: привывшие с детства смотреть на все немецкое через сильно увеличительное стекло, etwas colossal (нечто колоссальное), они проваливают свои проекты из-за несоответствия поставленных задач силам своих бесспорно хороших солдат.

Немецкие генералы учитывают патриотизм германского народа, но признают его своей «особой привилегией»: патриотизм других народов и готовность их на подвиги для защиты родной земли они в расчет не принимают.

Глядя на пленных верзил — германских гвардейцев, трудно было узнать в этих оборванцах тех самых людей, которыми я любовался еще месяц назад на гвардейском вахтпараде в Берлине.

По дошедшим до меня впоследствии рассказам о допросах пленных строевых офицеров картина сражения немцам представлялась так.

По порядку, вошедшему уже в привычку, они встали 6 сентября очень рано, чтобы использовать для очередного тяжелого перехода более прохладные утренние часы. Попили кофе, закусили, чем бог послал, или, вернее, что удалось пограбить во французских деревнях, и, ничего не подозревая, тронулись в путь. Пройдя через собственное ночное охранение, головная кавалерийская застава задержалась: она была встречена ружейными выстрелами из-за стен какого-то каменного замка. Подождав пехотный головной отряд, развернувшись, открыл огонь. Колонна авангарда

¹ В память русских солдат, павших на этом месте в 1814 году.

приостановилась, ожидая распоряжения, потом сошла с дороги, стала тоже перестраиваться в боевой порядок, выдвинула артиллерию. А пехотный огонь все усиливался, фронт с каждым часом расширялся. Пехотные цепи авангарда стали наступать, — как вдруг внезапно попали под страшный ураган французских гранат.

Так выполнялся приказ Жюффра: «Прекратить отступление».

Так и началось сражение.

А вот и начало его конца. Когда я приближался к тем боевым рубежам, о которых за последние дни упоминал в своих телеграммах в Россию, меня обдало волной тяжелого трупного запаха. Лаборд и Латизо, конечно, тоже почувствовали его, но, вероятно, из чувства военной этики, не поделились этим первым впечатлением. По мере приближения к Фер Шампенуазу смрад этот смешивался с запахом гари, — не дыма пылающих деревьев, а гари от тлеющих старинных дубовых балок в разрушенных снарядами каменных постройках и разбросанной то тут, то там, отсыревшей от непогоды бивачной подстилочной соломы. Я уже замечал, что всякое сражение в манчжурскую войну заканчивалось почему-то дождем, — и небо во Франции также, повидимому, гневало на артиллерийскую канонаду.

Трупный запах, характеризовавший Марнские поля сражений и еще долго меня преследовавший, исходил от бесчисленных трупов лошадей, валившихся по обочинам шоссе. Громадные животные казались какими-то чудовищами от непомерно воздушных животов. Зловоние исходило также от растертых до глубоких ран конских спи и боков.

Причина падежа была для меня ясна: лошади пали не только от снарядов, но и от переутомления, от допотопной французской седловки, а главным образом, от недостатка воды. По привычке, унаследованной от мирного времени, конница, очевидно, двигалась исключительно по дорогам, переходя через речки и ручьи по мостам, и потому могла пользоваться для водопоя только колодцами на ночлегах. А они давно пересохли в это небывалое жаркое лето.

Мои мрачные предположения подтвердились видом пересекавшей наш путь колонны в несколько эскадронов; они плелись шагом вслед за своей пехотой, чуть ли не вперемежку с продвигавшимися на север полковыми обозами. Это были уже совершенно непригодные для боя и потому оставленные в тылу части 9-й кавалерийской дивизии, которой, как я помню, командовал мой «крестный» по Жокей-клубу, генерал де Лепе. Я встретился с ним через несколько недель после Марны в Париже, по это уже был не тот подвижной, полный лихости кавалерист, каким я привык его видеть; он постарел, и нервный тик его лица казался еще сильнее.

— Не о такой войне мечтали мы, — сказал он со вздохом. — Конные атаки немислмы из-за проклятых пулеметов, а из деревень не выкуришь этих бошей.

— Наше высшее командование, — продолжал де Лепе, требовало от нас боевых действий в спешенном строю, а разве это дело для кавалерии! Покоя начальство тоже не давало, лошади оставались по целым неделям нерасседланными и целыми днями не поенными...

Бороться с консерватизмом французских генералов на войне оказалась задачей невыполнимой; их самих пришлось сменить и отправлять «на траву», — «отдыхать», как говаривали в свое время русские кавалеристы.

После этой беседы мне тоже стало ясно, почему ни в одной из своих телеграмм я не нашел повода упомянуть о когда-то блестящей и не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд французской кавалерии.

Отправляясь на поле сражения, я не представлял себе, что, не ведя войск, мне удастся вынести из поездки что-либо поучительное. Но я ошибся. Не зря ведь тратил время даже сам Наполеон, объезжая поля сражений.

Самые жестокие бои в Марнском сражении происходили к северу и востоку от Сен-Гондских болот, где местность представляла собою безотрадные, волнистые, мало населенные равнины, испещренные чахлыми

сосновыми рощами. В мирное время это были те редкие для Франии районы, где имелась возможность производить маневрирование крупными войсковыми соединениями и вести боевую артиллерийскую стрельбу. Тут раскинулся исторический Шалонский лагерь, на который возлагал в свое время столько надежд создавший его Наполеон III. Здесь же, неподалеку, располагался лагерь Майли — местопребывание русских бригад во время мировой войны.

Для укрытия от взоров противника французы при обучении войск рекомендовали широко использовать складки местности, но, проехав много километров, я нигде не нашел следов столкновения на открытых пространствах. Лишь вдоль придорожных канав лежали отдельные трупы солдат в красных штанах. «Вот они — известные защитники родины!» — думалось мне. Среди них я, быть может, узнал бы и тех беспечных парижан, что целовались, прощаясь с возлюбленными на бульварах в памятную ночь мобилизации.

Стало ясно, что войска уже постигли значение хотя и примитивной, но все же кое-какой воздушной разведки и укрывались по иному. Оставив машину, мы решили заглянуть в рощицу, и то, что увидели, открыло глаза на многое. Даже мало впечатлительный и замкнутый Лаборд, и тот не удержался от тяжелого вздоха: вдоль прорубленной артиллерийскими гранатами просеки лежали выравненные взводы французской пехоты. Все головы были обуглены, и раскрытые глаза мертвецов казались от этого еще более страшными. Сомнений не было: это были жертвы знаменитых *cours de hache* (ударов топором) собственной французской 75-миллиметровки, стрелявшей на рикошет гранатами, начиненными мелнином.

Я изучал эту стрельбу как раз за два года до войны, сопровождая нашу артиллерийскую комиссию в Шалонский лагерь, на курсы усовершенствования командиров батарей. Правда, на показательной стрельбе нам хвастались только поражениями деревянных болванов, уложенных в окопы, но в своем рапорте я уже указывал на несравненную в ту пору мощь французского полевое орудия. Председатель комиссии, генерал Маниковский, поддерживал мое мнение, но всемогущий в ту пору артиллерист, великий князь Сергей Михайлович, методов французской стрельбы не признавал и продолжал увлекаться прицельной стрельбой по щитам, преимущественно шпателью, на Лужском полигоне.

Не доверяя первому впечатлению, мы стали заходить в другие рощицы и увидели жертвы французской артиллерии — polegшие на опущках цепи германской пехоты, а за ними жертвы французской артиллерии — части собственной пехоты: артиллерия поддерживала, очевидно, ее наступление, но не удлиняла достаточно прицела. Увы, причиной оказывалось все то же пренебрежение техникой и отсутствие телефонной связи, на которую я безрезультатно указывал нашим союзникам. Телефоны были редкостью, а радио в частях тогда еще не существовало.

Но вот и брошенные немцами их артиллерийские позиции. Как свидетель поражения, валяется на земле полевая гаубица с разбитыми колесами, другая, рядом с ней, осталась стоять со стволом, сдвинутым с муфты одним удачным разрывом французской полевой гранаты; в розиках полегла поголовно вся прислуга с обугленными головами.

Чем дальше я продвигался на север, тем громче гремела артиллерийская канонада. Казалось, что ей нет границ ни в силе, ни во времени, ни в пространстве. Подобной музыки мне еще слышать не приходилось. Манчжурские сражения показались столь же ничтожными, как жалкой кажется теперь Марна по сравнению с великой битвой под Москвой...

Становилось все яснее, что Марнское сражение было выиграно не пехотой, а французской артиллерией. В Манчжурии «царицей полей сражений» оказалась пехота, — на Марне усталую, деморализованную долгим отсутствием пехоту спасла артиллерия. Это мнение разделял, как я мог впоследствии убедиться, и сам генерал Жоффр.

Осмотр германских батарей, разбитых французской артиллерией,

убедил меня, что отход гвардии и X германского корпуса, сражавшихся против 9-й армии Фоша, не был добровольным, и что вслед за отступлением армии фон Клука и Бюлова, о которых я уже доносил в своих телеграммах, германский центр тоже дрогнул. Рубежи, намеченные в моем маршруте, уже остались позади, и несравнимое ни с чем ощущение успеха на войне побуждало не обращать внимания на неприглядную картину победоносной армии. В такие часы жертвы в счет не идут.

Двигаясь вдоль фронта в западном направлении и доехав до высоты Монмирайля, обращенного в груды развалин, мы еще раз попробовали пробиться на север, ближе к тем местам, откуда продолжала доноситься канонада, но все дороги были запружены спешившими на север синими колоннами пехоты. Казалось, им не было конца. Люди шли плотными рядами, без отсталых, без растяжек, — так, как я привык их видеть на больших маневрах после тяжелых переходов. Латизо, как всякий хороший шофер, стремился их обогнать, но я считал неуместным стеснять движение войск своей машиной и велел повернуть обратно на восток, чтобы успеть взглянуть и на правый фланг французских армий.

Вот и родной Витри ле Франсуа, который еще не остыл от горячих боев: то тут, то там по его окраинам, из полуразрушенных построек, вырываются языки пламени незатухнувших пожаров. Хочется взглянуть на гостеприимный дом моего нотариуса, и Латизо сворачивает с дороги на соборную площадь. Мало оживленный городок совершенно вымер и своей тишиной напоминает кладбище. На повторные звонки Лаборда дверь открыла изумленная нашим появлением хозяйка; она приняла нас как родных и свела в подвал, где собрались ее подруги, спасаясь от бомбардировки. Мужья уже давно скрылись. Милые женщины усердно угощали нас чем бог послал, но мы спешили: на дворе уже темнело, а нам предстояло еще проехать больше сотни километров до главной квартиры.

Ночь была как-то особенно темна. Усталость не чувствовалась, и, полулежа в машине, я все же не дремал: хотелось как можно скорее поделиться впечатлениями с французскими товарищами, узнать про общее положение за день на фронтах.

Главная квартира уже спала, и в полутемном, освещенном только ночником монастырском коридоре я не без труда нашел келью Бертело.

Приоткрыв дверь, я изумился. Несмотря на поздний час, Жоффр еще не спал и, наклонившись над картой, освещенной коптишей керосиновой лампой, слушал доклад стоявшего около него Бертело. Тут же, в сторонке, сидел и начальник штаба, генерал Беллен.

— Ах, это Игнатьев? Входите, входите! — весело воскликнул Бертело. — Расскажите, что нового!

Жоффр оторвался от карты и, как всегда, слегка свернувшись на левый бок, пожал мне руку, приглашая присесть на крохотный переплетенный соломой табуретик.

Докладывал я, как помнится, кратко, но с большим подъемом, и в заключение просил разрешения в моей телеграмме в Россию охарактеризовать общее положение словом «победа».

— Ах, зачем такое громкое слово? — как-то смущенно улыбаясь, возразил Жоффр. — Вот тут, в Аргонах, ils se scatrompent (они еще цепляются), — и он показал на карте армию германского кронпринца к юго-западу от Вердена. — Напишите: «успех», «общий отход немцев».

Но я не унимался и продолжал настаивать на слове «победа», пытаясь найти поддержку у Бертело.

Тяжелая работа не отразилась на его лоснящемся от здоровья лице. Своим довольным видом он напоминал ученика, только что блестяще выдержавшего трудный экзамен. Но Бертело знал своего упрямого начальника, не посмел ему перечить, и только лишний раз стал указывать карандашом успехи, достигнутые на каждом из участков обширного фронта.

— Ну, пусть будет так, — сказал Жоффр. — Но вот о чем вы должны были бы предупредить великого князя: это о непредусмотранном расходе

артиллерийских снарядов. Совершенно необходимо, чтобы он учел это для вашей армии.

— Я бы с удовольствием это сделал,— заметил я Жоффру,— но генерал Бертело уже знает, сколько мне пришлось преподавать непрошенных советов великому князю, и лишний урок с моей стороны мог бы вызвать в нем только раздражение. А вот если бы вы, за своей подписью, посоветовали, на основании опыта нашего фронта, принять меры по обеспечению снарядами русской армии, то это могло бы быть более действенным.

Да, вы правы,— сказал, подумав, Жоффр.— Я даже сделаю это через наше правительство. Это будет выглядеть еще более серьезным.

Я, конечно, промолчал о том упорстве, доходившем до враждебности, с которым русское начальство еще до войны относилось к моим настойчивым указаниям об увеличении, по примеру французов, боевого комплекта снарядов до 1500 на каждое полевое орудие, вместо имевшихся у нас 900 снарядов.

«— У них так, а у нас так»,— звучал еще в ушах ответ Жилинского.

Жоффр тут же стал диктовать Бертело телеграмму Мильерану.

Ни поражения, ни победы не нарушали плавного хода работы вызшего французского командования.

★ ★ ★

Прошли года, кончилась война. Безвычурные, но полные воли и упорства приказы Жоффра сменились трескучими фразами Фоша, гордого своей победой над армиями кайзера.

Франция почувствовала себя в праве диктовать свои законы всей Европе, и только одна страна, занимавшая шестую часть мира, позволяла себе роскошь жить и думать самостоятельно.

Среди драгоценных камней, украсивших корону победительницы, самым блестящим бриллиантом все же оставалась битва при Марне. Ее-то особенно старались использовать все те силы реакции, которые подняли голову после заключения Версальского мира.

Когда-то один из величайших американских миллиардеров, Морган, хвастаясь организацией своего громадного дела, говорил, что он может в этом отношении заимовать только «организации германской армии и католической церкви».

Организация католической церкви позволяла ей использовать все средства для собственной пропаганды, и Марнское сражение тоже послужило для нее «подходящим материалом».

В одну из главщин этого события я получил следующую приглашительную карточку:

Как участник Марнского сражения, вы приглашаетесь на церемонию для прославления Всевышнего, показавшего себя в дни Марны таким добрым французом.

Архиепископ Парижский *Маршал Франции*
Фош

Самодовольство победителей, захвативших права на самого «всевышнего», могло вызвать в то время только горькую улыбку, но соединение на одном и том же, хотя и полуофициальном, документе подписей представителей церкви и армии ярко отражало тот реакционный послевоенный консерватизм, который уже тогда открывал широкую дверь для грядущего фашизма.

Не за то проливали кровь французские солдаты первых дней войны, не такой представлялась им будущая судьба Европы. Все мы надеялись, что эта война будет последней.

Глава четвертая

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

— Когда же кончится война? — задал мне наизывный вопрос, спустя несколько дней после Марны, офицер военного кабинета президента республики Пенелон, встретив меня во дворе штаба главной квартиры.

Поддерживая связь между Жоффром и Пуанкаре, Пенелон, вероятно, из желания придать более воинственный характер своей миссии, прилетал из Бордо измученным, в запяленном автомобиле, вместо того чтобы совершать ту же поездку несравненно скорее в железнодорожном экспрессе. Война представлялась еще многим интересной новинкой, такой, как про нее читалось в исторических романах: только лихие ординарцы на взмыленных конях замечались офицерами связи в потрепанных эрстверстных пробегов манжетах.

— Не менее двух лет, — бросил я в ответ Пенелону, учитывая опыт манчжурской войны и нерешительный результат битвы на Марне.

— Не может быть, — ужаснулся мой собеседник. — А господин президент собирался уже к рождеству вернуться в Париж.

Я пожал плечами и не задерживал всегда куда-то спешившего Пенелона. Однако через несколько дней оказалось, что мой ответ произвел в мирном далеком Бордо совсем неожиданное впечатление.

— Пуанкаре очень озабочен вашими пессимистическими взглядами на войну, — сообщил мне Извольский. — Президент считает, что подобные мнения могут возыметь вредное влияние на французскую армию. Пришлось давать объяснения.

— Если союзники не подготовятся к длительной борьбе, — ответил я, — если не озаботятся пополнением материальной части, и в особенности накоплением запаса артиллерийских снарядов, то они будут разбиты. Впрочем, если мои советы признаются господином президентом вредными, то я готов немедленно покинуть свой пост и просить мое начальство о срочной присылке заместителя, большего оптимиста, чем я.

Как лавировал в Бордо Извольский, мне, конечно, неизвестно, но вопрос был исчерпан.

Однако и я ошибся: война длилась не два, а целых четыре года! Я не мог предвидеть, что уже через месяц после разговора с Пенелоном она начнет принимать характер мировой, что 29 октября 1914 года на стороне Германии выступит Турция, а ровно через год и Болгария; что на стороне России, Франции, Англии, Бельгии и Сербии выступят Япония и Италия, через два года — Румыния и Португалия, а через три — Кятай, Греция, южно-американские республики и решившие участь войны Северо-Американские Соединенные Штаты.

Германская военная машина потерпела окончательное крушение на французском, то есть на Западном фронте. За все четыре года войны он притягивал на себя большую часть германской армии. Французы прекрасно сознавали, что не будь русского фронта, они были бы раздавлены германской армией, но в русских правящих кругах даже сама марпская победа вызвала совершенно неожиданную реакцию. Ставка поручила мне запросить мнение генерала Жоффра по следующему вопросу:

«Ход военных операций на обоих европейских театрах войны и сведения, получаемые со всех сторон о перевозке значительных германских сил с запада на восток, наводят на мысль, что немцы, оставив слабую завесу на Западном фронте, все силы бросят на восточный театр, с тем, чтобы совместно с австрийцами нанести решительный удар России...»

Подобные тревожные телеграммы, не указывающие источников осведомления и даже примерного размера перебрасываемых войск, заставляли французов предполагать, что наши разведывательные органы придают чрезмерное значение данным агентурной разведки.

Широкое и планомерное развитие германской контрразведки вынуждало Гран Кю Же относиться с чрезвычайной осторожностью ко всякого рода сенсационным и недокументальным сведениям, заледозривая в них работу германского контрильонажа.

Последняя телеграмма Ставки сопровождалась в тот же день телемной Сазонова к Извольскому. В ней-то и скрывалась истинная подоплека стратегических и мало обоснованных размышлений русского командования, а именно:

«Как бы Франция, утомленная войной, не нашла в себе решимости продолжать наступление в то время, когда она будет иметь в руках достоящие гарантии возвращения ей утраченных в 1871 году земель. Напряженная дипломатическая обстановка, конечно, в принципе исключает возможность принятия Францией того положения, но она может быть к тому вынуждена состоянием своей армии к моменту, предусматриваемому великим князем, а также общественным мнением. Великий князь, давая своему сообщению генералу Жоффу исключительно характер эговора между обоими главнокомандующими, то есть строго военного, осит вас (посла), со своей стороны, в пределах возможного выяснить тожение, которое может принять Франция в предусматриваемом его сочеством случае».

За такой формой, достойной византийских чиновников, скрывался не только возможность предательства со стороны Франции: царские министры, видимо, опасались, не заключат ли она сепаратного мира с Германией за счет России.

Этот документ показывал, кроме того, полную неосведомленность русских правящих кругов о положении на Западном фронте. Неужели эти люди не читают моих ежедневных телеграмм? — думалось мне. — Или ты может попросту они с ними не считаются?

Они не могли не знать, что после Марнского сражения боевые действия на западе не прекращались. Вся Франция с напряженным вниманием следила за той упорной борьбой, начало которой было положено андузским обходом правого фланга германских армий в сражении на Арне.

Немцы парировали удар, перебросив к этому флангу свои резервы. пыталась, в свою очередь, обойти левый фланг французов с тем, чтобы обиться к северным портам Франции, откуда ожидалось английские укрепления. Толстяк Бертело тоже не дремал и перебрасывал на север войска, снятые с Лотарингского фронта.

«Для обеих противников, — как я доносил, — переброска по железным рогам с каждым днем приобретала все большее значение».

Количество наличных резервов имело, однако, свой предел, и к середине октября 1914 года, к моменту растяжения фронта до Бельгийской авины, резервы французов почти истощились.

После беспримерных по ярости контратак французской морской пехоты, покрывшей себя славой (fusillers marins), германское продвижение остановилось, а для обороны оставшегося до моря двадцатипятикилометрового пространства пришлось прибегнуть к «последнему резерву» — искусственному наводнению.

— Ну, слава богу! — с облегчением сказал мне Бертело. — Им больше некуда: мы открыли северные шлюзы и пустили на них воду!

Так закончилась длительная операция, прозванная «бегом к морю»!

Это были черные дни для несчастной Бельгии. Пал Антверпен, были яны Брюссель, и остатки деморализованной бельгийской армии, впежку с населением, спасались от бесчеловечного преследования немцев бегством к французской границе. Остановить эти толпы и разобрать в них требовало немало усилий, но никакие испытания не моглишить французов права пошеяться и пошутить.

В армии долго был в ходу следующий, весьма близкий к действительности, анекдот.

За недостатком полевых войск на последнем пограничном мосту через Изер стоял часовым добрый старый французский территориал. Хотя. Дождь. Часовой поднял воротник и вглядывался в ночную даль. дорожку со стороны Бельгии ему уже не раз приходилось пропускать мо себя то солдат, то мирных граждан, жен, детей, и бравый часовой пил, наконец, самостоятельно навести порядок.

— Halte là! Qui vive? (Кто идет?) — останавливает он надвигающуюся на него новую толпу, из которой доносятся жалобные крики:

— Les fuyards (беженцы).

На что территориал спокойно и авторитетно приказывает:

— Les fuyards, à gauche! (беженцы налево).

После перехода моста он собирал беженцев налево, а всех одетых в военную форму — направо.

Там, за рекой Изер, на последнем небольшом клочке бельгийской территории, король Альберт собрал вокруг себя остатки своей армии. Высокий, близорукий блондин в пенсне, он ни в каком отношении не казался выдающимся человеком. Но за то, что он не продал немцам чести своей страны и разделил судьбу своего несчастного народа, он заслужил его уважение и покрыл себя славой героя.

В конце 1914 года, в одну из своих поездок на фронт, я захватил, из военно-дипломатической вежливости, и на крайний левофланговый участок, оборонявшийся бельгийцами. Он оставался частью затопленным до конца войны и тактического интереса уже не представлял. Время от времени немцы все же напоминали о себе тяжелыми снарядами, а позднее и бомбежкой с самолетов скромной бельгийской главной квартиры. Она была расположена почти непосредственно на линии фронта, в небольшой деревушке Фюрн, где в уцелевшей вилле принял меня сам король: он же главнокомандующий, и пригласил меня к завтраку.

Обстановка была действительно трогательная, никакого двора, никакой придворной роскоши. Королева — маленькая, худенькая, но очень энергичная женщина, в costume сестры милосердия — напомнила мне знакомую простоту Скандинавии.

Как всегда и везде, разговор со мной вращался вокруг положения на русском фронте, и, как всегда и везде, мне ничего не оставалось добавить к посявляющимся в газетах официальным и сухим сообщениям Петроградского телеграфного агентства.

Эти сообщения изредка пополнялись так называемыми «циркулярными» телеграммами нашего генерального штаба, но когда они получались, они производили на французоз, как я доносил, «впечатление, обратное тому, которое мы желали произвести».

Как показала история, уже в начале октября 9-я германская армия Макензена начала марш-маневр против Варшавы; заставляя этим русское командование изменить первоначальные наступательные планы.

Мое служебное положение снова стало нестерпимым, так как за период горячих сражений на Восточном фронте посылка даже «циркулярных» телеграмм нашего генерального штаба совсем прекратилась.

«Высшее французское командование знает об операциях наших армий не больше, чем обыватель любой страны мира», — телеграфировал я генерал-квартирмейстеру ставки Данилову 4 декабря 1914 года.

«А мы находимся в аналогичном положении, но несколько этим не тяготимся» (!) — мудро ответил мне Данилов, отделяясь от меня, как от назойливой мухи, и умалчивая с этой целью о получаемых им ежедневно телеграммах с Западного фронта.

С постепенной его стабилизацией от моря до границы и развитием операций на русском фронте вопрос переброски германских сил приобрел все большее значение.

Учет их представлял, однако, тоже все большие трудности, — не только из-за отвода германских частей на долгий срок во вторую линию, но и вследствие неожиданного появления уже в начале октября шести новых германских корпусов серии от 22 до 27, из которых пять были постепенно обнаружены на французском фронте и один — на русском. Все знали, что после тяжелых потерь, понесенных немцами в первые недели войны на Западном фронте, они поспешат досрочно призвать под знамена очередной призыв 1915 года, размер которого в два раза превосходил французский и определялся от 400 000 до 500 000 человек, но само-мучу Дюно не верилось, что немцы сумеют в такой короткий срок сформировать столь крупные соединения, как корпуса.

Брошенная в сражение во Фландрии необстрелянная и неуверенная в себе молодежь, составлявшая эти новые корпуса, пошла в атаку, держа друг друга под руки. Быть может, этим было положено начало пресловутых германских «психических атак» 1940 года.

Хладнокровных англичан, переведенных после Марны на северный фронт в район города Ипра, это не смутило и их пулеметы исправно косили плотные немецкие строи.

Французы на первых порах показали, впрочем, по-своему красивую, но ненужную храбрость: сен-сирские юнкера пошли в первую атаку в парадной форме и в белых замшевых перчатках.

Агентурные сведения о переброске германских сил, поступившие после Марны из русской Ставки, начали получать свое подтверждение во французской главной квартире только в первых числах ноября, когда было переброшено на восток две кавалерийских дивизии. В связи с этим я счел полезным телеграфировать некоторые соображения о времени, потребном для проведения немцами перебросок.

«Принимая за основание расчета расстояние от Брюсселя до Бреставы в 1200 км среднюю скорость движения поездов — 20 км в час, число отправляемых поездов в сутки — 40, число поездов, потребных для корпусов, — 120, можно заключить, что для перевозки корпуса потребуется: на сбор и погрузку — 2 дня, на пробег всех 120 поездов — 6 дней, на выгрузку и сосредоточение — 2 дня, — то есть всего от 10 до 12 дней.

С начала вторичных боев под Варшавой русский генеральный штаб, служба которого, как казалось, начала налаживаться, определял германские силы на русском фронте от 3 до 5 полевых корпусов, 6 резервных, от 2 до 3 ландверных и 6 кавалерийских дивизий.

«Здесь полагают, — отвечал я 20 ноября, — что против нас действует гораздо больше сил, чем те, кои показаны в нашей телеграмме». А через неделю после этого пояснял:

«Неудачи, которые потерпели немцы в боях во Фландрии, равно как и временное затишье, наступившее за последние дни, естественно изменили мои соображения о переброске сил на Восточный фронт. По многим признакам, немцы спяли с фронта большую часть тяжелой артиллерии».

Переброска частей с французского на русский фронт становилась тяжелой реальностью.

И чем дольше длилась война, тем сложнее становилась работа по выяснению не только германских перебросок, но и роста германских сил. После октябрьских корпусов, в январе 1915 года была обнаружена целая серия новых корпусов, в конце марта — правда, уже не корпусов, а дивизий, из которых 11 насчитывалось на французском, и 3 на русском фронте, в мае 1915 года — уже только полков. Число дивизий росло, но сила каждой из них уменьшалась. С неподражаемой изобретательностью и организованностью немцы перетряхивали свои людские запасы, разыскивая пополнения *dans le fond des tiroirs* (на дне ящиков), как говорили французы.

* * *

Я давно покинул свой стол в помещении штаба и работал в отведенной мне квартире госпожи Буланже, жены мобилизованного писателя — типичного буржуазного эстета. Приехав как-то с фронта в краткосрочный отпуск, хозяин набросился на моего шофера Латизо за то, что мало от моей машины закапало каменную плиту в подворотне. Буланже считал высшей несправедливостью свое пребывание в грязных, холодных окопах, в обществе «некультурных» людей.

В гостиную госпожи Буланже, обращенной в мой рабочий кабинет, вместо гравюр XVIII века с любовными сценами и пасторальями, появились две громадные карты русского и французского фронтов, испещренные надписями углем, с названиями обнаруженных германских частей. «Только легко было стирать!» Подле каждой карты, от низенького потолка до самого пола, висели таблички: на одной стене — красного цвета, для

Французского фронта, а на противоположной — зеленого, для русского фронта, отображавшие организацию всех германских армий.

На моем письменном столе, застланном богатым хозяйским шелковым покрывалом, стояли две деревянные картотеки, доведенные до номера немецких полков, а подчас и батальонов: одна для русского, а другая для французского фронта. На каждой карточке были точно проставлены документы, то есть номера сводок или телеграмм из России, на основании которых она была составлена.

Мои скромные помощники, выполнявшие всю эту кропотливую работу, знали, что к вечеру, перед отправкой телеграмм в Россию, данные карты таблиц и картотеки должны были сходиться.

В те «святая святых», что представлял мой кабинет, вход посторонним лицам был запрещен, но, конечно, я не мог в этом отказать такому высокому начальнику, как Фош. Он в эту зиму командовал уже всем Северным фронтом, как единственный из французов, умевший ладить с англичанами. Являясь по службе к Жоффру, Фош неизменно заходил ко мне «попить русского чайку», как он сам выражался. Незадолго до войны он побывал на маневрах в России, и здоровые, загорелые лица наших солдат в пропетых гимнастерках, русские раскаты «ура!» произвели на этого пехотного командира неизгладимое впечатление. Он постоянно возвращался в разговоре к этим воспоминаниям.

В противоположность Жоффру, которого ослепило оказанное ему Императором Николаевичем внимание, Фош старался избегать вопроса о своем русском командовании.

Рассматривая внимательно висевшие на стенах вокруг нас карты и таблицы, он восторгался установленным у меня тройным контролем в немецких штабах и забавлялся, как ребенок, сверяя сведения об обнаружении на его фронте германских полков.

— Вы же согласны, mon général, — осторожно наставлял я, что информация остается в руках немцев исключительно по причине несогласованности действий наших армий и отсутствия общего высшего руководства. Вот сейчас мы выдерживаем натиск на Варшаву, а вы только готовите операцию. Хоть и неудачно был задуман наш первый набег на Восточную Пруссию, а все же, как теперь выяснилось, это сильно повлияло на моральное состояние немецкого командования и вынудило его в самую критическую для него минуту наступления на Париж перебросить на наш фронт целый полевой корпус, да, вероятно, приостановить и другие, быть может, мне не указанные подкрепления.

— Кому вы говорите, — с горечью отвечал Фош, не отрывая глаз от одной, то от другой карты. В моем укромном кабинете он чувствовал себя свободным и от начальства и от подчиненных. — Мы на нашем собственном фронте страдаем от отсутствия общего руководства. Попробавай бы вы сговориться с англичанами! Они твердо решили, — прав, из-за недостатка снарядов, в которых мы и сами нуждаемся, — начать воевать только в будущем году!

Мечте Фоша о единстве командования суждено было осуществиться лишь через три года после нашей беседы. Он был назначен главнокомандующим всеми силами союзников на Западном фронте в самом конце войны, в марте 1918 года, после последней предсмертной попытки немцев прорвать Западный фронт. Английская армия, против которой был тогда направлен первый удар, оказалась в таком критическом положении, что только энергичное вмешательство Фоша задержало дальнейшее развитие успеха неприятеля. Ллойд Джордж добился после этого подчинения своей армии французскому главнокомандующему.

Уходя из моего кабинета, Фош неизменно приглашал меня посетить его фронт.

— Надо, чтобы мои войска видели представителя союзной армии, — пояснял он.

Эти последние слова заранее облегчали для меня то тяжелое положение, в которое попадает военный человек, оказываясь в роли безучаст-

ного зрителя на войне. Когда я вспоминал о докучливых иностранцах, с которыми приходилось возиться в русско-японскую войну, мне нередко бывало совестно отрывать от дела французских начальников на фронте и мучить их расспросами о положении на их участках, о встречаемых затруднениях, технических усовершенствованиях. Война предъявляет военному атташе, даже союзной армии, еще больше требований дипломатического такта.

★ ★ ★

На Западном фронте все было для меня ново и совсем непохоже не только на то, чему нас учили в академии, но и на те уроки, которые были нам даны русско-японской войной.

Техника XX века стала шагать такими темпами, что пошатнула немало доктрин, казавшихся нам священными. Параллели, сравнения в методике ведения войн, отделенные одна от другой не веками, а десятком другим лет, стали невозможными, а для высшего руководства подчас и преступными. В мировой войне сроки стали уже измеряться не годами, а месяцами.

В течение первых двух лет войны союзникам с трудом удавалось догонять немцев в отношении технических средств. При первых же попытках, еще осенью 1914 года, прорвать германский фронт французы напали на неразрушенные полевой артиллерией бетонированные капониры, а вскоре — и на стальные купола. Не хотелось верить, что бетон и сталь могут быть применены в столь короткий срок в полевой войне.

В декабре 1914 года французы рассчитывали, что, выпустив на фронт в пелтора километра за один день 23 000 снарядов, они сметут с земли всю сложную паутину проволочных заграждений и подавят оборону.

В феврале 1915 года атака почти на столь же ограниченном участке потребовала для своей подготовки уже 70 000 снарядов, но в обоих случаях вторая линия неприятельской обороны оказалась неразрушенной, и французская пехота смогла продвинуться с большими потерями всего на три — четыре километра.

В апреле 1915 года немцы не остались в долгу и для подготовки собственной атаки, — правда, тоже бесплодной, — выпустили на фронт в шесть километров до 50 000 одних только тяжелых снарядов, которых у союзников было совершенно недостаточно.

Как только начали обозначаться признаки равновесия сил в артиллерии и, в особенности, в обеспечении снарядами обеих сторон, немцы уже в январе 1915 года стали готовить атаки тяжелыми минометами; эта новая траншейная артиллерия явилось такой новинкой, что, за отсутствием соответствующих военных терминов как на французском, так и на русском языках, я сохранил для этих чудовищ, стрелявших, правда, всего на сотни метров, немецкое название: «Минионверфер».

Когда и этого средства стало не хватать, чтобы сломить стойкость французской пехоты, немцы пошли на последнее страшное средство, превзошедшее по злой бесчеловечности все те зверские методы ведения войны, в систематичность и преднамеренность которых так долго не хотелось верить.

XXVI германский корпус, — телеграфировал я, — вчера, 22 апреля (1915 года) внезапно атаковал территориальную (то есть, по-нашему, ополченскую) дивизию, которая являлась звеном между правым крылом бельгийцев и левым флангом англичан. Отравив защитников передовых траншей удушливыми ядовитыми газами, немцы ворвались в укрепленные линии. При поспешном отступлении, вызванном исключительно волной удушливых газов, дивизия потеряла 24 орудия, частью старых образцов.

Заканчивая донесения, я добавлял:

«Отчаянные усилия немцев одержать успех на Западном фронте объясняют здесь стремление воздействовать на Италию». Эта бывшая германская союзница продолжала сохранять в начале войны нейтралитет и уже поглядывала в сторону союзников.

Неподвижность Западного фронта продолжала представлять загадку, чем и объясняются мои частые поездки на боевые участки. Французы, в противоположность мирному времени и порядкам засекречивания, завещанным Жоффром в первые дни войны, — стремились использовать мои посещения для возможно полного осведомления.

Обычно меня принимал один из командующих армиями или корпусом; они были заранее предупреждены о моем приезде. На схеме, представлявшей из месяца в месяц все более сложную паутину окопов и ходов сообщения, генерал, со свойственной французам доскональностью, объяснял систему обороны своего участка и хвастал отвоеванными в последних боях неприятельскими траншеями длиной иногда только в несколько десятков метров. Первое время меня поражало несоответствие достигнутых результатов с числом сосредоточенных для этого орудий и пулеметов; только постепенно, из бесед то с одним, то с другим командиром, мне становилась ясна картина боев, совершенно отличная от всего, что я видел в Манчжурии. Расход ружейных патронов бывал ничтожный, так как никакой стрелковой огневой подготовки вести не приходилось. Ее заменял систематический прогрессивный артиллерийский огонь в течение иногда двух-трех часов, а иногда и целых суток. Одновременно, под покровом ночи, в передние окопы незаметно подводились пехотные подразделения для атаки. Перед холодным зимним рассветом пригваздившиеся в полной тишине ряды солдат, предназначенных для удара, обходил унтер с бочонком подмышкой, угощая каждого стаканом крепкого, душистого коньяку. В утреннем тумане беззвучно выскакивала первая волна атакующих, за ней, через несколько минут, вторая, потом третья... Рукопашный, а тем более штыковой бой отошел в область предания.

Вот первая волна *blau de Teuffeln* (голубых дьяволов), как прозвали немцы французских пехотинцев за их порыв и серо-голубые шинели, добегают до немецких окопов и, найдя их разрушенными артиллерией, не задерживаются. Люди перепрыгивают через немецкие траншеи и бегут дальше. Так же легко они преодолевают переднюю и вторую линию, рвутся вперед, но тут же начинают падать под ураганным огнем тяжелой артиллерии и укрывающихся у прочных капониров немецких пулеметов.

Третья линия немецкой обороны представляла, неодолимую крепость и требовала для своего разрушения новой длительной бомбардировки. Винтовка оказалась мало пригодной для борьбы в окопах: немцы в первые месяцы войны показывали исключительное упорство в обороне и продолжали держаться даже после того, как волны атакующих уже прошли через их траншеи. С ними разделялись отборные солдаты, получившие название *les nettoyeurs* (чистильщики): вместо винтовок они были вооружены кинжалами, ручными гранатами и револьверами.

— Нужны ли нам револьверы? — спрашивал я самого начальника Артиллерийского управления, великого князя Сергея Михайловича, после того как донес о новой роли этого оружия. «Нет не нужны. Сергей», — получил я в ответ и, возмущенный вечной самовлюбленностью этого управления, ответил с неупотребительной по тем временам дерзостью: «Подтверждаю получение вашего номера 7642. Револьверы нам не нужны. Игнатьев».

Самые наглядные объяснения происходившего на французском фронте удавалось получать только по утрам, после ночевки у командира корпуса. В сопровождении одного из офицеров штаба я отправлялся в передовые линии окопов. Зимой их бывало трудно даже найти: до того они сливались с окружающей сероватой местностью, но зато летом перевернутая земля покрывалась сплошной поляной красных маков, напоминавших о других, более счастливых, мирных временах.

Навсегда запомнился мне милый рыжий капитан с толстой палкой в руке, не раз сопровождавший меня на излюбленном мною участке фронта в Артуа, между Монт Сент Элуа и Нотр Дам де Лоретт. С высоты отрывалась панорама на десятки километров. Слева, на севере, в сфере дальнего артиллерийского огня, виднелась жертва германского

нашествия — угольный район Бетюма, впереди — длинная плоская цепь небольших голубовато-серых возвышенностей, представлявших, по объяснению капитана, линию германской обороны.

Я рассматривал ее в свой прекрасный цейссовский бинокль, подаренный когда-то шведскими артиллеристами, но поддакивал капитану, признаваясь, больше из вежливости: разглядеть что-либо удавалось редко.

Немцы бывали по-своему вежливы и, несмотря на большую дистанцию, хорошо пристрелявшись, приветствовали обычно появление непрошенных наблюдателей двумя-тремя тяжелыми фугасками. Через два года войны живописный лесок, покрывавший высоту, был перепахан глубокими бороздами. Далее, вниз к передовым окопам, приходилось продвигаться по бесконечным ходам сообщений. На это у меня обычно терпения не хватало, тем более что благодаря моему высокому росту и малой глубине французских окопов они, казалось, не представляли для меня достаточно надежного укрытия. Капитан мой уже привык сокращать по моей просьбе расстояния и торжественно маршировал со своей палкой напрямик, перемахивая через ходы сообщения, попадавшиеся на пути.

Самым надежным укрытием и прекрасным наблюдательным пунктом мне представлялись глубокие воронки от снарядов, — второй раз снаряд ведь в то же место не попадет!

Во время подобных прогулок капитан был неуголим и, спустившись в окопы, он то и дело хвастал то укрытым под землей погребком с ручными гранатами — этим тоже новым оружием пехотинца, то хорошо замаскированным пулеметным гнездом. Одним только он не мог похвастаться — видом людей. (Санитарная часть работала в начале войны очень плохо.)

Зима 1914 года выдалась особенно суровая, и землянки, то затопленные водой, то промерзшие, без топлушек, без всяких, даже примитивных, удобств, делали невыносимым для нервных, подвижных, французов тягостное сидение в окопах. Теплой одежды заготовлено не было и, в виде драгоценной новинки, часовым выдавались полотнища из козлиных шкур. Сколько раз хотелось похвастаться перед французами нашим русским полушубком! Русские башлыки заменялись шерстяными шарфами всех цветов; они высылались на фронт заботливыми женами и *les margaines* (крестными матерями).

Женщины Франции, привыкшие играть большую роль в жизни страны и народа в мирное время, немало содействовали поддержанию воинственного духа не только на фронте, но и в тылу.

Прежде всего большинство француженок, особенно тех, кто имел близких людей на фронте, стало относиться с презрением к мужчинам, укрывшимся в тылу. Для них было создано специальное прозвище: *les embusqués* (окопавшиеся).

Самыми несчастными оказались солдаты из оккупированных немцами департаментов; о них позаботиться было некому, и для этих одиноких людей были созданы «крестные матери» — *les marraines*. Командование через гражданских префектов доставляло списки солдат и офицеров, не имевших в тылу ни родных, ни знакомых, и женщины всех возрастов и положений наперерыв выбирали себе крестников, заводили с ними переписку, посылали подарки на фронт, и, что еще важнее, давали приют отпускникам. Не обходилось, конечно, без романов и семейных драм. Благодаря удобным сообщениям недельные отпуска давались регулярно, каждые три-четыре месяца, за исключением периодов напряженных боев, но при этом на условиях, одинаковых для всех — от генерала до рядового солдата. Зато в зону армий, кроме сестер милосердия, ни одна женщина не пропускаясь.

★ ★ ★

Читателю может показаться странным, что при всех расчетах за первый год войны я не учитывал английской армии. Обрамленная с двух сторон французскими дивизиями, она продолжала занимать в то время

небольшой сравнительно участок к югу от бельгийцев, который постепенно расширялся по мере прибытия первых эшелонов новой армии, формируемой на островах, согласно ненавистному для довоенной Англии новому закону о воинской повинности. Формировал эту армию упрямый и жестокий солдат — лорд Китченер. Все его помнили по его деятельности в англо-бурскую войну, и все знали, что с ним шутить не приходится.

Но как бы ни скромны были силы английской армии в первые месяцы войны, мне все же казалось неприличным отсутствие при ней русского военного представителя. И военный агент, престарелый генерал Ермолов, и специально назначенный впоследствии на пост представителя Ставки генерал Дессино предпочитали на континенте не появляться. А между тем англичане уже тогда могли оказать немалую помощь союзникам своей непревзойденной в ту эпоху Intelligence Service и даже Scotland Yard. Их агентурная разведка, направленная, правда, больше на политические и экономические, чем на военные вопросы, раскрыла бы русскому военному руководству многие немецкие тайны, выдала бы и немецких агентов, завербованных в самой России.

Хотя французы относились почти с предубеждением к сведениям военного характера, получаемым англичанами из бельгийских и голландских источников, мне все же казалось необходимым использовать английскую главную квартиру для проверки сведений о переброске немецких дивизий на русский фронт.

Прием, оказанный мне в Сент Омере — скучном и мало привлекательном городе севера Франции, — благодаря любезности моего старого друга Вильсона отличался той простотой, лишенной всякого папибратства, которая представляет одну из главных прелестей английской нации. Я приехал for business (для дела) и этого было достаточно, чтобы в разведывательном отделении я мог получить все нужные сведения.

Англичане с трудом одолевали новую для них науку войны. Помнится, как, проходя через одну из классных комнат городской школы, превращенной в штабное бюро, я поражаюсь терпению какого-то французского капитана. Стоя у черной доски с большим куском мела в руке, этот дотошный маленький артиллерист усердно старался вложить в умы окружающих его великанов в просторных френчах цвета «хаки» премудрости прогрессивного и баражного огня.

Ah! Ah! — слышались удивленные негромкие возгласы то одного, то другого из собравшихся английских командиров. Все это было для них так ново и мало понятно, но терпеливый французик не унывал и честно выполнял возложенное на него поручение.

Вспомнив, что я по роду оружия — кавалерист, Вильсон предложил мне посетить на фронте одну из спешенных кавалерийских бригад, занимавшую передовые окопы.

Вечерело, когда мой грузный открытый ролс-ройс, забыв про все свои скоростные рекорды, тихо пробирался по узенькой булыжной дорожке, среди безбрежного моря болотистых лугов.

Как бы прощаясь с холодным зимним днем, лениво бухали то тут, то там тяжелые немецкие снаряды.

Мы никого не встречали и начали уже было сомневаться в правильности взятого направления, когда, наконец, приближаясь почти в полной темноте к какой-то одинокой двухэтажной каменной ферме, мы были остановлены скриком на английском языке. Перед нами вырос великан-часовой. После проверки моего французского *Laissez Passer* (пропуска), он объяснил, что тут помещается штаб кавалерийской бригады.

Кому же, кроме англичан, на шестом месяце войны могло притти в голову разместиться не в хорошо замаскированной землянке, а в привлекавшем внимание, но зато комфортабельном домике!

— До нас могут долететь только тяжелые снаряды, и шансы попадания в ферму у немцев очень невелики, — хладнокровно объясняли мне хозяева.

После представления генералу, бодрому, сухому джентльмену, и до-

клада начальника штаба о положении на фронте я получил предложение to change (переводиться к обеду).

К счастью, под сидением машины у меня всегда находились длинные рейтузы и ботинки со шпорами, которыми я смог заменить высокие сапоги. Но чего стоила эта прикраса перед тем великолепием, которое я увидел, спустившись по внутренней лестнице из отведенной мне комнаты в столовую!

Там был сервирован обеденный стол с прекрасной посудой и серебром (содержать серебро в блестящем виде умеют только англичане). Около каждого прибора лежал большой кусок чуждого, совсем белого хлеба; о нем я уже давно забыл и предвкушал удовольствие поскорее его отведать. Мой походный китель совершенно не соответствовал элегантным английским мундирам образца мирного времени, накрахмаленным рубашкам и рейтузам с тонкими красными лампасами, в которые облеклись к обеду хозяева. Они свято хранили традиции даже переодевания к обеду и были способны мужественно умереть, но умереть с комфортом.

Разница в бытовых условиях военного времени между французской и английской армией никого не смущала. Когда, под впечатлением прекрасного обеда, ничем не отличавшегося от приемов в мирное время, я очутился на следующее утро в окопах, меня интересовали не столько предметы вооружения, сколько сами войска, которые я видел впервые. Поражало прежде всего то гордое достоинство, с которым держали себя не только младшие командиры, но и рядовые солдаты. Правда, это были волонтеры отборной кавалерийской части, но их непринужденная спортивная выправка, их мужественные, хорошо побритые лица и хорошая мускулатура уже сами по себе внушали доверие к мощи английской нации. Кого ухватил зубами британский лев, того он не выпустит, — это не раз доказала история.

Марать сапог в окопах не пришлось: я шел по аккуратно сбитым решетчатым деревянным мосткам, под которыми стояла жидкая грязь, спускался в землянки по обитым деревом ступеням, любовался прочными, почти красивыми блиндами из нескольких рядов толстых бревен, пересыпанных землей. Откуда и как завезли англичане столько леса в эту безлесную, безотрадную равнину? Люди побеждали природу, отводили воду, боролись за чистоту и хотя бы скромный, но все же комфорт.

В просторных тяжелых рюкзаках было для этого все необходимое. Где бы и в каких условиях англичанин ни находился, он даже с одним рюкзаком умудряется, насколько возможно, не прибегать к чужим услугам.

Английская армия жила во Франции своей самостоятельной жизнью и считала вполне нормальным иметь все преимущества перед французской, не только в отношении продовольствия, но, впоследствии, и вооружения.

Война для англичан представлялась хотя и новым, но одним из тех государственных предприятий, которые издавна проводились Британской империей с настойчивой последовательностью, доводившей конкурентов и врагов до отчаяния.

На третий год войны, во всю длину расширявшегося с каждым месяцем английского фронта были выстроены в три яруса орудия всех калибров, начиная с полевых и до самых тяжелых морских. Триста шестьдесят пять дней в году, с утра до ночи, не соблюдая даже прословутых Week-end (уик-эндов) англичане бомбили немецкую оборону. Подобную роскошь они могли себе позволить благодаря неограниченному запасу боеприпасов и развитой за первые годы войны мощной оружейной промышленности. Расстрелянная пушка заменялась так же просто, как лопнувшая автомобильная шина. Всякому попадавшему в конце войны на английский фронт казалось, что он обходит громадный кузнечный цех, и оглушающий шум молотобойцев надолго оставался в ушах.

Но до этих счастливых дней вся тяжесть борьбы с германской, австро-венгерской и турецкой армиями продолжала, увы, лежать на плечах только русской и французской армий.

«В гостях хорошо, а дома лучше», — и таким домом являлась для меня в первые два года войны французская главная квартира С.О.С. (Гран Кю Же). Она занималась войной, и только войной, не считаясь с тем, что о ней скажут. Работники этого военного дома были несловохотливы, документы держались под надежным замком, считаясь долгие годы даже после войны секретными. Вот почему памфлеты немногих журналистов типа Pierrefeu (Пиерфе), опубликовавших свои тенденциозные мемуары под громким названием «Гран Кю Же», только извратили представление о работе этого муравейника, составленного из скромных, но усердных тружеников. Роль французского Гран Кю Же в конечном исходе мировой войны, несомненно, оставалась недооцененной.

В результате марнской победы Гран Кю Же, вслед за армией, тоже продвинулся на север и в течение двух месяцев оставался в Ромельи-на-Сене, очень неприглядном, закопченном городке: Общество восточных железных дорог сосредоточило в нем свои заводы и мастерские, Латино это учел и словачился заменить в нашей машине мягкие рессоры мирного времени — вагонными! Машина с рамой в две тонны стала после этого действительно военной.

Ромельи считался одним из крутых центров социалистической партии и, предаваясь невеселым размышлениям о затишном характере войны, под шум барабанившего в оконные рамы беспрерывного осеннего дождя, мы с Лабордом нередко рассуждали: почему это папа Жоффр выбрал это место пребывания; не из политических ли соображений?

На унылой площади, насупротив того опрятного домика рабочего, который был нам отведен, высидя, как полагается, собор, откуда по воскресным дням доносились звуки органа и необычных для католической церкви хоровых песнопений. Несмотря на марнскую победу они продолжали отражать вопль потрясенного германским нашествием французского народа, отчаяние вдов, сестер и матерей.

Oh, reine de France, priez pour nous,
Notre espérance, venez et sauvez-nous!
(О, царица Франции, помолись за нас,
Наша надежда, приди и спаси нас!)—

пелли дружным хором молящиеся; среди них бывало немало и солдат.

Наконец в начале ноября Лаборд, вернувшись как-то с ужина, сообщил под большим секретом полученную им от шофера сенсационную и приятную новость: «Мы переезжаем в Шантильи».

Шантильи, куда, казалось, совсем еще недавно мы ездили с моим другом Нарышкиным на скачки. Там, по строго установленному порядку, разыгрывался за неделю до Большого парижского дерби приз Жокей-клуба, служивший последним испытанием для отобранных уже на предстоящих скачках лучших французских трехлеток. В этот жаркий день на светлозеленой скаковой дорожке встречались впервые соревнующиеся в рвущей скачке красавицы-жеребцы и нежные кобылы.

С раннего утра набитые доотказа поезда, отходившие из Парижа каждые полчаса, перевозили в Шантильи — городок, расположенный в сорока пяти километрах к северу от Парижа, — толпу, жадную до скакового спорта, или вернее, — до игры в тотализатор. Обычно в этот день стояла нестерпимая июньская жара, но это не освобождало нас, членов Жокей-клуба, так сказать «героев дня», от длиннополовых черных сюртуков, лакированных ботинок и блестящих цилиндров.

В специально отведенной для нас громадной ложе в центре трибун шли горячие пересуды то о шансах какой-нибудь скаковой конюшни (имена владельцев играли большую роль, чем имена лошадей, а тем более жокеев), то о прогуливавшихся мимо ложи красавицах в самых модных туалетах: очень длинных, чуть ли не со шлейфами, платьях из легких, почти прозрачных пестрых материй и в громадных соломенных шляпах, украшенных бантами и искусственными цветами. (Парижские

моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше приблизить к мужскому головному убору.

Война, заперев двери театров, цирков и мюзик-холлов, упразднила и скачки. Но Шантильи не потерял своего военно-спортивного облика. Правда, дворцовые конюшни, расположенные против скаковых трибун (один из памятников роскошной жизни принца де Конде, двоюродного брата Людовика XIV), были обращены в гараж главной квартиры, но по широкому аллеям, продолженным в лесу, окаймлявшем скаковой круг, продолжал галопировать чистокровный молодняк.

На этих аллеях, тянувшихся на много километров, не встречалось ни одной травинки, ни одного твердого комка: старик-сторож на паре грузных серых першеронов, уже двадцать лет, каждый день, систематически, не торопясь, бороновал эти замечательные тренировочные дорожки. Где-то в сторонке скрывались за высокими отводами кустов копыта грозных стипльчезных препятствий, скакового круга Отейля. Старая парижская знакомая, баронесса Нардуччи, страстно любившая свою верховую лошадь — громадного рыжего скакуна, просила меня спасти его и «реанимировать». Фураж на вторую лошадь по случаю войны мне полагался, и, выполнив просьбу баронессы, я получил возможность поддержать время от времени свою кавалерийскую тренировку, преодолевая то покрытый нежным газоном высокий ирландский банкет, то прикрытую изящным гертелем «реку».

Это было единственное развлечение, которое допускалось в нашем военном «монастыре», строго охранявшем свой устав и порядки, непонятные для непосвященных.

Многоэтажная, когда-то первоклассная, гостиница «Гранд Конде», куда в мирное время съезжались влюбленные парочки богатых парижан, потеряв свой блеск, с трудом вмещала штабные бюро. Организация, предусмотренная мобилизационным планом, оказалась несоответствующей требованиям войны. Главная квартира не могла оставаться в узких рамках чисто оперативного органа.

Прежде всего, был создан новый отдел — личного состава. Продолжая придавать первостепенное значение подбору и квалификации кадров, Жоффри, получив права главнокомандующего, отрешил от должности в первый же месяц войны «по служебному несоответствию» двух командующих армий, семь командиров корпусов, двадцать четыре начальника дивизий, — то есть около тридцати процентов высшего командного состава. Жоффри оказался в более счастливом положении, чем Куропаткин.

Чистка началась с головы, но одновременно потребовались и пополнения; подготовка их началась не сверху, а снизу. Небывалый и неожиданный процесс потерь в младшем и среднем командном составе в сражениях на Марне и отмеченная в первых же боях недостаточная боевая подготовка мирного времени потребовала срочных мер для коренной перестройки на ходу всей французской военной машины. Для этого была необходима выдержанная, спокойная, а главным образом, систематическая работа. Никакие успехи, неудачи и связанные с ними войсковые перебростки не должны были отражаться на занятиях в той «грандиозной школе», которую представляла французская армия в первые два года войны.

Когда впоследствии мне задавали вопрос, кого из двух французских полководцев я считал выше — Жоффри или Фоша, я неизменно отвечал: «Без всего того, что сделал Жоффри для подготовки победы, Фош не мог бы победить».

Бессменным и ответственным исполнителем указаний главнокомандующего по вопросам комплектования и подготовки кадров был начальник отдела личного состава, ординарец Жоффри, майор Бельль. Этот маленький блззорокий еврей в черном мундирчике с серебряными пуговицами — форме, присвоенной стрелковым батальонам, обладал необыкновенной памятью и способностью разгадывать людей по первому взгляду;

казалось, что пенсне, которое он беспрестанно поправлял на носу, ему в этом помогало.

Всякий раз, когда мне удавалось проникать в его бюро, куда вход посторонним был строжайше воспрещен, я еще в дверях задавал стереотипный вопрос:

— En bien, Bell, où en sommes nous? (Так что же, Белль, до чего мы дошли?)

И так же споксйно, пожимая мою руку, он последовательно отвечал: в октябре — «до сержантов», в ноябре — «до лейтенантов», в январе — «до капитанов» и т. д. — вплоть до генералов, очередь до которых дошла в конце следующего, 1915, года.

Отобранные для продвижения по службе кандидаты должны были проходить через спешно открытые в тылу фронта школы, где ознакомлялись со всеми новыми методами ведения боя, со всеми новыми образцами вооружения. После этого их прикомандировывали на некоторый срок для практики к командирам тех подразделений, для которых они предназначались. Только по получении отличной аттестации от фронтового командира они получали право на следующий чин и назначение на высшую должность.

Когда мне случалось спросить мнение Белля о встреченном генерале или командире, он, не заглядывая в досье, тут же давал подробный ответ, будто все они были людьми из его роты.

Большие и мало кем оцененные услуги оказал своей армии скромный майор, Белль, немало нажил он врагов, но заставил их смолкнуть своим блестящим поведением на фронте: он погиб во главе бригады, переброшенной в Италию для прекращения паники после неслыханного разгрома итальянцев под Капоретто.

Самым близким для меня человеком после переезда в Шантильи стал только что произведенный в генералы полковник Пелле, организатор чешской армии в послевоенное время. Он представлял образец военного дипломата — тип, весьма редко встречающийся во Франции, где каждое ремесло оттораживается одно от другого, сужая круг мышления подчас самых талантливых и одаренных от природы людей. Генерал должен воевать, а дипломат ноты писать, скрывая за ними свои мысли». Пелле показал себя и тонким дипломатом на ответственном посту военного атташе в Берлине в самые тяжелые, предвоенные годы, и крупным военным организатором. В начале войны вопрос о материальном снабжении армии был поручен именно Пелле, после чего он стал начальником штаба при таком упрямом и нелегком начальнике, каким был Жоффр.

Пелле хорошо знал Берлин и в особенности военное окружение Вильгельма. Его не подкупили все те заигрывания с Францией, на которые не скупился Вильгельм, чтобы обеспечить для Германии дружественный нейтралитет ее извечного западного врага и облегчить этим реализацию своей авантюристической политики на Востоке, оторвать Францию от Англии, а если можно — и от России.

Еще в бытность мою в Дании мне приходилось слышать рассказы своего коллеги в Берлине, Александра Александровича Михельсона, об исключительном внимании, которое оказывал Вильгельм французскому военному атташе. После каждого парада, а их было немало, император демонстративно подолгу разговаривал на французском языке только с Пелле.

С постепенным превращением войны между Францией и Германией в мировую такой человек, как Пелле, оказался особенно ценным. Мне было уже известно, насколько не легко французам принаравливаться к жизни скандинавских стран, а понимать образ мысли воинственных сербов, хитроумных греков и своеобразных американцев было дано не всякому. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из союзников не совершал какой-нибудь une gaffe (небольшой промах); они были оглашены впоследствии во всех белых, желтых, синих и прочих толстых книгах, в которых опубликовывали дипломатические документы первой мировой войны.

Пелле умел улаживать отношения даже с таким беспокойным человеком, как президент республики Пуанкаре. С трудом подчинившись

необходимости удалиться в Бордо, Пуанкаре по возвращении в Париж стал поистине несносен, томясь предоставленной ему конституцией властью без прав. Телефон между Парижем и Шантильи не умолкал, а Жоффри так не любил им пользоваться: следа после себя этот аппарат не оставлял, а старик уважал и ценил документ, хотя бы самый краткий, но налагающий ответственность на его составителя.

— Что вы думаете, генерал, об оставлении русскими Варшавы? — спросил Пуанкаре Жоффри в день получения этого известия.

— Я ничего об этом не слышал, — ответил Жоффри.

— Как же так? — возмутился президент. — Все газеты полны этой новостью!

— А Игнатьев мне еще об этом ничего не сообщал, — исчерпал вопрос главнокомандующий.

Телеграмма из нашего генерального штаба, как частенько случалось, пришла после телеграммы Петербургского телеграфного агентства, и я еще не передал Жоффри подписанной мною ежедневной утренней сводки.

По случаю войны Пуанкаре вспоминал свои молодые годы и гордился службой в стрелковых частях, в которых он дослужился до чина капитана резерва. В таком невысоком чине ему показываться было неудобно, и при выездах на фронт он одевался в форму шофера из богатого дома. Его фигурке типичного французского буржуа с козлиной бородкой это переодевание воинственного вида не придавало, но зато пришлось по вкусу французским солдатам: народ они опасный и всегда найдут предлог посмеяться. «Самое опасное — показаться смешным», — сказал когда-то один французский писатель XVII века. И вот, этой судьбы не избежал Пуанкаре. Он с первого же своего посещения фронта стал настолько непопулярным в солдатской массе, что в главной квартире приходилось изыскивать всякие способы, чтобы избежать какой-нибудь враждебной по отношению к нему демонстрации.

— Куда же нам его послать? — советовался, бывало, со мной начальник оперативного отделения, полковник Гамелен. — В Эльзасе (на самом спокойном участке) он уже дважды побывал. Послать в Шампань? У, чорт! Да там как раз заняли участок насмешники-марсельцы. Своими анекдотами они способны убить кого хочешь.

Пуанкаре умел говорить прекрасные речи, но до солдатского сердца они не доходили. Жоффри не умел построить даже красивой фразы, но когда, в знак уважения к совершенному подвигу, он жал рядовому солдату руку, — скромный подчиненный чувствовал, что «папа Жоффри» хороший начальник.

★ ★ ★

Стоял холодный дождливый март 1915 года, французская пехота топила в грязи, выбываясь из окопов после очередной попытки прорвать немецкую оборону на участке в Шампань, — попытки, стоившей больших потерь.

При подобных неудачах союзников мне хотелось всякий раз получить лишнее объяснение от самого главнокомандующего. Он никогда мне в этом не отказывал и через своего офицера-ординара назначал обычно прием в какой-либо ранний утренний час. Он неизменно продолжал вставать в шесть часов. Привыкнув терять время в бесплодных ожиданиях приема в России, я всегда бывал удивлен, не встречая в скромной приемной главнокомандующего ни одного посетителя. На офицера-ординара лежала обязанность пропускать их строго по расписанию.

Жоффри, как обычно, насупив брови, делился со мной впечатлениями о минувших боях:

— Nous les grattons peu à peu (Мы их скоблим понемногу), — говорил он, — и тем прерываем переброскам германских сил на ваш фронт. Поверьте, я чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я опасаясь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами несем. Мы теряем в этих боях цвет нашей нации, и я вижу, как после войны мы очутимся в отношении национальной культуры перед огромной пропастью (он подкреплял последние слова жестом

своих толстых рук). И я не знаю, чем эта пропасть будет восполнена. Что будут представлять собой новые поколения?

Сколько раз, ужасаясь впоследствии нависшей над Францией опасностью дикой фашистской антикультуры, приходилось вспоминать пророческие слова Жоффра. Он тогда уже сошел в могилу.

Жоффр не терял никогда случая напоминать французской армии об ее могучем союзнике.

— *Qui vive?* (Стой! Кто идет?), — издаലെка останавливал меня часовой, когда темной ночью я возвращался из штаба по тропинке, протоптанной через скаксовый круг.

— *La Russie!* (Россия!), — вместо положенного ответа — «Франция», — неизменно отвечал я.

Часовой брал наизготовку и командовал:

— *Avance au rallement!* (Иди на сближение!)

В трех шагах требовалось произнести пароль, который два-три раза в неделю, чередуясь с названиями французских городов, бывал то «Москва», то «Владивосток», то «Рязань», то «Казань».

В то самое утро, когда Жоффр собирался отправиться навстречу дивизии, возвращавшейся из тяжелых боев, я как раз подал ему телеграмму о падении крепости Перемышль. Он ухватился за этот счастливый случай для поднятия духа своих войск, приказав отпраздновать победу русских войск выдачей всем чинам, от генерала до солдата (а в том числе и мне, зачисленному на французский паек), по четверти литра красного вина. Я был, кроме того, приглашен сопровождать главнокомандующего в поездке.

Французам, конечно, не известна наша осенняя и весенняя распутица, наши непролазные ухабы, но после первой военной зимы даже их прекрасные шоссе оказались разбитыми и покрылись толстым слоем липкой известковой грязи. Приближение к фронту обозначалось, кроме того, долетавшими отзвуками артиллерийских выстрелов.

Но вот передняя машина с небольшим трехцветным флажком, окаймленным золотой бахромой, сворачивает с дороги, и из нее грузно выезжает Жоффр в длинной серой шинели с пелериной.

Моросит дождь. Навстречу по узкой дороге надвигается длинная лента французской пехоты. Она уже в новом обмундировании серо-голубого цвета и хорошо сливается с серым горизонтом и нависшим над пустынными полями свинцовым небом.

Беспокоить войска на походе, заставляя их сходить с дороги, Жоффр не позволял, и потому после прохождения первых двух рот колонна остановилась и выстроилась вдоль обочины. Развалистой походкой, склонившись, как обычно, немного на левый бок, Жоффр пошел сам обходить ряды вышедших только что из боя своих солдат. Изредка он останавливался и, прикалывая к шинели боевой орден, лагивался сперва к левому, потом к правому плечу награжденного, как бы обнимая его. Это входило в церемониал награждения. Другим солдатам, по указанию сопровождавших его вдоль фронта ротных командиров, он только пожимал руку.

За эту простоту и ценили Жоффра французские солдаты.

Некоторые дивизии, отведенные на отдых, уже успели расположиться в квартиро-биваке и были выстроены для встречи главнокомандующего на ближайших полях.

Vive la Russie! (Да здравствует Россия!) — слышались крики из поредевших в боях рядов французских солдат, когда я проезжал вдоль фронта, с русской серой папайой на голове.

Оркестры вместо «Марсельезы» исполняли в этот день русский гимн. Сердце, казалось, разорвется от чувства гордости быть русским.

(Продолжение следует)

О СЛАВЕ И ПОЭЗИИ

(Письмо на фронт)

Мой друг!

В Баренцевом море тюлени вероятно кричат среди тумана. Кричат не очень громко, как будто бабы пробуют голоса в пустой церкви. Утро. Голос хриповат.

Море патается под туманом, как под крышкой кастрюли. Берег из камня. На эти камни когда-нибудь навалит груды оружия. Эти камчи, друг, будут памятниками. Такие памятники ставили у вод шотландцы. Об этом рассказывает недостоверный Оссиан, сын героя Фингала, в книге, которую, достоверно знаем, любил Суворов. Эта книга осталась, хотя моя библиотека очень прополота.

Скоро вечер, друг. Из-за красного дома внизу поспешно созревает серебряный привязной аэростат. Смотрю с балкона. Москва прорастает серебряными цветами. С крутого берега дома вижу, как уходит в небо, темнея, аэростат. Движения подъема как будто все медленней. Луна над Москвой.

Сегодня еще не помаргивает небо-край. Как сухая трава, звенят в городе троссы аэростатов.

В комнате, кажется мне, растут изменяясь листы книг на грядках полок. Так весной трава в лесу шевелит листья, прорастая.

За квадратами окон Москва проросшая троссами. Все изменилось, друг.

Я напишу тебе о книгах. Ты прочтешь под клепаным потолком.

Все изменилось, все растет. Целиной становится старая пашня. Трава, звеня, вырастает, мягкая трава, и сменяется ковылем.

Если встретимся, то пойдем друг к другу, и трава охлестнет нашу грудь. Будем проминать темным следом целину.

Там за портьерой луна над Москвой. Посмотрим, друг, как выгля-

дят на старом столе, за которым ты так часто сидел передо мной, старые книги.

Но начнем с того, что все знают. Ходит по экранам, переливаясь точками потемневшего серебра, прожектор киноаппарата. «Леди Гамильтон» проездом в России. На экране рассказывается, как любила сна капитана, а война отняла его, сделала одноглазым адмиралом.

Война уводила Нельсона от любимой. Англичане пересматривают свою историю и прощают леди за то, что она не была женой Нельсона и за то, что Гамильтон умерла нищей. Они жалеют ее. Она помогает им показать войну, горящие и утопающие корабли:

Под радугой боя вижу Суворова. Легкий, низкорослый, он построен как изречение, которое запомнили века.

Он строил себя, как строит корабль. Он строил себя для войны.

Суворову писал Нельсон. Разговор шел о славе. Нельсон считал себя похожим на Суворова. Он написал Суворову из Палермо 22-го ноября 1799 года:

«Нынешний день сделал меня самым гордым человеком в Европе: некто, видевший Вас в продолжение нескольких лет, сказал мне, что нет двух человек, которые бы наружностью своей и манерами так походили друг на друга, как мы. Мы непременно друг другу сродни, и я Вас убедительно прошу никогда не лишать меня дорогого наименования любящего вас брата и искреннего друга.

Бронте-Нельсон»

Суворов отвечал в январе 1800 года из Праги, перейдя Альпы:

«...Глядя на Ваш портрет, я действительно нашел между нами некоторое сходство... Это для меня новое отличие, которое для меня очень приятно, но мне еще приятнее знать, что я характером похожу на Вас...»

Быть похожим на Суворова значило много. Суворов писал о себе в третьем лице — он, Суворов. Суворов ощущал себя, как героя. Свою воинскую службу, как создание героического образа. И вот приписка Суворова к письму Нельсону:

«Я думал, что Вы отправились из Мальты в Египет. Палермо не остров Цитера... Впрочем, знаменитый брат, чего не отдадите Вы в мире за радугу Абуширской битвы. С новым годом, с новым веком.

Кн. А. Ит.»

На острове Цитеры герои были задержаны красотой женщины. Ле-ди Гамильтон задержала Нельсона в Палермо. Суворов вызывал к новому бою своего брата по оружию, вызывал славой.

Быть братом Суворова значило быть героем. Костровский перевод книги «Оссиан сын Фингалов» посвящен Суворову.

«Оссиан» — книга любопытная. Она рассказывает о борьбе кельтов с норманами и о других войнах. Она веками создавалась, произвольно редактировалась Макферсоном, но все слилось в одной идее — защита родины.

Макферсон сильно переделал Оссиана. Но книга эта у порога нового времени, когда народы осознавали себя, как нации. Костров в предисловии к своему переводу пишет о бардах:

«Они составили в уме своем понятия о совершенном герое... Вожди не преминули мечтательного сего героя принять себе за образец. Тщательные усилия, чтобы подражать ему, совершеннее, возрождали в их сердцах все геройские чувства, какие сражаем мы в стихотворчестве опаленных сих времен»¹.

Герой для Суворова — образец. Суворов жил на народе или, как сказали бы тогда, для всенародства.

Суворов построил себя, как строит бой, построил себя с трудом, с жертвами. Он пример того, каким должен быть командир и сколько знает должен командир для того, чтобы стать простым и доходчивым для народа.

Греческие и римские историки вводили в свои книги речи вождей. Это авторские комментарии, — такие речи не произносились. Историки древности правдивы, но не документальны, у них не было даже задачи воспроизвести документ.

Суворов же говорил со своими войсками. Традиция этого разговора чрезвычайно высокая, античная. Как я сказал уже, книжная.

Суворов жил в селе Кончанском. Если взять карту Фоминцына в книге «Скоморохи на Руси», то мы увидим, что Кончанское — скоморошье село.

Из мемуаров Болотова мы знаем, что сказочник гренадер в шатре русского командующего перед боем рассказывал сказки. Мы знаем, что скоморохи жили в имении Пожарского и что он их отставил. В русских песенниках, в частности, в Чулковском песеннике, мы видим, как переплели скоморошьи песни в русские солдатские песни. Оттуда вероятно любимый переход от заунывного тона к мажорному в русской военной песне.

А Суворов любил не только Оссиана, но и «Прирожную повариху» Чулкова, первую русскую бытовую повесть.

Суворов связан с мировой литературой. Он сам писал вещи о славе и о справедливости. Но краткость, умение создавать пословицу Суворов взял из фольклора, и именно из его скоморошней струи.

Солдат — обычный герой русской сказки не только бытовой, но и волшебной. Солдат в нашей сказке — удачник, устроитель жизни, на это обратил внимание Глеб Успенский. Солдат русской сказки меньше всего похож на Платона Каратаева.

Собственные стихи Суворова надо посмотреть, они не похожи на стихи его современников поэтов, но они похожи на поэзию, их мысль движется не по строкам, размер определяется интонацией. Русский ра-

¹ Русский Архив. 1872 г., стр. 750.

² Оссиан сын Фингалов. Перевод Е. Кострова. Москва, 1792 год. Предисловие, стр. XIII.

Этот стих хорошо был понят Суворовым и поэтически он был не лжи, а впереди своего времени. Суворов жил для нас, как для нас составил после многих раздумий свое простое надгробье на своей земле из простого упоминания имени.

К этому камню сейчас в Ленинграде приходят войны.

Памятник Суворова стоит среди Ленинграда, на нем он изображен в шлеме. Он похож на того лавра, сходством с которым гордился Гельсон. На поклонника Оссиана и тезку Александра Македонского.

Теперь расскажу литературные воспоминания.

Юрий Николаевич Тынянов в Москве. Он написал еще одну часть «Идиота» Пушкина.

Жизнь мы врозь. Но ветер войны донимает нас, как траву, в одну сторону и враз поднимает. Я читал Тынянова и думал о славе.

Груз книг пушкиноведения представляет Тыняновым. Его роман называется о прекрасном человеке, которого жизненным, что этот мальчик уводит за собою всех и похищает друзей, женщин, соперников, потому что он — веселое желание видеть существовать.

Раннее созревание Пушкина, его удивительный дар видеть во всем живое — даны в романе. Гений утверждает паруса.

Еще утро, еще нельзя отличить цвет моря от цвета неба, еще естественный поднят парус.

Тынянов Пушкина читал Оссиана и даже подражал ему. Он рассказывал о том, как Тоскар по приказанию императора поставил на берегах Грана памятник победы. Памятник создан из камня со дна реки.

Вешай, сын шумного потока,
О храбрых поздним временам.

Он говорит о Кагульском чугуне, памятнике, поставленном среди Архangelского пруда, как читатель Оссиана.

Он видит окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой
Вознесен памятник. Ширяся
крылами,
Над ним летит орел молодой.
И стрелы, и стрелы
громовые

Вкруг грозного столпа трекратно
обвились;

Кругом подножия, шума, валы
седые
В блестящей пене улеглись.

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и
Суворов,

Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу
похищали;

Их смелым подвигам страшась
дивился мир;
Державин и Петров героям песнь
брыцали

Струнами громозвучных лир.
(Воспоминания в Царском Селе.
1814 год).

(Чугун Кагульский — страницы новой книги Тынянова о Пушкине. На черном листе — черные буквы. Почерк тверд и различим.)

Слава восемнадцатого века кажется мне шумящей перьями крыл... Она идет легкой поступью Суворова... Радуга боя над ними.

Пушкин возрос в грозе двенадцатого года.

В те дни русские поля были покрыты трофеями. В Смоленской губернии в деревенских банях пар подавали плеча водой на груды ядер, раскаленных в печи. Ядра в деревне были обычной камней.

У славы этих дней латинское имя — fame. Над ней стоят камни, украшенные оружием. Ей посвящены памятники Царского Села, мосты, релетты Ленинграда.

Мы не знаем себя, Пушкин хотел быть «эпитомцем тег и Аполлона». А его поколение было омыто грозой двенадцатого года. Поколение молодых, веселых, вернувшихся с дальних победных походов.

Надо было отказаться от лени, от поэтического прекрасного. Веселость же не оставался поэта.

Надо уйти из условного мира поэзии. Уйти даже от друзей. Даже от полу-правды, поэзии Державина.

Блажен в златом кругу вельмож
Пит, внимаемой царями,
Владыка смехом и слезами.
Приправляя горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит.
Он украшает их пиры

И внемлют умные хвалы.
Меж тем, за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, толкаемый слугами,
Поодаль слушает певца...

(1827 г.)

Пушкин создал новый образ поэта.

Во всей своей поэзии он присутствует, как герой. У него есть свое место в строфе.

Перед смертью Пушкин не пришел на открытие Александровской колонны. По он писал, что его памятник вознесется выше Александринского столпа. (Жуковский изменил, запечатав «Наполеонова столпа».)

Маяковский написал поэму «Во весь голос», как отпускную себе. Поэт, умеющий шутить, любивший шутку, написал о поэзии простой и необходимой, вечной как водопровод «сработанный еще рабами Рима».

Он написал:

Умри мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши.

Он отдал славу народу.

Сейчас Маяковскому было бы пятьдесят лет. Поэзия вокруг него была бы иная.

Пушкин умер, преодолевая собственный свой стих. Он говорил, что вокруг русской поэзии на карауле имбы, держа в руках рифмы.

Маяковский жил изменяясь.

Лучшее, что написано по теории русской поэзии, это статья Маяковского «Как делать стихи». В ней поэт говорил:

«Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собою в гроб секрет своего ремесла». Это статья-завещание. На примере рождения стихотворения поэт показывает сущность поэзии. Он говорит о том, какой груз жизни поднимает поэт.

Поэт пишет о рифме. «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало... В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и во всяком случае до меня не употреблялась. В словаре рифм ее нет».

Маяковский говорил: «Новизна в

поэтическом произведении обязательна».

Рифма — это один из моментов непрерывного процесса. Через поэзию человек сближает и как бы рифмует понятия, обновляя их. Академик Павлов говорил, что в жизни огромную роль играет реакция организма на новизну, что это один из наиболее биологически необходимых реакций. Этот рефлекс Павлов называл «рефлексом — что такое?»

На горьком примере стихотворения о гибели поэта Маяковский беспрестанно, как воссоздавая военный расставляет слова и выигрывает сражение.

Байрон удивлялся жестокости Суворова, решившегося на штурм Измаила. Между тем, Суворов оказался любимым генералом солдат. Поэзия тоже беспощадна, прежде всего к поэту. Когда я спросил одного поэта, как он может так откровенно говорить про себя в стихах, поэт ответил — «Это зарифмовано».

Кажется страшным, что поэт пишет о гибели близких. Поэт лишен права забвения. Он исследует горе за других. Он присужден к откровенности. Надо иметь много силы, для того, чтобы написать поэму «Сын».

Даже о горе надо написать по-новому. Надо узнать, что такое горе в великой войне.

Поэт должен быть откровенным, у него стеклянный дом. Его сердце бьется явно.

Маяковский писал:

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,

уже не стук, а стон...

Сердце растоптанное, окровавленное хотело дать поэт как знамя.

Когда Маяковский работал в Росте, он работал трудно, но его рифмы легки, он создавал поговорки.

Русская народная рифма шутлива, так написано в первом т. «Пушкинского «Современника». Русская рифма разнообразна.

Плакат, лозунг — то, что вешается на стенках, должно быть хорошо написано, хорошо найдено. Мы мало нашли за время войны, мало сделали, чтобы приспособиться войне — так, как приспособились барды Суворову.

Многие из нас скорее поэтически

второе поколение бардов, которых Костров называл клерками, бардами священнического звания. Полуправдой не заменишь правду.

Пушкин спорил в своей славе с Александром. Это хорошо понял Максим Горький. Пушкин считал себя выразителем идей своего народа, он боролся за свое влияние.

Маяковский хотел назвать свою книгу «Облако в штанах» — «Тринадцатый апостол».

Поэту надо быть гордым.

Гордым и народным.

Если бы Суворов пришел к солдату без славы, без военной науки, если бы он был просто прост, он бы не был Суворовым.

Он должен был притти старшим начальником.

Солдатство великого полководца хорошо, когда оно приводит к солдату великого полководца, чтобы объяснить маневр, а не для панибратства.

«Фома Смыслов», за которого сейчас пишет Семел Кирсанов, пишет, на мой взгляд, неплохие стихи. Кирсанов донял не использованные еще возможности русского раешного стиха.

В русском народном стихе есть высокие мысли и лирика. Солдатская песня включает в себя перебой настроений. Суворов совмещал в себе античную традицию, Оссияна и народное скоморошество и просторечье.

Фома Смыслов может быть героичнее.

Американцы в великом и умелом своем кинематографическом искусстве делают комедию из смешения смешного и страшного. Одно смешное, как одно бытовое, недостаточно для великого. Лев Толстой говорил, что красное можно писать на картине только зеленым, то есть красное только тогда красно, когда оно окружено зеленым.

Владимир Маяковский включил в свое искусство высокое и уличное.

Он уличное подымал, давал голос своему времени.

Державин был солдатом. Он писал для гвардейцев солдатские стихи, пользовался просторечием, и Державин — это не высокая речь, а чередование высокой речи и низкой, и поэтому он почти сосед Суворова.

На совсем нехватало правды.

Когда-то давно, до войны, Константин Симонов писал поэму о Суворове. Суворов в Альпах, он стар, его ведут поддерживая. Старость дала бессоницу. Ночью на привале видит он часы. Такие часы были у его отца. Часы играли, потом выходили овечки, за овечками — пастухи. Суворову семьдесят лет. Он видит такие же часы.

Все было так, как он и ждал, —

И луг, и замок, и овечки.

Но замок сильно полинял

И три овечки постарели,

И на условленный сигнал

Охрипшей старенькой свирели

Никто не вышел на балкон

.....

Часы стояли опустело

И лишь пружина все гнала

Вперед их старческое тело.

Суворов состарился иначе. Пружина славы гнала его, и свирель не охрипла. Реальное изображение человека, — это изображение его в главном деле. Мы знаем о Суворове времена альпийского похода.

Показался Суворов, человек небольшого роста, сухой и уже состарившийся, с лицом, покрытым морщинами, с зажмуренными почти глазами. Он говорил, что они заметно слабеют у него; когда же открывал их, тогда виден был блистающий огонь Гения.

Дальше идет запись слов Суворова. Он рассказывал о славном Оссияне, сравнивал его с Гомером и продолжал: «Римляне говорили, что надо публично хвалить себя для того, что это производит поревнование в слушающих».

Говорил о войне «Я, как Пазарь, не делаю никогда планов частных; гляжу на предметы только в целом; вихрь случая всегда перемещает наши заранее обдуманные планы»¹.

Обед кончался. Суворов ел и пил более всякого из нас...

Распорядок дня Суворова этих времен мы знаем точно. Он ночью спал немного, но спал еще после обеда.

Часы изломанные и полинялые, — это малое, неверное — полуправда.

Пушкин учил нас, как надо гово-

¹ Подвиги Суворова в Италии и Швейцарии. Перевод с французского. Москва, 1806, часть 2-я, стр. 178—179.

рить о гении. Он писал в 1825 году из Михайловского:

«Оставь любопытство толпы и будь за одно с Гением...

Мы знаем Байрона довольню. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе среди воскресающей Греции. 1825 год, сентябрь».

О поэте надо писать так, как Цезарь учил воевать: видя главное. Про поэта надо писать, как про творца.

Маяковский начал свою автобиографию словами:

«Я поэт тем и интересен».

Завет Пушкина не исполнили Булгаков и Художественный театр. Они дали квартиру Пушкина и приблизили к нам роман Дантеса. Пушкина на сцене нет. Не скажу: «Слава богу, что нет». Есть его дом, его враг, молодой и красивый, по простым пашечным законам театра привлекающий какое-то сочувствие.

Гнусное дело Дантеса давно уже раскрыто в работах советских ученых. Надо было посмотреть работы профессора Казанского и понять, что Пушкин умирал, вырываясь на свободу, делая вызов царю перед лицом дипломатии того времени. Анонимка, полученная Пушкиным, связывала Наталью не с Дантесом, а с Николаем. И Дантес не просто красавец. Дантес — враг любви поэта.

Путь к Беатриче шел для Данте через «Ад» и «Чистилище». Поэты на путях любви воспели жизнь. Любовь пеголея — короткое замыкание. Это любовь оскорбительная.

«О доблести, о подвигах, о славе» мечтал Александр Блок, когда он любил. Невозможное возможно в жизни, когда поэт дает любви голос. Любовь Дантеса была пантомимой. Дантеса надо увидеть, прочтя Маяковского:

Сужия сын Дантес!

Великосветский шлюда.

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались
до 17-го года?

Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,

что ж болтаешь!

Спиритизма вроде.

Так сказать,

невольник чести...

пулю сражен.

Их

и на сегодня

всяческих

много ходит,

охотников

до наших жен.

Дело идет о любви. Ее надо сохранить, не растратить. От ревности зверем чувствовал себя Маяковский.

Медведём,

когда он смертельно сердится.
на телефон

грудь

на врага тяну.

А сердце

глубже уходит в рогаину!

И вот прошло:

Шкурой

ревности медведь

лежит коттист.

Исчерпана любовь. Путь через ад и чистилище поэт прошел ни к кому.

И молниями телеграмм

мне незачем

тебя

будить и беспокоить.

Поэт остался в опустошенной вселенной.

Поговорим еще раз о любви и славе.

Военная любовь напряжена разлукой, человек оторван от дома.

Стихи Симонова о любви лучше его стихов о Суворове. Стихотворение «Жди меня» — заклинание. Ожидание как будто сжигает разлуку и сохраняет любимого. Но иные стихи Симонова написаны про любовные разговоры холостых мужчин.

Названья ласковые, птичьи
На ум не шли нам. Вдалеке
Мы тосковали по-мужичьи!
На грубом нашем языке.
О белом полотне постели.
О верхней вздернутой губе.
О гнущемся и тонком теле
На пытку отданном тебе.

Это не по-мужичьи и не очень новое. Мысль об измене, о душевной неверности, о неотданности, очевидно, увеличивает желание.

Лирику Симонова ищут на фронте. Но что мы сделали для того

чтобы на фронте была бы вся русская блистательная поэзия о любви, о разлуке?

Подумай, друг, еще раз о любви и славе.

Ты знаешь, как разлюбил Блок:

Уж не мечтать о доблести,
о славе.

Все миновалось, молодость
прошла.

Твое лицо в его простой
оправе

Своей рукой убрал я со стола.

Сейчас кладется основа будущего.
Сейчас ручьи трогаются с гор в дальний путь.

Береги любовь и славу с молодю,
Как шубу с нова.

Берегите образ поэта.

Для того чтобы поднять груз времени, писать о величайших жарт-

вах народа, надо прежде всего найти себя как поэта, создать, как Суворов создал образ военачальника, образ поэта отечественной войны. Тогда груз будет поднят. Уход же от поэзии сегодняшнего дня, уход в переводы, в чистую лирику, в кнители, которые когда-нибудь будут написаны, и каждодневная работа без подъема — все неверно. Верен один путь.

Такой путь сделал Суворов через Альпы.

Так с Новым годом, друг! С Новым, третьим, годом войны.

Пусть в этот год срифмуется с фронтом второй фронт и люди будут соревноваться в славе, как адмирал Нельсон с Суворовым.

Пусть станем мы братьями по победе.

В. Ш.

П. Незнамов

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

1

В середине сентября 1922 года я приехал в Москву и поселился в помещении Вхутемаса на улице Кирова, тогда еще Мясницкой. В один из ближайших вечеров, вместе с Асеевым, Пальмовым, Родченко и другими товарищами, я уже был у Маяковского.

Маяковский тогда ходил остривший под машинку — высокий складный человек, хорошо оборудо-

ванный для ходьбы, красивый и прочный, выносливый, как думалось мне, на много десятилетий вперед; грипп тогда еще не мучил его. В каком он был костюме не помню, но казался выросшим в него и костюм был рад служить этому организму опрятному человеку.

На столе стоял большой вкусный самовар, все пили чай. Время от времени появлялась Аннушка, пожилая домработница. Все съедобное, что было в квартире, было на столе. Кормить всех здесь было в обычае.

Пальмову Маяковский сказал:

— А, Пальмира!

Он с ним был на «ты», они учились вместе в школе живописи и валяния. А о себе я услышал на рожденьях его низах:

— Вы такой загоревший, вы такой апперонский...

Я действительно в это лето много загорел. Но в словах этих была не только шутка, но и поощрение и покровительство: Маяковский мне понравился.

¹ Поэт Петр Александрович Незнамов в течение многих лет близко знал Владимира Владимировича Маяковского и часто помогал ему в работе. В первые месяцы Великой отечественной войны товарищ Незнамов ушел добровольцем в ряды народного ополчения. Рукопись воспоминаний П. А. Незнамова о Маяковском, часть которых здесь впервые публикуется, хранится в библиотеке-музее В. Маяковского в Москве.

Начего от «тигра», на чем настаивал Бурлюк, в нем не было, скорей что-то «медвежатное», если принять в расчет всем известную элегантную «неуклюжесть» его.

Тем не менее жест его был свободен и размашист, движение не связано; большие руки всегда находили работу; «снарядами», на которых он упражнял силу и гибкость своих пальцев, были: то стакан с чаем, то папироса, то длинная металлическая цепочка, наматываемая и разматываемая, то карты.

Никогда не забуду его позы, когда он, взяв со стола какой-то журнальчик, процитировал и сатирически растерзал продукцию нескольких петроградских пролетпоэтов. Он стоял и, высоко держа книжку в раскрытом виде тремя пальцами правой руки, яростно потрясал ею в воздухе и при этом как бы наступал на слушателей, выкрикивая свои гневные оценки. Оценки попадали не в бровь, а в глаз. Я думаю, что многие видели его в этой позе: в личном разговоре, в издательстве, на эстраде, — в позе, обусловленной всем размахом его чувств и всем размахом его натуры.

Впрочем, говорил он в этот вечер мало: он как бы отдыхал от дневного перерасхода энергии по издательствам, редакциям, дискуссиям, давая передышку своей неумности, своей ветерпеливой силе, своему максимализму.

...Первые дни по приезде в Москву я видел Маяковского только вечерами, на чаепитиях, спорящим, веселящимся, играющим в карты. На работе я его узнал несколько позднее. Но это не значит, что все эти вечера были для него только отдыхом. «Отдых» этот был очень относительным. Люди, разошедшиеся с ним позднее, не раз мелко упрекали его: «Мало ли о чем мы договаривались с вами за чаем». Следовательно, здесь в часы отдыха происходили многие деловые встречи, достигалась договоренность, шла работа ума.

Кроме того, столько раз случалось ему во время этого «отдыха» исполнять срочную работу. В комнате тановали, шумели, играли на рояли, а Маяковский тут же, положив листок бумаги на крышку этого самого рояля, записывал только что родившиеся строфы стихотворе-

ния. Он сперва глухо гудел их себе под нос, потом начиналось энергичное наборматывание, нечто сходное с наматыванием каната или веревки на руку, иногда продолжительное, если строфа шла трудно, и, наконец, карандаш его касался бумаги.

Иногда Маяковский предлагал тут же прослушать собравшимся новорожденное стихотворение, и тогда гиперболы в косую сажень в плечах и образы один другого удачнее, полные свежести и злобы дня, шли завоевывать слушателя и читателя. И все мы аплодировали автору, напившему свою вещь в столь некабинетной обстановке.

Наконец все его бутады, шутливые зарифмовывания, игра словом, как мячиком, перестановка слогов были не чем иным, как ежедневной поэтической деятельностью. Его слово было его дело. Поэзия была делом его жизни, и он в сущности всегда пребывал в состоянии рабочей готовности и внутренней мобилизации. Когда он слышал слово «боржом», он начинал его спрягать:

— Мы боржом, вы боржете, они боржут.

Или вдруг начинал «стучать лбами» стоящие по своей звуковой основе рядом прилагательные:

— Восточный — водосточный — водочный.

Он брал слово в раскаленном до красна состоянии и, не дав ему застыть, тут же делал из него поэтическую заготовку. Он всегда в этой области что-нибудь планировал, накапливал, распределял. Для постороннего все это казалось ненужным, но человек, понимающий, что к чему, сближал эту его работу с ежедневными упражнениями пианиста в своем ремесле.

Ведь в том-то и дело, что это был круглосуточный писатель, который даже в полудремотном состоянии, уже засыпая, мог... писать. Это невероятно, но факт. Во всяком случае, это его устраивало. Однажды, играя в городки в Пушкине, он успел сделать запись даже между двумя ударами рюх. Пиджак его остался в комнате, блокнот с ним не было, и он нацарапал эту заготовку углем на папиросной коробке.

В дебрях слова он распоряжался так же, как мы на своих подоконниках, он всегда был в собранном состоянии, когда дело касалось лите-

ратуры, и потому работа у него спорилась и «розою цвела по ладо- ни». Вся жизнь его проходила в стихе. «И любилши стихом, а в прозе немею» — как это его здорово опре- деляло!

2

В октябре — декабре 1922 года я работал в издательстве «Круг». Меня привлек туда Асеев, и я помо- гал ему и Казину при приеме сти- хов.

Асеев издал там «Избрань», а Ма- яковский «Лирику», «Солнце» и «Ма- яковский издавается». Последняя книжка была значительно дополне- на, расширено было и заглавие, а ее предисловие «Схема смеха» вы- звало настоящую сенсацию. Облож- ку к ней делал Родченко; обложка была остроумная и яркая, простотой конструкции побившая всю тогдаш- нюю юлие-анненковскую практику в этой области.

Люди в «Круг» ходили самые раз- ные. Подражатель Ключева А. Ши- ряевец принес книгу стихов «Му- жикослов», которую тотчас же все стали называть «Мужик Ослов».

Из Петрограда наезжали «Сера- пионовы братья», заходил даровы- тый Лев Лунц; Н. Тихонов явился со своей «Брагой». Приходили ка- кие-то волжане с вешевыми мешка- ми за спиной. Маяковский назвал их «Пайконосы».

Когда приходил Маяковский, в комнате сразу становилось тесно от него самого, от громады его голоса, от безапелляционности его принци- пальных заявлений. Он с Асеевым отстаивал «непривычные» обложки Родченко, негодовал по поводу дур- ных красок, испортивших одну из обложек, резко высказывался о ча- сти продукции «Круга», смотрел — беру выражение Хлебникова — «как Енисей зимой» и вдруг ясенел взгля- дом и начинал шутить. Он подхо- дил к Казину и с полным доброду- шием и доброжелательностью непе- редаваемым тоном говорил:

— Какой вы, Казин, стали гор- дый, недоступный для широких масс!

Маленький общительный Казин улыбался. Но было немало мелких самолюбий, которых одно-два слова Маяковского надолго выбивали из седла. Иные из них делались врага- ми на всю жизнь. Это они, преврат-

но перетолковывая его бравады, ши- пели вслед ему: рекламист; это они густо клеветали (когда вышли в свет два тома «13 лет работы»), что на полученные (небольшие) Маяковским деньги можно прожить тринадцать лет тринадцати семьям.

Он проливостоял им всей своей практикой, всей цельностью своей натуры, всей твердостью своих ре- волюционных взглядов, не был по- хож на них, не пил с ними водки, не ходил по пивным, не вел специ- фических разговоров о женщинах. Как же им было не говорить ему:

— Ну, скажите. Маяковский, кто превзойдет вас в аппетитах?

А он в это время заботился не об аппетитах, а об интересах своей страны, которую любил больше все- го на свете, и при том любил каж- дый строчкой своего стиха, следова- тельно, самым существом своим.

Ни в каких заграницах он не за- бывал о престиже своей родины. В ноябре 1922 года он побывал в Берлине и Париже, и видевшие его там с удовлетворением рассказывали в «Круге», с каким достоинством Маяковский держал себя на чужбине.

По приезде он прочел доклады: «Что Берлин» и «Что Париж».

Именно в это время Маяковский исхлопотал у советской власти раз- рещение на издание журнала «Лев», чтобы «агитировать нашим иску- сством массы».

Редакционная коллегия журнала состояла из семи человек, но Ма- яковский так азартно относился к предприятию, что сам написал все три передовых к первому номеру «Лефа». Он интересовался и техни- ческой стороной, и бумагой, и ти- пографией, и оформлением. Раз он делает «Лев», он делает его всерьез!

Я был секретарем журнала и по этой обязанности иногда бывал у Маяковского в его рабочей комнате в Лубянском проезде. Комната была небольшая, изрядную часть ее по- лезной площади занимали диван и письменный стол, и все-таки чаще всего я видел Маяковского ходящим по ней, вернее сказать, он «толокся» в комнате. Во всяком случае, ^{здесь} у него при ходьбе «брюки трепали в шаг».

Здесь им написаны были все ва- рианты «Про это».

Дела у Гиза были неважные, деньги платились трудно, заведующий финчастью М. И. Быков часто отказывал в платежах по ведомостям. Маяковский советовал мне «брату Михаилу Ивановичу мертвой хваткой», то есть тем, чего у меня как раз не было. Но однажды более часу не выходя из кабинета Быкова я «высидел» кучу денег, когда их уже и ждать перестали. Это была моя «мертвая сидка». На получение денег я имел доверенность от Владимира Владимировича.

Клише рисунков и иллюстраций для первых номеров нам делал замечательный гравер на Усачевке, частник (тогда это еще было в ходу). Он работал в одиночку и очень быстро, но и он однажды опоздал. Однако Маяковский категорически заявил мне, что все клише должны быть готовы к сроку.

— В свежем, соленом или маринованном виде, но вы должны их привезти сегодня же, — заявил он.

Я просидел на Усачевке весь вечер и к половине первого привез все клише.

— Вот это другое дело, — сказал подобревший Маяковский, — передайте их Брику и садитесь есть. Очень натерпелись?

Это была «проверка исполнения». Маяковский был необычайно добросовестным и почти пунктуальным в отношении сроков выполнимых заказов, он держал свое слово и других учил держать. Любо-дорого было смотреть, как он работал. Плакаты и подписи к ним, которые он брался делать для трестов, совместно — то с Родченко, то с Лавинским, то с Алексеем Левыным — у него прямо горели в руках.

3

1924 год прошел для Маяковского под знаком поэмы о Ленине. Сперва он, повидавшему, очень много читал о Владимире Ильиче и разговаривал с людьми, хорошо знавшими последнего, потом относительно долго писал самую поэму, потом проверял ее на аудиториях Москвы и, наконец, «развозил» по городам Союза.

Маяковский считал своим долгом написать о Ленине. Он отлично понимал, что известные строчки рабочего поэта Н. Полетаева:

Портретов Ленина не видно,
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет, —

несмотря на горькую правду их в то время, были, в сущности, своеобразной формулой отказа от изображения Ленина, и потому апелляция к «векам» вовсе не устраивала такого действительного человека, как Маяковский.

Он как-то писал о себе в автобиографии:

«На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать жизнь». Вот эта-то способность и помогла ему справиться с гигантски трудной задачей.

В Москве я присутствовал при чтении поэмы два раза. Маяковский читал ее взволнованно и, в хорошем значении слова, расчтетливо. Громадную вещь надо было во всех ее кусках донести до слушателя, и Маяковский был подготовлен к этому, он был внутренне подобран.

Ведь это был не «эпизод из жизни» Ленина, а жизнь Ленина в целом, данная не традиционно биографически, а как жизнь вождя партии и организатора рабочего класса. И Маяковского хватало на чтение всей поэмы. Конец поэмы он читал промолкновено — никакого другого определения здесь не подойдет.

Жизнь в нем была ключом, он везде успевал в эти годы, несмотря на то, что много ездил по верному замечанию Л. Никулина — «был отделен от московского пейзажа». Он выступал в Политехническом, в Доме печати, в большом зале консерватории, в крупнейших клубах. Но о Маяковском на эстраде уже написал очень хорошо Л. Кассиль. К этому можно добавить несмного.

Маяковский появлялся на эстраде во всеоружии из ряда вон выходящей манеры. Это был не лектор, а поэт-разговорщик. Даже более того, это был поэт-театр. И все его снимание поджака, вешания его на спинку стула, закладывания пальцев за проймы жилета или рук в карманы, наконец, ходьба по сцене и выпады у самой рамы были средствами поэта-театра. Это был инструмент сценического воздействия.

Театральные работники завистливо поглядывали на его выступления: какой прекрасный материал пропадал для сцены!

Льстивыми аплодисментами его нельзя было купить, а в отношении свиста он был натренирован не бледнеть. Он и не бледнел и не терялся. В наибольшей степени он злился тогда, когда кто-нибудь, бездарный и надоедливый, как муха, жужжал у него на докладе. Тогда он выходил из себя — не поддевать же муху на пику! А черная маленькая муха жужжала и жужжала. Отгонять муху приходилось уже самой аудитории и чуть ли не с физическим пристрастием.

Он не раз говорил, что в нашей стране всегда в конце концов победит в литературе революционная вещь. «Но глотку, хватку и энергию иметь надо». И он их имел. Для «драк» он был прекрасно оборудован. Не забудем, что ко всему этому он был еще человеком редкого полемического остроумия.

На вечере в консерватории, отвечая на выступление Вадима Шершеневича и иронизируя над начитанностью оппонента в европейской литературе, он сказал:

— При социализме не будет существовать иллюстрированных журналов, а просто на столе будет лежать разрезанный Шершеневич, и каждый может подходить и перелистывать его.

Кстати, «продираться» на выступление ему тогда пришлось по черному ходу. Я тоже не мог попасть, и он забрал меня и еще нескольких вузовцев с собой. Добравшись до «места назначения», он пробурчал удовлетворенно:

— Ого, как плотно! По сто граммов зрительного зала на человека.

Недавнюю досаду его как рукой сняло.

— Сегодня я пройдуся по «новям», «нивам» и тому подобным «мирам», — заявлял он в Политехническом, и действительно с блеском начинал «щекотать» редакции этих журналов за их поэтическую продукцию. Его возмущали в стихах безразличные выражения, или, говоря по-типографски, гарт.

— Вот полюбуйтесь, — говорил он и пилировал о поэте, пьющем шабл. — Ведь нет у нас этого вина, а есть вино «типа шабл», ну, и написал

бы так, и была бы в стихах советская черточка...

В Мастфоре (мастерская Форегера), пока та еще существовала, он выбил из седла своими репликами тамошнего конферансье Сендерова. Тот, наконец, взмолился:

— Владимир Владимирович, перестаньте, вы мне портите всю музыку.

— А вы, — отвечал Маяковский, — музыкальной портите всю политику.

Ответ был тем более кстати, что Мастфор была предприятием эстетским.

4

Первое собрание сочинений (десятитомное) Маяковского издавалось долго, со скрипом. От первого по выходу тома (V том) до следующих (I и II томы) проходило больше года. Маяковский воевал с бюрократами и прямыми вредителями, но и его сил не хватало.

Ему приходилось доказывать (будто у него было мало забот без этого!), что он ходкий и писатель и что его читатель, могущий тратить деньги на книгу, только отрывая их от своего обедненного фонда, — лучший читатель.

Доказывал он с цифрами в руках. Если не помогал «парламентский» стиль разговоров, он переходил на другой. Он хотел быть «дешевым изданием». Он не хотел ходить в суперобложке.

К I тому ему понадобилась библиография его книг и книг и статей о нем. Кто-то довел эту библиографию до 1922 года надо было пополнить список за эти же годы и продолжить за следующие, до февраля 1928 года.

На очень хороших материальных условиях он предложил мне заняться этой библиографией, но потребовал таких темпов, в каких я еще никогда не работал. Надо было сбернуться в два дня, а работа эта скрупулезная. Он помогал мне советом и особенно заботился о том, чтобы возможно полнее был представлен список отзывов о поэме «Хорошо». Часть работы, а также окончательную сводку я делал у него в комнате в Лубянской проезде.

— Не забудьте ростовской рецензии, там мою поэму, — напомнил он с неудовольствием о бесславном вы-

ступлении «Советского Юга», — назвала картонной...

— Вот возьмите еще американские отзывы: вы в латинском шрифте разбираетесь?

С библиографией мы уложились в срок. В эти годы он исключительно много и исключительно четко работал, обслуживая как поэт не только «Комсомольскую правду», но и «Крокодил», и «Рабочую Москву», и «Ленинградскую правду», и ряд других изданий. Около ста двадцати стихотворений за один 1928 год, например, — это была огромная работа! Это по стихотворению — каждые три дня. Если можно говорить о «стахановском» стиле работы до Стаханова, то это именно такая деятельность и была.

При этом он делал свою работу необычайно добросовестно. Однажды редакция журнала «Крокодил» получила довольно необычную телеграмму. В телеграмме сообщалось:

«Прошу стихе помпадур заменить фразу беспартийный катится под стол фразой собеседник сверзился под стол Маяковский».

В факте этом характерно то необычайное чувство ответственности, которое имел Маяковский в отношении всякого публично произносимого или напечатанного им слова.

В первоначально написавшейся фразе «беспартийный катится под стол», чуткое ухо поэта уловило некоторую двусмысленность, порочащую всякого беспартийного, и где-то на глухой железнодорожной станции, в вагоне поезда, он придумывает новую редакцию строчки и, превращая «беспартийного» в «собеседника», одновременно заменяет слово «катится» словом «сверзился», так как последнему присуща куда более комическая окраска.

Помимо всего этого он «разговаривал» на эстрадах множества городов. А ведь это тоже было творчество. При таком развороте деятельности что ему значили групповые интересы! На диспуте «Левее Лефа» в Москве он и заявил об этом.

Голос его не был услышан. Именно из соображений «литературной борьбы» на него в «На литературном посту» выпустили тогда Иуду Гроссмана-Рощина.

«Безработный анархист, перебега-

ющий из одной литературной передней в другую» (определение Маяковского) оплевал деятельность великого поэта, приравняв ее «к случайной койке в «Комсомольской правде».

Каждый полемизирует, как умеет. Но от выступления Гроссмана-Рощина осталось впечатление, что по воздуху пронесся маленький ярозный вонючий снаряд и на некоторое время отравил этот воздух. А сколько их было, таких снарядов! И как это раздражало Маяковского!

Ведь в эти годы он часто недомогал, он стал восприимчив к гриппу. Привязчивая болезнь мешала этому большущему человеку. Он ходил по комнате в Гендриковом и недомогал:

— Не понимаю, что делается с моим горлом.

Закончу свои записи началом 1930 года. Весь февраль функционировала выставка Маяковского «20 лет работы», бывало расширявшая понятие «поэт». Выставка показала, что Маяковский стал поэтом революции не потому, что сделал последнюю своей темой, а потому, что дело революции сделал своим делом.

Он целые дни проводил на выставке. Его окружала молодежь. На молодежи он проверял себя. И вот будущее смотрело ему в глаза, будущее было за него.

За время выставки в Гендриковом состоялось домашнее чествование Владимира Владимировича.

Чествование носило шуточный характер. Кирсанов сочинил казатку, рефрен которой пели все:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора,
От всех людей московских:
Ура! Ура! Ура!

Маяковский сидел у конца стола и слушал.

Асеев пародировал тех, кто ходил на всех Малпах, Ралпах и прочих задних Лалпах и по мере сил мешали Маяковскому.

Я читал стихи, в которых с Маяковским перекликались Шевченко, Рылеев и Некрасов, потом прочел несколько песенок.

Среди них были:

Песенка Веры Инбер

Говорила тебе я:
Не пиши «Пушторг», Илья,
Не послушал и настукал,
Не роман, а прямо скука,
Вот теперь вина твоя!

Песенка главы эйдологов

Но эйдолог мой фек
Он не долее дня,
Будь же добр, человек,
И не трогай меня.

Песенка эстетов

Мы от Фета, мы от Фета
Принимаем эстафету,

Эстафета, как конфета,
Мы от Фета, мы от Фета.

Потом ужинали и пили шампанское. Было на редкость весело и безоблачно.

До смерти Маяковского не оставалось и трех месяцев.

Я читал корректуру его VII тома. Мне нужно было спросить его о некоторых неясностях, но сделать этого не успел.

14 апреля он уже лежал мертвым на своей тахте в Гендриковом: удивительно красивый и удивительно молодой.

Москва, 1939, май

Е. Книпович

НАРОД И ИСТОРИЯ

Немало литературных произведений отживают свой век вскоре после того, как они появятся в печати. Иные говорят, что это не вина, а беда писателя. Движение истории столь сложно и стремительно, что за ним не угнаться. Но это не так. Ведь дело писателя не бежать за историей, как за уходящим поездом, а познавать законы ее движения, предвидеть направление этого движения.

Почему продолжают жить «Письма к товарищу» Горбатова, написанные в первую осень войны? Почему не отошли в прошлое ленинградские рассказы и очерки Н. Тихонова, созданные зимой 1941—42 года? Н. Тихонов и Горбатов — писатели разные по масштабу, у них разный творческий облик. Но оба они не бежали вслед за историческими событиями, а стремились идти, так сказать, «наперерез» движению, стремились творческим зрением художника уловить в потоке этих событий каменные, определяющие его ход, течения.

Их «устаревшие» по материалу произведения живут потому, что там показано, как в первый период войны уже закладывались основы великого дела победы, как невиданные испытания и бедствия становились суровой школой, в которой раскрывались и выявлялись заложенные в наших людях возможности. В этих произведениях видно, как вырастает

в войне каждый советский человек и весь народ.

Стареет не материал, на котором построено произведение, стареет отношение художника к материалу.

Повесть Василия Гроссмана «Народ бессмертен» тоже говорит не о сегодняшнем дне войны советского народа против фашизма. Действие ее происходит ранней осенью 1941 года. И написана она год тому назад — по нашим временам срок немалый. Литературная критика уже отмечала различные достоинства и недостатки повести. Частные достоинства и частные недостатки. Автора осуждали за преобладание лирики над эпическим началом. Автора хвалили за жизненную правду, за хорошее изображение двух военных операций — одной неудачной, другой — удачной.

Но все это не объясняет, почему повесть читали и читают сейчас — на фронте и в тылу.

На наш взгляд, разгадка жизненности и силы книги В. Гроссмана лежит в той общей мысли, которой подчинено все рассказанное в повести, в той, говоря словами М. Горького «исторической сознательности», которой она пронизана.

Когда думаешь о повести В. Гроссмана, имя Горького и слова Горького возникают в памяти не случайно. В. Гроссман может быть, самый воинствующий ученик Горького среди всего молодого поколения совет-

ских писателей. Дело тут не в литературной учебе, а в той органической связи с горьковской традицией, с идейно-образным миром Горького, которой отмечена вся работа В. Гроссмана — довоенная и военная. С этой традицией связано понимание труда, как силы, преобразующей не только природу, но и общественные отношения. От Горького идет и ощущение неотделимости народного труда, создающего все человеческие ценности, от борьбы за то, чтобы эти ценности попали в руки их творца и истинного хозяина. Горьковской традиции принадлежит и мысль о том, что творческая, героическая любовь к труду, вера в силу разума — основные свойства здорового человеческого сознания.

Но, может быть, ничто не связывает так крепко творчество В. Гроссмана с горьковской традицией, как «историческая сознательность», исторический оптимизм. Глубочайшая вера в то, что активное вмешательство человеческого разума и воли может направлять движение исторического процесса, вера в возможность переделать мир и, прежде всего, собственную отчизну — не умозрительна, она основана на любви к России, к нашему народу, на правильном понимании его исторической миссии.

Кто же герой повести «Народ бессмертен»? Русский народ, завоевавший себе вместе с другими братскими народами советскую государственность, научившийся в великой школе подлинной демократии и свободного труда быть хозяином своей страны, своей судьбы, национальной культуры и национальных традиций.

Вся повесть В. Гроссмана говорит о неразрывной связи между обреченными в советскую эпоху чертами национального сознания и тем беспримерным патриотизмом, мужеством, военным умением, национальной гордостью и человеческим достоинством, которые проявляет народ в отечественной, освободительной войне против фашизма.

У нас много говорят и пишут о том, изменились ли и в чем изменились советские люди, весь народ за годы войны. Наши писатели отвечают на этот вопрос не всегда правильно. В частности, и В. Гроссман, превосходно понимавший и изобразивший как художник изменения в человеческом сознании, происшед-

шие за время войны, пишет в одном из сталинградских очерков («Власов»): «Люди на этом раскаленном берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминания о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным. Много и талантливо писали об этом Дос Пассос, Хэмингуэй, десятки иностранных писателей».

Тут неправомерно уже само противопоставление. Конечно, так, как изменились в первую мировую войну те западные интеллигенты, судьбы которых преимущественно заняты писатели «потерянного поколения», у нас, в советской стране, измениться не мог никто. Ведь герои Хэмингуэя, Дос Пассоса или Олдингтона никогда не соприкасались до войны с реальной жизнью своей страны, своего народа. Они пребывали среди декораций, воздвигнутых их воображением и условиями общественной жизни Запада. В этом искусственном космополитическом мире можно было предаваться эмоциональным и интеллектуальным переживаниям, очень утонченным, но замкнутым в кругу индивидуалистического сознания и потому бесплодным. Война 1914 года, обрушившая этот театральный мирок, заставила будущих героев «потерянного поколения» соприкоснуться с самой страшной, дикой и безжалостной стороной жизненной реальности. И если для Анри Барбюса, скажем, такое соприкосновение стало началом подлинного изменения, то для героев Хэмингуэя или Дос Пассоса война оказалась крушением, дискредитацией перед лицом реальности всего, чем жил европейский буржуазный интеллигент до войны.

Советские люди своими руками построили ту жизнь народа, страны, государства, которую они сейчас защищают. Это была счастливая и свободная жизнь, но отнюдь не балетный рай. Счастье никогда не доставалось нашему народу даром, никогда не было легким и дешевым.

Оно было плодом долгой и суровой борьбы, свободного, творческого и напряженного труда. «А жизнь не-

легкая у народа была, — говорит в повести Гроссмана боец Игнатьев, — да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наше и жизнь наша, нелегкая жизнь, а наша».

Кому приходилось бывать на новостройках в торжественный день пуска завода, тот вдруг замечал, как изменились люди за последние решающие недели. Запали глаза, проступили скулы на свежесбранных лицах, заметно широки стали воротники праздничных одежд.

В эти дни советских трудовых праздников участники их были бойцами, торжествующими трудно завоеванную победу. И все-таки советские люди изменились в дни войны.

Не, так, как герои Хемингуэя и Дос Пассоса. А так, как меняется юноша, который иногда за несколько часов станет мужчиной, вдруг осознает и научится претворять в жизнь то, что ему дано отрочеством, юностью, школой, опытом старших.

Отечественная война в повести В. Гроссмана приводит именно к таким закономерным изменениям человеческого характера. Опыт, приобретенный героями повести до войны, их советская биография оказывается для них «доброй строевой подготовкой». Тульский оружейный завод и работа в колхозе, кафедра марксизма-ленинизма, защита родины в рядах Красной Армии помогли трем основным героям повести — Игнатьеву, Богареву, Мерцалову найти свое настоящее место в отечественной войне. Мирные годы советской жизни дали будущему бойцу, политработнику и командиру чувство организаторской связи со своим народом и государством, чувство личной и исторической ответственности за его судьбы. Вот почему ненависть к врагу, самое существование которого оскорбляет идеи и принципы, лежащие в основе советского строя, допечатала, догнала в дни войны характеры героев повести.

Они стали новыми людьми и вместе с тем стали до конца самими собой.

То общее понимание роли труда, которое свойственно В. Гроссману, помогает ему показать рабочую сторону войны. В бою люди овладевают десятками новых профессий, приобретают новые трудовые навыки. Под огнем складываются коллективы — одновременно боевые и трудовые. И спаяны они так крепко, что рабо-

тают, как один «столужий человек». Война в повести — это «бранимый труд». И в нем переходят в новое качество, приобретают еще большую остроту все те свойства, которые отличают мирный труд советских людей, — осмысленность, целеустремленность, творческое начало.

Сущность врага, определяющую отличие этой войны от всех прошлых войн, острее всех видит и понимает в повести Богарев — основной носитель высокого исторического и национального самосознания советского народа: «Богарев внимательно читал приказы германского командования, он отмечал в них необычайное стремление к организации — немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных bivouаках. Умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом множества деталей и пунктуально, с математической точностью выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездушно маршировать, в сложном и огромном движении своенных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, не свойственное свободному разуму человека».

Вся повесть Гроссмана рассказывает о том, как против низменного, хищнического инстинкта, лежащего в основе всей «культуры» фашистских оккупантов борется высокий, человеческий разум советского народа, против творчески бесплодного, хоть и работающего подчас с завидной точностью, механического рассудка — разум свободный, творческий, позволяющий познать действующие в войне законы исторического движения, провидеть будущее и тем самым неуклонно и безошибочно организовывать победу.

«Переоценивать силы врага вредно, недооценивать — опасно», — приводит В. Гроссман в «Сталинградских очерках» мудрые слова генерала Чуйкова.

Понимание исторической неполноценности, нетворческой, тупой, ограниченной сущности фашизма помогает В. Гроссману дать в повести точное и не совсем обычное изображение врага.

«Идол неправедной войны» — водитель немецкого танка, с которым в поединок Игнатьев, по-

ковник Брухмюллер, которого «переиграл» в бою Мерцалов, — не квохчут, не гнусавет, ноги у них не кривые и они не дрожат от страха с самого начала сражения. Но В. Гроссман умеет показать, что тренированный, не глупый и не трусливый фашист есть существо столь же ненавистное, а, главное, столь же презренное, как самый карикатурный фриц. Отощавший куроед — нажрется, вшивый — вымоется. А от того подлого, нечеловеческого «нутра», которое показано в повести, — фашистским оккупантам не избавиться.

В том изображении немцев, которое дано в повести В. Гроссмана, есть вырастающее из сознания собственной силы спокойствие, родственное «научной объективности» горьковской публицистики, разоблачающей врага. «Негодяй не ругательство, — говорит Горький в одной из своих статей. — Негодяй — точное определение человека негодного для жизни. Борьбу за существование негодяй не может понять иначе, как борьбу человека против человека. Борьба же коллективной воли за обладание силами природы ради освобождения людей от условий каторжного, бессмысленного, подневольного труда — эта борьба негодяям органически непонятна. Основной принцип негодяя, его вера, весь его духовный мир выражается в простых словах «Я хочу жрать». Все другие тоже хотят есть, но негодяйство неспособно считаться с таким фактом, негодяй — существо узко и уродливо ограниченное своими индивидуальными желаниями. Мир для него место, где жрут и где он хочет жрать больше и вкуснее других. На эту задачу зверя и направлена вся его воля, весь разум, все то, что он именует своим «духовным миром».

Так и показаны немцы в повести В. Гроссмана.

Серо-зеленая саранча — фашистские оккупанты, налетевшие на украинскую деревню Марчихина Буда, или немцы на отдыхе, по-домашнему, ленивыми скотами устроившиеся в человеческом жилье, — все это негодяи. Для этого прожорливого стада советские люди — только досадная, подлежащая устранению помеха в грабеже. Нет для немецкой саранчи Марии Тимофеевны Чередиенко — замечательной украинской женщины, прожившей славную трудовую жизнь.

Есть лишь старуха — ненужное приложение к салу, хлебу, вышитым полотенцам, — старуха, которую надо убирать, чтобы дорваться до жратвы.

Война коснулась самых основ жизни. В повести В. Гроссмана с фашистским зверем воюет сама русская природа, — не только суровые глаза людей вызывают к отступающим полкам Красной Армии. Береза в лесу, созревшие хлеба под ветром, шуршание зерна на поле, потоптаньем тысячами солдатских сапог, — вся красота и богатство разграбленной земли властно требует уничтожения насильников, умножает ту волю к победе, ту ненависть, которая «допечатывает» на войне характеры героев книги.

Военная беллетристика В. Гроссмана не распадается на «боевые эпизоды» и «психологические сдвиги». Характеры в ней формируются действием. История нескольких советских людей, героев повести, становящихся новыми людьми и вместе с тем до конца самими собой, — неразрывно связана с историей тяжелых боев и еще более тяжелых отступлений, через которые прошли эти люди.

Сейчас после военного опыта 1942—1943 года, после исторических приказов Сталина 23 февраля и 1 мая 1943 года, после наступления на юге, после Сталинграда и прорыва ленинградской блокады легко писать о великих преимуществах маневренной войны, о взаимодействии родов оружия, о творческом овладении военным делом, о дисциплине и военном профессионализме. Но повесть В. Гроссмана написана год тому назад. И если основными в повести оказались именно те черты действительности, которые тогда только еще намечались и возникали, но в дальнейшем, как мы увидели в свете сталинских приказов, стали определяющими ход событий, то это большая победа, пожалуй, самая большая, которая может быть одержана советским писателем в дни отечественной войны.

История военной операции в повести В. Гроссмана показывает, как вытываются звенья победы даже в тяжелых, даже неблагоприятных условиях. Частная наступательная операция, проведенная армейской группировкой генерала Самарина в дни общего отступления Красной Ар-

мий, — отнюдь не случайный эпизод. На конкретном примере читатель в повести В. Гроссмана видит, к каким блестящим, чисто боевым результатам может прийти любое военное подразделение, если его бойцы и командиры обобщают свой военный опыт и уменье, до конца осознают, что их малая задача — часть великого общего дела, решающего судьбы человечества на многие десятилетия.

Что дало возможность Игнатьеву совершать богатырские подвиги? Что обострило до предела зоркость и мудрость Богарева? Что привело майора Мерцалова к победе над опытейшим военным профессионалом — полковником Брухмюллером? Ненависть к врагу? Новый военный опыт? Суровая практическая школа военного мастерства? Да, конечно, все это. Но характер приобретенного военного профессионализма, военное превосходство над врагом в конечном счете связаны с тем творческим началом, которое одушевляет всю советскую жизнь, всю советскую культуру, является самой сущностью нашего народа. Мерцалов «показал свой характер» Брухмюллеру потому, что он научился воевать. Но творческое незаблонное решение боевой задачи он нашел потому, что он двадцать пять лет был советским человеком, который не ждет, чтобы за него «кто-то думал», а думает сам за себя, сам готов отвечать за свою страну и ее исторические судьбы. Брухмюллер же потерял поражение потому, что за него «думал» если не фюрер, то «непогрешимые» параграфы военного устава германской армии.

В образе Игнатьева в повести показано, пожалуй, ярче всего, как советское воспитание закаляло драгоценный металл русского национального характера. Кем бы мог стать этот мастер «застютые руки», этот немножко чудаковатый богатырь в прежние времена? Горьковским Коноваловым? Цыганком, которого на потеху себе калечат дикие мещане Капирины?

Школа свободного труда, сознание того, что «жизнь наша», направила всю игру молодой силы Игнатьева в правильное русло. И взрыв, всплеск этих сил в дни войны сделал Игнатьева советским богатырем, новым Ильей Муромцем, способным

выйти победителем в бою с «идолищем поганым».

Как «характер» меньше всего удался в повести — комиссар Богарев. Он скорее рупор авторских мыслей и носитель основной идеи повести, чем человеческий характер. Он, в сущности, приходит в повесть уже законченным и раскрывается в ней с первых же страниц — в ночь бомбардировки Гомеля немецкими самолетами.

Он живет в повести, как сознание, организующее ее лирическую стихию, как «ведущий» в сложном сплетении иногда коротких, иногда чуть намеченных судьб многочисленных действующих лиц, как катализатор происходящих в ней процессов. Богарев, в сущности, живет мыслями автора и той большой лирической силой, которая, как волна, поднимает и держит в книге все образы — додуманные и недодуманные, удачные и неудачные. А необходимые и недодуманные образы в повести В. Гроссмана тоже есть. Дивизионный комиссар Чередниченко, в сущности, повторяет и дублирует Богарева. Очень спорен кулак Котенюк, — вернее, то пробуждение «исторической сознательности», которое составляет его в день прихода немцев покончить с собой. Как исключение — такой случай возможен, как правило кулацкая мечта о счастье — жрать «больше и вкуснее, чем другие» — в какой-то форме «приживает» к немцам.

В заключение — о лирике.

Песня всегда рождается раньше эпоса. Первый отклик на все великие, переломные события человеческой истории всегда был лирическим. Для того, чтобы создать эпопею, в которой будет отражен весь ход войны, сложная борьба и взаимодействие всех сил — понадобятся годы работы всей советской литературы.

Огромная же заслуга В. Гроссмана в том, что повесть его лирической волной войдет в будущее русло этой эпопеи, в том, что она учит советских людей глядеть вперед, видеть в сегодняшнем дне те возможности завтрашнего дня, которые надо осуществить, и в том, наконец, что патриотизм ее — подлинно советский патриотизм, тот, в котором любовь к родине неотделима от любви к свободе.

Илья Френкель хочет, чтобы его песня возникала в сердцах бойцов, как желание высказаться, как стремление отвести душу, поговорить, что называется, «по душам», как простой житейский жест, обычная бытовая интонация:

Давай закурим
По одной,
Давай закурим,
Товарищ мой!

Стихи Илья Френкеля близки многим своей песенностью, естественностью интонаций, чересчур, может быть, однообразных. Автор обращается к читателю как собеседник, но не в обычном хрестоматийном смысле слова («знаете ли вы, читатель мой...» и т. д. и т. п.), а как товарищ по работе, однокашник, однополчанин. Это найдено.

Френкель знает, что у песни — высокое назначение. Песня нужна человеку, как хлеб. Она обнадёживает и зовет. Человек, поющий песню, хочет стать лучше, чем он есть. В песне — самые подходящие, самые удобные слова. Такая песня хороша, о которой поющий скажет: «да ведь я сам так думаю». Сколько людям помогли «Эй ухнем», «Во поле березынька стояла», «С неба полуденного», «И кто его знает», «Давай закурим!»

Последняя из упомянутых песен принадлежит Френкелю. Ее поют на привале, в землянках, поют сообщая в перерыве между боями — когда бойцы думают сосредоточенно. Песня незримо объединяет людей, открывает им друг друга, сливает воедино сердца и помыслы. Среди поющих — сам автор. Такова основная интонация в «Давай закурим» и в некоторых других стихах книги. Автор присутствует в землянке. Он говорит с глазу на глаз с бойцом, присев на траву и закурив.

Ты не знаешь, что такое груша,
Если мелитопольских не кушала.

Это произносится без нажима, не повышая голоса. Френкель не смотрит на бойца, как приезжий хроникер, — снизу вверх, с неразумным умилением, он и на поэтические хо-

дули не поднимается. В л кругу, на привале он — с. век. Его слушают.

Но война имеет свой слож, в котором характеры людей, сти проявляются с необычайнотой. Войне в высокой свойственна дружба, взаимнручка, побратимство. Но в и другое, не менее характерное: напряжение всех физичес и духовных сил, трагизм, атаки и горечь отступления, есть наконец, «упоение в бою», вдохновение воинского коллектива, идущего на врага. Это хорошо известно Френкелю. Но одно дело знать, что необходимо, и другое дело — воплотить это знание в образе.

Пока песня Френкеля длится под аккомпанемент гармонии — она хороша, она поэтична, она увлекает. Но как только поэт остается наедине со стихом, он теряет и в силе, и в выразительности. Проступает банальное, стереотипное, ходовое («Друзья не верьте слухам», «Винтовка» и пр.)

Песенность — сильная сторона Френкеля. В песне он — поэт. В стихах он редко бывает поэтом. На языке «Комсомольский саперный» показать легче всего. В поэме десяти небольших глав, каждой из которых предпослано прозаическое вступление. Повествует она о людях и делах комсомольского саперного полка. Хороши в поэме строки, настроенные на песенный лад (о красноармейце Зайченко, о сержанте Короле). Кель знает свое рабочее место, ру своих сил и по этой причине ходит все драматически напряженно (а именно этот драматизм подается самым материалом), то, что требует иного поэтического воплощения, иной интерпретации, главное — большей глубины обра-

В девятой главе автор описывает гибель «хорошего мастера», рыжего Абрама. Френкель намеревается говорить всерьез. Но серьезные слова, произнесенные несерьезным тоном, приводят к легкомыслию, если сказать к безвкусице, которая здесь оскорбительна.

Упал, не охнул милый мастер.
Ладоны черные согнул,

3
пр¹ Илья Френкель, «Друзья-товарищи», «Советский писатель», 1943 г.

13
ЮЛ
ЛГ
ЛУ
г машинистка Настя,
эт точный караул...
амаем — слез не надо,
ю очень твердым быть,
дь тогда и сердце радо,
нам есть кого любить.
дн унды боя роковые,
сь в свалке штыковой,
юмним руки золотые,
гу над рыжей головой.

это — мадригал или солю на
лайке? О смерти бойца сказано
здражак не-бездумно, почти пародийно. Так легкомысленно и серена-
ны не пишутся. Френкель не желает
мнищать. Это достоинство. Но оно
ут же становится недостатком: поэт
е желает размышлять.

В коротких стихах и особенно в
песнях скольжение по верхам не так
просается в глаза, как в поэме. Для
того, чтобы нарисовать поэму, надо
иметь что сказать. Здесь не со-
плещься на «специфику жанра». И
уж коли взялся за гуж, то не гово-
ди, что не дюж.

Поэма занимает половину книжки.
поэмы как единого произведения
Поэма рассыналась. В ней нет
Линной, ее охватывающей. Страсти,
идей, нет в ней эмоционального
единства, того стремительного и
единого образа, который один лишь
особен стянуть рассыпающиеся
стихи, главы. Может быть, Френкель
замеревался дать цикл песен, рисо-
вать? О замысле судят по выполне-
нию. Не расподия получилась у
Френкеля, а попури.

«Комсомольском саперном» все
живое, драматическое, самое, по-
луч, интересное перенесено на
эпические отрывки, предваряющие
каждую из глав. Пятый отрывок мог
образовать отдельную стихотвор-
ную новеллу. Но Френкель решил
разложить его прозой. На стихи
разложил иную, весьма неблаго-
дную задачу.

Через три наката,
Через три кола
На меня, ребята,
Песня набрела.
Вот она гуляет —
Нету ей забот:
Город Николаев,
Французский завод.

Френкель искренен: он не хочет,
чтобы у его музы были заботы. За-

чем? Стихи в его поэме играют роль
концовок, заставок, вышетоков. Проза
в поэме эмоционально напряженной,
интересней, чем стихи. Ничего не
скажешь против использования поэ-
том прозы, — это делалось и делает-
ся, — но нельзя согласиться с той
ролью, которую отводит Френкель
стихам в своей новой поэме.

Френкель стремится к предельной
простоте. Он идет от народной песни,
и там, где вкус не изменяет ему, он
добивается успеха (см. «Давай за-
курим», «Балладу о дружбе», «Дон-
басс»). Но малейшая поэтическая не-
точность, и получается подделка под
фольклор (злоупотребление союзом
«да» вместо «и», словечками вроде
«мальчишечка», «парнишечка», кото-
рые отнюдь не приближают поэта к
читателю — даже к самому неприят-
зательному). Народная песня проста
не потому, что в ней общедоступные
слова, а потому, что в ней слова
поэтически точные, — их не сдвинешь,
не переставишь. Они обладают брос-
костью и поразительной точностью
поговорок, пословиц. Настоящий
поэт не берет их в готовом виде у
Дала. Он вслушивается в строй на-
родной речи, творит свою и возвра-
щает ее народу в переплавленном
виде. Казак Луганский был прекра-
сным собирателем народных речений.
Но творил их народ и его поэты —
Пушкин, Тютчев, Грибоедов, Крылов.

Френкель пытается разнообразить
свои песни. То кинет острое солдат-
ское словцо, то даст неожиданно но-
вый ритмический рисунок, то обно-
вит старый песенный мотив («Транс-
вааль», «Донбасс»).

Дайте, дайте мне гранату,
Потому что песня вся..

говорит Френкель во вступлении к
своей поэме, обещая после песни
бросить гранату, яносказательно —
дать рассказ о ярости бойца, рвуще-
гося в атаку. Но обещание не вы-
полнено. Вместо образа бойца, вме-
сто его характера, действий, дается
новая песня, а за ней — другая, и еще,
и еще. И это было б не плохо —
да не все песни у Френкеля хороши.

«Сколько в песнях слов!» — восли-
цает Френкель. Та песня, в которой
начинаешь считать слова, — «уходит».
«Остается» та песня, слова которо-
го не считают, а поют. Остается «Да-
вай закурим» и равное ей.

Лев Озер

СОДЕРЖАНИЕ

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Сын, поэма
 Ю. ТЫНЯНОВ — Пушкин, роман, часть третья
 КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Наступление, стихи
 ВАС. ГРОССМАН — Старый учитель, рассказ
 ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — Кого баюкала Россия, стихи
 НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА — Хирург, повесть
 Стихи: МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ; БОРИС ГОРШИН
 ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — О разлуках и потерях, рассказы

* * *

Генерал-майор А. А. ИГНАТЬЕВ — 50 лет в строю, часть четвертая

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Ш. — О славе и поэзии
 С. НЕЗНАМОВ — Из воспоминаний о Маяковском
 Е. КНИПОВИЧ — Народ и история
 Л. ОЗЕРОВ — Стих и песня

Поправки к № 5—6 журнала «Знамя»

Стр.	Строка	Следует читать
32	25—26 строка в правой колонке, сверху	Кто говорит? Гусачок . . . И Мельника веселая дача . . .
235	12—13 строка в левой колонке, сверху	В пьесе Симонова «Судьба человека» . . .
«	32—35 строка в правой колонке, сверху	Когда мысль, чувства, воспоминания точены на одном . . . тогда меняется и природа вещей . . .

Редакция: Вс. Вишневский, Ал. Иббих, В. Лебедев-Туман, В. Луи,
 Е. Михайлова (отв. секретарь), А. Нозиков-Прибой, Н. Овчинникова,
 Л. Тимофеев

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября,
 Гослитиздат. Телефон К 0-52-93

Подписано к печати 5/VIII 1943 г. А2619. 16 печ. л. 20 упр.
 В печ. з. 63 200 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 10 руб. 80 к.

18-я типография треста «Полиграфкинг», Москва, Шубинский пер.